РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

РОССИЯ В XX ВЕКЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, ПРОФЕССОРА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИШКИНА

Под редакцией В. М. Ковальчука

Санкт-Петербург
2005

Издание подготовлено к 70-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН, профессора В. А. Шишкина. Сборник включает в себя исследовательские статьи по общим проблемам и конкретным вопросам отечественной истории и источниковедения, а также новые документы по российской истории XX века. Издание рассчитано на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся историей России.

Ответственный редактор В. М. КОВАЛЬЧУК

Редакционная коллегия:

Р. Ш. ГАНЕЛИН, В. Н. ПЛЕШКОВ, А. Н. ЧИСТИКОВ

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04–01–16034д

© Санкт-Петербургский институт истории РАН, 2005
© Коллектив авторов, 2005
© «Нестор—История», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

РОССИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Юрковский Н. К. О матросских массах в 1917–1918 гг. Опыт социально-психологической характеристики. 13

Тропов И. А. Об особенностях формирования Центрального статистического управления в 1917–1918 гг. 23

Дмитриев А. Л. Ленинградское отделение Института экономических исследований НКФ СССР: Страницы истории. 47

Измозик В. С., Лебина Н. Б. Нэп: уточненная хронология (историко-антропологический аспект). 60

Чистиков А. Н. Советская политическая бюрократия: от «военного коммунизма» к нэпу. 82

Кочетков И. В. Неурожай 1924 г.: масштабы, причины, последствия. 99

Купайгородская А. П. Из практики первых лет Главлита. 132

Балашов Е. М. Религиозные и антирелигиозные представления российских школьников 1910–1920-х гг. 151

Илюха О. П. Формирование новой школьной этики (на материалах Карелии 1920–1930-х гг.). 166

Мусаев В. И. Коллективизация и раскулачивание в Ленинградской области (1930-е гг.). 183

ЛЕНИНГРАД ВОЕННЫЙ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ

Ковальчук В. М. Бои на ближних подступах Ленинграда в 1941 г. 203

Дзенискевич А. Р. Исследовательская работа ленинградских психиатров в период Великой Отечественной войны. 217

Ваксер А. З. Население Ленинграда в послевоенные годы (1945–1965). 234

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ганелин Р. Ш. Николай II и Александра Федоровна
в переписке друг с другом перед убийством Распутина. 267

Кутузов В. А. Алексей Александрович Кузнецов:
начало политической биографии. 288

Рупасов А. И. Ф. Ф. Раскольников в Эстонии (1930–1933 гг.):
Несколько штрихов к портрету. 306

Кен О. Н. М. С. Островский и советско-румынские
отношения (1934–1938 гг.). 336

Лейберов И. П. Я знал его четверть века
(Памяти Ю. Н. Воронова). 361

ИСТОЧНИКИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Смирнова Т. Г. В. Т. Георгиевский
в Большом (Успенском) Тихвинском монастыре в 1918 г. 371

Яров С. В. Протоколы районных собраний организаторов
коллективов РКП(б) как источник для изучения настроений
рабочих Петрограда в 1921 г. 382

Панеях В. М. Письмо академика Д. С. Лихачева
о работах В. С. Брачева. 392

Сведения об авторах 399

Список сокращений 401

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мае 2001 года отметил свое 70-летие профессор Валерий Александрович Шишкин, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, советник Российской академии наук.

Валерий Александрович родился 24 мая 1931 г. в Ленинграде в семье служащих. Обучение в школе прервала война. Семья была эвакуирована в город Камень-на-Оби Алтайского края и вернулась в Ленинград только в 1945 г. Окончив в 1949 г. среднюю школу № 367 в Московском районе, Валерий Александрович поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета. После получения диплома с отличием в 1954 г. он был направлен на работу инструктором Московского райкома комсомола Ленинграда. Комсомольская работа продлилась недолго, будущего ученого манила иная стезя. Сдав в 1956 г. конкурсные экзамены, он поступил в аспирантуру Московского государственного института международных отношений на кафедру истории стран Запада. Результатом трехлетних изысканий молодого ученого стала кандидатская диссертация, посвященная чехословацко-советским отношениям в 1921–1925 гг., написанная под руководством видного специалиста по новейшей истории профессора Л. И. Зубока. Основой работы послужили неопубликованные материалы не только из советских, но и из зарубежных — чехословацких архивов, что для исследований 50–60-х гг. было не рядовым явлением. Защита состоялась в день рождения Валерия Александровича 24 мая 1960 г. и прошла успешно. А через два года текст диссертации, значительно расширенный и дополненный, вышел в издательстве Института международных отношений в виде монографии под названием «Чехословацко-советские отношения в 1918–1925 гг.».

Принадлежность Валерия Александровича к научной школе в области истории международных отношений, сформировавшейся в послевоенные годы в МГИМО, его ученичество у Л. И. Зубока, влияние которого на советскую послевоенную историографию новейшего времени остается недооцененным, сыграли в творческой судьбе ученого большую роль, охотно им самим признаваемую.

Здесь надо вспомнить о первом послевоенном десятилетии, когда научную и учебную литературу по новейшей истории зарубежных стран издавала лишь Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б) в форме лекций по отдельным странам. Энциклопедичность Л. И. Зубока давала ему возможность стать автором целого курса лекций по новейшей истории, в котором разработка общих проблем сочеталась с рассмотрением особенностей исторического процесса в различных странах.

Когда разразилась борьба с космополитизмом, кафедра всеобщей истории МГИМО под руководством В. Г. Трухановского сохранила в своем составе Л. И. Зубока, как и других ученых, обвиненных в космополитизме. Благодаря этому к середине 1950-х гг. кафедра стала важнейшим в Москве центром по изучению международных отношений и новейшей истории.

Оставленный в МГИМО преподавателем, Валерий Александрович уже через несколько месяцев покидает его стены и с 20 июля 1960 г. становится сотрудником Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР (позже — Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН, ныне — Санкт-Петербургский Институт истории РАН). Двумя годами раньше, в 1958 г., в ЛОИИ поступил также вернувшийся в Ленинград из Москвы В. С. Дякин. Оба они сыграли большую роль в воссоздании и развитии ЛОИИ, закрытого в 1953 и вновь открытого в 1955 г. С тех пор Валерий Александрович трудится здесь, пройдя за эти годы путь от младшего до главного научного сотрудника. В 1987 г. Валерий Александрович был избран членом-корреспондентом РАН. В течение 18 лет, с 1981 по 1999 г., он был директором отделения (филиала) Института истории, одновременно (с 1987 по 2000 г.) являясь и заведующим отделом современной истории России. В апреле 2000 г. Валерий Александрович стал советником РАН. Многие годы он был членом Бюро Отделения истории РАН и Президиума Ленинградского (Санкт-Петербургского) научного центра РАН, входил в состав Комитета по ленинским и государственным

премиям в области науки и техники, Бюро Национального комитета историков Советского Союза. Почти два десятка лет Валерий Александрович возглавлял производственный и диссертационный советы отделения (филиала) Института истории.

Огромная и многообразная административная и организационная работа не увела Валерия Александровича в сторону от научных изысканий. Более половины подготовленных и опубликованных ученым монографий и статей приходятся как раз на последние двадцать лет, причем ряд работ издан на английском, немецком, японском, польском и других языках в Германии и Японии, Швеции и Швейцарии, в Польше, Великобритании и США.

Начав с исследования взаимоотношений между СССР и Чехословакией, Валерий Александрович с середины 1960-х гг. переходит к анализу экономических отношений Советского Союза с западными странами, что нашло отражение в вышедшей в 1969 г. монографии «Советское государство и страны Запада в 1917–1923 гг.: Очерки истории становления экономических отношений», получившей положительные отзывы в нашей стране и за рубежом. В книге впервые в историографии было сформулировано понятие «советская внешнеэкономическая политика». На богатом фактическом материале Валерий Александрович исследовал это сложное направление деятельности Советского государства, установив его связь с развитием страны и курсом на построение социализма. Монография была защищена ученым в следующем году в качестве докторской диссертации.

Отныне изучение проблем внешнеэкономической политики Советской России и СССР, отношений большевистского государства с капиталистическими странами стало одним из основных направлений работы исследователя. Ее основные результаты были аккумулированы в монографии «Полоса признаний» и внешнеэкономическая политика СССР (1924–1928 гг.)», вышедшей в 1983 г. Как и в предыдущем случае, Валерий Александрович опять стал фактически первопроходцем в исследовании внешнеэкономической политики СССР в 20-е гг, кардинальные положения которой, по его мнению, в этот период сформировались окончательно и сохранили свое значение вплоть до конца 80-х гг. В опубликованной в 1991 г. монографии «Цена признания: СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924 –1929 гг.)» Валерий Александрович не только расширил хронологические рамки исследования, но и заметно «персонифицировал»

его, рассказав о тех людях, о которых в течение многих десятилетий упоминать запрещалось. Для этого цикла работ, основного в его творчестве, характерно глубокое исследование внешней торговли и концессионного дела как средств решения не только экономических, но и политических задач общегосударственного значения, инструментов упрочения положения страны во внешнем мире, внедрения в систему международных отношений практики мирного сосуществования стран с различным государственным и социально-экономическим строем.

В 90-е гг. основной темой исследований ученого стало комплексное изучение власти, политики и экономики в послереволюционной России. Подготовленные им главы для коллективного труда петербургских историков «Власть и реформы: От самодержавной к советской России» (СПб., «Дмитрий Буланин», 1996) переросли год спустя в монографию «Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия (1917–1928 гг.)». В своей книге Валерий Александрович обозначил важнейшую проблему, на которую отечественная историография не обращала должного внимания: насколько глубоким было «потрясение основ» российской государственности в результате революции 1917 г.? Изучение материала привело его к выводу о том, что русская государственная традиция оказывала гораздо более сильное влияние на многие области жизни нового общества, чем считалось до сих пор.

На протяжении нескольких десятилетий Валерий Александрович неоднократно обращался еще к одной теме — истории Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В частности, написанные им главы в пятом томе «Очерков истории Ленинграда» и в коллективном труде «Непокоренный Ленинград», выдержавшем три издания, были для того времени наиболее полными по фактическому содержанию, новаторскими в концептуальном плане.

И все же история периода между двумя мировыми войнами больше привлекала Валерия Александровича, причем в предпоследней опубликованной работе своеобразным образом пересеклись две ведущие в его творчестве темы: внутренняя жизнь послереволюционной России и отношения Советского государства с западными странами. Речь идет о вышедшей в 1999 г. монографии «Россия в годы “великого перелома” в восприятии иностранного дипломата (1925–1931 гг.)», в которой, со свойственной ему тщательностью, ученый проанализи-

ровал донесения главы чехословацкой дипломатической миссии в Москве Й. Гирсы и показал восприятие ситуации в СССР в эти переломные годы представителем государства, не относящегося к «великим державам».

В последние несколько лет Валерий Александрович разрабатывает проблему становления внешней политики послереволюционной России. Результаты его исследования изложены в монографии «Становление внешней политики послереволюционной России (1917–1930 гг.) и капиталистический мир: От революционного “западничества” к “национал-большевизму”. Очерк истории», вышедшей в петербургском издательстве «Дмитрий Буланин» в 2002 г. В этой работе он показал, что утопические, в значительной мере, взгляды революционного «западничества» на внешнюю политику социалистического государства постепенно стали вытесняться традиционными геополитическими интересами.

Валерий Александрович ведет большую редакторскую работу. Он много лет был ответственным редактором одного из ведущих исторических изданий «Вспомогательные исторические дисциплины», являлся членом редколлегии журналов «Вопросы истории» и «Исторические записки», был ответственным редактором отдельных монографических исследований, в качестве члена редколлегии принимал участие в редактировании многих коллективных трудов, среди которых «Непокоренный Ленинград», «В годы суровых испытаний», «Санкт-Петербург: 300 лет истории», а также сборников статей, документов, воспоминаний.

Немало времени Валерий Александрович уделял и уделяет подготовке молодых историков, он был научным руководителем более чем двадцати аспирантов и соискателей. Многие из них уже давно сами стали докторами наук и передают своим ученикам навыки исследовательской работы, полученные от Валерия Александровича Шишкина.

Р. Ш. Ганелин
В. М. Ковальчук
А. Н. Чистиков

РОССИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Н. К. Юрковский

О МАТРОССКИХ МАССАХ В 1917–1918 гг.: ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

События 1917–1918 гг. остаются по-прежнему одним из самых сложных, противоречивых и заслуживающих внимание исследователей периодов отечественной истории. Роль народных масс в Октябрьской революции также является дискуссионной проблемой: кто они, эти массы, творцы исторического процесса или инструмент в руках демагогов и экстремистов? В обширной историографии Октября значительна литература об участии в событиях рабочих и солдат,[1] а также и других социальных слоев.[2] Меньше внимания уделено военным морякам, хотя их активная роль в 1917 г. общеизвестна.[3] И лишь в немногих работах исследуются ментальные особенности отдельных социальных групп и слоев, так или иначе проявившиеся в ходе революции.[4] Между тем проблема изучения «человека на войне», как, впрочем, и в других обстоятельствах, (с учетом опыта исторической психологии школы «Анналов») становится все более актуальной.[5] В данной статье предпринята попытка проследить некоторые социально-психологические, ментальные черты одной из социальных групп: моряков военного флота, которых Ленин и Троцкий называли «красой и гордостью революции».

На 1 января 1917 г. личный состав военного флота России (вместе с офицерами и ратниками морского ополчения) насчитывал около 180 тысяч человек,[6] причем более половины приходилось на Балтийский флот. Социальный состав моряков долго оставался не поддающимся серьезному анализу сюжетом, пока в 1960-х гг. не были привлечены хранящиеся в Российском военно-морском архиве статистические

данные Главного морского штаба о призывах новобранцев. Но штаб интересовали профессии призывников, а не их социальный облик, поэтому среди «судоходцев» (по терминологии ГМШ) могли оказаться как матросы торгового флота, так и шкиперы-судовладельцы, а «плотники» могли состоять и из строительных рабочих, и из хорошо владеющих топором крестьян; среди «медников», по-видимому, были и фабрично-заводские рабочие, и индивидуальные ремесленники, и т. д. Отсюда разнобой в подсчетах разных авторов. Более предпочтительны данные Д. А. Гаркавенко, сумевшего частично расшифровать неопределенную категорию «прочих» (25 % общего количества), куда ГМШ заносил специальности, не интересные для флота (каменщики, текстильщики, чернорабочие, прислуга и т. д.). По подсчетам Гаркавенко, «пролетарии» (преимущественно рабочие крупных предприятий) составляли 53,3 % матросов Балтийского флота и 47,6 % — Черноморского, соответственно крестьян и мелкой буржуазии было 35 % и 45 %.[7] Подсчеты С. С. Хесина более строги в смысле отнесения новобранцев к «пролетариям», но, безоговорочно зачислив всех «прочих» в «полупролетариат» и мелкую буржуазию, он невольно искажает картину (25,5 % рабочих в Балтийском флоте и около 19 % в Черноморском, крестьян — около 48 % на Балтике и свыше 60 % на Черном море).[8] Кроме того, Хесин просчитал только три, правда, самых массовых, призыва (1914–1916), хотя в 1917 г. во флоте еще служили призванные из запаса моряки 1904–1909 гг. сроков службы и задержанные войной призывы 1910–1913 гг. Наши подсчеты по тем же трем призывам таковы: более 51 % рабочих в Балтийском флоте и 38 % в Черноморском, крестьян и мелкой буржуазии соответственно 24 % и 38 %.[9] Свои подсчеты по четырем призывам (1913–1916) предложил и В. В. Петраш, но только по Балтике: 36,2 % рабочих, 23,2 % крестьян, (рыбаков и торговых моряков он выделил в особую группу).[10] Итак, несмотря на тенденцию к повышению удельного веса «пролетариев» во флоте, оставим приоритет за данными Гаркавенко — они выглядят более обоснованными.

Непростым делом является и выяснение национального состава. Главный морской штаб, не вникая особо в этнические различия, записывал в «русских» как собственно русских (великороссов), так украинцев и белорусов. В целом, во Флоте их насчитывалось до 95 %. Однако отдельные флоты внутри этой категории различались между собой заметно: около трех четвертей русских и до 15 % украинцев на Балтике, и до двух третей украинцев и 28 % русских на Черном море.

(Эти примерные подсчеты удалось сделать с учетом национального состава населения губерний, откуда поступали призывники.) Среди других национальностей можно отметить 5–7 % белорусов в Балтфлоте, менее 5 % молдаван из Бессарабии на Черном море и примерно столько же прибалтов и поляков на Балтике.[11]

Нетрудно представить, что этот социальный и национальный состав в некоторой степени детерминировал общественно-политические процессы 1917—1918 гг. в разных флотах России: более быстрые темпы «полевения» матросских масс на Балтике, чему способствовала и близость Петрограда, и определенный успех украинской националистической агитации на относительно периферийном Черном море.[12]

Для социокультурной характеристики небезынтересен процент грамотных: в целом он был почти втрое выше, чем в среднем по стране. В Балтийском флоте он достигал 80–88 % (плюс 8 % «малограмотных», то есть плохо умеющих только читать), в Черноморском — свыше 75 % (малограмотных 15 %).[13] Этот фактор также способствовал интенсивной политизации матросских масс в период революции. В армии, где процент грамотных новобранцев был вдвое ниже, эти процессы шли медленнее.

Как известно, «настроения» являются наиболее подвижным и поддающимся внешнему воздействию компонентом человеческой психики.[14] Очевидно, что политическим силам, претендующим на влияние в массах, необходимо в первую очередь учитывать их и соответственно строить свою тактику. Как известно, большевикам это удалось в высокой степени, и, например, их теория вооруженного восстания требовала учета психологического фактора.

Смена настроений матросских масс в 1917 г. представляется в общих чертах следующим образом. События Февральской революции в Кронштадте и Гельсингфорсе (в меньшей степени в Ревеле и Петрограде) воочию показали всю «бессмысленность и беспощадность» русского бунта: было убито 94 офицера, кроме того, четверо покончили с собой, 11 человек считались пропавшими без вести, еще погибло 20 флотских кондукторов и унтер-офицеров.[15] (Причем были убиты не только жестокие притеснители матросов вроде известного Р. Вирена, но и вполне толерантные офицеры, как командующий флотом А. Непенин или командир Свеаборгского порта генерал В. Протопопов.) Эти события стали опасным прецедентом.

Акты антиофицерского террора повторялись в Балтийском флоте, хотя и не в таких масштабах, а позднее разразились кровавыми эксцессами на Черном море.

Из-за низкой политической и общей культуры матросы, как правило, видели в офицерах своих классовых врагов, буржуазных собственников, (хотя те, разумеется, относились к другой социальной группе, к интеллигенции) и воспринимали их, прежде всего, как защитников «старого порядка». Так сложилась почва для многочисленных и далеко не безобидных конфликтов: от смещения какого-нибудь мичмана-ревизора, возражавшего против дележа «экономических сумм»,[16] до полного драматизма изгнания А. В. Колчака с поста командующего Черноморским флотом в июне 1917 г. или протестов против назначения тогда же Д. Н. Вердеревского командующим Балтфлотом. Зажатые ранее жестокой, нередко формальной, дисциплиной матросы в ходе революции стремились к «настоящей свободе», что на практике превращалось в анархическую распущенность и губительные для флота своеволие и безответственность. В частности, с марта 1917 г. матросы настаивали на своем «праве» выбирать командиров.

Акты террора не могли не повлиять на дальнейшее поведение и психологическое самочувствие офицерства. Весной 1917 г. начались выборы в демократические организации флота: в матросские секции советов военно-морских баз (Кронштадт, Гельсингфорс, Ревель, Севастополь, Архангельск и т. д.) и в комитеты кораблей, частей и соединений, несколько позже сформировались центральные комитеты флотов и флотилий. Комитеты, первоначально возникнув с ограниченными функциями, постепенно расширяли сферу своей компетенции, вытесняя из этой сферы офицерство. Все это не могло самым пагубным образом не сказаться на состоянии дисциплины во флоте: командование все больше теряло уверенность, что его приказы будут выполнены без предварительного согласования с демократическими организациями. Комитеты контролировали материальное и продовольственное снабжение, вопросы строевой жизни, в частности, кратковременные отпуска, культурно-просветительную работу, распределение кадров и, наконец, в конце 1917 г. важнейшую область жизни любой организованной вооруженной силы — оперативную часть, то есть право и возможность распоряжаться этой силой в боевой обстановке.

Падение дисциплины, естественно, резко снижало боеспособность флота, что было особенно опасно в условиях мировой войны.

Большевики и левые эсеры активно способствовали этому процессу, борясь за расширение функций комитетов из опасений, что в ином случае флот (как и армия) мог быть использован офицерством против революции. В результате в декабре 1917 — январе 1918 г. офицеры из командиров-единоначальников превратились в своего рода советников-экспертов, не гарантированных от угрозы физического насилия. Благодаря такой демократизации флот в прогрессирующем темпе утрачивал боеспособность.

Обострение политической борьбы вновь и вновь приводило к вспышкам террора: 31 августа 1917 г. в Гельсингфорсе были расстреляны четыре офицера линкора «Петропавловск». По постановлению Центробалта все офицеры, начиная с командующего флотом, должны были дать подписку о готовности бороться с мятежом Корнилова. Четыре младших офицера, отнюдь не контрреволюционеры, а молодые люди, полагавшие, что в демократическом государстве армия вне политики и их политические взгляды это их частное дело, поплатились жизнью за свою наивность. В Або тогда же был убит еще один офицер морской авиации.[17]

Победа Октябрьской революции сопровождалась новыми актами неоправданного насилия. 14–15 декабря 1917 г. в Севастополе были расстреляны 42 офицера, многие из которых были уже арестованы и заключены в тюрьму, откуда их извлекли и потащили к Малахову кургану на расправу. Это была злобно-мстительная реакция на неудачу отрядов черноморцев в боях с казаками Каледина: по возвращении с Дона они решили истребить «контру» у себя дома.[18] Феномен российского политического терроризма, начавшись выстрелом Каховского 14 декабря 1825 г., получил в годы революции новые импульсы, нередко смыкаясь с откровенным криминалом. Характеризуя массовые настроения, Ленин писал весной 1918 г.: «В мелкокрестьянской стране <...> осталось, естественно, немало стихийного анархизма, усиленного озверением и одичанием, сопровождающим всякую долгую и реакционную войну, создалось немало настроений отчаяния и беспредметного озлобления».[19]

Матросам 1917 г., как и российским народным массам вообще, было присуще примитивное, упрощенное представление о социальной справедливости. Они понимали ее как уравнительную дележку в духе булгаковского Шарикова. Политические партии, работавшие среди масс, особенно эсеры, не мешали распространению этих настрое-

ний. Это сказалось в феврале 1918 г. в Севастополе, когда матросы пошли «собирать» непосильную 10-миллионную контрибуцию, наложенную Советом на немногочисленную и небогатую буржуазию города. «Сбор» превратился в вакханалию грабежей и убийств, причем никакой контрибуции не собрали, все было растащено. «Убивали маленьких девочек, убивали женщин, убивали стариков, подло приканчивали больных в постели». Это не цитата из антисоветской прессы, а слова одного из лидеров крымских большевиков председателя исполкома Севастопольского совета Н. А. Пожарова на 2-м Общечерноморском съезде моряков.[20] За три «варфоломеевские» ночи 23–25 февраля 1918 г. пострадали и трудовая интеллигенция, и многие рабочие Севастополя. По некоторым данным, только убито было 386 человек.[21] В январе–марте 1918 г. волна кровавых погромов с активным участием матросов-черноморцев прокатилась по городам Крыма и Юга России — мемуарные свидетельства об этом[22] были использованы С. Мельгуновым,[23] их не могла игнорировать и советская литература.[24] Нетрудно заметить, что антиофицерский террор стимулировал белое движение, вносил дополнительное ожесточение в разворачивающуюся гражданскую войну, а февральские события предопределили крах советской власти в Севастополе в апреле–мае 1918 г.[25]

Неспокойно было и в «колыбели революции» — Петрограде: широко известен факт убийства бывших министров А. Шингарева и Ф. Кокошкина матросами-анархистами в январе 1918 г. Разгул криминального террора с участием матросов 2-го Балтийского флотского экипажа зафиксирован в известном мемуарном очерке В. Бонч-Бруевича «Страшное в революции».[26] Следует отметить, что если большевики, хотя бы на словах, осуждали подобные самосуды и иногда пытались бороться с ними, то левые эсеры не видели в них ничего предосудительного. Они, упорно отрицая смертную казнь по суду, одновременно провозглашали «право» масс на «эмоциональный» террор. В соответствии с этим главный комиссар Черноморского флота левый эсер В. Б. Спиро взял под защиту февральских палачей, ограничившись словесным осуждением их на съезде моряков.

Другой сферой проявления смены настроений матросских масс было отношение к войне. Так же, как и вся Россия, весной 1917 г. моряки отдали дань так называемому «революционному оборончеству». Характерно, что в мае–июне эти настроения как-то мирно сочетались с массовыми требованиями о предоставлении отпусков

на «полевые работы», а к осени сменились острыми демобилизационными устремлениями. С 16 ноября 1917 г. началось увольнение старослужащих контингентов (с 1906 года), причем Черноморский флот по темпам демобилизации резко опережал Балтийский и сухопутные войска. (Правда, флот не знал такого массового дезертирства, как армия.) Вчерашние патриоты и оборонцы — еще недавно «вся Россия» рукоплескала делегации Черноморского флота, разъезжавшей по фронтам с оборонческой агитацией — теперь настойчиво требовали немедленного увольнения, не дожидаясь ни подписания мира, ни даже объявления перемирия. Так, контингенты 1907–1910 гг. на Черном море были уволены уже к 17 декабря, тогда как на Балтике и других морских театрах — только с 23 января 1918 г.[27] В армии соответствующие контингенты увольнялись в феврале 1918 г.[28]

Быстрая демобилизация привела к обезлюдению кораблей и береговых частей, в дальнейшем создала дополнительные трудности для комплектования флота на новых, добровольческих принципах, объявленных декретом Совнаркома от 29 января 1918 г. Этот декрет, по которому окончательно распускался старый флот, основанный на воинской повинности, ожидался на местах с огромным нетерпением.[29] Сказывалась усталость от войны, нежелание жертвовать собой во имя чуждых, как казалось массам, интересов.

Политические настроения моряков также менялись, для них характерны импульсивность и восприимчивость к социальной демагогии большевиков и левых эсеров. С лета 1917 г. все возрастающую популярность в массах стал обретать лозунг «Вся власть советам!», что означало для них подлинно народную власть, способную «просто и быстро» решить все жгучие вопросы российской жизни: мир, земля, хлеб, рабочий контроль над производством. Например, 21 июня собрание представителей судовых комитетов на линкоре «Петропавловск» потребовало в течение 24 часов передачи власти советам, «ареста всех реакционных сил», изгнания из правительства «министров-капиталистов», угрожая в противном случае идти на Петроград для обстрела столицы из орудий главного калибра (12 дюймов).[30] (То, что при этом пострадают невинные люди, трудящиеся, «братья по классу», авторов кровожадной резолюции не смущало.)

Эти настроения, впрочем, не отличались ни однородностью, ни стабильностью. Если на Балтике свержение самодержавия сопровождалось кровавыми эксцессами, то на Севере во Флотилии Северного

Ледовитого океана оно вылилось лишь в претензии «нижних чинов» к материально-техническому и вещевому снабжению, и даже комитеты там были созданы только благодаря активному участию офицеров. Мемуаристы отмечают эсеровско-оборонческие настроения моряков Ревельской базы в отличие от большевистско-анархического радикализма команд гельсингфорсских линкоров, в Учредительное собрание балтийцы избрали В. И. Ульянова-Ленина, черноморцы — правого эсера И. И. Бунакова. Матросы Минной дивизии Балтфлота — опора большевиков в первые недели новой власти — в мае–июне 1918 г. поддержали забастовку рабочих Обуховского завода, потребовали роспуска Петроградской трудовой коммуны и введения «морской диктатуры», кое-кто высказывался за созыв Учредительного собрания.[31] Декабрьско-февральские истребители «контры» в Севастополе в сложной обстановке эвакуации боевого ядра флота в Новороссийск в апреле-мае 1918 г. смиренно склонились перед ультиматумом антисоветски настроенного контр-адмирала М. П. Саблина, согласившегося командовать флотом при условии ликвидации выборных комитетов и полного единоначалия. («Команды начинали выздоравливать», — вспоминал позднее офицер, участник событий.[32]) Недаром большевики, чтобы как-то влиять на столь изменчивые настроения, кроме ранее введенных комиссаров осенью 1918 г. начинают выстраивать систему органов политического контроля и политического воспитания.

Если устремление ко всеобщему дележу и уравниловке не считать атрибутом сугубо социалистического сознания, как нередко подразумевалось в советской литературе, то очевидно, что психология масс 1917 г. сама по себе еще не создавала основы для социально-экономического эксперимента большевиков. Лозунги Октября имели буржуазно-демократическое содержание, что позволяет поставить и нетрадиционно решить вопрос о самом характере Октябрьской революции.

В целом же, видимо, следует отказаться от сложившейся в советской литературе известной идеализации народных масс, которые якобы обладают более высоким уровнем морали, чем представители так называемых господствующих классов. (Это, например, заметно в книге В. Ф. Шишкина «Великий Октябрь и пролетарская мораль». М., 1976.) Конечно, моряки, как и все народные массы пореформенной России, накопили немало «гроздьев гнева» и социального протеста, усиленных лишениями войны. Однако низкая политическая и

этическая культура, анархический радикализм, презрение к личности и к самой человеческой жизни, жестокость, а также примитивное представление о социальной справедливости делали их сторонниками радикальных утопических учений и экстремистской тактики левых политических партий.

---

[1] *Степанов З. В.* Рабочие Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания. М.; Л., 1965; *Бакланова И. А.* Рабочие Петрограда в период мирного развития революции (март–июнь 1917). Л., 1978; Революционное движение в русской армии в 1917 году. Сборник статей. М., 1981; *Смольников А. С.* Армия победившей революции. М., 1984; *Соболев Г. Л.* Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л., 1985 и др.

[2] Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и средние городские слои. М., 1981; Демократический фронт накануне Великого Октября. М., 1982; *Тюкавкин В. Г.*, *Щагин Э. М.* Крестьянство России в период трех революций. М., 1987; *Смирнов А. С.* Крестьянские съезды в 1917 году. М., 1979*; Осипова Т. В.* Российские крестьяне в революции и гражданской войне. М., 2001; *Знаменский О. Н.* Интеллигенция накануне Великого Октября. Л., 1988; Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 1996 и др.

[3] *Петраш В. В.* Моряки Балтийского флота в борьбе за победу Октября. М.; Л., 1966; *Хесин С. С.* Октябрьская революция и Флот. М., 1971 и др. Работы о событиях на периферийных морских театрах, как правило, носят обзорно-очерковый характер.

[4] *Соболев Г. Л.* В. И. Ленин о психологии революционных масс Петрограда в 1917 г. // В. И. Ленин в Октябре и в первые годы Советской власти. Сборник статей. Л., 1970; его же. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г. Период двоевластия. Л., 1973; *Гоголевский А. В.* Классовое сознание рабочих Советской России в 1917–1920 // Рабочий класс России, его союзники и политические противники в 1917 году. Сборник научных трудов. Л., 1989 и др.

[5] См.: *Сенявская Е. С.* Военно-историческая антропология — новая отрасль исторической науки // Отечественная история. 2002. № 4.

[6] *Хесин С. С.* Октябрьская революция и Флот. С. 24.

[7] История СССР. 1968. № 5. С. 52.

[8] *Хесин С. С.* Указ. соч. С. 27.

[9] Судостроение. 1968. № 6. С. 62.

[10] *Петраш В. В.* Моряки Балтийского флота... С. 21.

[11] История СССР. 1968. № 5. С. 52.

[12] Подробнее в нашей статье: Большевики в борьбе с украинским буржуазным национализмом в Черноморском флоте (1917–1918) // Революционное движение в русской армии в 1917 году. Сборник статей. М., 1981. С. 227–238.

[13] История СССР. 1968. № 5. С. 55.

[14] *Парыгин Б. Д.* Общественное настроение. М., 1966. С. 266 и др.

[15] *Граф Г. К.* На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. 2-е изд. СПб., 1997. С. 456–457. В советской литературе: жертв 76. (*Петраш В. В.* Указ. соч. С. 52).

[16] «Экономические суммы» — деньги, сэкономленные на питании матросов, употреблялись на культурные цели или на улучшение быта команды, в отдельных случаях расхищались. После революции нередко делились матросами между собой. «Ревизором» обычно назначался кто-то из младших офицеров для контроля над расходованием «экономических сумм», работой буфета и т. п. хозяйственно-бытовыми делами.

[17] Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота. 1917–1918. М.; Л., 1963. С. 157–158, 165, 167–170.

[18] *Жуков В. К.* Черноморский флот в революции 1917–1918. М.; Л., 1931. С. 95.

[19] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 174.

[20] РГАВМФ. Ф. Р–183. Д. 40. Л. 92.

[21] *Сирченко И. Т.* «Погибаю, но не сдаюсь!». Краснодар, 1969. С. 60.

[22] *Граф Г. К.* Указ. соч. С. 386–390 (записка Н. Р. Гутана); Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 13; *Шрамченко Я. В.* Жуткие дни (Агония Черноморского флота) // Морские записки. Нью-Йорк, 1961. Т. 19. № 1–2; и др.

[23] *Мельгунов С. П.* Красный террор в России. М., 1990. С. 90–91.

[24] Например: Велидов А. С. На путях к террору // Вопросы истории. 2002. № 6. С. 107–108.

[25] Подробнее в нашем сообщении: Из истории Севастополя в 1917–1918 // Клио. Журнал для ученых. СПб., 2000. № 1(11). С. 211–214.

[26] *Бонч-Бруевич В. Д.* Воспоминания о Ленине. Изд. 2-е. М., 1969. С. 171–198. Автор явно путает 2-й Балтийский флотский экипаж и Гвардейский экипаж. Судя по его описанию, действие происходило в Крюковских казармах, где размещался 2-й БФЭ; Гвардейский экипаж, как известно, располагался на Екатерингофском проспекте. (Так же как при описании встречи Ленина на Финляндском вокзале 3 апреля 1917 г. В. Д. Бонч-Бруевич перепутал петроградских моряков с кронштадтцами, которых там не было.)

[27] РГАВМФ. Библиотека. Приказы по Черноморскому флоту за 1917 год; Приказы по Флоту и Морскому ведомству за 1917–1918 гг.

[28] РГАВМФ. Ф.1. Оп.1. Д. 24. Л. 116; РГАВМФ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 643. Л. 11; Д. 644. Л. 4.

[29] Подробно об этом в нашем сообщении в сборнике статей: Лениниана. Продолжение поиска. Л., 1987. С. 223–224.

[30] Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов. М.; Л., 1957. С. 101–104.

[31] Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне. Сборник документов. М.; Л., 1932. С. 120–125; Андреевский Флаг (межрегиональный морской информационно-исторический вестник). 1992. № 2. С. 7.

[32] Граф Г. К. Указ. соч. С. 393.

И. А. Тропов

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1917–1918 гг.

Потребность в создании высшего надведомственного органа по руководству статистическими работами в стране ощущалась многими представителями научной общественности и государственной власти на протяжении всей второй половины XIX — начала XX столетий. Организация и деятельность существовавших в этот период органов административной и ведомственной статистики, несмотря на ряд проведенных в пореформенные десятилетия плодотворных исследований, вызывали немало нареканий. Так, в ходе подготовки в 1908–1909 гг. реформы центральных статистических органов МВД — Статистического совета и Центрального статистического комитета — П. А. Столыпин указывал на их плохую организацию. Это «второстепенные учреждения, — говорил он, — одно без прав, без обязанностей и без средств, а потому вполне безжизненное; другое — с широкими обязанностями и правами, но без достаточных сил и средств для выполнения и без всякой инициативы в руководстве статистикой вне Министерства Внутренних Дел».[1] Несмотря на предпринимаемые усилия, добиться реорганизации «статистической части Российской империи» в те годы не удалось. Вопрос о необходимости создания четкой и эффективно функционирующей структуры статистического аппарата вновь возник лишь в годы Первой мировой войны. Именно в этот период со всей очевидностью проявились как неповоротливость аппарата административной статистики, так и значительные успехи статистиков местных самоуправлений, наиболее быстро отреагировавших на поставленные самой жизнью вопросы.

В 1917 г. земские и городские статистики стояли на пороге создания нового всероссийского статистического органа. Учитывая опыт предыдущих лет и готовясь к новой сельскохозяйственной и поземельной переписи, статистики на своем очередном съезде 18–22 апреля 1917 г. четко определили систему органов, обеспечивающих ее проведение. Центральными учреждениями было решено считать периодически созываемые съезды, разрабатывающие общую программу и план исследования, и Совет по переписи, осуществляющий общее руководство в рамках утвержденной программы работ. Местными учреждениями признавались губернские земские управы, продовольственные комитеты (в неземских губерниях), местные организации Переселенческого управления (в азиатской части России) и местный главноуполномоченный по закупке хлеба для армии и населения (на Кавказе). Содействовать всем им была призвана Исполнительная комиссия статистических съездов, включавшая в свой состав П. А. Вихляева, Н. И. Воробьева, В. Г. Громана, В. В. Дмитриева, Н. А. Каблукова, А. Е. Лосицкого, П. И. Попова и некоторых других.[2]

Инициативы земских и городских статистиков нашли определенный отклик у Временного правительства, по-видимому, осознававшего необходимость объединения статистических работ в стране. 23 сентября 1917 г. на заседании Главного Экономического Комитета, проходившем под председательством представителя Министерства торговли и промышленности Н. Н. Саввина, рассматривался «вопрос о согласовании и объединении статистических работ по обследованию экономической жизни страны». Комитет признал необходимым:

«I) Созывать при Комитете по мере надобности Совещания и Съезды руководителей соответствующих статистических органов для выработки общего плана распределения работы между ними и для разработки специальных планов очередных экономических обследований общегосударственного значения, предпринимаемых по почину того или иного учреждения.

II) Предложить всем статистическим органам, предпринимающим какое-либо массовое анкетное обследование промышленности, сообщать предварительно свои предположения и проектируемые формулы опросов в Главный Экономический Комитет для согласования с однородными предположениями других учреждений».[3]

Однако вопрос об образовании единого статистического учреждения в то время еще не был решен, статистики по-прежнему были разобщены. Одни из них продолжали работать в земских и губернских бюро (С. М. Богословский, Н. И. Воробьев, А. М. Волков, А. Е. Лосицкий, В. Г. Михайловский и др.), другие в той или иной мере сотрудничали с правительственными структурами (П. А. Вихляев был товарищем министра земледелия, Н. А. Каблуков принимал участие в работах Главного земельного комитета, П. И. Попов возглавлял отдел сельскохозяйственной переписи Министерства продовольствия, затем Министерства земледелия).[4]

Условия для создания единого общероссийского статистического органа сложились после октября 1917 г. Специфика ситуации состояла в сочетании давно демонстрируемой статистиками готовности к организации полномасштабных исследовательских работ с проявленной большевистской властью заинтересованностью в этой деятельности. «Инициатива государства встретилась с инициативой самих представителей статистического знания», — отмечал впоследствии В. Г. Громан.[5]

Вопрос о роли статистического учета после победы социалистической революции являлся для большевиков составной частью проблемы организации власти и управления в новом, «пролетарском» государстве. На вооружении большевистской партии находились лишь самые общие теоретические положения, разработанные В. И. Лениным в ряде работ, прежде всего в книге «Государство и революция». Характеризуя стадию перехода «от капитализма к коммунизму», автор подчеркивал: «Особый аппарат, особая машина для подавления, «государство» *еще* необходимо, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле <...>».[6] По мысли В. И. Ленина, оно должно не только подавлять меньшинство населения большинством в интересах релюции, но и осуществлять контрольно-распределительные функции. В условиях диктатуры пролетариата, как отмечал В. И. Ленин, «остается еще необходимость в государстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта».[7]

Осуществление этих и других революционных мер — национализации земли, банков, промышленных предприятий, установление контроля за общественным производством и распределением про-

дуктов, регулирование народного хозяйства в общегосударственном масштабе[8] — требовало статистического учета всех имеющихся материальных и людских резервов. Причем, как справедливо отмечает Т. В. Рябушкин, в новых исторических условиях «речь шла не только об общем исследовании социальных условий (положения рабочего класса), но и о сумме методов и моментов количественного анализа тех социально-экономических процессов, в которых необходимо было действовать пролетарской партии».[9] В то же время обращает на себя внимание известное ленинское утверждение, высказанное им в работе «Очередные задачи Советской власти» о необходимости вывести статистику из «исключительного ведения “казенных людей” или узких специалистов» и «понести ее в массы, популяризовать ее, чтобы трудящиеся постепенно учились сами понимать и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько можно отдыхать, — чтобы *сравнение деловых итогов* хозяйства отдельных коммун стало предметом общего интереса и изучения».[10]

Таким образом, от статистических учреждений большевики ожидали не только предоставления данных, необходимых для деятельности органов государственной власти и управления, как это было в дореволюционной России, но и выполнения более широкой задачи — информирования общества с целью вовлечения наибольшего числа трудящихся в процесс социалистического строительства и придания ему начал сознательности и организованности.

Стремление лидера большевиков к реализации идеи государства-коммуны, где политический «центр» ведает организацией «всей трудящейся массы», вместе с ней намечает пути дальнейшего развития, помогает наладить управление, производство и распределение продуктов,[11] в качестве необходимого условия предполагало наличие органа, создающего информационную базу для широкой, общегосударственной организаторской работы центрального правительства.

К созданию такого учреждения, как отмечалось выше, вплотную подошли земские статистики еще в годы мировой войны. Смена власти осенью 1917 г. не вызвала смятения в их рядах. Политика и раньше никогда не заслоняла собой их главного дела — собирания и разработки статистического материала, а после прихода к власти большевиков имелись реальные возможности организовать новые исследования и сохранить собранный по крупицам материал, представлявший собой «драгоценность, утрата которой ничем не могла быть вознаграждена».[12]

Между тем опасность исчезновения статистических данных в перипетиях революционной эпохи была велика. Это стало очевидным уже в начале декабря 1917 г., когда по инициативе Отдела переписи Наркомзема собрался первый в советской истории съезд статистиков. Он был посвящен рассмотрению программы разработки материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года.[13]

Выступавшие на этом съезде делегаты указывали на «отчаянное» положение местных отделов переписи, не имевших финансирования,[14] и испытывавших давление со стороны ведомственных структур. Как заявил А. А. Кауфман, в ситуации, когда «ведомство говорит: нам нужны такие-то сведения», или как «статистики, не предрешая вопроса по существу, имеют полное право категорически сказать: да, вам такие сведения нужны, но мы, как статистики, вам говорим, что по таким условиям вы этих сведений получить не можете, или они будут не годны <...>. И далеко не все данные и выводы, которые было бы нужно в разных случаях получить от статистика, не все эти данные статистик в состоянии дать».[15]

Таким образом, делегаты осознавали границы применения статистического метода, подчеркивали, что сбор и обработка данных и получение выводов не могут зависеть исключительно от потребности и указаний государственного аппарата. Они настаивали на особом положении статистики, подчеркивая, что различные ведомства нуждаются в «статистических консультациях со стороны такого органа, каким является съезд».[16]

Эти рассуждения вплотную подводили к решению вопроса об объединении, которое, как отмечали делегаты, должно было носить аполитичный характер. Наиболее ярко эту мысль высказал один из делегатов, имя которого в стенограмме не зафиксировано: «Мы статистики, мы не должны считаться с местными впечатлениями, с впечатлениями местных общественных деятелей, мы должны считаться только с фактом центральным, а этот факт таков: неоспоримо положение, что Россия будет существовать, как страна, как народ, государство, следовательно, та работа, которую мы выполняем, она будет нужна для всякой государственной власти, значит, для всякой страны и всякого народа, следовательно и при всякой государственной власти — при большевистской, при с.р.-ской, кадетской, самодержавной и т. д. Выполнить ее необходимо».[17]

Первые шаги по этому пути были весьма непростыми: одна часть представителей формирующегося государственного аппарата понимала важность проводимых статистиками работ, другая часть либо вообще не признавала их деятельности, либо рассматривала статистические органы как средство получения данных лишь по узкому, интересующему данное ведомство направлению, превращая независимые бюро в один из элементов ведомственной структуры.

Земские статистики, прекрасно осознавая весь драматизм ситуации, предприняли в конце 1917 — начале 1918 гг. шаги, направленные на упорядочение их взаимоотношений с государственной властью. С такой инициативой выступил Отдел Переписи, состоявший ранее при Министерстве земледелия и перешедший после Октябрьской революции в ведение Наркомзема. Декабрьский (1917 г.) съезд статистиков поставил перед ним широкие задачи: «объединение и руководство работ по переписи 1917 г., а также по кадастру и текущей сельскохозяйственной статистике в центре и на местах». Пользуясь этим, Отдел Переписи внес в Совнарком вопрос о «необходимости и целесообразности» перехода его «в ведение общегосударственного, междуведомственного учреждения экономического характера», каким являлся созданный в декабре 1917 г. Высший совет народного хозяйства.[18] При этом статистики говорили о важности создания для Отдела Переписи и его органов такого положения, при котором их деятельность осуществлялась бы «нормальным темпом, несмотря на всякого рода осложнения в государственной жизни и смену политических направлений», вновь подтверждали необходимость «разработки основ по созданию государственной статистики».[19]

Руководство ВСНХ согласилось с выдвинутыми статистиками идеями, в частности, с идеей придания статистическим учреждениям независимости «от узковедомственной политики отдельных ведомств». Такое решение вытекало из особенностей положения ВСНХ как высшего органа управления всем народным хозяйством Республики, для успешной деятельности которого большую помощь могли оказать широкомасштабные статистические исследования. В результате были приняты решения о переходе Отдела Переписи в распоряжение ВСНХ (декрет СНК от 8 февраля 1918 г.), об ассигновании необходимых средств для его работ и о подготовке к проведению всероссийской промышленной переписи. Кроме того, ВСНХ принял предложение своего нового отдела о недопусти-

мости реорганизации без его ведома земских статистических учреждений — «независимых в своей работе от отдельных ведомств и состоящих при Губернских Советах Народного Хозяйства, а где их нет — при Совдепах, но как самостоятельных отделов, а не части какого-нибудь Отдела, и находящихся в определенной организационной и финансовой связи с Отделом Переписи и Статистики Высшего Совета Народного Хозяйства <...>».[20]

Эти изменения при всем своем значении не могли считаться окончательными, вопрос о создании общегосударственной системы статистических органов оставался открытым. Но после того как положение последних несколько упрочилось благодаря созданию Отдела Переписи и Статистики ВСНХ, создались благоприятные условия для его решения. Инициатива по-прежнему исходила, прежде всего, от земских и городских статистиков.

Исполнительная комиссия статистических съездов (ИКСС) считала центром статистических работ в стране новообразованный отдел ВСНХ. Так, рассматривая на одном из своих заседаний, проходивших с 25 по 27 апреля 1918 г., вопрос об организации областными продовольственными учреждениями самостоятельных статистических аппаратов, она назвала такую меру «излишней» и постановила: «Необходимые продовольственным организациям для работ сведения по текущей статистике надлежит получать от Центральной статистической организации — Отдела Переписи — и местных статистических организаций <...>».[21]

Этому отделу предстояло не только проводить отдельные исследования, но и продолжить работу по собиранию в единое целое статистических сил страны. В заседании 27 апреля 1918 г. ИКСС признала «необходимым организацию Государственной Статистики», а для этого — собрать специальный съезд, на котором и рассмотреть проект Отдела Переписи и Статистики ВСНХ. В том же самом постановлении подтверждалась правильность установленных взаимоотношений между статистическими бюро при бывших губернских земских управах, другими статистическими учреждениями этого типа с одной стороны и Высшим советом народного хозяйства, его местными органами и губернскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с другой стороны.[22]

Меньше чем через месяц — 20 мая 1918 г. — ВСНХ также постановил «считать необходимой организацию государственной статис-

тики и поручил своему Отделу представить «соответствующий проект <...> на рассмотрение съезда статистиков».[23]

Этот форум, состоявшийся благодаря усилиям земских и городских статистиков и поддержавших их представителей государственной власти, проходил в Москве с 8 по 16 июня 1918 г. Открыл съезд и выступил с докладом председатель ВСНХ А. И. Рыков.

Охарактеризовав в самом начале своего выступления особенности переживаемого момента, А. И. Рыков указал на особую роль статистики в жизни страны. «Россия не в состоянии выйти из того тупика, в который загнано народное хозяйство в результате капиталистического развития, в результате империалистических войн <...> она не в состоянии выйти на открытую дорогу широкого организованного строительства без самого энергичного содействия всех научных сил, без того, чтобы статистические исследования, статистический анализ были положены в основу всех тех мероприятий, которые поставлены теперь историей на очередь».[24] После этого докладчик выделил двоякого рода задачи государственной статистики: во-первых, определяемые «пассивной ролью статистических исследований, — поскольку статистика изучает то, что было, или то, что есть <...>» и, во-вторых, выдвигающиеся после революции на первый план активные задачи, заключающиеся «в том, чтобы путем научного обследования указать наиболее больные, наиболее шаткие участки нашего хозяйственного фронта и указать на те мероприятия, которые необходимо произвести на этих участках».[25]

Задачи статистики были сформулированы А. И. Рыковым хотя и широко, но все же достаточно четко — она должна не просто изучать современное состояние общества, но и оказывать информационную помощь государственным органам в формировании экономической политики, а это подразумевало проведение крупных исследований «во всех тех областях хозяйственной жизни, где применяется регулирование, где применяется контроль, где в первую очередь вводится на место хаотического и конкурирующего ведения хозяйства <...> систематическая и планомерная организация». Для этого А. И. Рыков считал необходимым «объединить в общий план работ и под единым руководством как статистику земскую и городскую, так и статистические отделения различных ведомств, различных управлений и их опыт <...>».[26]

Таким образом, государственная власть в лице А. И. Рыкова, поддержав инициативы земских и городских статистиков, предло-

жила самые общие принципы организации нового учреждения и не пыталась навязать выверенных, детальных инструкций. Было задано лишь общее направление, в рамках которого и проходила работа на съезде по организации госстатистики.

С обширным докладом по этому вопросу выступил руководитель Отдела Переписи и Статистики ВСНХ и член ИКСС П. И. Попов. Отметив, что ни одна отрасль государственного управления «не может обойтись без статистического освещения социальных условий и явлений, входящих в круг ее ведения», что для правильной организации такого рода исследований требуется наличие центра, «объединяющего и согласующего работы во времени и пространстве»,[27] докладчик перешел к характеристике структуры проектируемой статистической организации. В качестве ее центральных руководящих и объединяющих органов были названы следующие: «а) Съезды статистиков и б) Центральная Статистическая организация, по характеру своих работ разделяющаяся на две части: 1) научно-руководящую — Высший Совет по делам статистики и 2) организационно-технически-исполнительную (Центральное Статистическое Учреждение)».[28]

На созываемых не реже одного раза в год съездах предполагалось рассматривать программы общегосударственных работ, согласовывать деятельность различных «государственно-коммунальных» статистических органов, вырабатывать основы «правильной организации статистических работ». Совет по делам статистики должен был рассматривать планы и программы переписей и обследований, производимых не только органами государственной статистики, но и отдельными ведомствами, делать заключения по планам и программам намеченных работ, вырабатывать общие инструкции.[29] В этом П. И. Попов видел залог успешного противодействия ведомственному сепаратизму. Поскольку все программы, планы и сметы советских учреждений, касающиеся проведения статистических работ должны сопровождаться постановлением Совета, постольку «государственная власть всегда будет иметь возможность спорить от имени компетентного учреждения», она «будет знать и будет иметь возможность реагировать на уклонения отдельных ведомств от того пути, на который указывает высший совет по делам статистики».[30] В ведение Совета П. И. Попов предлагал также включить задачу распространения статистических знаний в стране и разработку вопросов и методов наблюдения и обработки статистических материалов. На Цент-

ральное Статистическое Учреждение докладчик предложил возложить «общее попечение о развитии и правильной постановке статистики в государстве и расширении статистических знаний» и выполнение статистических работ по различным отраслям.[31] При этом П. И. Попов обратил особое внимание на необходимость наделения ЦСУ определенными правами и полномочиями, прежде всего особым правовым статусом, который предоставлял бы ему «возможность в общем строе государственных установлений занять самостоятельное, в служебном отношении независимое от отдельных государственных учреждений положение», позволяющее наиболее эффективно осуществлять статистические работы в государстве (право получения от центральных и местных органов необходимых сведений, право непосредственного доклада центральной государственной власти и другие).[32] Конкретные формы реализации этого положения П. И. Попов предложил выработать съезду, в частности, нужно было определить, при каком из двух органов — Совнаркоме или ВСНХ — будет существовать центральное статистическое учреждение.[33]

Местными органами было предложено считать земско-городские статистические бюро. «Многолетние работы показали, что эти аппараты настолько совершенны и настолько рационально организованы, что даже при наличии безусловно не благоприятствующих правильному их развитию условий при старом строе, они могли дать блестящие результаты в области изучения экономического строя сельского и городского населения», — подчеркнул П. И. Попов.[34]

Выступавшие в прениях статистики поддержали основные идеи, высказанные П. И. Поповым. За полную аполитичность статистики и большую долю самостоятельности местных статистических учреждений высказался В. В. Степанов. Он отметил, что статистика «никогда не должна приостанавливать свою работу, каковы бы ни были условия, она всегда должна оставаться нейтральной, собирать и накапливать тот материал, который необходим для изучения того, что есть и что было».[35] Делегаты съезда активно поддержали идею создания надведомственной центральной статистической службы. По данным, сообщенным В. Г. Михайловским, различных статистических организаций — «по крайней мере в центре» — к лету 1918 г. было в 5–6 раз больше, чем до революции, и каждая из них имела возможность «свои собственные задачи осуществлять и производить свою работу параллельно <...>».[36] А в выступлении Н. И. Воробьева со-

держалась недвусмысленная характеристика этих работ. Он заявил, что в центральных правительственных органах существовала и продолжает существовать «величайшая неразбериха <...> в области организации статистики».[37] По мнению этих ораторов ведомственная статистика должна быть в подчиненном положении к статистике государственной, которая, как выразился Н. И. Воробьев, «обобществляет» деятельность отдельных ведомств.[38] Исходя из научного понимания статистической операции, Н. И. Воробьев обратил внимание собравшихся на необходимость того, чтобы в проектируемой «организации не преобладали исключительно практические цели и задачи, чтобы на этот статистический аппарат не давили государственные власти, государственные нужды, чтобы они не парализовали ее чисто научной организации, поэтому чрезвычайно важно при общей организации государственной статистики предоставить такую свободу чисто научным интересам и научным силам, чтобы эти научные интересы и научные силы не были только подчиненными работниками заданиям и практическим стремлениям государственного управления».[39]

Но среди делегатов съезда были и противники создания надведомственной централизованной статистики. Среди них встречались те, кто подобно представителю кооперативной статистики А. П. Мухину, не уяснив целостности предложенной П. И. Поповым схемы, опасались, что отстаиваемая им «централизация грозит <...> прекращением всякой работы на местах».[40] Но в основном негативную реакцию доклад П. И. Попова вызвал у представителей центральных ведомств. Так, представитель Отдела статистики Московского Районного Экономического Комитета В. С. Мышкис указал на отрицательную сторону централизации статистики, заключавшуюся, по его мнению, в изолированности нового государственного органа от других учреждений. По его мнению, утверждение проекта, предложенного П. И. Поповым, приведет к тому, что статистика будет оторвана «от самой жизни и не будет полезна для действительно регулирующего органа, а раз так, то и регулирующий орган должен создать свою статистику, несмотря на все работы, которые в отношении их будут [проведены]».[41]

Итак, уже в первый день работы съезда выявилось два подхода к проблеме формирования органов государственной статистики и их места среди других учреждений: или создание централизованной

системы органов государственной статистики, действующих по единому плану и главенствующих над ведомствами, или превращение статистического бюро в один из рядовых элементов бюрократического аппарата.

Дальнейшее обсуждение вопроса было перенесено в специально созданную 8 июня комиссию по рассмотрению закона о реорганизации государственной статистики. В ее состав вошли представители земской и городской статистики, а также сотрудники нового государственного аппарата Республики. Председателем комиссии был избран заведующий статистическим отделом бывшей Петроградской городской управы В. В. Степанов.[42] Основное внимание комиссии было сосредоточено на проблемах, затронутых в докладе П. И. Попова. Больше всего дискутировался вопрос о месте центрального статистического бюро в системе государственных учреждений, его отношений с политической властью.

Идея существования ЦСУ при Совнаркоме отвергалась некоторыми членами комиссии, так как, по словам И. Ф. Макарова, в СНК «много политики», а государственная статистика, как подчеркнул Р. Д. Семенов-Тян-Шанский, должна находиться «в пределах научных, чуждых политики».[43] Однако большинство членов комиссии не разделяло подобных опасений. Их точку зрения удачно выразил профессор М. А. Сиринов: «Важно не место, где будет то или другое учреждение, а обсуждение свободы действий, суждений и аполитичности».[44] Осуществлению этих свобод препятствовали, как считали члены комиссии, не правительство, а ведомственные организации. «Я опасаюсь междуведомственных трений, — заявил М. Ф. Заменгоф. — Нельзя изъять междуведомственную статистику при помощи междуведомственного Совета. Можно только предоставить Совету право изъять ту или другую отрасль статистики из того или другого ведомства в случае ее исполнения. Совет должен быть вневедомственным, и тогда ему можно предоставить всю полноту власти <...>».[45] Серьезные опасения по этому поводу высказал И. Ф. Макаров. По его мнению «ведомственные учреждения и организации, как то имело место в прошлом, не будут представлять своих планов работ», вследствие чего «Совет по Делам Статистики может оказаться мертвым учреждением, постановления которого можно будет всегда обойти».[46] В борьбе с ведомственными амбициями часть статистиков надеялась на поддержку высшей государственной власти. П. И. Попов указы-

вал, что статистические отделы ведомств должны будут согласовывать планы и программы своих работ с центральным статистическим бюро Республики и утверждать их в Совете по делам статистики, «ибо в противном случае они будут лишены средств и необходимой со стороны правительства поддержки».[47]

Комиссии так и не удалось выработать единых подходов к проекту организации государственной статистики. Поэтому на очередном заседании съезда 13 июня прозвучало два доклада.

От «большинства» комиссии выступал ее председатель В. В. Степанов. Вопрос о положении государственной статистики в ряду других государственных учреждений он назвал одним из самых главных вопросов. От его решения зависела степень самостоятельности ЦСУ и объективность предоставляемых статистических данных. Большинство комиссии высказалось за то, чтобы Центральное статистическое управление существовало при Совете народных комиссаров, как инстанции, носящей «не междуведомственный характер», а скорее имеющей «оттенок ведомственного характера».[48]

В. В. Степанов обратил внимание делегатов на предложение большинства членов комиссии об организации съездов двух типов: «вольные съезды статистиков, которые состоят из неопределенного количества представителей и которые могут также высказывать те или другие пожелания» и «съезды более официального характера <...>, которые состоят из ответственных представителей и которые имеют право выбора тех лиц, которые должны войти в главный орган — Совет по делам статистики <...>».[49]

Последние слова являлись своеобразным «мостиком» к другой идее, которую также изложил В. В. Степанов. По мнению комиссии во главе государственной статистики «должна стоять коллегия — высший совет по делам статистики», являющаяся «окончательной инстанцией для разрешения всех вопросов, кроме вопросов, которые требуют законодательного разрешения». В качестве исполнительного, рабочего органа предлагалось учредить «центральное статистическое бюро». При этом, как отметил докладчик, «очень незначительное большинство» членов комиссии «высказалось против того, чтобы председатель и управляющий статистическим бюро утверждались бы высшей властью».[50]

Мнение «меньшинства» комиссии изложил М. Ф. Заменгоф. Он высказался в поддержку идеи присоединения статистического уч-

реждения к ВСНХ и за то, чтобы высшая государственная власть утверждала не только руководителя Бюро и его помощников (Коллегию), но и председателя Совета по делам статистики. Последнее предложение было нацелено на повышение статуса Совета, на преодоление такой ситуации, при которой «истинным хозяином государственной статистики является центральное статистическое учреждение в лице его начальника».[51]

Другое предложение М. Ф. Заменгофа сводилось к тому, «чтобы Государственная Статистика России создавалась и направлялась конференцией представителей статистических организаций, учреждений и науки; для проведения в жизнь постановлений Конференции, последняя <...> избирает Постоянный Совет Статистических Конференций, которому и поручается непосредственная организация и руководство Центральным Статистическим Органом». Предполагалось, что этот Совет будет существовать «в качестве автономной организации, на правах Комиссариата». М. Ф. Заменгофа поддержали М. А. Сиринов, И. Ф. Макаров и некоторые другие.[52]

В развернувшихся после выступления двух докладчиков прениях приняли участие видные деятели статистической науки и практики. П. И. Попов обратил внимание делегатов на политическую подоплеку предложений оппозиции. По его мнению, они отражали интересы отдельных ведомств, которые «всегда носят в себе зерно обособленности». П. И. Попов прямо заявил, что с этими стремлениями к обособленности придется в будущем и «считаться», и «бороться».[53]

Весьма осторожную оценку позиции «меньшинства» дал П. А. Вихляев, отметивший, что доклад «касается в сущности не принципиальных положений, а отдельных пунктов, по которым сделан доклад в комиссии». Затронутые М. Ф. Заменгофом вопросы известный российский статистик расценил как чисто технические, рабочие моменты и отметил, что «мнение меньшинства не дает материала для возражений, составленных на основании прений об общем положении, которое лежит в основе этого доклада <...>».[54] Другой оратор — А. Е. Лосицкий — выступил с критикой формализма, с позиций которого «меньшинство» пыталось решать вопрос об организации государственной статистики. Их идея состояла в том, чтобы статистические органы создавались усилиями «организованного представителя статистической мысли» — конференции или съезда, «от которого зависит состав Совета по делам статистики». А между тем

это было во многом открытием уже изобретенного: съезд статистиков, на котором были заслушаны эти и другие доклады, как раз и занимался конструированием центрального статистического учреждения, то есть тем, чем предлагало заниматься съезду «меньшинство». А. Е. Лосицкий высказался за то, чтобы «пользоваться готовыми уже формами, готовыми организациями и их поставить на надлежащее место», не дожидаясь, пока одно — вышестоящее — статистическое учреждение определит задачи и формы деятельности другого — непосредственно ему подчиненного.[55]

Некоторые делегаты (Е. К. Введенский и В. В. Степанов) мотивировали необходимость определения «рамок деятельности» ЦСУ тем, что без этого «невозможно составление смет, а учреждение без сметы обречено на существование лишь на бумаге». Кроме того, как подчеркнул В. В. Степанов, ЦСУ является исполнительным органом Совета по делам статистики и одновременно оно выступает в качестве рабочего аппарата, имеющего «самостоятельные функции в известных пределах». Такое двоякое положение проектируемого учреждения также требовало четкого определения его функций.[56]

Рассмотрение различных точек зрения, выявившихся в ходе работы комиссии, показывает, что мнение П. И. Попова о проведомственной позиции «меньшинства» являлось несколько преувеличенным. Также как и «большинство» комиссии, они пытались отыскать способы обеспечения независимости положения и эффективности деятельности новообразуемого учреждения. Существование Отдела Переписи и Статистики при ВСНХ в первой половине 1918 г., укрепившее позиции земских и городских статистиков, давало возможность некоторым делегатам с оптимизмом смотреть в будущее, не видя в этом опасности ведомственного уклона и рассчитывая, что и в дальнейшем ВСНХ будет гарантом планомерности осуществления статистических работ в Республике. Стремление же «меньшинства» поставить под контроль высшей государственной власти Статистическое Бюро, Коллегию и председателя Совета объяснялось желанием создать равные условия работы для всех органов центральной государственной статистики, обеспечить такое положение, при котором исполнительный статистический аппарат не будет подавлять организационно-научный. Во всем остальном «меньшинство» выступало за соблюдение принципа самостоятельности статистических учреждений, при этом даже несколько абсолютизируя его. Позиция

же «большинства» комиссии отличалась большим прагматизмом. Для них было важнее создать в стране государственную статистику, чем обсуждать «идеальные» аспекты ее формирования.

После завершения прений по представленным двум докладам делегаты перешли к голосованию. Большинство из них поддержало предложение о руководящих функциях Совета по делам статистики по отношению к ЦСУ: «Центральное Статистическое Управление является исполнительным органом Совета по всем делам, восходящим на его рассмотрение, и подготовляет к докладу Совета вопросы, касающиеся статистической деятельности отдельных ведомств и представляемых ими на рассмотрение Совета».[57]

По вопросу о месте центрального статистического учреждения в ряду государственных органов власти и управления съездом было принято следующее положение: «Высший Совет по Делам Статистики является самостоятельным в служебном отношении, независимым от других Правительственных Установлений, Высшим Государственным Статистическим Учреждением, постановления которого по делам, подлежащим его рассмотрению и не требующим законодательной санкции, проводятся в исполнение без утверждения Высшей Правительственной Власти».[58]

В ходе обсуждения вопроса о руководящем составе Совета по делам статистики решающую роль сыграл выдвигаемый членами комиссии тезис о том, что утверждение Председателя Совета высшей государственной властью, «нарушая принципы самостоятельности деятельности Совета, переносит вопрос об избрании Председателя из чисто-статистической компетенции на шаткую почву политики». В итоге делегаты съезда высказались за то, чтобы Председатель Совета по делам статистики вступал в должность в силу своего избрания Советом и без утверждения властью.[59]

Большинство делегатов поддержало также идею существования статистических съездов двух типов, о которых говорил в своем докладе В. В. Степанов: «вольных» и «государственных».[60]

По вопросу о взаимоотношении с ведомствами съезд в соответствии с предложением П. И. Попова постановил включить в круг ведения Совета «рассмотрение ежегодно составляемых планов работ, как Центрального Статистического Управления, так и статистических учреждений отдельных ведомств», что должно было, по мысли участников съезда, обеспечить объединение и согласование такого рода работ.[61]

Помимо обсуждения проблем организации центрального статистического учреждения, съезд рассмотрел также и другие вопросы, среди которых выделялись несколько наиболее важных.[62]

Вопрос об организации местных статистических учреждений не вызвал больших разногласий. Наиболее значительное изменение, внесенное в первоначальный проект, представленный П. И. Поповым, касалось должности руководителя Губернского Статистического Совета. Делегаты съезда выступили против того, чтобы Председателем местного Статистического Совета являлся комиссар губсовнархоза или председатель губисполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов. Было решено, что председатель избирается Статистическим Советом из числа его членов.

Всесторонне обсудив и приняв с некоторыми поправками представленный комиссией В. В. Степанова проект, съезд вынес следующее общее постановление: «I. Действие узаконений, касающихся прямо или косвенно государственной статистики и изданных до образования советской власти, с момента издания положений — 1) об организации центральной государственной статистики и 2) об организации местных статистических учреждений — прекращается. II. Действие узаконений, касающихся прямо или косвенно государственной статистики и изданных советской властью и автономно действующими органами, согласуется с указанными положениями».[63]

В конце работы съезда были избраны Управляющий ЦСУ (им стал П. И. Попов)[64] и 15 членов Совета по делам статистики (среди них А. Р. Бриллинг — от отдела переписи и статистики ВСНХ, В. Р. Бриллинг — от отдела статистики СНХ Западной области, Н. М. Кисляков — от Витебского комитета по борьбе с безработицей, В. Я. Нагнибеда — от отдела экономической статистики Томского переселенческого управления, П. И. Неволин — от отдела статистики Владимирского губернского комитета по земским делам, А. М. Шишков — от оценочно-статистического отдела Вологодской земской управы и другие).[65]

Таким образом, на июньском (1918 г.) съезде российские статистики завершили разработку плана организации государственной статистики. Их идеи в основе своей были продолжением и развитием положений, сформулированных еще в дореволюционные годы. Несмотря на имевшиеся между ними разногласия, делегаты съезда в целом высказались за создание центрального, надведомственного и политиче-

ски независимого органа. Он должен был не только намечать общий план работ, но и разрабатывать данные, поступавшие от местных статистических организации — губернских и уездных бюро, которые, в свою очередь, действовали через местных агентов — волостных статистиков и добровольных корреспондентов.

После окончательной доработки в редакционной комиссии (П. А. Вихляев, К. Я. Воробьев, Н. И. Воробьев, Е. В. Пашковский, П. И. Попов и В. В. Степанов)[66] проект должен был обсуждаться в Совнаркоме.

В этот небольшой промежуток времени — с момента окончания работ съезда до обсуждения выработанных им проектов правительством — некоторые представители нового государственного аппарата открыто продемонстрировали свое нежелание признавать самостоятельность госстатистики. Так, например, президиум ВСНХ на своем заседании 26 июня 1918 г. — за день до обсуждения вопроса в правительстве — сформулировал свою точку зрения, о которой были оповещены местные совнархозы: «Предусмотренный всероссийским съездом статистиков статистический совет должен носить совещательный характер. Центральное статистическое бюро должно являться исполнительным органом, состоящим при одном из центральных учреждений».[67] Последнюю идею президиум ВСНХ «позаимствовал» из предложений «меньшинства» комиссии В. В. Степанова, но в сочетании с первой, самостоятельно определенной ведомством и приписанной съезду, получалась совершенно новая трактовка обсуждавшихся делегатами вопросов. Речь шла о создании статистического учреждения, существовавшего на правах одного из отделов ВСНХ.

Видимо, именно это стремление чиновничества вновь поставить статистику под ведомственную опеку, побудило П. И. Попова встретиться с главой СНК. «Я шел к нему, — вспоминал позже П. И. Попов, — с глубокой уверенностью, что горячее желание всех статистиков организовать государственную статистику найдет живейшее сочувствие в его лице».[68] Выслушав доклад П. И. Попова и задав несколько уточняющих вопросов, В. И. Ленин «подтвердил правильность, рациональность и своевременность организации единой центральной статистики», которая должна объединять все статистические работы и руководить ими, следуя «в направлении методического изучения народного хозяйства в целом». Кроме того, В. И. Ленин, указав на классовый характер статистики, выразил надежду видеть в ее лице «учреждение, работающее в интересах пролетариата и революции».[69]

27 июня 1918 г. состоялось заседание Совнаркома, на котором рассматривался, в частности, вопрос о создании центральной статистической организации, внесенный П. И. Поповым. «Против проекта возражали представители НКВД, — вспоминал впоследствии П. И. Попов. — Они предлагали сохранить Центральный Статистический Комитет и создать на местах новые органы, но не вдавались в детали. Представитель НКЮ заявлял, что организация государственной статистики немного сложна — Коллегия, съезды, Совет по делам статистики и что более удобно, по его мнению, назначить комиссара, который и подберет себе сотрудников».[70] Эти разноречивые выступления представителей государственной власти, к тому же «не вдававшихся в детали» обсуждаемого вопроса, не ослабили позиций П. И. Попова. Его поддержал в целом глава СНК, заявивший, что специфика статистических работ требует обсуждения их планов и программ в специальных органах и совещаниях и что «дело организации государственной статистики, по его мнению, построено совершенно правильно».[71] По его предложению для «окончательной редакции положения» была создана комиссия в составе А. Д. Цюрупы, В. П. Милютина, С. П. Середы и П. И. Попова.[72] Соответствующее постановление было подписано В. И. Лениным 29 июня 1918 г.[73]

В ходе двух заседаний этой комиссии (2 и 5 июля 1918 г.), к работе в которой были привлечены М. Н. Смит-Фалькнер, М. Ф. Заменгоф и другие, еще раз были затронуты основные вопросы, касающиеся положения статистических органов в системе государственных учреждений, рассмотренные на съезде статистиков. От имени президиума ВСНХ В. П. Милютин внес предложение, сформулированное еще 26 июня, о том, чтобы Центральная статистическая организация существовала в качестве отдела «при каком-нибудь учреждении, например, при В.С.Н.Х.». Кроме того, представители этого ведомства высказались за наделение Совета по делам статистики исключительно совещательными функциями. Однако по этим и другим вопросам, например, о местных статистических учреждениях, большинство членов комиссии не согласилось с предложенными ВСНХ поправками и, внеся лишь редакционные изменения, поддержало решения июньского съезда статистиков.[74]

Через некоторое время проект должен был вновь рассматриваться в Совнаркоме. Между тем неопределенность взаимоотношений центральной государственной власти и действующих статистиче-

ских учреждений вызывала серьезную обеспокоенность на местах. Так, 13 июля 1918 г. заведующий оценочно-статистическим отделом Тверской губернской земской управы Е. К. Введенский сообщал П. И. Попову о полученной им телеграмме за подписью наркома внутренних дел Г. И. Петровского с предложением «статистическим отделам и соответствующим органам местной администрации сообщать центральному статистическому комитету все статистические сведения, за которыми он к ним обращается». Изложив содержание телеграммы НКВД, Е. К. Введенский подчеркнул: «Если решение вопроса еще затягивается на неопределенное время, то Отдел будет вынужден исполнить требование Комиссариата и тем самым внести раздвоение в статистическую работу на местах, ибо запросы Центрального Статистического Комитета касаются тех же самых сведений, которых касаются и запросы Оцен[очно-]Стат[истического] Отд[ела] в его программах выборочной переписи посевов 1918 г. Поэтому прошу Вас срочно сообщить о положении дела».[75] 17 июля П. И. Попов направил в Тверь телеграмму, в которой заверил своего коллегу, что положение с обсуждением проекта в СНК «удовлетворительное».[76]

В действительности организаторам нового статистического учреждения еще предстояло приложить немало усилий для защиты своего начинания. И хотя на заседании 18 июля после выступлений П. И. Попова — от большинства комиссии и В. П. Милютина — от меньшинства комиссии — Совнарком постановил «единство Государственной Статистики признать бесспорным», все же выработанные статистиками проекты были несколько изменены.[77]

Летом–осенью 1918 г. было издано три положения: «О Государственной Статистике» (25 июля за подписью В. И. Ленина и В. Д. Бонч-Бруевича), «О Местных Статистических Учреждениях» (3 сентября за подписью А. И. Рыкова и В. Д. Бонч-Бруевича) и «О Совете по Делам Статистики» (6 сентября за подписью П. И. Попова).[78]

Во многих своих статьях эти документы подтверждали основные принципы организации статистики, разработанные съездом в июне 1918 г. Декларировался надведомственный характер Центрального Статистического Управления («Положение о Государственной Статистике», § 2 и § 7), заявлялось о прекращении деятельности Центрального статистического комитета и его местных органов («Положение о Государственной Статистике», прим. к § 4; «Положение о Местных Статистических Учреждениях», прим. к § 1), широ-

кие права предоставлялись местным статистическим учреждениям, формирующимся на основе земско-городских бюро («Положение о Местных Статистических Учреждениях», § 3). Все это позволило П. И. Попову, назначенному 30 июля Управляющим ЦСУ, сказать на 1-й сессии Совета по Делам Статистики в январе 1919 г., что «Государственная власть пошла навстречу указаниям людей науки и опыта, осуществляя их намерения в своих положениях».[79]

Однако П. И. Попов умолчал о крупном расхождении между властью и земцами по вопросу о статусе Совета по Делам Статистики. Дело в том, что властью была фактически отвергнута идея независимости этого высшего статистического органа и внесены соответствующие изменения. Согласно § 10 «Положения о Государственной Статистике» Совет по Делам Статистики создавался для разработки планов и практических мероприятий по объединению и согласованию деятельности различных статистических организаций, для проведения экспертной оценки планов и программ статистических обследований, для разработки вопроса о распространении статистических знаний и для разработки вопросов и методов наблюдения и обработки статистических данных. Совет состоял при Центральном Статистическом Управлении и, как отмечалось в первом выпуске журнала «Вестник статистики», не имел «того самостоятельного значения, которое предполагал проект, выдвинутый Съездом».[80]

Кроме того, в опубликованных «Положениях» противоречиво решался вопрос о взаимоотношениях государственной и ведомственной статистики. Так, в § 3 «Положения о Местных Статистических Учреждениях» говорилось о том, что «статистические учреждения, находящиеся при Комиссариатах и других ведомствах: Земледелия, Продовольствия и т. д., перестают существовать самостоятельно, сливаясь с Губернскими Статистическими Бюро, образуя лишь его отдельные секции <...>». В то же время, согласно § 4 того же «Положения» губернские комиссариаты могли иметь статистические организации, обслуживающие их «специальные нужды» и не входящие в состав губстатбюро.[81] Это создавало формальные возможности для развития ведомственного сепаратизма в данном вопросе и проведения параллельных с ЦСУ работ.

Таким образом, с созданием летом 1918 г. ЦСУ завершился длительный процесс объединения статистических сил страны на базе органов земской и городской статистики. Инициатива в его созда-

нии исходила от деятелей статистической науки и практики и была поддержана большевистской властью. Выработка основных подходов к вопросу о формировании ЦСУ, об особенностях его положения в новой системе органов государственной власти и управления проходила демократичной обстановке, сопровождаясь многочисленными дискуссиями внутри статической корпорации, в частности, по вопросу о целесообразности ведомственной подчиненности ЦСУ. В основу созданного статистиками проекта был положен принцип надведомственности ЦСУ, не имеющего властных функций, не связанного с какой-либо одной частью государственного аппарата, а, следовательно, объективного и способного предоставить необходимые правительству данные для планомерной организации народного хозяйства и общественной жизни. Совнарком хотя и поддержал в целом выработанные на статическом съезде идеи, все же отверг тезис о полной самостоятельности ЦСУ, и предпринял необходимые меры для обеспечения контроля над его деятельностью, формально подчинив ЦСУ. При этом было допущено существование и ведомственной статистики, что означало существенную уступку интересам наркоматов. В целом, формирование ЦСУ проходило под воздействием трех основных факторов — деятельности корпорации земских статистиков, представителей центрального госаппарата и высшей политической власти. Создание ЦСУ явилось своеобразным компромиссом интересов всех перечисленных структур.

---

[1] РГАЭ. Ф. 105. Оп. 1. Д. 129. Л. 17 об.

[2] РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 896. Л. 189, 402–404.

[3] ЦГА СПб. Ф. 9410. Оп. 1. Д. 3. Л. 188.

[4] См.: Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики. 1686—1990: Биографический словарь. М., 1993. С. 31–33, 59, 72, 86, 98, 121.

[5] Громан В. Г. Об организации государственной статистики // Проблемы статистики. 1926. № 1. С. 39.

[6] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 90.

[7] Там же. С. 95.

[8] Там же. Т. 32. С. 110, 443; Т. 35. С. 148.

[9] Рябушкин Т. В. Ленинское наследие и статистика. М., 1978. С. 42.

[10] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 192.

[11] См.: Там же. Т. 35. С. 147–148, 195–205; Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму: 1917–1929 гг. М., 1994. С. 64.

[12] Каблуков Н. А. Статистика. Изд. 2-е. М., 1915. С. 250–251.
[13] Вестник статистики. 1993. № 5. С. 8–16.
[14] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
[15] Там же. Д. 2. Л. 27.
[16] Там же. Л. 25.
[17] Там же. Д. 60. Л. 3.
[18] Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 172–174.
[19] См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 37. Л. 6.
[20] Там же. Л. 6 об.
[21] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
[22] См.: Там же. Д. 55. Л. 1–1 об.
[23] Там же. Д. 37. Л. 15.
[24] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 2–3
[25] Там же. Л. 3. См. также: Завьялов Ф. Возвращенное наследие // Вестник статистики. 1989. № 6. С. 42.
[26] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. См. также: Завьялов. Указ. соч. С. 42.
[27] РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 896. Л. 408.
[28] Там же. Л. 410.
[29] Там же. Л. 410–410 об.
[30] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 12–13.
[31] РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 896. Л. 412 об. –413.
[32] Там же. Л. 413 об.
[33] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 12.
[34] РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 896. Л. 414–414 об.
[35] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 17.
[36] Там же. Л. 23.
[37] Там же. Л. 19.
[38] Там же. Л. 20.
[39] Там же. Л. 21.
[40] Там же. Л. 38.
[41] Там же. Л. 37.
[42] См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 69–72 об.; Д. 30. Л. 9.
[43] Там же. Д. 30. Л. 92 об. –93.
[44] Там же. Л. 93.
[45] Там же. Л. 97.
[46] Там же. Л. 97–97 об.
[47] Там же. Л. 98 об.
[48] Там же. Л. 265.
[49] Там же. Л. 265–266.
[50] Там же. Л. 266.
[51] См.: Там же. Л. 272–273.
[52] Вестник Статистики. 1919. № 1. С. 163.
[53] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 279.
[54] Там же. Л. 281–282.
[55] Там же. Л. 286–287.

[56] Вестник Статистики. 1919. № 1. С. 162.

[57] Там же.

[58] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 30. Л. 12.

[59] Вестник Статистики. 1919. № 1. С. 163.

[60] Там же. С. 164.

[61] Там же. С. 164–165.

[62] См.: Там же. С. 165–169.

[63] РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 30. Л. 10.

[64] Кандидатура на должность Управляющего ЦСУ практически не вызвала разногласий. В ходе голосования П. И. Попов получил 56 голосов, П. А. Вихляев — 4, В. Г. Громан — 2, Н. А. Каблуков — 1 голос. См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 28. Л. 417.

[65] См.: Вестник Статистики. 1919. № 1. С. 169.

[66] Состав редакционной комиссии см.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 30. Л. 10.

[67] Народное хозяйство. Орган Костромского губернского совета народного хозяйства. 1918. № 2. С. 34.

[68] Попов П. И. Государственная статистика и В. И. Ленин // Вестник статистики. 1988. № 7. С. 49.

[69] Там же. С. 52.

[70] РГАЭ. Ф. 105. Оп. 1. Д. 27. Л. 19.

[71] Там же. Л. 20.

[72] См.: ГАРФ. Ф. Р–130. Оп. 2. Д. 2. Л. 78–79; Хрящева А. И. К десятилетию советской государственной статистики // Статистика и народное хозяйство. Статьи и материалы. Вып. 4. М., 1929. С. 6.

[73] Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 5. М., 1974. С. 584.

[74] См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 37. Л. 47–53.

[75] Там же. Л. 65.

[76] Там же. Л. 69.

[77] ГАРФ. Ф. Р–130. Оп. 2. Д. 2. Л. 132–133, 143–144.

[78] См.: СУ. 1918. № 55. Ст. 611; № 67. Ст. 729; № 70. Ст. 766.

[79] Вестник статистики. 1919. № 2–3. С. 149. Кроме того, СНК в заседании 21 ноября 1918 г. утвердил список членов Коллегии ЦСУ, в состав которой вошли известные статистики, начало деятельности которых относится еще к концу XIX столетия: Е. В. Пашковский, А. И. Хрящева, Ф. Г. Дубовиков, С. М. Богословский, П. А. Вихляев, В. Г. Михайловский, Т. И. Семенов, И. А. Поплавский, В. В. Степанов и другие. Следует отметить, что Коллегия была сформирована исключительно по профессиональному признаку, без учета партийной принадлежности указанных лиц, их социального происхождения и т. п. См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 12. Л. 43.; Оп. 307. Д. 2780, 3994, 457, 2946, 3312, 16, 3568, 2964, 358, 1152, 396, 633, 2429, 3550, 2674.

[80] Вестник статистики. 1919. № 1. С. 163.

[81] СУ. 1918. № 67. Ст. 729.

А. Л. Дмитриев

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НКФ СССР: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

После событий октября 1917 г. большое число ученых покинуло Россию. Однако некоторые, оставшиеся в России продолжали работать. Ниже речь пойдет об одном из научных учреждений нашего города, вокруг которого группировались экономисты, юристы и географы, — Ленинградском отделении Института экономических исследований НКФ СССР. В литературе практически полностью отсутствует обзор деятельности этого научного заведения,[1] а между тем в нем трудились блестящие ученые первой половины XX в. Это прежде всего: А. И. Буковецкий, В. М. Штейн, В. Н. Твердохлебов, В. В. Степанов, А. Л. Рафалович, В. В. Новожилов, Я. С. Розенфельд, А. В. Венедиктов, В. Э. Ден, И. А. Блинов и многие другие.

В 1924 г. для журнала «Наука и ее работники» была подготовлена историческая записка об истории создания института и его деятельности, которая так и не была опубликована. Автора записки установить не удалось. Эта записка позволяет представить деятельность института за несколько лет его существования. В записке отмечалось, что в момент перестройки хозяйственной жизни страны на новых началах на очередь выдвигается вопрос о создании учреждения научно-исследовательского характера, деятельность которого была бы направлена на выяснение сложных факторов, из которых складывается народное хозяйство страны. «Мысль о создании такого учреждения, по образцу существующих учреждений в Германии, Англии, Италии и др. странах, зародилась у лиц, состоявших во главе Редакции периодических изданий Комиссариата финансов».[2] Со-

здать институт, который стал бы центром экономических знаний, проводил бы самостоятельные исследования и составлял бы справки по вопросам народного хозяйства, стало возможным благодаря использованию прежнего отлаженного аппарата редакции. Первоначально аппарат состоял из штатных редакторов по отдельным экономическим вопросам и отраслям промышленности. Вокруг него группировался ряд специалистов — ученых и практиков, по отдельным вопросам. После того как было прекращено издание «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов, промышленности и торговли» в октябре 1918 г. этот многочисленный штат образовал основное ядро новых еженедельников «Финансы и народное хозяйство» и «Экономическая жизнь Севера».

Кроме налаженного аппарата, от редакции «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов» сохранился и коллектив статистиков, специалистов по экономическим вопросам и уникальная по подбору трудов библиотека — собрание печатных и рукописных записок различных ведомств дореволюционного периода по вопросам промышленности, торговли, труда и т. д., а также законодательства России.

«В широком смысле, цель Института экономических исследований определялась как финансово-экономические познание России и изучения ее производительных сил».[3] Идея создания института получила конкретное воплощение в силу Декрета СНК РСФСР от 15 марта 1919 г. В момент возникновения Института его штат состоял из двух отделений — Московского и Петроградского. Каждое из отделений состояло из нескольких отделов, в составе представителей науки и практики. Петроградское отделение состояло из 5 основных отделов: 1) экономических исследований, 2) справочно-статистического и библиографического, 3) библиотеки и архива, 4) издательства и полиграфических заказов, 5) книжного склада и магазина «Экономист». Располагался институт по адресу пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 42.

В свою очередь отдел экономических исследований распадался на ряд секций, подсекций и постоянных комиссий. Были созданы секции: финансово-экономическая, по внешнему товарообмену, труду, транспортная, сельскохозяйственная, лесная, горнозаводская, металлургическая, химическая, текстильная, литературно-издательская и подсекции: мукомольная, сельскохозяйственного ма-

шиностроения, метеорологическая. Кроме того, были основаны постоянные комиссии: уральская, по изучению богатств Олонецкого края, по устройству народнохозяйственного музея — выставки «Север». Целью создаваемого музея являлось собрание материалов по вопросам изучения хозяйственной жизни Севера. При справочно-статистическом отделе института было создано и Особое справочное бюро, которое должно было выдавать широкой публике справки законодательного, административного характера, о деятельности центральных и местных советских учреждений, профессиональных союзов, кооперативов и их организаций, библиографические (о вновь вышедших изданиях), статистические по самым разнообразным вопросам.

Целью отдела издательских и типографских заказов было издание научных трудов (монографий, обзоров и обследований), серии популярных брошюр, переиздание наиболее ценных дореволюционных работ, издание на русском языке наиболее значимых работ иностранных ученых.

В задачи книжного склада «Экономист» входило обслуживание органов власти, кооперативных и общественных организаций по экономически вопросам.

В августе 1919 г. институт был переименован в Редакционно-издательскую коллегию Наркомфина. Кроме того, были сужены задачи коллегии, а деятельность всех секций была свернута. На коллегию были возложены задачи сбора материалов и проведения исследований отдельных отраслей, финансов и народного хозяйства в основном для нужд Наркомфина и ВСНХ. Государственным издательством был утвержден перечень трудов финансового характера, намеченных Наркоматом финансов к изданию. С этого периода открывается второй весьма неблагоприятный этап деятельности института. Деятельность отдельных комиссий и секций, которые фактически еще оставались, начала постепенно замирать — прекратила работу комиссия по изучению Севера, химическая, текстильная, металлургическая, труда. Число сотрудников стало резко падать. Во многом это было связано с тяжелыми условиями жизни в голодном Петрограде.

С наступлением 1920 г. и улучшением жизни в городе в деятельности института началось некоторое оживление. Ряд комиссий и секций, которые оказались маложизненными были ликвидированы (это коснулось горнозаводской, химической, электротехнической,

металлургической, текстильной, комиссии по Уралу, мукомольной секции). Взамен были образованы секции по районированию и рационализации народного хозяйства, комиссии — рыбная, топливно-лесная, радиофикационная, по составлению экономических записок, росписи государственных доходов и расходов, по изучению экономических взаимоотношений Советской России с Италией и Румынией, по изучению расходов и последствий от эвакуации промышленных предприятий окраин вглубь России и т. д.

Секция по районированию и рационализации народного хозяйства должна была заниматься разработкой нового деления России на районы экономической деятельности, исходя из принципа рациональности — требования дать населению наиболее дешевые продукты питания. Топливная комиссия должна была готовить предложения по устранению препятствий в работе лесозаготовительных организаций.

Кодификационная комиссия выработала проекты положений о доходах, промысловом и натуральном налогах и о налоге с городских немуниципальных недвижимостей, проект устава о гербовом сборе, положение о пошлинах с безвозмездно переходящих имуществ и т. п. Однако ни один из проектов не получил поддержки в виду отмены в стране всех прямых налогов.

До революции редакции «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов» занимались составлением объяснительной записки к государственной росписи доходов и расходов. В 1920 г. Наркомфин решил возобновить издание объяснительной записки, причем для этого имелся богатый опыт.

Ряд национальных комиссий (Польская, Финляндская, Латвийская, Румынская, Итальянская, Литовская) были созданы по заданию Наркомфина для анализа финансово-экономического взаимодействия РСФСР с этими странами.

В 1920 г. продолжала работать финансово-экономическая секция с двумя подсекциями (финансовой и трудовых договоров), секция труда и литературно-издательская.

Следующий период в деятельности института начался с января 1921 г. Он открылся конференцией, собранной Петроградским отделением института. Там были намечены основные направления будущей деятельности:

1) изучение финансовых вопросов, разрабатываемых по заданию Наркомфина;

2) разрешение проблем, связанных с заключением договорных отношений между РСФСР и государствами, образованными на окраинах бывшей Российской империи.

Первое направление разрабатывалось финансово-экономической секцией и несколькими постоянными комиссиями, второе — секцией товарообмена и торговых договоров.

Очередное изменение структуры института произошло в октябре 1921 г. Как отмечалось в записке «хотя самый характер научных трудов и исследований остался почти без изменений, но приноравливаясь к непрерывно меняющимся условиям хозяйственной жизни Республики, они приняли несколько иной оттенок и потекли по новому руслу».[4] Большую роль здесь сыграло расширение деловых связей РСФСР с заграницей и институт стал входить в круг задач Наркомвнешторга.

Секция внешнего товарообмена и торговых договоров была преобразована в специальный отдел внешней торговли с тремя комиссиями (таможенно-тарифной, по районизации экспортных центров, по торговым договорам) и двумя подкомиссиями (по делам Ближнего Востока и Финляндии).

Таможенно-тарифная комиссия подвергла анализу статьи таможенного дохода до войны и составила проект нового таможенного тарифа, который послужил основой таможенного тарифа от 16 февраля 1922 г.

Комиссия по районизации экспортных центров выясняла районы экспорта главнейших статей торговли: хлеба, масла, яиц, сахара, пеньки и т. п.

Комиссия по торговым договорам составила проекты нескольких договоров: русско-французского, русско-английского, русско-афганского, русско-польского и русско-германского. Кроме того, был разработан вопрос о финансировании и кредитовании торговли и об учреждении экспортно-импортных товариществ.

Широкое развитие получила и редакционно-издательская деятельность. Было напечатано свыше 300 печатных листов различных изданий. Петроградское отделение института подготовило и издало три тома (т. 3–5) «Сборника декретов и распоряжений по финансам», содержащего законодательные материалы с июля 1920 г. по июль 1922 г.; «Обзор финансового законодательства. 1917–1921 гг.»; сборник «Денежное обращение, финансы и внешняя торговля инос-

транных государств»; работу П. В. Оля «Иностранные капиталы в России»; работу А. Т. Арского «Финансовая наука. Краткий курс», четыре выпуска сборника «Народное хозяйство в 1916 г.», первый том «Материалов по денежной реформе 1895–1897 гг.» и другие издания. Кроме того, были подготовлены: сборник «Народное хозяйство в 1917–1918 гг.» и второй том «Материалов по денежной реформе 1895–1897 гг.».[5]

Одним из направлений деятельности института был вопрос о новом ценностном измерителе труда. Дело в том, что по мере национализации промышленности и введения военного коммунизма в деревне происходило сокращение частно-хозяйственной деятельности и отказ от денежных расчетов — возникла идея натурализации заработной платы. Исполняя задание, Наркомфин выработал соответствующий проект декрета и положения, согласно которым за единицу измерения труда принимался один день труда рабочего первого тарифного разряда при выполнении им 100 %-ной нормы выработки. Прежде всего, введение такой характеристики необходимо было для целей учета. В институте проект этого положения был подвергнут детальному анализу и было дано заключение, согласно которого исчисление материальных благ и услуг счетной трудовой единицей теоретически возможно. Но определение основной единицы счета представит затруднения — она не удовлетворяет требованиям необходимой точности, а составление необходимых прейскурантов потребует очень больших затрат. В связи с этим институт указал на важность применения денег и отметил необходимость упорядочения денежной системы.

Введение нэпа поставило другую важнейшую задачу — стабилизацию курса рубля. В этом направлении разрабатывались следующие вопросы: о рационализации эмиссионных операций, выяснение вопроса о регулировании процесса усвоения эмиссии товарным оборотом. В результате рассмотрения этого вопроса институт пришел к следующему заключению: «дальнейшее использование эмиссионной системы, исторически доказавшей свою пагубность для народного хозяйства, может уничтожить все благоприятные результаты от исправления наших финансов, налогами, монополией и т. д. и послужить тормозом для дальнейшего экономического прогресса».[6]

Один из важнейших вопросов, который разрабатывался институтом, был вопрос о возможности восстановления производительных сил в стране без надлежащего кредита и без сильной денежной сис-

темы. Сотрудники института полагали, что регулирование денежного хозяйства должно быть возложено на один орган — Банк России, при условии отказа со стороны государства от эмиссионного права. Из-за нарушенной системы кредитования, институт считал целесообразным широко привлекать иностранный капитал, «выдав соответствующую концессию и обставив ее должными гарантиями».[7]

Определенные предложения института касались формирования бюджетной политики: считаясь с наличием «денежно-натурального строя», институт указывал, что стремление соединить в одно целое денежный и материальный бюджет представляет собой неразрешимую проблему, а потому в бюджет следует включать лишь денежные доходы и расходы. Для натуральных поступлений следовало бы ввести специальную систему учета.

Одно из направлений деятельности института этого периода — анализ налоговой системы. Институтом были даны рекомендации о восстановлении системы налогообложения, причем на первое место предполагалось выдвинуть оплату государственных услуг, на второе — пошлины, монополии, косвенные налоги, на третье — все виды прямого обложения. Институт рекомендовал также отдать в концессию различные угодья, промышленные предприятия, образовать акционерные общества.

С июля 1922 г. в жизни института начался новый период — он превращается в научный орган и выполняет задания своего ведомства — Наркомфина. Главным образом институт давал коллективное мнение ведущих специалистов Петрограда относительно важнейших экономических вопросов. Однако средства на содержание института были сокращены. Так, если на январь 1922 г. штат института состоял из 28 человек, то с сентября 1922 г. он сократился до 23, а с февраля 1923 г. до 10 человек. Тем не менее, в институте работало около 70 внештатных сотрудников — крупных специалистов по отдельным вопросам экономики, финансов и права.

Институт вынужден был расчленить свое ядро на комиссии: по вопросам денежного обращения, по вопросам бюджета и финансовой организации, по налоговым вопросам, по выяснению экономической конъюнктуры, по финансированию промышленности, по вопросам торговых договоров и торговой политики. Координацией деятельности комиссий занимался финансовый отдел, уцелевший при реформировании института.

Деятельность института в этот период была направлена на различные сферы экономики и финансов. Так в области денежного обращения работа сводилась к предложениям по совершенствованию и упорядочению девизной политики, проблемам использования золота в обращении, созданию легального денежного рынка, выяснению значения курсовых разниц в котировке банкноты на официальном и неофициальном рынке. В области финансовой политики — это вопросы построения Государственного банка и системы коммерческих банков, структуры местных бюджетов, порядка их построения и утверждения. В области налогов — изучение прямых и косвенных налогов, их влияния на экономическую активность, анализ действующей системы промыслового обложения, недостатки системы обложения предприятий, торгующих роскошью. В области исследования акцизов — изучение более активного их использования и устранение недостатков их применения в текстильной промышленности. Особенно пристального внимания в работе института заслуживали работы в области изучения промышленности. Когда в 1921 г. после введения нэпа промышленность была переведена на хозяйственный расчет, предполагалось, что будет активно накапливаться оборотный капитал. Но обесценение бумажных денег очень быстро показало, что в обстановке падающей валюты проблема финансирования вовсе не может быть разрешена. Институт поставил своей целью изучить финансовое положение промышленных предприятий, преимущественно Северо-Западной области (лесной, химической, кожевенной и металлургической промышленности). Со второй половины 1923 г. институт стал заниматься вопросами экспортных возможностей Северо-Западной области. Еще одним направлением исследования было изучение конъюнктуры Северо-Западной области — состояние денежного обращения в Ленинградском регионе и изучение причин кризисов сбыта.

Обширная работа проводилась институтом по экономике и финансам для делегации на международную конференцию в Генуе. Это, прежде всего, вопросы, связанные с ликвидацией старых расчетов между Россией и заграницей, восстановление России как части мирового хозяйства. Институт полагал, что восстановление народного хозяйства и развитие производительных сил невозможно без самого широкого привлечения иностранного капитала — в форме денег или в форме технического оборудования. В материа-

лах института подчеркивалось, что «участие иностранного капитала, в форме ли денег или технического оборудования, не должно быть монополией одной национальности и в отдельных отраслях хозяйственной деятельности, что предоставление монопольных прав национальным капиталам допускается лишь при эксплуатации отдельных предприятий, что участие государства в качестве пайщика или акционера, с преобладающим влиянием — является наиболее желательной формой организации, и предпочтение должно отдаваться капиталу, обеспечивающему свободу развития собственных сил страны и тем отраслям, организация которых дает толчок развитию возможно большего числа видов хозяйственной деятельности».[8]

После закрытия Генуэзской конференции был поставлен вопрос об экономическом сближении с Германией и на институт было возложено изучение вопроса о формах и методах работы германского капитала в различных отраслях народного хозяйства РСФСР. Сюда примыкали вопросы о русско-германской торговле, по пересмотру таможенного тарифа 16 марта 1922 г., о правовом вопросе транзита, о регулировании денежного рынка в связи с внутренней и внешней политикой Германии.

Развитие внешней торговли России в 1922—1923 гг. поставило вопрос о значении активного торгового баланса для урегулирования вопросов кредита и денежного обращения. Это побудило Наркомат финансов заняться проблемами торговой политики — вопросом завоевания русским экспортом прежнего места на мировом рынке. В связи с этим институт занялся вопросами конъюнктуры мирового рынка важнейших экспортных товаров: хлеба, льна, пеньки, золота, серебра, бриллиантов. Поскольку внешняя торговля напрямую зависела от транспорта, то институт посвятил ряд заседаний транспортным проблемам. Сюда же примыкал вопрос и о страховании экспортных и импортных товаров.

Практически ни один вопрос, касающийся области финансов и выдвигавшийся на первый план, не остался без своевременного отзыва со стороны института, который «неуклонно играл роль маяка, во всех случаях колебаний подымал в своих заключениях трезвый, строго-объективный и научно-обоснованный голос, в результате чего некоторые мероприятия, по понятию института вредные для государства и народного хозяйства, не получили осуществления,

либо были изменены согласно его указаниям, либо проблемы, подымавшиеся институтом, привлекали внимание руководящих кругов и получили должное направление».[9]

Как отмечал автор записки о деятельности института, «история работ института как бы отражает в небольшом объеме историю финансово-экономических и главным образом финансовых проблем и идей в последнее пятилетие и работы его <...> имеют громаднейший интерес, как материал для будущего историка финансов и экономики переживаемой эпохи».[10]

Остановимся теперь на персональном составе института. На 1 января 1925 г. штат института выглядел следующим образом (в скобках год рождения): [11]

штатные сотрудники: А. Т. Арский (наст. фамилия Радзишевский) (1886) — директор, Г. С. Касперович (1879) — управляющий отделом, В. М. Штейн (1890) — зам. главного ученого секретаря, В. Н. Твердохлебов (1876) — председатель научной секции, С. Ф. Вебер (1857) — председатель бюджетной комиссии, А. В. Венедиктов (1887) — консультант, В. В. Степанов (1868) — зав. библиотекой, В. В. Желватых (1859) — председатель комиссии финансов, А. В. Руднев (1888) — ученый секретарь, И. В. Новиков (1875) — научный сотрудник, В. В. Новожилов (1892) — ученый секретарь научной секции, Е. В. Стрекалова (1877) — зав. секцией, О. Н. Сячинтова (1883) — машинистка;

сверхштатные сотрудники: И. А. Блинов (1874) — председатель комиссии по торговым договорам, А. И. Буковецкий (1881) — председатель денежно-кредитной комиссии, Р. Г. Гольдберг (1880) — ученый секретарь промышленной комиссии, С. В. Сигрист (1897) — ученый секретарь комиссии по торговли, А. Д. Брейтерман (1883) — ученый секретарь финансовой комиссии, Л. Н. Милославова (1898) — помощник ученого секретаря комиссии по торговым договорам, Н. И. Кузнецова (1900) — ученый сотрудник, А. П. Романова (1899) — исполняющая обязанности бухгалтера, Е. П. Цыбинина (1883) — делопроизводитель, Н. В. Кулибина (1873) — библиотекарь, Н. И. Одолеева (1878) — помощник библиотекаря, К. А. Слатинцева (1896) — курьер, П. В. Калузина (1888) — курьер, Т. И. Николаева (1896) — курьер, Т. В. Эдлер — машинистка.

Практически еженедельно в институте заседали секции и комиссии на которых обсуждались научные доклады сотрудников по тем или иным вопросам. Тематика докладов была чрезвычайно широ-

кой. По результатам обсуждений принималось заключение, которое затем представлялось в Москву.

Большой интерес представляет издательская деятельность института. Институтом был подготовлен проект издания «Библиотеки финансовых знаний». В преамбуле к проекту указывалось, что «в данную минуту в СССР, как и в других странах, наблюдается повышенный интерес к области финансовых знаний. Сложность современных экономических отношений заставляет интересоваться финансовыми вопросами широкий круг лиц, в прежнее время обыкновенно не сталкивавшихся совершенно с финансовыми проблемами».[12] И если на Западе появилось значительное количество новой литературы, которая доступна не только специалистам, но и лицам, имеющим общую подготовку, то в СССР до сих пор таких изданий очень немного. Так, серия, задуманная П. Б. Струве до революции при издательстве «Русской мысли», не пошла дальше трех книг. В серии «Экономика», начатой в 1921 г., вышли в свет порядка 12 книг и быстро разошлись. Поэтому потребность в новой литературе была существенна — «было бы желательно создать в СССР специальную серию книг, посвященную по преимуществу финансовым вопросам в широком понимании данного определения, написанную в СССР для русского, вполне подготовленного читателя <...>».[13] Серия была задумана по весьма широкому плану: денежное обращение, валюта и вексельный курс, финансирование промышленности, кредитование экспорта, биржи и биржевые операции, государственный бюджет важнейших иностранных государств и СССР, косвенные налоги, торговые договоры, страхование, хозяйственное право и многое другое. Для составления библиотеки были привлечены: И. М. Кулишер, В. Н. Твердохлебов, М. Я. Пергамент, А. И. Буковецкий, В. М. Штейн, Ф. А. Вальтер, А. В. Руднев, Р. Г. Гольдберг. В результате в этой серии вышли книги: Налоги в иностранных государствах / Под ред. В. Н. Твердохлебова. М., 1926; Гензель П. П. Прямые налоги: Очерк теории и практики. Л., 1927; Микеладзе П. В. Косвенные налоги. Л., 1927; Понтович Э. Э. Финансовый контроль. Л., 1928; Александров А. М. Пошлины и налоги на обращение. Л., 1929; Карпенко Б. И. Финансовая статистика: Статистика налогов и бюджетов. Л., 1929 и др.

Институтом с декабря 1920 г. по май 1921 г. издавался «Бюллетень по финансово-экономической жизни Запада» (вышел всего 151 номер). Эти бюллетени размножались на гектографе и печатались

очень ограниченным числом экземпляров. В них кратко освещалась текущая информация на самые разнообразные темы хозяйственной и политической жизни Запада.[14] Вот лишь некоторые темы бюллетеней: производство сахара в Германии, Лондонская фондовая биржа в 1920 г., добыча золота в Трансваале, мировое производство пшеницы в 1920 г., цены на швейцарском кожевенном рынке, защита интересов английских сельских хозяев.

В 1921 г. началась подготовка «Справочника о России для заграницы». История создания этой книги следующая (информация об этом содержится в письме И. А. Блинова к А. Т. Арскому). Нарком финансов Г. Я. Сокольников будучи заграницей обратил внимание на то, что европейская печать и широкие круги крайне плохо и неверно информированы о России. Поэтому по возвращении из-за границы он поручил составить книгу, которая могла бы служить целям получения правильной деловой информации. Сокольниковым была высказана мысль об издании этой книги на французском языке в Лейпциге, им же был разработан план книги. Написание справочника выполнялось в Петрограде.[15]

В институте родилась идея издания первой в России «Финансовой энциклопедии». Авторами ее стали в основном сотрудники института. А редакторами ее стали А. И. Буковецкий и И. А. Блинов. Энциклопедия была издана в Москве в 1924 г. Второе издание энциклопедии вышло уже под общей редакцией Г. Я. Сокольникова, Д. П. Боголепова, А. И. Буковецкого, Н. Н. Деревенко и Д. Г. Тарасова. По существу это было новое издание, поскольку ее материал на треть был обновлен, а остальные две трети — значительно переработаны.[16] В архивном фонде института сохранились оригиналы статей для «Финансовой энциклопедии» с редакторской правкой.[17]

Во второй половине 20-х гг. деятельность института начинает постепенно сворачиваться. Но на первый квартал 1926/27 г. был запланирован большой объем работ по каждой из секций.[18] Окончательно институт прекратил свое существование в 1929 г.

---

[1] Небольшая информация о деятельности института содержится в работе Л. Д. Широкорада «Проблемы финансовой политики и истории финансов России в научной и педагогической деятельности А. И. Буковецкого», опублико-

ванной в сборнике «История финансовой политики в России» (СПб., 2000).

[2] ЦГА СПб. Ф. 4237. Оп. 1. Д. 4 . Л. 29.

[3] Там же. Л. 30.

[4] Там же. Л. 86.

[5] Там же. Л. 89.

[6] Там же. Л. 92. Сведений об издании второго выпуска «Материалов по денежной реформе 1895–1897 гг.» нет.

[7] Там же. Л. 93.

[8] Там же. Л. 105.

[9] Там же. Л. 108.

[10] Там же.

[11] Там же. Оп. 1. Д. 10. Л. 2об–3.

[12] Там же. Оп. 3. Д. 52. Л. 1.

[13] Там же.

[14] Там же. Оп. 2. Д. 6.

[15] Там же. Оп.3. Д. 54. Л. 30.

[16] См.: Широкорад Л. Д. Указ. соч. С. 327.

[17] См.: ЦГА СПб. Ф. 4237. Оп. 3.

[18] Там же. Оп. 2. Д. 63. Л. 1086–1094.

В. С. Измозик, Н. Б. Лебина

НЭП: УТОЧНЕННАЯ ХРОНОЛОГИЯ (ИСТОРИКО–АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)

Идея написать эту статью возникла под неизбежным давлением повседневной практики научно-педагогической жизни. В преподавательской среде постоянно идут споры о том, что усваивает и чего не в состоянии осмыслить студент неисторического вуза, вынужденный, тем не менее, слушать курс российской истории. Логика подсказывает, что лучше всего студенческая аудитория воспринимает модели исторического развития, то есть упрощенное построение действительности, где в обобщенной форме выделены предположительно значимые связи и отношения. Однако даже упоминание слова «модель» вызывает нередко резкое неприятие, которое мотивируется благородной идеей защиты исторического знания от вторжения социологии и социальной теории. Подобное желание соблюсти «невинность» музы Клио не только наивно, но и ложно по своей сути. Ведь история не существует без хронологии и различного рода периодизаций. Более того, они являются самой упорядоченной частью исторической науки и самой простейшей моделью прошлого.

В конце 1980-х гг. российские историки стали яростно спорить о значимости периодизации в познании прошлого. Но большинство из них, стремясь вырваться из-под влияния догм «Краткого курса» и его духовных наследников, считало, что периодизирование не является ключом к методологии и принципы, заложенные в нем «не свидетельствуют о научном, теоретическом, идейном и вообще какомлибо серьезном уровне исторического исследования».[1] Согласиться с этой точкой зрения трудно. Ведь поиск этапов и периодов является своеобразным видом моделирования исторического процесса, которое представляет собой важнейший способ решения научной пробле-

мы. Историк, анализируя сохранившиеся источники, может исследовать лишь условно реконструированное прошлое. Он изначально имеет дело с моделью, а не с реальностью. При этом, как подчеркивает нидерландский ученый Питер Доорн, «простая модель обладает большей возможностью для решения проблемы <...>». Сложная модель же содержит больше информации, «она лучше отражает действительность, но тем меньше значения имеет она для объяснения. При масштабе 1:1 модель перестает объяснять что бы то ни было».[2] Она всего лишь описывает. Действительно, супердробная периодизация как вид сложной модели уже не позволяет выявить какие-либо закономерности. Она подразумевает изучение событийной картины не только каждого года, но и месяца, дня, часа и т. д. Это неизбежно превращает явление в частный случай, тем более что всю полноту картины восстановить невозможно и детализация становится способом фальсификации человеческой истории как единого общемирового процесса. Ограничения и упрощение — это базовая основа любой концепции. И в данном контексте периодизация является неотъемлемой частью научного познания. Более того, приверженность к той или иной периодизации, а по сути дела, модели исторического процесса свидетельствует о принадлежности к определенной исторической школе и направлению. Блеск и нищету простых моделей можно продемонстрировать на материалах российской истории 20-х гг. XX столетия, ныне ассоциирующихся с господством нэпа.

Историография новой экономической политики огромна. И все же следует согласиться с утверждением авторов издания «Политическая история. Россия — СССР — Российская Федерация» о том, что в большей степени исследовались экономические аспекты нэпа.[3] Политические процессы, проходившие в эти годы в стране, до конца 1987 г. рассматривались советскими историками, в силу существовавших общественных условий, практически в одном ключе: как борьба партии большевиков с «антиленинскими и буржуазно-реставраторскими течениями». Лишь недавно, если использовать терминологию московского историка М. М. Горинова, был совершен переход «от изучения лидеров к исследованию структур» при анализе политических характеристик нэпа.[4] К числу исследований нового типа можно отнести работы Е. Г. Гимпельсона, И. В. Павловой и др.[5] Однако они пока не отразились на принципах построения концептуальной модели нэпа.

И все же априорное ощущение многослойности новой экономической политики, представляющей собой целый комплекс достаточно противоречивых и даже подчас взаимоисключающих мер как в сфере народного хозяйства, так и в области политики, идеологии и культуры, порождало постоянные споры о периодизации нэпа. Десятки лет в советской исторической науке официально господствовала точка зрения, что завершением нэпа стало выполнение второго пятилетнего плана и построение в основном социалистического общества.[6] Эта мысль имела своим, уже не называемым, источником высказывание И. В. Сталина в докладе о проекте новой Конституции 25 ноября 1936 г.: «<...> мы имеем теперь последний период нэпа, конец нэпа, период полной ликвидации капитализма во всех сферах народного хозяйства».[7] Такой взгляд больше опирался на формальное понимание ленинской идеи о нэпе как пути возможного перехода к социализму, чем на комплексный анализ фактического материала. Искусственное растягивание временных рамок новой экономической политики лишний раз должно было подчеркнуть мысль о том, что изменения политико-идеологического и экономического курса партии большевиков были четко спланированы и скоординированы с общей теорией построения социализма в одной стране. Конечно, были историки, пытавшиеся оспорить это утверждение на основе реальных фактов. Например, в ходе дискуссии о нэпе в 1966—1968 гг. Ю. А. Мошков заявлял, что эта политика закончилась в конце 1920-х гг. Но подготовленную им статью не опубликовали, лишь критически упомянув о ней в редакционном обзоре по итогам обсуждения.[8] Лишь в конце 1987 г., в обстановке распространения «перестройки» на область гуманитарных наук, академик М. П. Ким предложил датировать конец нэпа 1927 г., связывая это с решениями XV съезда ВКП(б).[9] Сегодня, в результате свободного обсуждения, основной стала, обоснованная В. П. Даниловым, идея о том, что временем перехода к фронтальному слому нэпа явился 1928 г. с его насильственными, внеэкономическими мерами проведения хлебозаготовок, а конечным рубежом этой политики был 1929 г.[10]

Начальная же точка нэпа традиционно связывается с решениями X съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом — март 1921 г. Более того, в конце 1980-х гг. дебатировался вопрос об отнесении начальной границы нэпа к весне 1920 г., когда Л. Д. Троцкий разработал

проект тезисов «Очередные задачи хозяйственного строительства».[11] К этому времени относятся и восторженно необоснованные заявления о том, что «переход от военного коммунизма к новой экономической политике был совершен резко, как бы прыжком от пропасти <...>». А рубежом перехода назван март 1921 г.[12] Таким образом, хронологическими рамками нэпа ныне считаются весна 1921 — весна 1929 гг. Они создают некую модель, с помощью которой в целом возможно охарактеризовать новую экономическую политику как период санкционированного свыше сосуществования плюралистической экономики и монистической политической системы. И в этом несомненное достоинство данной модели-периодизации. Но это, как нам представляется, весьма упрощенный образ действительности 1920-х гг. с точки зрения истории людей.

Нэп — не только и не столько путь построения социализма, но и способ наиболее рационального перехода российского общества от войны к миру, отказ от характерных для военного времени «чрезвычайных» форм быта, возвращение к традиционной, нормальной стилистике жизни. Поэтому, наверно, в политико-экономической истории государства модель нэпа как периода 1921—1929 гг. работает и имеет полное право на существование. Но мы убеждены в том, что периодизация для различных форм исторического бытия не обязательно должна быть единой. В данной статье мы пытаемся определить временные рамки нэпа в контексте российской повседневности. А это значит, что построение такой детальной модели новой экономической политики невозможно без ответа на вопрос, когда российское население и, в частности, горожане освоили нэп на ментальном уровне. Ведь несмотря на постоянный интерес и ученых, и политиков к эпохе 1920-х гг. историко-антропологический контекст нэпа и сегодня остается неизученным.[13] Частично этот пробел попытались заполнить авторы сборника «Россия в эру нэпа», вышедшего под редакцией американских историков Ш. Фитцпатрик и Р. Стайтза.[14] В российской же историографии по-прежнему отсутствуют работы, посвященные изучению комплекса проблем нэповской повседневности, а конкретнее, телесных практик городского населения в 1920-е гг. И это отражение общей ситуации развития исторической антропологии в России.

Исследования историко-антропологического направления завоевали уже достаточно прочное положение в отечественной историо-

графии, касающейся проблем всеобщей истории. Российское же прошлое в данном контексте изучено недостаточно. «Неочевидность и прерывистость культурно-антропологического следа» в трудах, посвященных истории России, ярко продемонстрировал А. И. Куприянов. Он, пожалуй, первым среди наших соотечественников провел серьезный историографический обзор работ, прямо или косвенно связанных с исторической антропологией, и осмелился назвать причины отставания этого направления исследовательской деятельности.[15] К их числу А. И. Куприянов справедливо относит языковый барьер, возникающий между учеными, тяготеющими к традиционным направлениям исторического знания, и исследователями, пытающимися заниматься исторической антропологией. Последних обычно обвиняют в стремлении усложнить восприятие исторической действительности привнесением в нее понятия ментальности, действительно несколько расплывчатого и многообразного. Однако вряд ли кто-либо сможет опровергнуть то обстоятельство, что история ментальности связана с некой типологической личностью, черты которой формируются окружающей культурой. И здесь огромную роль играет исследование быта, который, по выражению Ю. М. Лотмана, «в символическом его ключе есть часть культуры».[16]

Поведенческие стереотипы личности в значительной мере формируются под влиянием быта. И в то же время особенности и формы обыденной жизни человека являются выражением его социально-культурного статуса. Л. П. Карсавин писал: «Материальное само по себе в своей оторванности неважно. Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и эстетические взгляды, и его социально-экономический строй».[17]

Вещи-знаки, используемые в быту, образуют своеобразный код конкретно-исторического времени. Феномен новой экономической политики изначально символичен и семиотичен по своей природе. Знаковый характер носит сама аббревиатура — нэп. До недавнего времени она ассоциировалась с песней «Бублики», разгулом мещанства и неуемной ненавистью пролетариата к «нэпманам»- еще одним знаком. Иной образ нэпа, символом которого стал полностью обеспеченный золотом советский червонец — появился в общественном сознании в конце 1980-х гг. и сразу был несколько идеализирован.

Истинные же реалии нэпа, до сих пор остающиеся в тени, рельефнее всего обнаруживаются при скрупулезном изучении знаков повседневной жизни «маленьких людей», человеческой обыденности, связанных, в частности, с культурно-биологическими комплексами исторической антропологии. А если говорить еще более конкретно, со знаковым выражением телесных практик 1920-х гг.

Крупнейший современный социальный теоретик П. Бурдье подчеркивает, что «социология должна действовать, исходя из того, что человеческие существа являются в одно и то же время биологическими индивидами и социальными агентами <...>».[18] Личность обладает не только духовностью, она имеет тело, которое в контексте новейших западных концепций рассматривается как посредник между индивидуальным и социальным. Подобный контекст нэпа со всеобщего молчаливого согласия почти не затрагивался российскими историками с начала 1930-х гг. В 1920-е же гг. изучение социально-политических реалий новой экономической политики было неотделимо от освещения телесно-бытовых практик.[19] И возврат к этому сегодня представляется весьма перспективным.

Одной из наиболее ярких и в то же время внешне прозаичных сторон повседневной жизни эпохи нэпа являются проблемы одежды, питания и жилья населения. Социальные тела располагаются в конкретном физическом и историческом пространстве. Эпоха оставляет на них свой символический социальный код и, как на чистых листах бумаги, по меткому выражению М. Де Серто, стремится «записать закон» времени.[20] Социально-политическая обстановка 1920-х гг. не могла не оставить своего «знака» на внешнем обличии населения. Однако детальное изучение бытовых символов познавательно не только с историко-антропологической точки зрения. Оно позволяет дифференцировать общую модель исторической действительности периода новой экономической политики применительно к бытовым практикам населения.

Начальная точка этой хронологии на самом деле, в данном отношении, весьма сомнительна. Ни весной, ни даже летом 1921 г. не существовало реальной экономической свободы, этой важнейшей составляющей нэпа. Лишь в начале осени 1921 г. под давлением ситуации, связанной с жестоким голодом в Поволжье и других районах, унесшим жизни почти 5 млн. чел., провалом товарообмена, большевистское руководство вынуждено было расширить масштабы от-

ступления от военно-коммунистической доктрины. Был отменен государственный товарообмен, разрешена свободная торговля хлебом, что способствовало раскрепощению товарно-денежных отношений. Но и даже после этого некоторые военно-коммунистические методы налогообложения продолжали действовать. В течение почти двух лет советское государство устанавливало все новые и новые натуральные налоги на разнообразные виды продовольственных и товарно-производственных товаров из деревни. Основные принципы работы государственной промышленности в условиях нэпа были зафиксированы в официальных документах лишь летом 1921 г. Это децентрализация управления отраслями, перевод предприятий на хозрасчет, материальное стимулирование рабочих, сдача предприятий в аренду, создание иностранных концессий, переход от милитарной системы к свободе труда. Однако и здесь процесс внедрения нэпа шел крайне неравномерно. И, как замечает В. А. Шишкин, «образование трестов, использование терминов «хозрасчет», «себестоимость», «прибыль», «самоокупаемость», «ценообразование» и др. — все это оказалось в известной мере имитацией элементов капиталистического производства <...>».[21] Исследователи процессов, проходивших в это время в российской глубинке, отмечают, что декреты центра в 1921 г. практического результата не имели.[22]

Партийные и государственные документы 1921 г. не могли, конечно, мгновенно изменить и сложившийся за период гражданской и отчасти первой мировой войны особый стиль жизни горожан и, возможно в меньшей мере, жителей села. Знаковым выражением военно-коммунистической повседневности являлись детали внешнего облика толпы на городских улицах. Г. Уэллс, посетивший Петроград осенью 1920 г., писал: «Люди обносились <...>. Вряд ли у кого в Петрограде найдется во что переодеться».[23] Не лучше уличной толпы выглядели в то время и представители творческой элиты города. На встрече в Доме искусств Г. Уэллсу, судя по воспоминаниям Ю. П. Анненкова, пришлось выслушать почти истерическое выступление журналиста А. В. Амфитеатрова. Оно для социального историка является, хотя и излишне эмоциональным, но ярким и достоверным описанием гардероба горожанина того времени. Обращаясь к Г. Уэллсу, А. В. Амфитеатров сказал: «Вы не можете подумать, что многие из нас, и может быть более достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутству-

ющих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним нет ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, бельем <...>».[24] Подобными деталями наполнено большинство дневников и биографических записей деятелей искусства, литературы, науки того времени.

«Оборванство» интеллигенции усиливалось благодаря действовавшим в то время принципам распределения. Распределительное снабжение носило достаточно хаотический характер. Константой был лишь принцип классового подхода к наделению предметами одежды. Однако в условиях разрухи и нищеты никакая система распределения не могла обеспечить нормального существования даже «классово полноценным элементам». Ощущение неравенства в «пайковом» обществе усиливалось. Это отчетливо проявилось в остром конфликте, возникшем на предприятиях города в конце зимы — в начале весны 1921 г., практически одновременно с Кронштадтским восстанием. Внешне может показаться, что данное совпадение — свидетельство осознанно отрицательного отношения рабочих к большевистскому режиму вообще и, в частности, к бытовым практикам военного коммунизма. На самом же деле недовольство носило весьма конкретный характер. Уже летом 1920 г. рядовые коммунисты стали обращаться с письмами в ЦК РКП(б), требуя прекратить развитие системы материальных привилегий для должностных лиц. Речь шла не только о продовольственном снабжении, но и о системе распределения одежды. Появление знаковых признаков новых элитных слоев было зафиксировано повсеместно. В сентябре 1920 г., выступая на заседании Петросовета, рабочий Обуховского завода заявил: «Товарищи, при буржуазном строе я ходил в грязной блузе, а паразит, тот, который избивал нашего брата и кровь его пил, носил галстуки и крахмалы, а теперь и наши товарищи и члены нашей организации унаследовали эти галстуки и крахмалы и сами начали чище буржуазии наряжаться».[25]

Действительно, наряду с обшарпанной массой на улицах российских городов можно было увидеть относительно прилично одетых людей. Это были не только дельцы «теневой» экономики, но и представители новой партийно-государственной элиты, а также люди из их аппарата. При Петроградском Совете, например, уже в 1918 г. существовал особый склад конфискованных вещей, выдачи из которого производились только по особым запискам. Здесь можно было

получить любую одежду самого лучшего качества. К. И. Чуковский во время своего очередного визита за пайком к Б. Г. Каплуну, управделами Петросовета, в конце 1920 г. отметил в дневнике, что секретарша большевистского бонвивана «типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шику, high life'у. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником и говорит она так: "Представляете, какой ужас, — моя портниха"».[26] Прекрасно одетой и ухоженной выглядела и М. Ф. Андреева — комиссар театров и зрелищ Союза коммун Северной области. З. Н. Гиппиус летом 1919 г. записала в дневнике впечатливший ее факт. В приемной М. Ф. Андреевой часами томились люди, ожидавшие аудиенции, в том время как комиссар по театрам беседовала с личным сапожником по поводу формы каблука на будущих новых ботинках.[27]

Конечно, для основной массы партийно-советской номенклатуры такие одеяния не были характерны. Но и она резко отличалась от маленьких людей одеждой более подходящей для повседневной жизни, но также достаточно редкой и престижной. Первое место сдесь занимала кожанка. В семиотическом контексте данный предмет одежды имел ярко выраженное знаковое содержание. Он кодировал принадлежность личности к высшим слоям советского общества периода гражданской войны. Кожанка подчеркивала причастность человека к социальным переменам, произошедшим в России в 1917 г. Она служила пропуском в любое советское учреждение и, конечно, ассоциировалась с привилегиями элит нового общества. Любопытно подчеркнуть превращение кожаной куртки — форменной одежды летчиков и шоферов эпохи первой мировой войны — в символ революционной моды. Этот социальный смысл хорошо улавливали рядовые горожане. Не случайно на уже упоминавшемся заседании Петросовета в сентябре 1920 г. звучали требования «все кожаные тужурки, галифе и фуражки отдать на фронт, в Красную армию».[28] Достать кожанку — предмет вожделения многих — было нелегко.

Недовольство рабочих ущемлением своих «имущественных прав» представителями новой элиты нарастало. В феврале 1921 г. при очередном дележе одежды и обуви на многих фабриках и заводах из списков претендентов исключили не только служащих, но и лиц, не достигших 18 лет. Подобные случаи были зафиксированы не только в Петрограде, но и в Москве на заводе Бромлея, на Урале на Мото-

вилихинском заводе под Пермью. Это вызвало резкое недовольство подростков. В Петрограде они немедленно примкнули к «волынкам» — особой форме забастовок конца зимы-начала весны 1921 г. На Трубочном и Адмиралтейском заводах, на заводах «Эриксон», «Парвиайнен», «Арсенал» в феврале 1921 г. прошли стихийные митинги. Выступавшие там молодые рабочие в основном говорили о необходимости урегулировать вопрос с выдачей одежды. Очень редко звучали требования «свободы слова, печати и созыва Учредительного собрания».[29]

Даже в ходе кронштадтского восстания, как свидетельствуют политические сводки, основные трения происходили из-за неравномерности пайков. В сводке, подготовленной ревтройкой 1-го городского района марта 1921 г. указывалось, что «нарушают нормальный ход работы споры о распределении обуви и одежды, которое происходит по всем предприятиям. Это больше всего интересует рабочих, чем все кронштадтские события». Таким образом, большинство рабочих выражало недовольство не сутью военно-коммунистической распределительной системы, а сбоями в ее работе.[30]

Наделение предметами быта обретало в сознании населения ярко выраженный семиотический смысл. Не удивительно, что стремясь урегулировать кризисную ситуацию в Петрограде, властные и идеологические структуры не уповали лишь на умиротворяющее воздействие решений X съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, что , как известно, в плане государственной политики означало переход к новой экономической политике. Еще в феврале 1921 г. СНК принял постановление о сокращении привилегированных пайков и уравнивании норм снабжения руководящих кадров и рабочих, что свидельствовало о твердой ориентации и в дальнейшем на нормированное распределение продуктов и одежды. Та же политика продолжалась и весной 1921 г. Петроградский губком РКП(б) в апреле 1921 г. постановил для «окончательной ликвидации кризиса в рядах рабочего класса предложить президиуму губисполкома (Петроградского Совета. — *В. И., Н. Л.*) ускорить снабжение молодежи предметами первой необходимости».[31] В результате наиболее нуждающимся выдали, кроме постельного белья, по одному головному убору и одной паре ботинок на троих.[32]

И все же рабочие и после формального введения нэпа находились на привилегированном положении, как и партийно-советская но-

менклатура, что подтверждает наличие военно-коммунистических элементов в повседневной жизни российских городов летом и осенью 1921 г. Жена известного экономиста Б. Д. Бруцкуса, высланного из России в 1922 г., в июне 1921 г. с отчаянием записала в своем дневнике: «Устала я страшно от недоедания и нищенской жизни. Рыскаю по городу от знакомых к знакомым в поисках какой-нибудь старой пары обуви для сына. О новой паре и думать нашему брату нельзя. Обувь раздается только коммунистам и матросам».[33]

Изменения в облике крупных городов, во внешнем виде их жителей, появление новых повседневных практик дневники и воспоминания фиксируют с лета 1922 г. В первую очередь, это касалось Москвы. Слушатель Института красной профессуры И. И. Литвинов записал в дневнике 17 июля 1922 г.: «Страна <...> оживает. <...> Появились лихачи <...>, раньше их было не видать. Люди стали работать, стали питаться, наряжаться и размножаться. Беременных теперь встречать можно на каждом шагу».[34] Такой внимательный наблюдатель окружающей жизни, как М. М. Пришвин, отметил 9 августа 1922 г.: «В глуши мы все еще считаем ценности пудами муки, но в городах считают деньгами <...> разные интеллигенты, адвокаты, инженеры возвращаются в города».[35] Когда же он приехал в Москву, в его дневнике 8 сентября впервые появляются оптимистические строки: «Вчера сидел на бульваре и наслаждался лицами молодых людей, смелыми, гордыми <...>, как будто новая порода вывелась».[36] Подобное же чувство радости жизни ощутил в столице 27 ноября 1922 г. К. И. Чуковский: «пробегая по улице <...>, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнечном, где шелка и бриллианты».[37] Коренной москвич Н. П. Окунев, автор дневника за 1917–1924 гг., 29 октября 1922 г. записал: «Жизнь попрежнему тесна, грязна, страшна, черства и тосклива, но есть и простор, и лоск, и сытость и разгулье, и только все в каких-то нездоровых, неестественных формах».[38]

Изменения в жизни провинции нарративные источники фиксируют с весны-лета 1924 г. В июле 1924 г. корреспондент из Полтавы сообщал родственнику в Ленинград: «Начали достраивать электростанцию. <...> Обещают к концу мая 1925 г. пустить трамвай. Канализация прокладывается черепашьим шагом».[39] В октябре того же

года в письме в армию автор сообщал: «Ты наш Челябинск теперь не узнаешь. <...> Красят здания, шлифуют тротуары, сносят старые ненужные лавчонки, доканчивают постройку недоконченных домов, снесли старый мост и теперь строят большой <...>. Чайную открыли, ряд новых магазинов <...>».[40]

Столь же постепенно люди ощущали и осознавали изменения в своей личной жизни. Еще в январе 1922 г. натуральная часть заработной платы — вещи и иные предметы быта — в полтора раза превышала денежную.[41] Организованное распределение обуви и одежды продолжалось до осени 1922 г. Окончание вещевых выдач можно считать реальным переходом к нормам нэпа в повседневной жизни. Однако на ментальном уровне усвоение бытовых практик новой экономической политики происходило еще более медленно. Материальное положение основной массы населения даже к середине 20-х гг. оставалось весьма скудным. Поэтому, после отмены бесплатных выдач вещей оборванство маленьких людей на первых порах даже возросло.

Теперь оно вплотную коснулось и рабочих. Многие из них, судя по воспоминаниям наборщика одной из питерских типографии, «ходили в гимнастерках с «разговорами» (так называли в шутку красные поперечные клапаны), носили ботинки с обмотками, а на голове — буденновки-шлемы».[42] Нередко на заседаниях фабрично-заводских комитетов обсуждались ходатайства о выдаче материальной помощи для покупки платья и обуви. Весьма характерно заявление, поступившее в 1923 г. в заводский комитет Обуховского завода. В документе отмечалось: «Из одежи у него (у рабочего. — *В. И., Н. Л.*) ничего нет, кроме того в чем ходит на работу, а на работу ходит в рваном. То, что есть порвано и поношено».[43]

Неважно была одета и основная масса молодежи, учившейся в 1922–1923 гг. в вузах и на многочисленных рабфаках. Писательница В. К. Кетлинская вспоминала о своей студенческой молодости: «В обиходе у меня были одна юбочка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в театр».[44] Заметные трудности продолжала испытывать интеллигенция, ученые, писатели. Н. О. Мандельштам совершенно серьезно писала: «Женщины, замужние и секретарши, все мы бредили чулками». Сама она к моменту переезда в Ленинград в середине 20-х гг. имела «одно пальто на все сезоны и туфли с проношен-

ной подошвой, подшитые куском шелка от юбки».[45] В дневниковых записях К. И. Чуковского, датированных декабрем 1922 г., зафиксировано «состояние» его расползшегося по швам пальто.[46]

Вообще типичной чертой внешнего облика жителей городов было ношение перешитых вещей, чаще всего одежды дореволюционного образца. Д. А. Гранин писал о временах своего детства: «Вещи в ту пору жили долго, многие дремали в сундуках, пересыпанные нафталином. В начале лета их вынимали, вывешивали во двор проветриваться. Мы дети сидели возле них и их стерегли. Чего там только не висело: тулупы, шали, шелковые платья, френчи, будто мода ничего не могла сделать с этими прочными сукнами, бостонами, плюшами, чесучевыми пиджаками, габардиновыми плащами».[47] В первоначальном виде носить эти вещи было уже невозможно, они не соответствовали новому жизненному темпу города. Однако морально устаревшие туалеты часто использовались в преображенном виде. То, что было уже не пригодно к переделке на себя горожане отдавали старьевщикам. Эта профессия возродилась после того, когда прекратился прямой обмен вещей на продукты и началась купля-продажа. Старую одежду доставляли на толкучки и барахолки. Здесь с конца 1922 г. жители крупных городов чаще всего и приобретали необходимые им вещи, но уже не путем обмена, за живые деньги.

Примерно до 1924 г. на вещевых рынках можно было найти и особо престижные предметы одежды, носившие на себе пока еще отпечатки социальных приоритетов эпохи военного коммунизма, в частности, кожанку. В начале 1920-х гг. этот вид одежды был самым ходовым товаром. В Ростове-на-Дону, по воспоминаниям В. Ф. Пановой, шикарным считалось иметь еще и портупею с пустой кобурой.[48] В первую очередь эти вещи даже после введения нэпа стремились приобрести начинающие партийные работники и комсомольские активисты. Тянулись к внешней революционной атрибутике и желающие таким образом приобщиться к «пролетарской культуре» представители средних городских слоев и — в первую очередь — молодежь. Надеть кожанку для многих из них означало зафиксировать факт изменения их социальной ориентации. В. Ф. Панова писала, что в самом начале 1920-х гг. ее муж, юноша из интеллигентной семьи, «ковал» из себя железного большевика: говорил гулким басом, вырабатывал размашистую походку, а главное, любыми путями стремился приобрести кожанку.[49]

Кожаная куртка одновременно была и символом неустроенности быта, вынужденного аскетизма, уместных лишь в условиях военного времени. Падение престижа кожанки как модного атрибута являлось признаком демилитаризации жизни. Эту ситуацию по ряду источников можно зафиксировать в 1924 г. и оценить как дату, связанную со стабилизацией нэпа в ощущениях уже значительной части горожан. Отказ от кожанки демонстрировал не только усталость от психологического напряжения военного времени, но и то, что уровень жизни заметно повысился, и люди начали приобретать и шить себе новые вещи с новым знаковым содержанием. Например, в апреле 1924 г. неизвестный корреспондент из г. Новониколаевска (Новосибирска) писал в частном письме: «Жизнь у нас стала, что в мирное время <...> публика очень хорошо стала одеваться».[50]

В середине 1920-х гг. часть горожан стала вновь прибегать к услугам портных. Пошивочные услуги довольно смело предлагали частники, нередко пользовавшиеся известностью еще до революции. Сын К. И. Чуковского писатель Н. К. Чуковский писал: «В первые годы нэпа, если отбросить спекулянтов и лавочников, стоявших как бы вне советского общества, самым зажиточным слоем городского населения Петрограда были ремесленники-кустари — портные, шапочники, сапожники <...>. Многие из них, как, например, известный портной Иосиф Наумович Слонимский, покровительствовали художникам. И. Н. Слонимский имел целый особняк на ул. Петра Лаврова в доме 10. Здесь же размещалась его мастерская».[51] Существовали, конечно, и мастера, предлагавшие услуги по более дешевым ценам. Многие женщины из «бывших», получившие навыки шитья при обучении в пансионах, гимназиях, а нередко и институтах благородных девиц типа знаменитого Смольного в Петербурге, начали заниматься шитьем на дому, робко формируя круг клиентуры из числа «знакомых своих знакомых». Любопытная деталь, относящаяся к концу 1923 г. и иллюстрирующая это обстоятельство, имеется в воспоминаниях Е. А. Скрябиной. Дочь члена Государственной думы впоследствии в годы второй мировой войны волею судьбы оказалась за пределами СССР и стала профессором русского языка и литературы в университете штата Айова. В 1920-е гг. семья, жившая в то время в Нижнем Новгороде, пыталась как-то приспособиться к новым условиям советской жизни. Мать Е. А. Скрябиной не могла найти работы. Именно тогда знакомые и посоветовали заняться шитьем на за-

каз. «До сего времени мама, — вспоминала Елена Александровна, — шила только на меня, но мои туалеты в детстве славились своим изяществом. Теперь был большой недостаток в хороших портнихах. Женщины опять начали хорошо одеваться». Первой клиенткой, правда, оказалась «каменная баба», некая толстая, весьма непривлекательная Агафья из бывших кухарок.[52] Распространение пошивочных услуг явилось признаком возвращения к традиционным нормам повседневной жизни и сближением с бытовыми практиками Запада, где уже господствовал новый стиль в одежде.

Самые выразительные превращения наблюдались, конечно, в женском костюме. В период первой мировой войны особую популярность приобрел военизированный стиль одежды. Кожанки были частью этого модного направления. В начале 1920-х гг. стремление к ношению одежды в таком стиле в Европе стало резко сокращаться, что свидетельствовало о растущих тенденциях демилитаризации повседневной жизни. Парижский шик в то время по описанию русской эмигрантки балерины Н. Тихоновой означал примерно следующее: «В то время <...> мода требовала от дам чудом сделаться худыми и плоскими и одела их в короткие, до колена платья с талией на бедрах и декольте до пояса <...>. Вокруг шеи дамы носили нитки жемчуга — настоящего или фальшивого — обязательно спускающегося почти до колен <...>. Орхидея на левом плече считалась почти обязательной».[53]

Не отставали от парижской моды и жители городов советской России. В. Кетлинская так описывает наряд, в который «приодели нэпманы» ее подругу для совместного похода в ресторан: «Когда Сашенька скинула пальто <...>, на ней оказалась длинная, ниже бедер, золотистая парчовая блуза с искусственной хризантемой на плече».[54] Остромодными стали считаться ботинки на шнуровке, лиса или песец на одном плече, недлинный каракулевый жакет — сак, маленькие надвинутые на глаза шапочки. Появились и новые прически — стрижка «буби-копф», очень короткая, четко вырисовывающая форму головы. В мужском костюме фаворитами стали ботинки «шимми» или «джимми» и брюки «оксфорд» — короткие до щиколотки и узкие. Часть горожан, судя по источникам, имела в середине 1920-х гг. эти вещи в своем гардеробе. Поэт Д. Хармс записал в своем дневнике в сентябре 1926 г.: «Купил сапоги “Джим” в Гостином дворе. Невская сторона, магазин 28».[55]

Все эти вещи представляли собой престижный набор одежды. Одновременно происходило и падение популярности кожанки, о чем свидетельствуют материалы дискуссии, развернувшейся на страницах молодежной печати в 1926—1927 гг. Работница московской типографии «Красный пролетарий» писала в журнал «Смена»: «Теперь, если ходить в кожаной куртке, девчата фыркают». А молодые текстильщицы Иваново-Вознесенска, развивая эту тему на страницах «Комсомолки», сообщали: «Что иногда говорит комсомолец? Если ты в кожанке, какой к тебе интерес!»[56] Действительно, как образно выразился посетивший Советскую Россию в 1925 г. немецкий литератор В. Беньямин, безразличие к одежде «из униформы господствующего класса (рабочих. — *В. И., Н. Л.*) начинает превращаться в признак слабого по борьбе за существование».[57]

Модные во второй половине 1920-х гг. брюки «оксфорд» и ботинки «Джимми», платья птичьего покроя и маленькие шляпки становились знаковыми признаками благополучия и социальной стабильности такого нового слоя населения как нэпманская буржуазия. Ее субкультура, выраженная, в частности, и в моде, начинала представлять реальную опасность для советского государства, ориентированного на эгалитаристские идеалы. Фасоны платьев и обуви оказывали значительно большее влияние на настроения населения, нежели труды философов и политических деятелей, окрещенных представителями мелкобуржуазной стихии. Не случайно еще в 1921 г. В. И. Ленин отмечал, что самый решительный бой за социализм — это бой «с мелкобуржуазной стихией у себя дома».[58] Однако наивысшей точки этот бой достиг лишь в конце 1924 — начале 1925 гг. в момент стабилизации нэпа.

В это время в стране развернулась дискуссии о партийной этике, основным содержанием которой явилось прежде всего осуждение существующих бытовых практик. Пленум Центральной Контрольной Комиссии в октябре 1924 г., посвященный вопросам партэтики, отметил: «Период нэпа таит в себе опасности, особенно для той части коммунистов, которая в своей повседневной деятельности соприкасается с нэпманами. Неустойчивые элементы начинают тяготиться режимом партийной дисциплины, завидуют размаху личной жизни новой нэпманской буржуазии, поддаются ее влиянию, перенимают ее навыки, ее образ жизни <...>».[59] «Онэпивание» — термин партийных документов — понималось, особенно местным активом, весьма

широко, распространяясь, в том числе, на обстановку бытовой жизни и внешний облик. Любопытно отметить, что если во времена военного коммунизма натиск на хорошо одетых людей, а это прежде всего были партийный функционеры, вели беспартийные массы, то во второй половине 1920-х гг. инициаторами гонений на «буржуазную одежду» явились сами партийные и комсомольские активисты разных уровней. Они объявили настоящую войну приверженцам «нэпманской моды».

Обвинения в пристрастии к «буржуазной моде» нередко сопровождались политическими и административными выводами. В конце 1925 г. московский партийный работник, автор слов песни «По долинам и по взгорьям» П. Парфенов писал известному деятелю ВКП(б) В. В. Осинскому о своих разговорах с крестьянами во время пребывания в родной сибирской деревне. Например, председатель маслоартели Зубов говорил: «Тут велосипед нельзя завести <...>. Разве мне не ставят на вид на каждом почти собрании, что я купил себе граммофон, что я – буржуй». Комментируя эти высказывания, автор письма сообщал, что «признаками для лишения гражданских прав признавались <...> не только случаи найма батрака», но «хороший дом», «еда на тарелках» и «вообще все признаки крестьянской опрятности и достаточности». В частности, родных самого Парфенова лишили избирательных прав в связи с постройкой нового дома, имевшего четыре комнаты и теплый туалет. Главным обвинением было то, что «сортир в дому могут строить только буржуи».[60]

Подобные обвинения звучали не только в глубинке, но и в крупнейших промышленных и культурных центрах. В пристрастии к хорошей одежде, а, следовательно, в мелкобуржуазных замашках пытались обвинить Г. Е. Зиновьева в ходе дискуссии 1925–1926 гг. Судя по многочисленным воспоминаниям 1932 г., принадлежащим ленинградским рабочим, их очень раздражало, что сын Зиновьева ходил «в приличном костюме». «Мы, — вспоминал комсомолец завода имени В. И. Ленина, — нашли это нездоровым уклоном».[61]

В данном контексте становится понятным камуфляж, к которому вынужден был прибегнуть С. М. Киров, отправленный в конце 1925 г. в Ленинград, где предстоял решительный бой с Зиновьевым и «новой оппозицией». По воспоминаниям рабочих завода имени Егорова, приехавший туда на партийное собрание представитель ЦК ВКП(б) «был в осеннем пальто, в теплой черной кепке и выглядел настолько зау-

рядно и просто, что егоровцы даже говорили, что многие рабочие представительнее его по внешности».[62] Этот нарочито пролетарский вид был своеобразным пропагандистским ходом, стремлением подчеркнуть свое единение с рабочим классом.

Властные и в особенности идеологические структуры в это время активно пропагандировали аскетизм в одежде. На страницах молодежного журнала «Смена» С. Н. Смидович, заведующая отделом работниц при ЦК ВКП(б), гневно клеймила девушек, стремящихся к приобретению шелковых блузок, заявляя при этом, что лишь «развращенные буржуазки ласкают свою кожу прикосновением шелка».[63] Эти идеи внедрялись комсомольскими активистами в бытовых коммунах, членам которых запрещалось носить туфли на каблуках. На собраниях ячеек ВЛКСМ часто осуждалось пристрастие к галстукам, косметике, украшениям. Они считались знаковыми признаками «буржуазного разложения». К людям, имевшим в своем гардеробе вещи явно непролетарского характера, в партийных и комсомольских организациях относились с большой настороженностью. Бывший рабфаковец 1920-х гг. К. Л. Брук вспоминал, как его, члена РКП(б), исключили из Университета во время чистки 1924 г. лишь потому, что он носил старую студенческую форму с чужого плеча. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы получить репутацию «белоподкладочника».[64] Не удивительно, что в 1929 г. на общегородской комсомольской конференции в Ленинграде представителю ЦК ВЛКСМ был задан вопрос: «Что должен носить комсомолец и можно ли по одежде определить классового врага?».[65]

Последним активным натиском на нэмпанскую моду явилось введение в 1928 г. юнгштурмовской формы. «Комсомольская правда» писала: «Образец формы предлагаем московский (гимнастерка с откладным широким воротником, с двумя карманами по бокам, с двумя карманами на груди, брюки полугалифе, чулки и ремень, можно портупея)». На эти атрибуты возлагались большие надежды. ЦК ВЛКСМ считал, что форма юнгштурма «дисциплинирует комсомольцев», позволит «воспитать чувство ответственности у комсомольца за свое пребывание в комсомоле, примерность поведения у станка, на улице, дома <...>».[66]

Юнгштурмовка — знак, содержанием которого явилось бы отрицание внешних образов бытовой культуры нэпа. Но просуществовал этот знак весьма недолго. Историк повседневности, работающий со

специфическими источниками, может привести целый ряд доказательств того, что именно к 1929 г. по сути дела прекратилась многолетняя борьба с нэпманской модой. В результате репрессий и налоговых притеснений социальный статус новой буржуазии к этому времени резко понизился. Естественно, что и внешняя атрибутика данного общественного слоя утратила свою престижность и привлекательность.

В конце 1920-х гг. принятый партией большевиков курс форсированного построения социализма возродил принципы классового распределения, неотделимые от нищенства рядового человека. Конечно, в обстановке вновь воцарившегося оборванства идеологический натиск на какие-либо виды одежды был бы нелепым. Но создать иллюзию возврата к традициям аскетизма властные структуры все же попытались. Появился своеобразный гражданский мундир эпохи сталинизма — сталинка. Она представляла собой нечто среднее между толстовкой и френчем — знаковый признак игравшей в аскетизм новой партийно-советской номенклатуры. В ее массе зрела оппозиция нэпу. Люди, составившие новое поколение партийцев, стремились к идеологически доступным, простым схемам организации общества. Нэп с его, хотя и ограниченным, но подразумевающимся плюрализмом, был им чужд и непонятен. Они были готовы осуществлять «великий перелом» прежде всего для того, чтобы войти в состав формирующихся в стране новых элит. В условиях системы карточек, пайков и ордеров их телесные практики и, в частности, жилье и одежда стали, как в годы гражданской войны, резко контрастировать с обликом городского населения.[67] Новые бытовые приоритеты породили и новое советское мещанство. Оно создало свою субкультуру, во многом впитавшую стиль повседневной жизни нэпманов, и сцементировало фундамент сталинизма. Появление первых семиотических признаков упрочения этого социального слоя, способствовавшего свертыванию нэпа, можно отнести к 1930 г., когда начались серьезные перебои со снабжением населения промышленными товарами. На них в середине 1931 г. было введено нормированное распределение. Хаос новой экономической политики оттеснялся порядком «развернутого наступления социализма по всему фронту». Но в реальности быт стал обретать аномальные в условиях мирного времени черты «чрезвычайности». И скорее всего в это время горожанин уже на ментальном уровне ощутил перемены в политическом курсе.

Итак, по нашему мнению, с историко-антропологической точки зрения возможно ограничить период новой экономической политики серединой 1922 — серединой 1930 г. Спорно? Безусловно! Но рассчитываем, что для читателей статьи модель нэпа стала чуть более реальной, приближенной к повседневной жизни, но одновременно и более сложной со всеми вытекающими отсюда последствиями.

---

[1] Историки спорят. М., 1988. С. 56.

[2] См.: Новая и новейшая история. 1997. № 3. С. 90.

[3] Политическая история. Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 2. М., 1996. С. 184.

[4] *Горинов М. М.* Советская история 20—30-х гг.: от мифов к реальности // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996.

[5] *Гимпельсон Е. Г.* Нэп и советская политическая система. М., 2000; *Павлова И. В.* Сталинизм: становление механизма власти. Новосибирск, 1993; *Роговин В.* Была ли альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992; *Шишкин В. А.* Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная Россия (1917–1928 гг.). СПб., 1997 и др.

[6] История коммунистической партии Советского Союза. Т. 4. Кн. 2. М., 1971. С. 488.

[7] *Сталин И.* Вопросы ленинизма. Изд. 11-е. М., 1940. С. 509.

[8] Вопросы истории КПСС, 1968. № 12. С. 86.

[9] Коммунист. 1987. № 12. С. 70.

[10] Историки спорят. С. 128.

[11] Там же. С. 124–126.

[12] Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989. С. 125.

[13] О сути историко-антропологического подхода см.: *Гуревич А. Я.* Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.

[14] Russia in the Era of Nep. Bloomington Ind. 1991

[15] См.: *Куприянов А. И.* Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996.

[16] *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 11.

[17] *Карсавин Л. П.* Философия истории. Берлин, 1923. С. 99.

[18] *Бурдье П.* Социология политики. М., 1993. С. 35.

[19] См.: *Жига И.* Думы рабочих, заботы, дела. Л., 1927; Кабо Е. О. Очерки рабочего быта. М., 1928 и др.

[20] Подробнее см.: De Certeau. The Practice Everyday life. Berkley, 1998.

[21] Власть и реформы. СПб., 1996. С. 779.

[22] *Лапшина О. Ю.* Правовая основа жизнеобеспечения рабочих при переходе к нэпу // Дискуссионные вопросы российской истории. Материалы IV межвузовской научно-практической конференции. Арзамас, 2000. С. 204.

[23] *Уэллс Г.* Россия во мгле. М., 1958. С. 13, 17.

[24] *Анненков Ю. П.* Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. Л., 1991. С. 31.

[25] Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. Заседание пятое. Пг., 1920. Стлб. 251.

[26] *Чуковский К. И.* Дневник.1901–1929. Л., 1991. С. 136.

[27] *Гиппиус З. Н.* Живые лица. Стихи, дневники. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 193.

[28] Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. Заседание пятое. Стлб. 251.

[29] Красная молодежь. 1921, 7 апреля 1921; На смену. 1921, 21 марта; ЦГАИПД СПб. Ф. К-424. Оп. 1. Д. 30. Л. 40; Питерский комсомол на фронтах гражданской войны. Л., 1934.С. 162–163.

[30] *Яров С. В.* Кронштадтский мятеж в восприятии петроградских рабочих (по неопубликованным документам) // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 543. Надо отметить, что именно этот петербургский историк наиболее аргументированно написал о переплетении бытового и политического в повседневных практиках. См.: *Яров С. В.* Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм и нэп глазами петроградцев. 1917–1921 гг. СПб., 1999.

[31] ЦГАИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 28. Л. 47; Д. 2320. Л. 13.

[32] Там же. Л. 15.

[33] Отечественная история. 1997. № 3. С. 95.

[34] «Птицегонство надоело до смерти...» (Из дневника И. И. Литвинова. 1922 г.) // Неизвестная Россия. XX век. Кн. 4. М., 1993. С. 121.

[35] *Пришвин М. М.* Дневник. Кн. 3. 1920–1922. М., 1995. С. 256.

[36] Там же. С. 266.

[37] *Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 218.

[38] *Окунев Н. П.* Дневник москвича. 1920–1924. Т. 2. М., 1997. С. 246–247.

[39] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 5. Д. 5913. Л. 43.

[40] Там же. Д. 5915. Л. 75.

[41] Хозяйственный обзор Северо-Западной области за 1921/1922 гг. Пг., 1922. С. 120.

[42] Вечтомова Е. А. Здесь печаталась «Правда». Л., 1969. С. 147.

[43] ЦГАИПД СПб., Ф. К-601. Оп. 1. Д. 1127. Л. 3.

[44] *Кетлинская В. К.* Здравствуй молодость // Новый мир. 1975. № 11. С. 53.

[45] *Мандельштам Н.* Вторая книга. М., 1990. С. 102–103.

[46] *Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. Л., 1991. С. 220.

[47] *Гранин Д. А.* Ленинградский каталог. С. 32.

[48] *Панова В. Ф.* О моей жизни, книгах и о читателях. Л., 1980. С. 87.

[49] Там же.

[50] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 5. Д. 5911. Л. 142.

[51] *Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 103.

[52] *Скрябина Е.* Страницы жизни. М., 1994. С. 60.

[53] *Тихонова Н.* Девушка в синем. М., 1992. С. 88.

[54] *Кетлинская В. К.* Указ. соч. С. 74.

[55] Минувшее. М.; СПб., 1992. Т. 11. С. 292.

[56] Комсомольская правда. 1927, 12 января.
[57] *Беньямин В.* Московский дневник. М., 1997. С. 104.
[58] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 141.
[59] Партийная этика. Дискуссии 1920-х годов. М., 1989. С. 160.
[60] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 16. Л. 369, 371, 374.
[61] ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 252. Л. 42.
[62] Музей С. М. Кирова. Ф. V. Д. 148. Л. 36.
[63] Смена. 1926. № 4. С. 12.
[64] На штурм науки. Л., 1971. С. 213.
[65] ЦГАИПД СПб. Ф. 691. Оп. 1. Д. 148. Л. 3.
[66] Комсомольская правда. 1928, 2 июля.
[67] См.: *Измозик В. С., Лебина Н. Б.* Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры 1920–1930-х годов // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 98–110.

А. Н. Чистиков

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЮРОКРАТИЯ: ОТ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» К НЭПУ

Переход от «военного коммунизма» к нэпу затронул все слои советского общества, в том числе и правящие. Новые задачи требовали иных методов руководства, других принципов выработки решений. Но и прошлое не исчезло бесследно. Что происходило с политической бюрократией во время переходного периода? Ответить на этот вопрос, анализируя петроградский материал, мы попытались в данной статье.

Сначала коротко об основных чертах системы власти, которая сложилась в России к концу гражданской войны. Структура советской власти строилась по вертикальному централизованному признаку: от ВЦИК и СНК до волостных советов. Верховными органами на каждом уровне по Конституции 1918 г. считались съезды советов. Не везде они собирались регулярно в силу разных причин. Петроград в этом отношении оказался заметным исключением: съезды советов и перевыборы Петросовета в основном совпадали с требованиями Конституции. Впрочем, уже довольно скоро после Октября 1917 г. выяснилась практическая неработоспособность съездов, на которых присутствовали (в зависимости от уровня) десятки, сотни, тысячи представителей. Фактически нити управления оказались в руках исполкомов, а в больших городах, в том числе и в Петрограде, где в состав исполкомов входили несколько десятков человек, — в президиумах. В Петрограде, к тому же, президиум делился на большой и малый.

Хотя формальная власть принадлежала советам, пусть и в виде исполкомов, реально всеми сторонами жизни общества заправляли партийные организации. Они также строились по иерархическому

принципу: от центрального комитета до волостного комитета РКП(б). О подавлении советов партийными структурами впервые открыто и с беспокойством заговорили на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г. Но в действительности этот процесс начался раньше и к весне 1919 г. в основном завершился. В Петрограде он проходил наиболее трудно, так как во главе Совета стоял Г. Е. Зиновьев, фигура более значительная, чем менявшиеся секретари Петербургского комитета партии большевиков. Все же с избранием Зиновьева летом 1919 г. членом горкома[1] и в городе на Неве партия стала довлеть над советами. К сказанному следует добавить, что не только Зиновьев, но и многие другие советские функционеры оказались в составе ПК, а партийные — в советских органах власти. Из 19 членов и кандидатов в члены большого президиума губисполкома летом 1920 г. по крайней мере 15 (80 %) являлись членами губкома партии или его кандидатами.[2] Тем самым произошло персонифицированное слияние партийных и советских органов.

В годы гражданской войны сформировался в общих чертах образ жизни советской политической бюрократии. В течение 1917–1920 гг. в Петрограде, впрочем, как и в Москве, бюрократия выделилась в особую касту. Основные учреждения города сосредоточились в Смольном институте, который одновременно являлся и домом для многих партийно-советских функционеров. Вторым центром расселения стала бывшая гостиница «Астория», превращенная в 1-й Дом Советов. Оба здания охранялись специальными подразделениями, допуск горожан был ограничен. Лица, не работавшие в Смольном или не являвшиеся членами партии, выселялись как из Дома Советов, так и из Смольного.

Внешние признаки обособления правящей верхушки от «низов» проявлялись не только в жилищном вопросе. Высшей бюрократии города принадлежало большее количество уцелевших в городе автомобилей, находившихся в ведении специального отдела. Для них были выделены персональные ложи, — места в ведущих театрах города. В Смольном работали собственные парикмахерская, баня, прачечная, кинематограф, детский сад, сапожная и иные мастерские. Территориальная обособленность дополнялась автономностью обслуживания.

Ответственные политические работники составляли отдельную группу в ряду советских служащих при определении им заработной

платы. Тарифные ставки для них были значительно выше, чем для остальных служащих, а также рабочих и интеллигенции. Кроме того, существовали и процентные надбавки к этим тарифам. Стоит отметить, что оплата труда разнилась не только в сравнении с другими категориями трудящихся, но и внутри данной категории. Существовала стратификация бюрократии. Она проявлялась и в пользовании услугами, и в питании.

Для эпохи гражданской войны различие в денежной оплате не играло исключительной роли вследствие непрекращающейся инфляции. И, тем не менее, выделение ответственных работников и по этому показателю — весьма симптоматично. Созданный прецедент получил развитие в последующие годы, когда его воспринимали как устоявшийся и безусловный факт. Все же в первые годы советской власти гораздо более важной была оплата натурой: продовольствием и товарами первой необходимости. Если для первых послеоктябрьских месяцев мы не можем говорить о резком отличии бюрократии от остальных слоев населения в этом отношении, то к концу гражданской войны разница была колоссальной. Причем эта льгота абсолютно не афишировалась, а определением количества и объема различных «комиссарских» пайков ведала Комиссия по рабочему снабжению, что еще больше камуфлировало данные льготы.

Несмотря на это, население по косвенным признакам догадывалось о существовании целой системы льгот и привилегий, которыми окружила себя высшая бюрократия. С одной стороны, это вызывало законное недовольство «низов», с другой — стремление части граждан пробиться на вышестоящие должности, чтобы быть поближе к «кормушке». Сделать это было неимоверно трудно. Если ротация Петросовета была и иногда значительной, то чем ближе к верхушке управленческой и властной пирамиды, тем меньше незнакомых имен можно было встретить на всем протяжении гражданской войны. Все же и здесь не оставалось без изменений. Неоднократно петроградских работников высшего звена требовал ЦК. Небезынтересно отметить, что указания своего начальства ПК не всегда выполнял оперативно и безропотно. Одних отпускали легко, за других боролись — иногда ожесточенно. Лейтмотив борьбы — необходимость оставления данного работника в Петрограде как незаменимого. На наш взгляд, с такой мотивировкой можно согласиться, но лишь отчасти. Смеем предположить, что были и иные причины. Зиновьев форми-

ровал свое окружение, пестовал своих сторонников и всяческими способами стремился не отпускать их из Петрограда.

Еще три характерные черты функционирования властных кадров, проявившихся в годы гражданской войны, стоит отметить. Во-первых, рождается «перемещение по горизонтали». Попавший в «обойму» ответственных работников функционер уже из нее не выпадал. Если он не справлялся с обязанностями на одном участке работы или допускал прегрешения, его переводили на равноценную должность на этом же уровне власти. Во-вторых, неугодные ведущей группировке (в петроградском случае подразумевается Зиновьев «со товарищи») выживались, вытеснялись с ответственных ключевых постов. Все значительные личные конфликты заканчивались, как правило, удалением сторонников одной из противоборствующих сторон из города на Неве. Эту тактику изобрели не петроградцы, ее исповедовал ЦК РКП(б). Наконец, в-третьих, заметным явлением среди петроградских (как и московских) функционеров высшего звена была семейственность, что еще больше цементировало петроградский клан бюрократии.

Таковы основные характеристики власти и петроградской бюрократии к началу нового этапа в жизни советского общества — периоду новой экономической политики.

В начале 20-х годов Петроградский Совет по-прежнему оставался властью в городе, еще раз подчеркнем – формальной. Тем не менее, его депутаты олицетворяли собой политическую власть. Количество депутатов превышало 2000 человек. Среди них преобладали рабочие. Численность служащих и интеллигенции составляла примерно пятую часть всего депутатского корпуса. Новым явлением с 1922 г. стало отсутствие в составе Петросовета представителей иных политических партий помимо большевиков. Зато с того же года появилась новая категория – кандидаты в депутаты, насчитывавшие треть всех посланцев горожан в этом органе власти.

Начало нэпа не принесло изменений в категориях избирателей. По-прежнему действовали ограничения, зафиксированные Конституцией 1918 г. Но и имеющие право голоса не полностью определяли будущий состав руководящих органов. Все нити, как и прежде, находились в руках партийных органов Петрограда. Примечательно, что к выборам в Совет в 1922 г., которые проходили в ноябре, коммунисты начали готовиться много загодя — с конца

августа. 29 августа бюро губкома постановило образовать центральную «пятерку» и районные и уездные «тройки», задачей которых являлась подготовка перевыборов. В состав этих органов входили представители партийных, советских и профессиональных структур соответствующих уровней, а их работа носила секретный характер.[3] Гласная кампания началась лишь в середине октября. Но основные действия проходили не на предприятиях и в учреждениях, а за «кулисами» — на заседаниях бюро, губкома и исполкома. Для представителей власти было важно не просто обеспечить послушный состав депутатов, но и провести в новый Совет конкретных лиц, имея в виду и себя лично. Как это делалось, показывают материалы заседания бюро губкома от 25 октября 1922 г. На нем были персонально намечены составы президиума губисполкома (21 член и 3 кандидата, председатель — Г. Е. Зиновьев, его заместители — А. Е. Васильев и Б. П. Позерн, секретарь — Н. П. Комаров) и самого губисполкома — 70 членов. В губисполком должны были войти все члены и кандидаты в члены президиума, все председатели районных и уездных исполкомов, заведующие важнейшими хозяйственными и культурными подразделениями, представители от ведущих заводов города. Обезопасить себя можно было и иными способами. Разрабатывая порядок выборов делегатов на губернский съезд советов, бюро губкома зафиксировало следующие нормы представительства: 1 делегат на 10000 жителей от уездных советов и 1 делегат от 10 членов Петросовета. Причем через пленум Петросовета на съезд делегировались все будущие члены губисполкома. Эти меры позволяли избежать нежелательных осечек.[4]

Сравнение списков членов губкома (сентябрь 1922 г.) и губисполкома (октябрь 1922 г.) рисует впечатляющую картину: из 49 членов губкома 18 (более одной трети) входили в президиум губисполкома, а 25 (51 %) — в состав губисполкома.[5] Если несколько повернуть соотношение, то и с этой стороны цифры тоже примечательные. Из 24 членов и кандидатов в члены президиума 18 (75 %) входили в состав губкома. Правда, в 1920 г. этот процент достигал 80. Впрочем, цифры отражают главное: слияние двух ветвей власти — партийной и советской, характерное для периода гражданской войны, продолжалось и стало стабильным привычным фактором. Среди лиц, занимавших ответственные посты в партийных и советских органах, в основном знакомые петроградцам лица с прошлых

лет: Бадаев, Бакаев, Евдокимов, Зиновьев, Куклин, Лобов, Циперович... Таким образом, ведущая верхушка политиков Петрограда оставалась почти несменяемой в течение первого пятилетия (и даже дольше) советской власти.

Повестки дня управленческих органов разных уровней за один и тот же период разнились. С одной стороны, это естественно. Чем выше была инстанция (от малого президиума к пленуму Совета, от бюро к губкому), тем меньше вопросов она рассматривала. Вот подсчеты количества заседаний и числа вопросов, обсужденных советскими органами Петрограда за первую половину 1921 г.: малый президиум — 363 заседания и 733 вопроса; большой — 83 и 480; исполком — 19 и 102 соответственно. Пленум Совета собирался в этот период не каждый месяц и рассмотрел не более десятка вопросов. В принципе такая закономерность характерна для любой бюрократической организации, и в этом советская власть не отличается от своих предшественниц. Важнее выделить сферу компетенции каждого органа. Возьмем, к примеру, одну область — вопросы обеспечения бюрократии. Малый президиум обычно занимался санкционированием разовых требований ответственных работников на продукты, зачислял конкретных лиц на тот или иной вид пайка или в столовую Смольного, решал вопросы, связанные с внутренней жизнью Смольного. На заседаниях большого президиума утверждались порядок и нормы выдачи продуктов для бюрократии, правила пользования столовой исполкома. Иногда и он рассматривал индивидуальные ходатайства о назначении персональных повышенных пайков. Большой президиум также утверждал тарифы оплаты труда ответственных работников. Исполком, в свою очередь, касался этих вопросов в общегородском масштабе, обсуждая плановые и неплановые выдачи предметов первой необходимости, уравнение в привилегиях райсоветов с отделами Петрогубсовета.[6] Дальше исполкома эти вопросы не уходили. Анализ повесток дня пленумов Совета за 1921 г. показывает, что об ответственных работниках вопрос не ставился ни разу. Говорили об огородах и товарообмене, в общем и целом о продовольствии, о белогвардейском заговоре и Кронштадтском мятеже, но только не об этом.[7] Конечно, в прениях депутаты касались быта своих руководителей и в критическом плане, но их разговор не определялся повесткой дня. Объяснять «забывчивость» частностью проблемы,

на наш взгляд, неверно. Вопрос о быте петроградской верхушки имел некий политический отзвук во время февральских событий 1921 г. в Петрограде.[8] Налицо стремление бюрократии оградить себя от остального общества. Тенденция к кастовости, намеченная в годы гражданской войны, получает свое развитие.

Методы руководства приобрели с введением нэпа несколько иное звучание. Меньше стало экстренных заседаний, появилась упорядоченность в сроках созыва и количестве совещаний властных структур. В ноябре 1921 г. появился новый регламент работы Совета и исполкома. Отныне пленум собирался один, а губисполком — два раза в месяц, большой президиум — один, а малый — два раза в неделю.[9] Была сделана повторная попытка более активного привлечения к работе депутатов Совета. Сам принцип необходимости работы был закреплен январской (1919 г.) инструкцией исполкома, по которой «каждый член Совета обязан нести определенную работу в Совете».[10] Добиться выполнения этого и многих других параграфов данной инструкции не удалось. С 1921 г. петроградские власти пошли по иному пути. В составе Совета было образовано несколько секций по различным направлениям работы (до этого существовали лишь рабочая и военная — выделение, так сказать, по профессиональному признаку. Иногда образовывались временные комиссии, изучавшие и готовившие тот или иной конкретный вопрос). Каждый депутат должен был обязательно работать в одной из секций и имел право участвовать в разработке общих положений, форм и методов работы соответствующих отделов исполкома, рассматривать на заседаниях секций все принципиальные вопросы своего участка работы. Но к концу 1922 г. наладить нормальную деятельность депутатов в секциях не удалось.[11]

По-прежнему много сил, времени и средств съедало ненужное бумаготворчество, вызывавшее справедливые нарекания со стороны жителей. Когда в июне 1921 г. старший инспектор Петроградского отделения РКИ И. А. Кондаков обследовал деятельность отделения по выдаче разрешений на выезд из города, он обнаружил, что люди стоят в очередях по несколько дней и что немалое количество лиц пытаются проникнуть в учреждение без очереди, имея на руках полученные неведомо какими путями распоряжения конкретных официальных лиц.[12] Подобных примеров неразберихи и попыток воспользоваться «блатом» было немало.

Спустя месяц Петроградское отделение РКИ выработало специальную инструкцию для своих представителей в образованных постановлением губисполкома комиссиях по обследованию и реорганизации аппарата советских учреждений. В ней, в частности, предлагалось обращать внимание на проявление параллелизма в деятельности советских учреждений, на возможное упрощение структуры, порядка делопроизводства и сокращение числа и численности самих учреждений.[13]

Результаты деятельности этих комиссий были заслушаны осенью того же года на заседании губисполкома, который принял решение сократить в советских учреждениях не менее 50 % служащих. К апрелю 1922 г. комиссия подвела некоторые итоги. В учреждениях, подведомственных губернским земельному отделу, отделам народного образования и здравоохранения, количество сотрудников уменьшилось на 25 %.[14] Сложнее оказалось убавить бюрократический аппарат районных советов. В августе 1922 г. была установлена схема минимального штата служащих президиума и отдела управления райисполкома, по которой численность сотрудников в районах определялась в 22–25 человек. К концу года это требование было выполнено, но количество сверхштатных сотрудников в разных райисполкомах резко возросло и колебалось от 3 до 18 человек. Сверхштатными, как правило, состояли печники, рабочие, делопроизводители, то есть работники технического вспомогательного звена.[15]

Процесс сокращения замышлялся для улучшения работы советских учреждений. На деле порой эффект получался противоположный. В секретной «Обзорной сводке политического и административного состояния Петрограда за апрель 1922 года» содержится знаменательная фраза: «На работе районных советов учреждений отрицательно сказывается <...> чрезмерное сокращение штатов в связи с невысоким качеством работы советских служащих».[16] По идее авторов сводки нужно было бороться не с низким качеством работы служащих, а компенсировать его увеличением штатов. Но предыдущая деятельность раздутых штатов уже доказала свою неэффективность. Получался некий замкнутый круг.

Еще одно заметное структурное изменение первых лет нэпа — отказ от коллегиальности управления и переход к единоначалию. Идея, которую настойчиво проводил В. И. Ленин на всех уровнях управления, впервые была реализована в декрете СНК от 17 марта

1921 г. «О преимущественном введении в исполнительные органы народных комиссариатов начала единоначалия и о деятельности некоторых ведомственных и междуведомственных комиссий».[17] Впоследствии принцип единоначалия был распространен и на советские учреждения. В 1922 г. петроградский губком рекомендовал губисполкому заменить коллегии при отделах заведующими. Соответствующее решение было принято на заседании бюро 4 июля 1922 г. Примечательно, что освободившиеся члены коллегий не остались без работы. Их трудоустройством занялась распределительная оргколлегия губкома.[18] Система не бросала своих членов на произвол судьбы, что в условиях существующей безработицы приобретало дополнительное значение.

Введение единоначалия, по замыслу организаторов реформы, должно было более четко организовать деятельность советского аппарата, повысить ответственность сотрудников за порученное им дело. Насколько этот расчет оправдался на практике? Судя по имеющимся документам, бюрократизм не был изжит и при единоначалии. Но отметим, что необходимо провести конкретные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть этот тезис.

Замена коллегиальности единоначалием в советских органах не избавила их от опеки партийной бюрократии. Более того, эта зависимость еще больше возросла. На высшем уровне это проявилось в постановлениях политбюро ЦК РКП(б) от 2 февраля и 15 марта 1922 г. По первому из них наркомы передавали дела во ВЦИК лишь после решения их в ЦК, «для того, чтобы ВЦИКу не приходилось менять своих решений». По второму наркоматы давали ЦК отчеты о своей деятельности.[19] Эта же схема вскоре распространилась и на более низкий бюрократический уровень. В апреле 1922 г. бюро петроградского губкома признало необходимым предварительно заслушивать доклады заведующих отделами на бюро.[20] Контролю подлежали действия не только советских органов. В том же году, 29 сентября, бюро губкома «прижало к ногтю» коммунистов — руководителей хозяйственных органов, предприятий и советских учреждений. Недовольные решениями президиума губисполкома, эти руководители пытались обжаловать их в центральных органах, то есть обратиться через голову местных партийных органов. Бюро губкома постановило: конфликты с губисполкомом руководители должны решать сначала в губкоме. Уклоняющихся от этого решения было решено снимать с занимаемых ими постов.[21]

По-прежнему в руках партийных органов оставались и кадровые вопросы, ведь они были весьма действенным рычагом для управления страной. Правильная, с точки зрения бюрократии, кадровая политика к тому же обеспечивала целостность и жизнедеятельность системы. По сравнению с периодом гражданской войны работа с кадрами получила некоторое упорядочение. Прежде всего четко фиксируется формулировка. Бюро губкома *предлагало* или *рекомендовало* другим организациям, включая советский аппарат, утвердить имярек в такой-то должности.[22] Слова сами по себе имели оттенок пожелания, но решение, выраженное этими словами, подлежало обязательному исполнению. Практика стала настолько привычной, что не вызывала никаких возражений со стороны советских органов. Решение одного из заседаний губисполкома в апреле 1922 г. гласило: «утвердить перемещение ответственных работников согласно постановлению бюро ПК РКП». Кого же утверждали члены исполкома? В этом списке секретарь губисполкома, заведующие отделами управления, народного образования, юстиции, председатель губчека, члены отдельных коллегий.[23]

Само понятие «ответственный работник» тоже получило более четкое определение. К ним относились «профессиональные, партийные, кооперативные, советские и хозяйственные работники, принимающие ответственное участие в деле профессионального, партийного, кооперативного, советского и хозяйственного строительства, несущие ответственность не только за техническое исполнение возложенных на них обязанностей, но являющиеся ответственными за идейное и политическое направление и проведение возложенных на них функций».[24]

Кадровые вопросы не всегда решались безболезненно и легко. И дело не только в противодействии назначению конкретных лиц. В Петрограде, например, очень ревниво относились к любым ведомственным назначениям, не согласованным с местными партийными органами. 13 августа 1922 г. бюро губкома рассмотрело вопрос «О смене правления Монетного двора без ведома петроградских органов». Принятое решение гласило: «Просить ЦК РКП обязать центральные ведомства договариваться при назначении на места работников с местными организациями, партийными, советскими и профсоюзными».[25] Упоминание в этом решении советских и профсоюзных органов, на наш взгляд, следует считать не

больше чем данью большевистской демократии. Вышеизложенный материал уже показал «свободу» Советов (а профсоюзы ничем от них в этом смысле не отличались) от решений партийной бюрократии.

Отношение к определенной личности также сказывалось на ситуации внутри бюрократической системы. В 1922 г. политбюро ЦК решило заменить на посту секретаря петроградского губкома И. Н. Смирнова на П. А. Залуцкого. Зиновьев огласил решение политбюро на заседании бюро губкома 22 апреля. В протоколе в соответствующем пункте записано: «Принять к сведению». Однако обстановка была далека от идиллической. Следующим пунктом повестки дня значилось: «О созыве пленума губкома». Запись после него отражает ту обстановку, которая создалась на бюро. Сначала в решении зафиксировано: «Бюро губкома постановило поддерживать кандидатуру т. Залуцкого в секретари губкома». А вот дальше следовало еще одно предложение, в чистовом варианте протокола отсутствующее: «Обязать членов губкома в дискуссии на пленуме не вдаваться в разговоры о личностях, а останавливаться на методах к улучшению работы».[26] Завесу над тайной приоткрывает стенограмма заседания губкома двумя днями позже. Фигура Залуцкого не устраивала определенную группу петроградских функционеров. Конфликт был застарелый. Оказывается, на прошедшем незадолго до этих событий XI съезде партии петроградская делегация протестовала против выборов Залуцкого в члены ЦК. Тем не менее, решение политбюро было принято. И в этом уже есть отличие от времен гражданской войны, когда конфликтные ситуации разрешались много дольше и вызывали страстные обсуждения и переписку с Москвой.

Но важно обратить внимание на выступления иного рода на этом заседании. Ф. П. Грядинский: «Мы говорим, что нельзя вводить в систему назначенство. Назначенство хотят сделать системой»; Г. Е. Зиновьев: «Назначенство как система не годится». С ними оказался солидарным представитель 2-го Городского района Петрограда Кушин.[27]

Назначенство — понятие предыдущей эпохи, и означало оно направление по распоряжению Москвы работников на руководящие должности в другие регионы страны. Обычно этот способ применялся при чрезвычайных обстоятельствах, и само назначенство носило кратковременный характер. «Пока была война, назначенство было необходимо», — подчеркивал Л. Д. Троцкий, выступая в январе 1921 г. на общегородском собрании петербургской организации РКП(б).[28]

Переход к мирному времени, казалось, должен был отменить эту чрезвычайную практику, однако она не только не исчезла, но усилилась. Назначение Залуцкого – один, но не единственный пример такого усиления. Почему это явление взволновало партийную верхушку города? Конечно, не из-за нарушения принципов выборности. Демократичность процедуры выборов уже во время гражданской войны носила весьма символический характер. Нынешнее назначенство подразумевало длительное пребывание присылаемого лица на какой-то «ключевой» должности. В *сложившуюся* систему вторгалось «инородное тело». Результатом могли стать конфликты и даже распад системы. И это очень тревожило бюрократов.

Изменение сущности назначенства вело и к другим переменам в жизни бюрократии. В своей книге о И. В. Сталине, который был одним из инициаторов «второй волны» назначенства, Троцкий писал: «Перестали смотреть на назначенство как на временное, короткое и почти случайное. Вопрос о назначениях стал больше связываться с вопросом о личной жизни, об условиях жизни семьи, о карьере». И далее: «Более оседлая и уравновешенная жизнь бюрократии порождает потребность в комфорте».[29] Замечание верное, но из него не следует делать вывод о том, что только назначенство стало толчком к привилегированному положению бюрократии в советском обществе.

Уже упоминалось о том, что система льгот и привилегий советской политической бюрократии в основных своих чертах и компонентах сложилась еще в годы гражданской войны. В годы нэпа она лишь модифицировалась и дополнялась новыми элементами, по разным причинам не возникшими в предшествующий период.

Территориально жизнь партийных и советских работников Петрограда по-прежнему складывалась вокруг двух центров — Смольного и Дома Советов. Судя по «Книге записей о проживающих в д. 39 по Морской улице» (в 1-м Доме Советов), с конца 1920 г. в бывшую гостиницу «Астория» перебрался и Г. Е. Зиновьев.[30] Жителями Смольного и Дома Советов могли быть только члены партии и лишь те лица, чья работа непосредственно была связана со Смольным. Но даже членство в партии не всегда давало такое право. В одном из протоколов бюро губкома конца 1922 г. в ответ на просьбу некоего Семенова, члена РКП(б) с 1918 г. предоставить ему комнату в Доме Советов записано: «Ввиду отсутствия необходимого стажа для

проживания отказать».[31] Зато те, кто жил в «партийных апартаментах», находились на полном государственном обеспечении и не испытывали неудобств по сравнению с другими горожанами. Это проявлялось даже в мелочах.

Вот, к примеру, два постановления малого президиума губисполкома, принятых в августе 1921 г. В первом предлагается Райпродукту (организации, ведавшей распределением предметов первой необходимости) отпустить необходимое количество ткани для изготовления постельного белья для 1-го Дома Советов. В аналогичной просьбе, поступившей немногим позднее от судовых команд торгового флота Балтийского моря, президиум отказал.[32]

Наиболее выпукло разница в положении между рядовым петроградцем и функционером проявлялась все же при оплате труда и в снабжении продовольствием. В 1920 г. ответственные работники были включены в тарифную сетку, но фактически оплачивались по ставкам политических работников.[33] В 1921 г. ставки были повышены. В конце того же года в связи с переходом на коллективную оплату сверхурочные, премиальные доплаты, 10-ти процентная фронтовая надбавка исчезли, но одновременно появился дополнительный денежный фонд ответственных работников.[34]

По постановлению ВЦСПС с 1 февраля 1922 г. ответственных работников вновь включили в 17-ти разрядную тарифную сетку, определив минимальным разрядом 10-й. Отменив платное совместительство и иные виды дополнительной оплаты за исключением гонорара за литературные произведения, постановление одновременно вводило надбавку к окладу, размер которой возрастал от 10-го к 17-му разряду с 10 до 50 процентов.[35] Помимо деления по разрядам в это же время появляется разбивка по советской и промышленной группам. Разница окладов была значительной. В мае 1922 г. 17 разряд советской группы составлял 60 млн руб., промышленной — 105 млн. Примечательно, что все ведущие партийные и советские функционеры получали зарплату не по советской, а именно по промышленной группе.[36] Конечно, инфляция съедала значительные прибавки. Но, во-первых, каждый месяц тарифы в стоимостном исчислении менялись, во-вторых, по сравнению с рабочими и служащими оплата была чрезвычайно высокой.

И, наконец, в-третьих. Деление по разрядам, группам и т. п. предусматривало и разницу в количестве продуктов, получаемых по

пайку. К разнообразным видам пайков, существовавших в Советской России, с началом нэпа прибавился еще один: паек для ответственных работников. Нормы его устанавливались в Москве, а обеспечение продуктами лежало на местных продовольственных органах. Но сам паек для ответственных работников тоже не был единым. В Петрограде, например, существовали «нормы исполкома», «нормы отдела семейных» и т. д. С августа 1922 г. и они подверглись дифференциации. Малый президиум губисполкома разделил ответственных работников на две категории. Ко второй были отнесены заведующие и заместители заведующих отделами и подотделами, которые имели ставку ответственных работников по первой промышленной группе. К первой – председатели, заместители и секретари губисполкома и губэкосо, а также заведующий отделом управления и председатель военной секции. Для второй категории за основу был принят исполкомовский семейный паек, для первой — «тот же паек, увеличенный на 50 % и с добавлением диетических продуктов».[37] На этом преимущества не заканчивались. Довольно распространенным явлением среди высших слоев петроградской бюрократии было получение продуктов по разным запискам. В апреле 1922 г. большой президиум губисполкома принял решение о прекращении этой практики.[38] Но буквально сразу же родилась иная форма: индивидуальные выдачи продовольствия «по разрешениям ответственных товарищей». Практически ни одно заседание малого президиума второй половины 1922 г. не обходилось без утверждения таких выдач.

Как уже указывалось, основные привилегии, приобретенные бюрократией в годы гражданской войны, оставались незыблемыми. В период кризиса начала 1921 г. бюрократия пошла на некоторые самоограничения, но успешное для нее окончание событий все вернуло на круги своя. В сентябре 1921 г. малый президиум принял решение о закреплении за исполкомом по две ложи (для членов исполкома и делегатов и районных работников) в Александринском, Мариинском и Михайловском театрах.[39] Тем самым была упорядочена практика, возникшая в годы гражданской войны.

Немало хлопот доставляло власти использование транспорта не для служебных целей. Спорадические проверки, устраиваемые около театров, в местах отдыха, выявляли немало любителей прокатиться за государственный счет по своим делам. Но власть пошла не по пути

уничтожения явления как такового, а его дифференциации. В сентябре 1921 г. малый президиум постановил, что «за город в целях отдыха» на служебном транспорте могут ездить только те лица, «кои значатся в списках, утвержденных губкомом».[40]

Отметим еще одно явление, не присущее предшествующему времени. Когда в 1920 году Петроград впервые в стране создал дома отдыха для рабочих на Каменном острове, это известие облетело всю страну и долго использовалось властью как забота о творце революции и хозяине страны. Когда 22 апреля 1922 г. бюро губкома постановило организовать для ответственных работников санаторий в Левашово,[41] это решение не афишировалось. Поначалу, видимо, условия в санатории были не очень хорошими, ибо в сентябре того же года заведывание санаторием было возложено на губернского продовольственного комиссара П. Л. Пахомова, которому предложили «улучшить довольствие отдыхающих».[42] Но, как уже подчеркивалось, даже среди ответственных работников существовала стратификация и были, так сказать, «особоответственные» (термин, не придуманный автором, а взятый из документов того времени). Ими считались члены президиума губисполкома и бюро губкома. На заседании бюро губкома партии, первом, которое вел новый секретарь губкома П. А. Залуцкий, было поручено «подыскать одну-две зимних дачи для отдыха во время отпуска тт. из президиума губисполкома и бюро губкома».[43] Возможно, напрасно петроградская бюрократия опасалась, что появление Залуцкого нанесет вред существующей бюрократической системе.

Второй момент, который надо отметить в связи с организацией отдыха бюрократии, — это поездки на лечение или на отдых за границу. Война закончилась, дипломатическая блокада потихоньку прорывалась, отдых за границей — явление обычное для дореволюционной бюрократии — становилось доступным и для бюрократии советской. Своей властью Петроград не мог отправлять своих работников за границу, но решения бюро: просить ЦК РКП(б) направить имярек для отдыха за границу — не редкость для 1922 г.[44]

Изучение советской политической бюрократии первых лет нэпа на петроградском материале показывает, что созданная в годы гражданской войны бюрократическая система получила свое дальнейшее развитие, приспосабливаясь к новым внутренним и внешним условиям. Многие принципы, заложенные ранее, остались неизменными или модифицировались.

[1] Петроград на переломе эпох: Город и его жители в годы революции и гражданской войны. СПб., 2000. С. 26.

[2] Там же. С. 27.

[3] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 82. Л. 27.

[4] Там же. Л. 61.

[5] Там же. Л. 38 об., 59–60, 67–68.

[6] ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 997. Л. 1–178.

[7] Там же. Д. 996. Л. 19–20 об.

[8] *Яров С. В.* Горожанин как политик: Революция и военный коммунизм глазами петроградцев 1917–1921 гг. СПб., 1997. С. 60.

[9] Вестник Петросовета. 1921, 19 ноября.

[10] Цит. по: Гоголевский А. В. Петроградский Совет в годы гражданской войны. Л., 1982. С. 102.

[11] *Зубарев В. И.* Перестройка работы Петросовета в первые годы нэпа (1921–1923 гг.) // Ленинградский Совет в годы гражданской войны и социалистического строительства 1917–1937 гг. Л., 1986. С. 176 –177.

[12] ЦГА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 859. Л. 80.

[13] Там же. Л. 383–383 об.

[14] Там же. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 1461. Л. 7.

[15] Там же. Д. 1968. Л. 113, 151, 156, 158, 161, 176–178 и др.

[16] Там же. Д. 1419. Л. 33.

[17] СУ РСФСР. 1921. № 25. Ст. 143.

[18] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.

[19] *Гимпельсон Е. Г.* Формирование советской политической системы 1917–1923 гг. М., 1995. С. 184.

[20] ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 997. Л. 144.

[21] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 82. Л. 45.

[22] См., например: ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 81. Л. 3, 6, 8, 17, 41, 57 об. и др.

[23] ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 997. Л. 153–154.

[24] Там же. Оп. 2. Д. 384. Л. 100.

[25] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 81. Л. 64 об.

[26] Там же. Л. 43 об.

[27] Там же. Д. 73. Л. 99, 104, 114.

[28] Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 1921, 20 января.

[29] *Троцкий Л. Д.* Сталин. Т. 2. М., 1990. С. 133–134.

[30] ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 391.

[31] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 82. Л. 87.

[32] ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 3. Д. 997. Л. 44–45.

[33] Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 13 об.

[34] Там же. Д. 266. Л. 14 об., 16.

[35] Труд. 1922, 24 января.

[36] ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 2. Д. 384. Л. 87; Д. 390. Л. 26.
[37] Там же. Д. 390. Л. 15–15 об.
[38] Там же. Оп. 3. Д. 997. Л. 135.
[39] Там же. Л. 55 об.
[40] Там же. Л. 59.
[41] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 81. Л. 43 об.
[42] Там же. Д. 82. Л. 41 об.
[43] Там же. Л. 46.
[44] Там же. Д. 81. Л. 22, 64 об., 67 об.

И. В. Кочетков

НЕУРОЖАЙ 1924 г.: МАСШТАБЫ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

«Открытие» архивов, публикация ранее недоступных и практически неизвестных источников по истории российской послереволюционной деревни дают богатый материал для исследований. Новые данные не просто дополняет наши представления, они уже не вписываются в устоявшуюся за предыдущие десятилетия историографическую традицию, что заставляет приступить к новой реконструкции экономической истории «России нэповской». Речь идет об отказе от привычной концепции «восстановительного периода» и возвращении к конкретно-историческому изучению состояния и динамики хозяйственной жизни советской доколхозной деревни, событий, оказавших на нее решающее влияние. В ряду последних, безусловно, стоит голод 1924–1925 гг., вызванный крупным неурожаем.

1924–1925 гг. традиционно считаются временем экономического роста в российской деревне и перехода крестьянских хозяйств, после преодоления последствий военной разрухи и голода 1921–1922 гг., от простого к расширенному воспроизводству. Вызванный засухой в южных и юго-восточных районах Европейской части СССР, «недород» 1924 г., согласно данной точке зрения, лишь замедлил, но не остановил эти процессы и, в отличие от урожая 1921 г., не привел к массовому голоду.[1]

Эти оценки полностью совпадают с теми, что давались официальными лицами и официозными экономистами 1920-х гг. Наблюдатели из лагеря некоммунистической оппозиции, находившиеся,

главным образом, в эмиграции, были лишены объективной информации и, следовательно, не могли ничего противопоставить картине официального благополучия.

В 1998 г. при защите кандидатской диссертации (подготовленной под научным руководством В. А. Шишкина) автор этих строк выдвинул тезис о том, что в 1924—1925 гг. российское крестьянство пережило неурожай и голод, близкие по масштабам к бедствию 1921—1922 гг. Тогда это утверждение было подвергнуто критике как недостаточно обоснованное.

В настоящей статье, на основании новых данных, подтверждается ранее выдвинутое положение.

1. Масштабы бедствия и результаты сельскохозяйственного производства.

Первые официальные сообщения о численности сельского населения, пострадавшего от засухи появились в середине июня 1924 г. и исходили непосредственно от первых лиц высшего руководства страны. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин и председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков в своих выступлениях объявляли, что зона распространения засухи охватила пять губерний и областей полностью (Республика немцев Поволжья, Сталинградская, Калмыцкая область, Кабардино-Балкария и Астраханская), а девять — частично (Самарская, Саратовская, Воронежская, Ставропольская, Уральская, Харьковская, Донская область и Терская область). Всего на пострадавших территориях, согласно официальной версии, проживало около 8 млн. человек. Особо отмечалось, что это гораздо меньше, чем в 1921 г., когда неурожай охватил территорию с населением в 30 млн. человек. [2]

Сравнивая эти оценки с данными ЦСУ, представленными тогда же в Совнарком и в Комиссию по борьбе с последствиями неурожая (Комиссия Рыкова), приходится констатировать, что руководство страны совершенно сознательно вводило общественность в заблуждение.

17 июля 1924 г. управляющий ЦСУ СССР П. И. Попов выступил на заседании Совнаркома с докладом о размерах неурожая и мероприятиях по борьбе с его последствиями.

Попов сообщил, что в мае—июне 1924 г. засуха охватила губернии, пострадавшие от неурожая 1921 г. и еще несколько губерний.

Приведенные докладчиком данные сведены нами в таблице 1.

Таблица 1.

Оценка урожая 1924 г. по данным ЦСУ по состоянию на 17 июля 1924 г.

	Балловая оценка урожая	Население	Посевная площадь
«Типично неурожайный»	0,0 – 0,9	6089	5660
«С плохим урожаем»	1,0 – 1,9	6023	4353
«Ниже среднего, но не «плохой урожай»	2,0 – 2,4	37110	30000
Средний урожай»	2,5 – 3,0	43700	22400
«Выше среднего»	Более 3,0	7800	3880

В целом по СССР ЦСУ оценивало урожай в 2,5 балла против 2,9 — в 1923 г.[3]

Как видно из таблицы, ЦСУ предложило считать «типично неурожайными» лишь те местности, где балловая оценка урожая не превышала 0,9. В этих районах чистый сбор хлебов на душу сельского населения не превышал 6 пудов.[4] Эти показатели и применялись Комиссией Рыкова в дальнейшем для отнесения той или иной местности к числу неурожайных.

Таким образом масштабы неурожая 1924 г. существенно занижались, поскольку как в дореволюционной статистике, так и в 1921–1922 гг. «неурожайными» считались местности с балловой оценкой урожая в 2,5 и ниже.[5]

Если исходить из такого критерия, то в 1921 г. неурожаем были охвачены территории с общей посевной площадью в 22,8 млн. дес. (37 % посевов РСФСР и Украины) и с 47,4 млн. человек сельского

населения (42 % сельского населения РСФСР и Украины).[6] Для 1924 г. (таблица 1) соответствующие цифры составят 40 млн. дес. (60,3 %) и 49,2 млн. человек.

Более высокие абсолютные и относительные показатели посевной площади для 1924 г. объясняются тем, что П. И. Попов в своем докладе пользовался данными весеннего выборочного обследования крестьянских хозяйств с внесенными в них «поправками на недоучет». До 1923 г. подобных поправок в данные статистического наблюдения не вносилось. При этом для губерний Производящей полосы, которые главным образом и пострадали от неурожая, поправочные коэффициенты были выше, чем для Потребляющей полосы, что повышало вес посевов неурожайноых районов в общей посевной площади страны.

Если исключить «поправки на недоучет», то мы получим посевную площадь пострадавших от неурожая 1924 г. районов равной 33,9 млн. дес., или 62,9 % посевной площади СССР.[7] Посевная площадь РСФСР и Украины в 1924 г. (по данным без «поправок на недоучет») была примерно на 13 % меньше, чем в 1921 г.[8]

Таким образом, абсолютные размеры неурожая в 1924 г. были несколько выше, чем в 1921 г. Этот вывод вполне согласуется с приведенным выше заявлением П. И. Попова о распространении засухи весны–лета 1924 г. за пределы территорий, пострадавших в 1921 г.

Как неурожай отразился на размерах валовых сборов хлебов в 1924 г.? На этот счет уже тогда существовала значительная статистическая разноголосица.

В своем докладе на заседании Совнаркома 17 июля 1924 г. П. И. Попов говорил: «Общий валовый сбор по общему исчислению равен 2600000000 <пудов>. Имея в виду, что мы делаем исчисления в отношении крестьянского хозяйства, учет этот, конечно, весьма приблизителен <...> так что здесь можно сделать надбавку, так что я допускаю не 2600 млн., а скорее 2800 млн., но прибавлять больше было бы опасно».[9]

Надо заметить, что цифра 2600 млн. пуд. также была получена в результате внесения «поправок на недоучет» в данные весеннего выборочного обследования крестьянских хозяйств.

В докладе «О неурожае и хлебоэкспорте» на пленуме ЦК РКП(б) 20 августа 1924 г. А. И. Рыков отмечал: «Официальный орган, который несет ответственность за подсчет урожая, ЦСУ устанавливает урожай этого года в размере 2640 млн. пудов. *Непосредственные*

статистические данные показывают меньший урожай и эта цифра получена путем внесения в них поправочного коэффициента (курсив мой. — *И. К.*). В результате опыта статистических работ будто бы установлено, что данные с мест всегда несколько преуменьшают урожай <...>. Если учесть и остатки от прошлого года, которые Госплан и ЦСУ высчитывают более чем в 150 млн., то общая сумма тех ресурсов, которые в настоящее время находятся в распоряжении республики, составят приблизительно 2800 млн. пудов, то есть столько же, сколько и в прошлом году. Я этим подсчетам не совсем верю, потому что они не могут объяснить для меня основного факта: в прошлом году мы имели низкие цены на хлеб и большее предложение хлебных излишков. Конечно на возникновение этого экономического факта мог влиять целый ряд побочных явлений, но они одни не могли бы его определить».[10]

Из первоначальных исчислений ЦСУ СССР следовало, что в 1924 г. хлеба по всей стране было собрано на 150-200 млн. пудов меньше, чем в 1923 г.,[11] что вполне покрывалось имевшимися у государства и кооперации запасами, исчисленными в 168 млн. пудов. Однако, такие подсчеты вступали в явное противоречие с данными местных статистических органов. По одной только Украине ЦСУ УССР оценивало недобор 1924 г. против предыдущего в 300 млн. пудов.[12]

Предположение о том, что количество хлеба в стране в неурожайном году не изменилось было слишком оптимистичным для пропаганды. Впоследствии, при составлении хлебофуражного баланса, ЦСУ пересмотрело свои оценки в сторону понижения. Теперь валовый сбор 1924 г. оценивался в 2501 млн. пудов. Баланс Наркомата внутренней торговли определял валовый сбор в 2403 млн. пудов.[13]

Эти коррективы были произведены, очевидно, за счет уменьшения «поправок на недоучет» к данным весеннего выборочного опроса крестьянских хозяйств о посевной площади.

Наш подход к оценке реальных размеров урожая 1924 г. основан на исключении из данных ЦСУ СССР всяческих «поправок на недоучет». Во-первых, в ходе дискуссии 1920—1923 гг. (как и в последующие годы) вокруг достоверности данных урожайной статистики ЦСУ необходимость внесения в результаты первичного статистического наблюдения каких бы то ни было поправок не была научно обоснована. Напротив, противники поправок убедительно доказали полноту и репрезентативность обследований ЦСУ.[14] Во-

вторых, только таким образом можно получить оценки, сопоставимые с данными за предыдущие годы, так как после 1923 г. к данным о посевной площади за разные годы применялись различные поправочные коэффициенты.

Посевная площадь под зерновыми культурами по СССР в 1924 г. определялась (по данным весеннего выборочного обследования без «поправок на недоучет») в 53,9 млн. дес.[15]

Как уже говорилось, средняя по СССР урожайность хлебов оценивалась ЦСУ в 2,5 баллов, что соответствовало 33 пуд./дес.

Таким образом, валовый сбор хлебов 1924 г. по СССР мы оцениваем в 1778,7 млн. пудов. Это примерно столько же, сколько было собрано по РСФСР и Украине в 1921 г.[16]

2. Крестьянское хозяйство и неурожай.

Важной особенностью урожая 1924 г. была его пестрота. Совершавший в августе–сентябре поездку по неурожайным районам, ответственный сотрудник Совнаркома С. Крылов писал А. И. Рыкову из Самарской губернии: «Положение очень осложняется тем, что в губернии очень пестрый урожай. Можно найти рядом лежащие хозяйства — одно пострадало, а другое, при одинаковых условиях, выдержало. Один несомненный вывод, что поля с культурной обработкой сохранили урожай».[17]

Из Саратовской губернии в августе сообщалось (Информотдел ОГПУ): в Камышинском и Новоузенском уездах погибло 80 % посевов, Саратовском — 53 %, в Вольском — 43 %, Аткарском — 32 %, Сердобском — 24 %, Балашовском — 23 %, Петровском — 17 %, Кузнецком – 5 %.[18]

Из Воронежской губернии сообщали о значительных колебаниях урожая внутри уездов: «В Лисянском районе Острогожского у. сбор с десятины 30—40 пуд. и, как редкость — 70 пуд.; в Усманском у. хорошо обработанная пашня дала от 30 до 60 пуд., а плохо обработанная (преимущественно бедняков) — от 12 до 28 пуд.; в Новохоперском у. урожай колеблется от 11 до 20 пуд.; в Архангельском районе — от 30 до 60 пуд.».[19]

В «Отчете о деятельности особой комиссии по борьбе с последствиями недорода 1924 г. (ОСОБКОМ) при СНК УССР» читаем: «Урожай оказался чрезвычайно пестрым; резкие колебания наблюдались не только между районами и соседними селами, но даже

между соседними участками. Так, например, в Старобельском округе Донецкой губернии у коллективов и сельскохозяйственных артелей, благодаря введенному у них правильному севообороту и лучшей обработке земли, десятина давала 30–40 пудов зерна, тогда как рядом у крестьян посев совершенно погиб. Или — другой пример: в Ново-Троицком районе Мелитопольского округа Екатеринославской губернии имел место случай, когда с участка вспаханного под черный пар, было собрано по 50–60 пудов с десятины, а на соседнем участке, расположенном межа с межой, при наличии одинакового количества осадков, но засеянных по стерне, было собрано всего лишь 8–10 пуд. с десятины. Такие случаи снова подтверждают, что борьба с засухой, в первую очередь, должна быть направлена в сторону улучшения обработки земли».[20]

Уже из приведенных свидетельств видно, что пестроту урожая наблюдатели связывали, в первую очередь, с различиями в качестве обработки почвы, которая, в свою очередь, зависела от обеспеченности крестьянских хозяйств живым и мертвым инвентарем.

26 февраля 1925 г. С. Крылов подал Рыкову докладную записку «О положении в Нижнем Поволжье и Юго-Востоке», в которой подробно останавливается на причинах неурожая 1924 г. Выводы автора были основаны на личных впечатлениях, полученных во время поездки по неурожайным районам.

«Исторически сложившийся тип крестьянского хозяйства, — писал Крылов, — предполагал большое количество рабочего скота (3–4 пары в запряжку) и глубокую вспашку, а также большие хлебофуражные запасы на случай неурожая (“страховка амбарами”). В данное время крестьянские хозяйства не представляют из себя таких сильных организмов, какими они были до войны. Положительно во всех хозяйствах нехватка тягловой силы. Широко применяется спряжка — два-три домохозяина спрягают по паре волов или лошадей и обрабатывают этой спряжкой возможно большее количество земли. Обработка плохая. Большой процент (до 45) бестягловых хозяйств обрабатывают свои участки земли путем найма или путем сдачи половины пашни хозяину тягловой силы. Обработка еще хуже».[21]

Далее в записке отмечалась прямая зависимость размеров урожая от качества обработки почвы. В районах охваченных засухой, тем не менее, встречались хозяйства (крестьянские хозяйства и коммуны), собравшие до 60 пудов с десятины.

«По выяснении оказывалось, — писал С. Крылов, — эти хозяйства имеют достаточно тягловой силы и обрабатывают землю “по-старому”, то есть глубоко вспахали и пропахали несколько раз».

Другую причину бедственного положения крестьянских хозяйств в неурожайных районах С. Крылов видел в отсутствии у них страховочных запасов зерна: «Старые запасы хлеба взяты войнами, продразверсткой, голодом двадцать первого года и продналогом. В 1923 г. продналог был тяжел. У середняков и зажиточных он взял от тридцати до шестидесяти и даже до восьмидесяти процентов собранного хлеба. В 1924 г. крестьянство вступило с пустыми амбарами».[22]

Обобщал свои наблюдения С. Крылов следующим образом: «Неурожай является последствием не только засухи, но и войны и голода 1921 г., продразверстки и, отчасти, продналога, взявших много хлеба и живой тягловой силы и ухудшивших обработку. Острота продовольственного положения объясняется отсутствием старых запасов хлеба в амбарах у крестьян, а отсюда и необходимость помощи в больших суммах от правительства».[23]

В целом Крыловым нарисована объективная картина ситуации в неурожайных районах. Все сказанное подтверждается известными статистическими данными. Показательно, что избегая (как и все чиновники в 1924 г.) термина «голод», автор докладной записки говорит об «остроте продовольственного положения» как о массовом явлении.

Полностью аналогичные выводы о причинах и последствиях неурожая содержатся, в частности, и в докладе комиссии Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции СССР по обследованию сельского хозяйства Нижнего Поволжья, проведенного летом 1925 г.[24]

Неизбежным результатом крупного неурожая стал массовый голод в пострадавших районах.

3. Голод в 1924–1925 гг.

В современной историографии сам факт голода 1924–1925 гг. уже не отрицается. Однако, его масштабы, на наш взгляд, сильно преуменьшаются. По сравнению с голодовкой 1921–1922 гг., он видится историкам как малозначительный эпизод, не заслуживающий особого внимания. Так, В. П. Данилов оценивает динамику продовольственного положения сельского населения в 1921–1924 гг. следую-

щим образом: «Если в 1921–1922 гг. голодали десятки миллионов (свыше 30 млн.) и погибли миллионы, то в 1922–1923 гг. голодали миллионы и погибли десятки тысяч, а в 1923–1924 гг. голодали десятки тысяч и погибли тысячи человек».[25]

Когда говорят о более чем 30 млн. человек голодавших в 1921–1922 гг., явно путают численность голодавших с общей численностью сельского населения районов, охваченных неурожаем.

С. А. Клепиков оценивал общую численность населения губерний, собственное производство хлеба и картофеля в которых в 1921 г. не покрывало их продовольственных потребностей, в 33 млн. человек.[26] В докладе Президиума ВЦИК IV сессии ВЦИК IX созыва *общее население* неурожайных районов оценивалось в 37 млн. человек, в итоговой сводке ЦК Помгола — в 31714 тыс. человек. М. И. Калинин в 1923 г. называл цифру в 31922 тыс. человек.[27]

Совсем другой показатель состояния неурожайных районов — численность голодающего населения. В 1921–1922 гг. статус голодающих официально получало все население территорий, на которых чистый сбор зерновых не превышал 6 пудов на душу.[28] Численность голодающих определялась тогда в 22 млн. человек.[29]

В 1924–1925 гг. понятия «голод» и «голодающие» практически не употребляются даже в секретных правительственных документах. Местности с урожаем ниже 6 пудов на душу именовались теперь «неурожайными» (см. выше). К весне 1925 г. Комиссия Рыкова признала (полностью или частично) «неурожайными» территории 21 губернии с населением 12254 тыс. человек (таблица 2). Средний урожай зерновых здесь составил 4,1 пуда на душу.[30] Таким образом, в 1921 г. эти двенадцать с лишним миллионов человек были бы признаны «голодающими».

Даже если бы данные Комиссии Рыкова можно было считать исчерпывающими, 12,3 млн. человек — это далеко не «десятки тысяч», о которых писал В. П. Данилов.

Как видно из таблицы, в число «неурожайных» были включены и некоторые районы, в которых чистый сбор превышал 6 пуд. на душу. Это, однако, не означало, что в смысле продовольственного положения они находились в более благоприятных условиях. В местностях степной и лесостепной полосы с господством экстенсивного зернового хозяйства нормы потребления хлебных продуктов традиционно были выше средних.

Таблица 2.

Расчет урожая зерновых хлебов по районам, признанным Комиссией Рыкова неурожайными[31]

Республики, губернии, уезды	Население пострадавших мест	Посевная площадь 1924 г., тыс. десятин	Чистый сбор зерна на душу, пуд
Самарская	697	592	1,9
Саратовская	1368	1138	3,1
Республика немцев Поволжья	491	570	2,4
Царицынская	1033	1163	-1,2
Астраханская	259	87	-0,3
Воронежская	1800	954	5,2
Северный Кавказ	1720	1674	3,1
Калмыцкая область	186	45	-0,9
Киргизская АССР	279	236	4,6
Дагестан	826	113	3,7
Тульская	83	57	5,2
Рязанская	97	52	4,8
Пензенская	232	162	4,5
Орловская	223	167	4,9
Тамбовская	356	224	5,8
Курская	247	152	7,6

Ульяновская	165	134	2,9
Алтайская	385	231	13,3
Омская	379	274	4,6
РСФСР	10826	8025	3,6
Харьковская	904	626	4,0
Екатерино-славская	524	701	16,3
УССР	1428	1327	8,3
Итого	12254	9352	4,1

Так, в Курской губернии своего хлеба до нового урожая хватило только у 16,5 % крестьянских хозяйств. Еще у 24,6 % своего хлеба хватило только до нового года, у 20,3 % — до Великого поста, у 23,9 % — до Пасхи.[32]

В районах Украины, признанных Комиссией Рыкова неурожайными, 37,3 % хозяйств не имели своего хлеба уже осенью, 3,8 % было обеспечено до 1 февраля, 12,9 % — до марта, 16,7 % — до апреля, 10,6 % — до мая, , 8,2 % — до июня и лишь 10,5 % — до июля и до нового урожая.[33]

Однако, Комиссия Рыкова весьма критически относилась к данным местных органов власти о размерах неурожая, что позволило значительно снизить итоговую численность пострадавшего населения.

Во-первых, чистый сбор хлебов в неурожайных районах исчислялся с внесением исходные данные поправок на недоучет (см. выше). Без них расчетное количество пострадавшего населения увеличилось бы значительно.

Во-вторых, данные Комиссии Рыкова расходятся с данными местных статистических органов в сторону преуменьшения последних.

Так, на Украине республиканское ЦСУ распределило пострадавшие от засухи районы на две группы. К первой, «особо пострадавших», с чистым сбором хлеба на душу до 12 пудов, было отнесено 7 округов. Ко второй, «слабее пострадавших», с чистым сбором до 19 пудов — 8 округов. Комиссия Рыкова, как уже говорилось, считала не-

урожайными (со всеми вытекающими последствиями) только районы с чистым сбором до 6 пудов на душу. Таких районов ЦСУ Украины насчитало 57 с населением в 1853,3 тыс. человек.[34] Комиссия Рыкова признала пострадавшими от неурожая на Украине только 25 округов с населением 1428 тыс. человек. В число неурожайных Комиссия Рыкова зачислила Харьковский и Купянский округа Харковской губернии и Мелитопольский округ Екатеринославской губернии.

Фактически же значительное употребление в пищу суррогатов и другие массовые проявления голода было зафиксировано также и в Киевской, Донецкой, Одесской, Волынской и Подольской губерниях.[35]

По Северо-Кавказскому краю, по версии Комиссии Рыкова, неурожайными являлись только Донецкий, Морозовский, Сальский округа Донской губернии, Ставропольская, Терская губернии и Кабардинская АССР.

Однако, по данным краевой комиссии, кроме названных территорий, голод развивался в Шахтинском и Таганрогском округах. В частности, в телеграмме от 30 января 1925 г. сообщалось о том, что, по неполным данным, в Таганрогском округе голодает 11500 человек, а в Шахтинском — 29000.[36]

По Воронежской губернии неурожайными официально были признаны Валуйский, Богучарский и Россошанский уезды. Между тем, информационные сводки ОГПУ содержат немало свидетельств о массовом голоде в Воронежском, Острогожском, Новохоперском уездах.[37] Из этих документов, в частности, можно узнать, что уже в марте 1925 г. 80 % населения указанных уездов питалось суррогатами.

В Орловской губернии Комиссия Рыкова исчисляла население пострадавшее от неурожая в 223 тыс. человек. Информотдел ОГПУ сообщал в мае 1925 г. о 328,7 тыс. человек нуждающихся в «немедленной помощи хлебом» (20,3 % населения Орловской губернии).[38]

То, что хлебофуражный баланс 1924/25 г. мог быть сведен только за счет значительного сокращения потребления сельским населением, прекрасно понимало и высшее руководство страны.

Управляющий ЦСУ СССР П. И. Попов в докладе на заседании СНК СССР 17 июля 1924 г. представил хлебофуражный баланс (таблица 1),[39] исходивший из предположения, что на пропитание сельского населения с очень плохим урожаем уйдет не более 6 пудов на душу, в неурожайном — 11 пудов, в районах среднего и выше среднего урожаем — 15–18 пудов, соответственно.

Таблица 3.

Предварительный хлебофуражный баланс СССР на 1924/25 г. по данным ЦСУ, млн. пуд.

Статьи баланса	
Валовый сбор	2600
Остаток от прошлых лет	162
ВСЕГО В ПРИХОДЕ	2762
Обсеменение полей	550
Продовольствие сельского населения	1322
Прокормление скота	366
Общее потребление сельского населения	2233
Городское население и городской скот	272
Армия	30
Закавказье и Туркестан	12
ВСЕГО В РАСХОДЕ	2547
Остаток	53

В среднем получалось 11 пуд. на душу. Принятые нормы потребления сельского населения были ниже нормального уровня потребления (15—16 пуд. на душу). Управляющий ЦСУ в своем докладе особо подчеркнул: «Баланс наш построен на предположении сокращения потребления населением до 6 пуд. *Если вы повысите норму, то у нас не хватит*».[40]

ЦСУ исходило из неизменности размеров потребления городских жителей, по сравнению с предыдущим годом, при его значительном сокращении в сельской местности. Уже в этом ясно видны приоритеты государственной политики в условиях неурожая.

Государственная помощь не могла предотвратить массового голода сельского населения.

ЦСУ СССР и Комиссия Рыкова изначально предполагали, что продовольственная помощь будет оказываться только населению районов, где сбор хлебов не превышал 6 пуд. на душу. Причем целью помощи было доведение суточного потребления хлеба и картофеля до 1 фунта в день на душу (в переводе на хлеб), или 6 пуд. на душу в год.[41] Минимальная норма потребления, при которой была возможна работа (при характерном для русской деревне рационе) физиологи начала XX в. определяли в 12–13 пуд. хлеба и картофеля (в переводе на хлеб).[42]

Предполагавшаяся правительством продовольственная помощь, по словам П. И. Попова, была рассчитана только на то, чтобы «застраховать население от гибели». Другими видами помощи голодающим были организация общественных работ, главным образом, по мелиорации и предоставление семенной ссуды.

Помощь, в большинстве случаев, оказывалась недостаточной и малоэффективной. В марте 1925 г. Информотдел ОГПУ так характеризовал ситуацию в Ставропольской губернии: «Мелиоративные работы, в частности, и общественные работы, в целом, не сыграли намеченной центром роли, благодаря использованию местными властями сумм не по назначению. Ссуда, отпускаемая крестьянам, а также и деньги на мелиоративные работы вместо бедноты попадают кооперативам для оборота». Далее приводились соответствующие примеры.[43]

В отчете Северо-Кавказской краевой комиссии по борьбе с последствиями неурожая за январь 1925 г. читаем: «В конце декабря из всех неурожайных округов Северного Кавказа поступил ряд заявлений, указывающих на недостаток отпущенных центром средств на борьбу с последствиями неурожая. Конъюнктурные показания в области сельского хозяйства, отмечающие падение цен на скот и массовую продажу скота крестьянством неурожайных районов, подтверждали необходимость дополнительной помощи населению».[44]

Председатель Северо-Кавказского крайисполкома сообщал в Комиссию Рыкова в июне 1925 г.: «Предоставленная государственная помощь не исчерпала всей нужды, а с прекращением ее в мае месяце явления нужды грозят вырасти в серьезное бедствие и могут подорвать результаты уже проделанной работы».[45]

Продовольственная помощь доходила до очень немногих из числа нуждавшихся. Показательно, что Исполком Украины в своем от-

чете указывал как на достижение на тот факт, что «в *некоторых селениях* в настоящее время удалось охватить *почти полностью* детское население семей, *испытывающих наиболее острую нужду*». С помощью взрослому населению все обстояло значительно хуже.[46]

Использовавшиеся властью формальные количественные критерии голода и «неурожайности» (в частности, предельные нормы потребления) не позволяют реконструировать картину экономического положения населения. Представления о нормальном и голодном уровнях потребления существенно варьировались по районам страны и зависели от потребительских привычек населения, природно-климатических условий, характера труда и т. п.

Голод следует рассматривать как экономическое явление, отражающее не только абсолютный недостаток продовольствия, но и конкретно-историческое распределение прав на его получение. Наилучшим показателем распространения голода в деревне может служить появление характерных поведенческих стереотипов крестьянства, связанных с голодом.

«Во время наступления голода, — пишет В. В. Кондрашин, — трудоспособные мужчины покидали голодающие семьи и уходили на поиски заработков и продовольствия в районы, не пораженные голодом. Спешно распродавались скот и имущество для получения средств на приобретение хлеба. <...> Женщины, старики и дети занимались нищенством. Оставшиеся в голодающей деревне члены крестьянской семьи использовали в пищу различные суррогаты, рецепты приготовления которых передавались из поколения в поколение. В пищу употреблялось и мясо павших животных. Для прокорма рабочей лошади и коровы нередко разбирались соломенные крыши крестьянских изб. Родственники старались помогать друг другу».[47]

Голодание (сокращение рациона и употребление суррогатов).

Сводки ОГПУ являются, на сегодняшний день, основным источником информации о масштабах голода 1924–1925 гг. Однако, при использовании этого источника принципиальное значение имеет одно важное обстоятельство. Все сообщения о голоде 1924–1925 гг., от кого бы они ни исходили, отличаются, как правило, отсутствием точных данных о числе голодающих по крупным административным единицам (губерниям и уездам). В этом их главное отличие от материалов 1921–1922 гг., и объясняется оно тем, что в 1924–1925 гг.

перед местными властями и органами ОГПУ никто и не ставил задачи выяснения численности голодающих. Еще в июне 1924 г. на самом высоком уровне было объявлено, что голода в стране нет и не ожидается, а все обратные утверждения заранее объявлялись паникерством и контрреволюцией. Именно поэтому даже авторы секретных информационных сводок пользовались таким «сильным» выражением как «голод». ОГПУ, как и любое государственное учреждение, было склонно сообщать «наверх» главным образом то, о чем там хотели знать.

Сплошного учета или оценки общего числа голодающих в большинстве случаев вообще не производилось. Приводимые Информотделом ОГПУ цифры относятся часто лишь к отдельным обследованным селам или волостям. Нередко число голодающих указывалось в процентном выражении относительно общего числа жителей обследованной местности. Таким образом, статистика ОГПУ дает представление скорее об относительных, чем об абсолютных размерах голода.

Вследствие крайне ограниченных возможностей для неземледельческих заработков, отсутствия у многих крестьян запасов продовольствия, явной недостаточности госпомощи и крупных злоупотреблений при ее распределении массового голода избежать было невозможно. Его прямое проявление – снижение продовольственного рациона ниже физиологических норм и питание суррогатами — уже в августе 1924 г. фиксировалось ОГПУ в Ставропольской, Царицинской губернии и Республике немцев Поволжья. Причем в последней голодало 40 % населения.[48] В Республике немцев Поволжья еще в июне в продовольственной помощи нуждался «солидный процент из крестьян».[49]

Ситуация июля–августа здесь уже характеризовалась в довольно мрачных тонах: «Население северной части Покровского кантона на 50 % не имеет хлеба, от 35 до 45 % продержатся своим хлебом 2–2,5 месяца и не более 6–10 % просуществуют своим хлебом до нового урожая. Крестьяне Покровского кантона питаются суррогатами, в Краснокутском кантоне зарегистрировано несколько случаев голодной смерти и заболевания цингой. По всей республике 20 % голодающего населения кормятся сусликами и травой».[50]

В сентябре к числу голодающих губерний прибавилась Саратовская губерния. Здесь в Новоузенском уезде голодало 34,2 тыс. чело-

век (20 % населения уезда), а еще 17,8 тыс. человек «сильно нуждалось в продовольствии». Такая казуистика весьма характерна для официальных документов, касающихся положения деревни в 1924–1925 гг. В чем состояло отличие голода от «сильной нужды в продовольствии», остается неизвестным. По волостям Саратовского уезда начинало голодать 30–35 % населения.[51] В Тамбовской и Воронежской губерниях голодовка части населения начинается в октябре.[52]

Уже в декабре ОГПУ сообщает о голоде как типичном явлении для всех районов, охваченных неурожаем: «В районах недорода (Поволжье и частично Украина и Центр) процесс разорения бедноты идет особенно сильно. Значительный процент населения здесь питается уже суррогатами или в ближайшее время останется без хлеба. Наблюдается развитие нищенства (Украина). В Поволжье начинает расти число голодающих и отмечаются отдельные случаи голодной смерти».[53]

В февральских сводках сообщалось об усилении голода в Саратовской губернии: «В некоторых уездах голод и недоедание усиливаются. В Аткарском уезде на этой почве появился сыпняк. В Новоузенском уезде особенно голодают батраки, есть опухания. <...> В Балашовском уезде много остро голодающих в Подовской волости. В Саратовском уезде в селе Сокур 50 семей питаются суррогатами, 20 семей пухнут от голода. В Кузнецком уезде в трех волостях сильный голод: едят подобие хлеба из лебеды, соломы и проса. Помощи голодающим пока не оказывается».[54]

В одном из писем красноармейцу из Тульской губернии сообщалось: «У нас большой голод, нет совершенно ни хлеба, ни корма скоту, и многие граждане думают ехать в Сибирь, так как засевать поля тоже нечем».[55]

По отдельным селам и волостям Воронежской губернии число голодающих исчисляли уже тысячами. В сводке приводится фрагмент частного письма, отправленного из г. Задонска (уездный центр Воронежской губернии): «Я вам сообщаю об нынешнем голоде, был 1921 голод, а 1925 еще голоднее, хлеба у нас нет, покупаем с Рождества».

Аналогичной была картина в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Актюбинской губерниях.[56]

С середины марта 1925 г. стали поступать сведения о голоде на Украине, в Донецкой, Екатеринославской, Подольской, Одесской, Киевской и Харьковской губерний. В частности, в Бердичевском ок-

руге Киевской губернии голодало около 40 % сельского населения, в Уманском — до 10 %.[57]

В Пензенской губернии, согласно сообщению от 20 марта 1925 г., 30 % сельского населения питалось суррогатами. Ожидалось, что к сбору нового урожая эта цифра возрастет до 50 %.[58]

В мае — июле 1925 г. появляются более конкретные сведения о голоде. Повсеместно регистрировались случаи голодной смерти.

В частности, сообщаются результаты обследования Россошанского у. Воронежской губернии. Обследованием выявлено 56884 человека совершенно не имеющих хлеба, 157054 — питающихся суррогатами, 46512 — истощенных отсутствием питания, 8381 заболеваний на почве голода, то есть всего от неурожая пострадало 75 % населения уезда.[59] В Богучарском у. питавшихся суррогатами (желуди, жмых, мякина, древесная кора и бураки) зарегистрировано 20568 человек.[60]

По Орловской губернии, как уже говорилось, было зарегистрировано 328700 человек (20,3 % населения губернии), нуждающихся «в немедленной помощи хлебом». У 80 % населения Малоархангельского уезда не было хлеба, и оно питалось за счет семенного картофеля и разных суррогатов, вплоть до трав и мякины. В Волховском уезде 50 % населения не имело хлеба, население питалось суррогатом. В Орловском уезде голодало 25 % населения, а еще 65 % «нуждалось в помощи». По Елецкому у. уже к июню голодало 50 % населения, а у 30 % — хлеба оставалось на один месяц.[61] Здесь фиксировались случаи смерти от голода: по восьми волостям — шестнадцать смертных случаев.[62]

В Тамбовской губернии к маю 50 % крестьян употребляли в пищу суррогаты, «а в некоторых местах крестьяне употребляют для еды дохлый скот, а местами и продают». Характерна информация из Тамбовского у.: «Голодовка по селам Рассказовской волости с каждым днем все растет и растет, есть случаи, не один и не два, что уже по два и по три человека помирают в день, а количество ослабевших от голода фактически достигает 40 % населения Рассказовской волости».[63]

Усиливался голод и в Тульской губернии: «В некоторых селениях Епифановского района насчитывается до 90 % крестьян, не имеющих своего хлеба. По Волово-Карасаевскому району в среднем насчитывается до 60 % крестьянских хозяйств, не имеющих также хлеба. Есть отдельные селения, где на 100 крестьянских хозяйств имеют хлеб только 4 хозяйства».[64]

К лету 1925 г. масовый голод распространился на новые районы. Так, из Рязанской губернии сообщали: «Недостаток хлеба ощущается резко даже в тех районах губернии, где по сравнению с другими он не сильно был заметен. Показательным в этом отношении является Сасовский уезд, а в особенности западные и северные волости, где голодовка среди крестьян приняла более широкий размах, на почве чего зарегистрированы смертные случаи от голода; большая часть населения пухнет».[65]

Всего за период с июня 1924 г. по июль 1925 г. массовое голодание населения (20–50 % населения) было зафиксировано в 22 губерниях и автономных республиках СССР.

Массовые миграции и нищенство.

Наиболее распространенными видами миграций, обусловленных голодом, в 1924–1925 гг. были массовый уход крестьян на заработки в города и урожайные местности (отходничество), беженство и переселение.

Уже в июле 1924 г., когда определились виды на урожай, в пострадавших от засухи районах поднялась волна отходничества. Из Ставропольской губернии сообщали: «Несмотря на ряд принятых местным окрисполкомом мер по ликвидации паники, население массами уходит в Кубанскую и Терскую области <...>. По неполным сведениям из шести сел Петровского района ушло на заработки 2,6 тыс. человек, из Виноделенского района — 8959 человек (25 % населения) и продано 1783 головы скота; из шести сел Дивенского района — 5960 человек; из сел Александровского района — 2 тыс. человек и продано скота свыше 2 тыс. голов».[66] Подобные сообщения типичны для всех мест, охваченных неурожаем и в последующем.

На заработки стремилась уйти более бедная часть крестьян, середняки и зажиточные предпочитали переселение. Уходили, как правило, мужчины. Хотя зарегистрированы случаи ухода и женщин, оставлявших в деревне детей.

Развитию отходничества мешала безработица в городах. Многие крестьяне-отходники, не найдя работы возвращались обратно, либо нищенствовали в городах.

Судя по имеющимся материалам, особо остро проблема роста количества нищих в связи с голодом стояла в городах Украины. В отчете республиканской комиссии по борьбе с последствиями неурожая

читаем: «Недород 24 года, охвативший часть районов Украины с наступлением осенних и зимних холодов привел крестьян из мест, пострадавших от недорода в крупные центры в поисках заработка. Однако, безработица в городах ставила прибывших крестьян в безвыходное положение, и они вынуждены были в конце концов заниматься попрошайничеством, создавая новые кадры нищих, увеличив и элементы уголовного характера».[67]

Для выяснения причин и масштаб нищенства было проведено обследование двух ночлежных домов в г. Харькове. Эти же два дома были обследованы годом раньше. Сопоставление результатов показало, что число нищих увеличилось на 32,9 %.

Незначительно изменился социальный состав обитателей харьковских ночлежек. Если в 1923/24 г. крестьян (по происхождению) здесь было 61,6 %, то в 1924/25 — 64, 6 %. Зато существенные изменения претерпели причины нищенства. В 1923/24 г. основная масса нищих называла в качестве причин, приведших их к попрошайничеству отсутствие средств (45,3 %) и жилья (42,3 %). В 1924/25 г. почти половина опрошенных (49,4 %) указали на недород как главную причину своего положения, еще 39,5 % назвали безработицу.

Кроме Харькова Комиссия располагала данными еще по восьми городам. Наибольший прирост нищенства был зафиксирован в Одессе — более чем на 100 %.[68]

В марте 1925 г. из Орловской губернии сообщали: «В связи с плохим экономсостоянием в Волконской вол. (Дмитровский у.) крестьяне стараются уйти на заработки в другие губернии, такие же случаи есть и в Песочинской вол. (Орловский у.). В Богородицкой вол., несмотря на то, что ранее ушедшие на заработки сообщают, что никак не могут устроиться на работу и даже голодают, уход, как мужчин, так и подростков продолжается, что объясняется очень плохим материальным положением».

Аналогичное сообщение из Самарской губернии: «По Дмитровской вол. Самарского у. наблюдается частичный уход крестьян в город на заработки, но по ненахождению работы некоторые возвращаются обратно. Уход вызывается необеспеченностью крестьян продовольствием, около 30 % всего населения нуждается в работе и с нетерпением ожидает начала военных мелиоративных работ. В Пономаревской вол. Бугурусланского у. среди бедняцкого населения в связи с тяжелым экономическим положением наблюдается час-

тичный уход на заработки в разные города. Массового ухода пока не наблюдается».[69]

Другим видом миграций крестьян, порожденных голодом, стали беженство и переселение.*

Еще в июне 1924 г. крестьяне в пострадавших районах планировали переселение. Так, в информации ОГПУ из Орловской губернии сообщалось: «Крестьяне ожидают голода и собираются ехать на Украину».[70]

В августе 1924 г. органы ОГПУ фиксируют массовое переселение (в некоторых селах – 30–50 % населения) крестьян «со всем скарбом» в урожайные местности по Республике немцев Поволжья и Саратовской губернии. При этом важным побудительным мотивом к переселению, наряду с неурожаем, были опасения, что государство не окажет никакой помощи.[71] О стремлении пострадавшего населения к переселению на Кубань докладывали и из Донецкой губернии Украинской ССР.[72]

17 сентября 1924 г. из Воронежской губернии в ОГПУ пришла такая информация: «Экономическое положение бедноты в связи с недородом плачевное. Есть опасения, что своим хлебом беднота прокормится лишь до января 1925 г. Беднота уезжает в одиночку или группами на прокормление на Кубань, Донбасс, Кавказ».[73]

Факторами, сдерживающими миграцию, была политика государства, стремившегося силой не допустить беженства и переселений, а также враждебное отношение местного населения к беженцам и переселенцам.

В «Обзоре деятельности Комиссии по борьбе с последствиями неурожая при СНК СССР с 22 ноября по 15 декабря 1924 г.» отмечался факт реэвакуации из Саратова в Республику немцев Поволжья тысячи беженцев. При этом республиканская комиссия сообщала, что выезд «нуждающегося населения» продолжается.[74]

В сообщении о заседании Комиссии Рыкова от 3 октября говорилось: «В виду того, что из некоторых мест поступают сведения об

---

* Под беженством следует понимать временное перемещение крестьян из неурожайных в «хлебные» районы без обзаведения хозяйством на новом месте. Переселение —уход на постоянное место жительства с обзаведением хозяйством на новом месте. Переселению группы хозяйств, как правило, предшествовала посылка ходоков в предполагаемое место переселения.

организованном движении (по удостоверениям) беженцев из неурожайных районов и о скоплении беженцев, угрожающем заболеваниями и прочими бедствиями, Комиссия постановила обратиться на места о недопущении беженского движения, так как ввиду своевременно принятых мер на местах нет никакого основания предполагать наличие в неурожайных районах экономических факторов, вызывающих беженство. Комиссия признала необходимым незамедлительную реэвакуацию скопившихся беженцев».[75]

Таким образом, пролетарское государство не видело оснований для возникновения беженского движения в неурожайных районах. Население этих районов считало иначе. Беженское и переселенческое движение продолжалось в стихийном порядке.

Жители мест, куда прибывали беженцы и переселенцы, также не всегда принимали их спокойно. В августе из Ставропольской губернии сообщалось: «Хозяева, имевшие одну лошадь и 2–3 головы скота, продавая все, отправляются, главным образом, на Кубань, где встречаются враждебно со стороны казачества, которое попрекает их тем, что «они большевики, хотели прихода Советской власти, и помощи пускай просят у последней <...>. Беженцам не оказывается никакой поддержки и они по целым неделям находятся без жилья под открытым небом».[76]

О развитии этой ситуации мы узнаем из письма С. Крыловым А. И. Рыкову, отправленному из Ставрополя, предположительно, в сентябре 1924 г.: «Первое время крестьянство стихийно двинулось на Кубань, которая охотно принимала кулаков со скотом, а бедноту гнала <...>. Разъяснительная кампания и отпор с Кубани заставили ожидать помощи. Резко повысилась посещаемость сельсоветов — приходят и ждут помощи».[77]

Приведенные свидетельства интересны и тем, что показывают участие в беженском движении самых разных экономических групп крестьянства — от бедноты до зажиточных, имевших по несколько голов скота.

Зимой — весной 1925 г. усиливается переселенческое движение. Из Тульской губернии сообщалось (март 1925 г.): «В Верховенском районе у крестьян на 40 % отсутствуют рожь, фураж и семена. В связи с этим из этого района крестьяне переселяются в Сибирь, процент переселения достигает 10 %. Убывающие за бесценок продают свои постройки и скот. В Залегощинском районе значительное количе-

ство крестьян нищенствует, также отмечены случаи переселения в Сибирь, доходящие до 8–9 %».

В Орловской губернии масштабы переселенческого движения также росли: «В волостях Урицкой и Долгоруковской (Елецкий у.) отхожий промысел и переселение начинает принимать массовый характер, бедняки уходят искать работу в города и промышленные районы, середняки ищут места для переселения, посылая ходоков на Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. Очень редко ходоки обращаются в земуправление за справками и разъяснениями, большинство уходит на свой риск и страх, таким образом, как отхожий промысел, так и переселение носят неорганизованный стихийный характер. В государственную помощь переселяющиеся не верят, но говорят, что ее скоро не получишь ввиду волокиты в соворганах. Некоторые ходоки исходатайствовали получение земли в Сибири и сейчас несколько семей уезжают туда».[78]

Увеличивалось число желающих переселиться и в Поволжье. Вот что сообщали из Пензенской губернии (март 1924 г.): «В данный момент идет массовое переселение стихийного характера в Сибирь и на Кубань, переселение это вовсе не учитывается соответствующими органами и идет стихийно. Более бедное крестьянство идет на заработок в Донбасс и другие промышленные районы. Необходимо констатировать, что тяга на переселение имеется чуть ли не во всех уездах Пензенской губ. Из поступающих данных рисуется следующая картина: в волостях Обвальской и Мочалеевской Чембарского у. желающих выехать пока имеется около 10 тыс. едоков. По волостям Навежинской и Свещинской уже выезжает около 250 человек. В Нижне-Воловском у. случаи переселения регистрируются чуть ли не во всех селах. Как, например, из с. Кульмановки Аршиновской вол. распродали имущество и готовится к выезду 70 человек. В Ушинской вол. Керенского у. уже выехало в Сибирь около 200 едоков. В с. Салмы Еремеевской вол. Саранского у. выехало 10 % всех жителей, та же тенденция имеется уже 10 % всех жителей, та же тенденция имеется еще у 30 %, но за отсутствием покупателей на недвижимое имущество эта тяга несколько сдерживается. В Наровчатском и Инсарском уездах переселение достигает 2–3 % всего населения. В результате необходимо сказать, что переселение к началу посевной кампании достигнет 30–40 %».[79]

Весьма красноречиво свидетельство из Воронежской губернии (май 1925 г.): «На железной дороге наблюдается ежедневное скопление кре-

стьянства, которое в большинстве из Задонского района Воронежского уезда и губернии, Ливенского у. Орловской губ. и Тамбовской губ., которые едут на Кубань и в Сибирь на заработки, а также возвращаются из Кубани, которые заявляют, что там большое скопление и найти работу очень трудно». В той же информационной сводке приводится аналогичное сообщение из Белгородского у. Курской губернии.[80]

Можно было бы привести еще целый ряд аналогичных сообщений из неурожайных губерний Центрального Земледельческого района и Поволжья. Нам не удалось обнаружить свидетельств о тяге к переселению голодавшего населения украинских губерний. Это можно объяснить региональными особенностями — в частности, отсутствием у местного населения исторического опыта переселений.

В многочисленных сообщениях о переселенческом движении 1924–1925 гг. ясно просматривается целый ряд общих черт. Прежде всего, это регионы, куда стремились переселенцы. Чаще всего назывались Кубань и Сибирь. Это были традиционные центры притяжения аграрной миграции еще в дореволюционный период. Однако, теперь они поменялись местами в иерархии предпочтений мигрантов. Судя по изученным материалам, Кубань была привлекательна все же для большего числа потенциальных переселенцев. Для разоренного налогами и неурожаем населения фактор расстояния играл решающую роль.

Важно отметить, что возможности для переселения у крестьян голодных районов были крайне ограничены. Потенциал приема мигрантов на Кубани были исчерпаны уже летом — осенью 1924 г. Здесь они не могли найти ни работы, ни, тем более, земли для создания собственного хозяйства. Об этом можно судить по многочисленным свидетельствам о враждебности местного населения по отношению к переселенцам и большом обратном токе последних.

Вторая характерная черта переселенческого движения неурожайного года — его (движения) стихийный характер и полное самоустранение центральной и местной власти от его регулирования. Органы власти даже отказались регистрировать численность желающих переселиться. Именно поэтому, как и в случае с определением численности голодающих, конкретные абсолютные цифры, содержащиеся в документах ОГПУ и Комиссии Рыкова, носят случайный характер.

Однако, на основании, содержащихся там же относительных данных мы можем осторожно оценить число крестьян в неурожай-

ных районах, стремившихся к переселению как 10–30 % от общей численности их населения. Осуществить свои намерения удалось немногим. Тому было три причины — отсутствие государственной поддержки, противодействие населения районов вселения и недостаточность собственных средств переселенцев.

Несмотря на все это масштабы осуществившегося ходаческого и переселенческого движения стали неожиданностью для власти. В закрытом письме секретаря Амурского губернского комитета партии в ЦК РКП(б) от 24 августа 1925 г. сообщал о внезапном появлении переселенцев: «Этот вопрос встал перед нами совершенно неожиданно, прибытие переселенцев ожидалось не ранее 1926 г., но уже в апреле-мае первые партии ходоков, а также семейств появились в губернии».[81]

Рост цен на хлеб и распродажа скота.

Угроза голода всегда заставляла крестьян пополнять запасы продовольствия (прежде всего – хлеба) за счет рынка. При этом средства для этого получали путем распродажи более или менее ликвидного имущества — главным образом, скота. В результате цены на хлеб в неурожайных районах поднимались значительно выше обычного, а цены на скот сильно падали. Если район неурожая был достаточно велик, то возрастал и средний по стране уровень хлебных цен.

В 1924 г. рост хлебных цен начался уже в июне (таблица 4). При этом в производящих районах (Юго-Восток, Украина, Киргизская ССР) цены росли наиболее интенсивно с резкими колебаниями по отдельным территориям.

Таблица 4.

Средние по СССР цены на зерно летом 1924 г., руб/пуд.[82]

	1 июня	1 июля	1 август
Рожь	0,77	1,03	1,07
Пшеница	1,19	1,54	1,56
Овес	0,93	1,13	1,29
Ячмень	0,8	1,02	1,17

В потребляющих районах (Центральный промышленный, Северный и Северо-Западный) и в Сибири, напротив, хлебные цены были стабильны и даже обнаружили тенденцию к снижению.[83] Это указывало на главный фактор роста цен — неурожай. Основной спрос предъявляло именно крестьянство пострадавших губерний. Обратной стороной этого спроса была массовая продажа скота и, соответственно, падение цен на него.

Это видно как из сообщений прессы, так и из информационных материалов ОГПУ. «Виды на урожай по губернии, — говорилось в телеграмме из Саратовской губернии от 30 июня 1924 г., — определить трудно, однако во многих местах ожидается определенный голод <...>. Настроение населения подавленное: думают продавать на хлеб скот, который только что начали приобретать после тяжелых 1921–1922 гг.».[84]

Из Царицынской губернии сообщали (18 июня 1924 г.) о росте цен на хлеб на 100 % и одновременном падении цен на скот на 200–300 %.[85] Аналогичные сообщения приходили из всех пострадавших районов.[86]

Власти считали события июня-июля на рынке неурожайных районов проявлением необоснованной паники. Были предприняты меры к ее ликвидации (в частности, показательная поездка А. И. Рыкова по пострадавшим районам) и снижению цен («лимиты» для государственных и кооперативных заготовителей). С августа по середину октября цены на хлеб стали повсеместно, в том числе и в неурожайных районах, падать. В прессе это было объявлено результатом «своевременных мероприятий» правительства и подтверждений стабильности экономической ситуации.

В действительности, снижение хлебных цен в августе — октябре было обычным сезонным явлением. Также в эти месяцы цены снижались и в 1921 г. К октябрю 1924 г. среднесоюзные цены на зерно снизились до уровня июня того же года. В условиях среднего и выше урожая июньские цены (канун сбора нового урожая) обычно были самыми высокими в году. Таким образом, даже после снижения рыночные цены на зерно все еще оставались ненормально высокими.[87]

В октябре из Тамбовской губернии сообщали: «Особенно низкие цены на скот отмечаются в Тамбовском у.: корова от 15 до 50 руб., лошадь от 80 до 120 руб., овцы — от 1 до 2 руб. штука <...>, рожь от 90 коп. до 1 руб. 10 коп., овес то же, просо 1 руб. 50 коп. Среди

крестьян отмечаются частые продажи последних лошадей с целью купить хлеба <...>. По всему уезду наблюдается лихорадочное волнение крестьян как бы запастись хлебом и кормом».[88]

В Воронежской губернии на 15 ноября, в среднем по губернии, рыночная цена пуда ржи составляла 1 руб. 26 коп., пшеницы — 2 руб. 50 коп., овса — 1 руб. 47 коп. Для государственных и кооперативных заготовителей в этой губернии Наркомат внутренней торговли установил лимит для пшеницы — 83 коп. за пуд. Рыночная цена обгоняла лимитную ровно в три раза.[89]

В Ставропольской губернии рыночная цена пшеницы составляла в октябре от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп. за пуд, а лимит — 80 коп.[90] Таже картина наблюдалась по всем неурожайным губерниям — цены на хлеб держались очень высоко, а с ноября они стали повышаться.

В связи с этим уже с декабря на самом высоком уровне (Политбюро ЦК РКП(б)) был поставлен вопрос об импорте зерна и муки для снабжения городов по приемлемым ценам. Об использовании импортного хлеба для помощи голодающим речи не шло. Всего было запланировано ввезти. 20 января 1925 г. Политбюро постановило довести импорт хлеба до 20 млн. пудов.[91]

В. Г. Громан на заседании СТО СССР 20 февраля 1925 г. так охарактеризовал ситуацию на хлебном рынке: «Если сейчас у нас огромные крестьянские районы вынуждены покупать хлеб во что бы то ни стало, чтобы предупредить голодную смерть, то если мы не овладеем всей совокупностью хлебного рынка, то можно предвидеть следующее явление, что тот рост цен, который приобрел совершенно бешеный характер, станет для нас угрозой. Во многие города, как например в Киев, приезжают крестьяне, которые скупают хлеб у торговых организаций, у наших хлебозаготовителей, а пролетариат в городе может остаться без хлеба <...>. Если деревня ликвидировала хозяйство для того, чтобы покупать хлеб, то что она делает с условиями реализации продукции? <...>. Сейчас скот перегоняется из недородных районов и подрайонов с пестрым урожаем в районы более урожайные, беднейшее крестьянство ликвидирует скотоводство, которое скупается более мощными группами».[92]

На основании характеристики ситуации, данной Громаном, складывается впечатление, что положение на рынках сельскохозяйственных продуктов зимой — весной 1924/25 г. ничем не отличалось от того, что было в июне — июле 1924 г. Это впечатления усиливает-

ся при знакомстве с корреспонденцией из районов неурожая в информационных сводках ОГПУ.

В одном из перлюстрированных писем крестьянина (или крестьянки) Задонского у. Воронежской губернии можно прочитать: «Много есть сказать голодных, хлеба нет, хлеб у нас дорогой, рожь — 1 руб. 75 коп., мука — 1 руб. 85 коп., пшено — 2 руб. 40 коп., одно — взять негде денег».[93]

Средняя цена пуда ржи по Тульской губернии составляла в марте от 1 руб. 80 коп. до 2руб., овса — от 1 руб. 70 коп. до 1 руб. 90 коп.[94] Эти данные интересны и в том отношении, что Тульская губ. находилась, среди прочих, под особым «плановым наблюдением» Наркомата внутренней торговли СССР и, вследствие этого, цены здесь не должны были бы подниматься до такого высокого уровня.[95]

В С. Сватовском районе Купянского округа Харьковской губернии мука в марте стоила 2 руб. 40 коп. «В г. Купянске торговцы сильно сократили выпечку хлеба и продают его по очень высокой цене; на рынке цены стоят: рожь — 2 руб. 10 коп., пшеница — 2 руб. 70 коп., ячмень и овес — 1 руб. 90 коп.».[96] В Каменском районе Запорожского округа Екатеринославской губернии цены на рожь повысились с 90 коп. до 1 руб. 40 коп., пшеницы — с 1 руб. 60 коп. до 3 руб. Параллельно с этим цены на скот выросли на 25 %.[97]

Подводя итоги, нужно отметить, что неурожай 1924 г. показал неготовность основной массы крестьянских хозяйств юга и юго-востока Европейской части СССР, являвшихся до революции главными поставщиками хлеба на внутренний и внешний рынок, не только к расширенному, но и к устойчивому простому воспроизводству. Очередной неурожай и последовавший за ним голод уничтожали последнюю надежду на то, что эти хозяйства смогут возродиться на собственной ресурсной и технологической основе.

Советская власть, начиная от ее политических лидеров и заканчивая представителями хозяйственных ведомств, с самого начала категорически отрицала не только факт массового голода в 1924–1925 гг., но и саму его возможность. Более того, государственные органы практически не интересовались положением голодающего населения, отказываясь даже от систематического учета числа голодающих.

Такая позиция разительно отличается от линии поведения той же власти в 1921–1922 гг., когда голод активно использовался в

пропагандистской кампании, а к помощи голодающим были привечены иностранные государства и организации. Чем объясняется такая перемена?

Объяснение состоит в изменении общего характера советской экономической системы и экономической политики. В 1921 г. государственное хозяйство имело натурально-распределительный характер. Главная задача власти состояла в непосредственном изъятии из деревни максимального количества продуктов через продразверстку или натуральный налог и прямом распределении их между потребителями, находившимся на государственном иждивении. Признавая факт неурожая и голода правительство, тем самым, получало возможность сократить свои обязательства перед городскими потребителями и вместе с тем, политическую ответственность за материальное благополучие граждан, ссылаясь на объективные трудности. Голод можно было также оправдать последствиями империалистической и гражданской войн, что позволяло усилить нажим на «контрреволюцию» во всех ее проявлениях. Типичным примером здесь может служить изъятие церковных ценностей и, развернувшаяся в связи с этим, антицерковная кампания.

К 1924 г. в стране (по крайней мере, в городе и отношениях между городом и деревней) полностью оформилось товарно-денежное хозяйство. Удовлетворение потребностей в продуктах питания было почти полностью переложено на само население. Однако, государство оставалось работодателем для подавляющего большинства городских жителей. Голод или угроза голода в сельской местности автоматически увеличивали денежные расходы городского населения и, соответственно, порождало дополнительные требования последнего к государству по увеличению заработной платы. Сокрытие истинных размеров неурожая снижало субъективную оценку ценности продовольствия в глазах населения и сокращало размеры его требований к правительству. Кроме того, открытое признание повторения ситуации 1921 г. после трех лет проведения новой экономической политики ставило под сомнение ее эффективность и могло подорвать авторитет правящего режима.

Успокоения население и руководителей хозяйственных организаций диктовалась также и необходимостью сохранения устойчивости денежной системы, сложившейся в результате реформы 1924 г. Она стала возможной только за счет стабилизации, на рубеже 1923–1924 гг.,

общего уровня цен, что позволило привести размер денежной массы в соответствие с номинальной ценностью товарооборота. Рост товарных цен и заработной платы вследствие ажиотажа в связи с неблагоприятной информацией об урожае неизбежно разрушил бы это равновесие.

Снабжение потребительских рынков (главным образом, городских) продовольствием по относительно низким ценам и сохранение устойчивости червонца — вот ключевые цели государственной политики в условиях неурожая 1924 г. Для их достижения власть не имела нужды в объективной информации о положении населения неурожайных районов.

Уникальность положения Советской власти состояла в отсутствии оппозиции, которая была бы заинтересована в дестабилизации положения в стране и полной государственной монополии на массовую информацию, в том числе и экономическую. В таких условиях создание благоприятной для власти «информационной картины» положения в стране было относительно несложной задачей.

---

[1] *Поляков Ю. А.* Недород 1924 г. и борьба с его последствиями. // История СССР. 1958. № 1. С. 52–82; *Данилов В., Верт Н., Берелович А.* Советская деревня 1923-1929 гг. по информационным документам ОГПУ (Введение) // Советская деревня глазами ОГПУ. Т. 2. 1923–1929. Документы и материалы. М., 2000 (далее — Советская деревня...); *Цакунов С. В.* В лабиринтах доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994. С. 116–119; *Телицын В. Л.* Нэп, 1924–1926 годы: «лицом к деревне» или спиной к крестьянству? // Нэп в контексте исторического развития России XX в. М., 2001. С. 282–283; *Шишкин В. А.* Власть, политика, экономика. Послереволюционная Россия (1918–1928 гг.). СПб., 1997. С. 184–185 и др.

[2] *Сталин И. В.* Ко всем организациям РКП (О борьбе с засухой и последствиями засухи) // Хлебный рынок, 1924. № 7. Приложение; *Рыков А. И.* Избр. произв. М., 1990. С. 357; В борьбе с засухой и голодом. М.; Л., 1925. С. 5, 11, 14, 19.

[3] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 488, Л. 30–30 об.

[4] Там же. Л. 29; Д. 490. Л. 21.

[5] *Клепиков С. А.* Неурожай 1921 г. (цифры и факты) // Сельское и лесное хозяйство. 1921. № 1/3. С. 195.

[6] Там же. С. 210—211; Население России в XX в. Исторические очерки. Т. 1. 1900–1939 гг. М., 2000 (далее — Население России...). С. 110, 130–131.

[7] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 1083. Л. 16; Кочетков И. В. Зерновое производство в годы нэпа: действительность и возможности // Экономическая история России XIX–XX вв. Современный взгляд. М., 2000. С. 89.

[8] *Кочетков И. В.* Указ. соч.; Бюллетень ЦСУ СССР. 1923. № 72. С. 2.

[9] Там же. Д. 488. Л. 29.

[10] *Рыков А. И.* Статьи и речи. Т. 3. М.; Л., 1929. С. 185–186.

[11] *Сталин И. В.* Указ. соч.; Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкокрестьянское сельское хозяйство в СССР в 20-е годы. М., 1989. С. 17–19.

[12] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 53. Д. 714. Л. 130.

[13] Там же. Оп. 55. Д. 489. Л. 30.

[14] *Кочетков И. В.* Указ. соч. С. 83–88.

[15] Там же. С. 89.

[16] Бюллетень ЦСУ. 1923. № 72. С. 10.

[17] ГАРФ. Ф. 5446 с. Оп. 55. Д. 714. Л. 159.

[18] Советская деревня... С. 232.

[19] Там же. С. 233.

[20] ГАРФ. Ф. 5446с. Оп. 55. Д. 714. Л. 140–140об.

[21] Там же. Л. 22.

[22] Там же.

[23] Там же. Л. 20.

[24] Там же. Ф. 374. Оп. 9. Д. 205. Л. 1–11.

[25] *Данилов В. П.* Документы ВЧК–ОГПУ–НКВД о советской деревне // Советская деревня... Т. 1. С.14.

[26] *Клепиков С. А.* Указ. соч.

[27] Население России... С. 131.

[28] Бюллетень Центральной комиссии помощи голодающим. 1921. № 1.

[29] Население России... С. 130.

[30] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1365. Л. 118. Д. 1379. Л. 44.

[31] Там же. Д. 1361. Л. 10; Д. 1379. Л. 44.

[32] Бюллетень Курского губернского статистического бюро. 1925. № 9—10. С. 14.

[33] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 714. Л. 137.

[34] Там же. Л. 127.

[35] Там же; Советская деревня...С. 290–291, 319–321.

[36] ГАРФ. Ф. 7820. Оп. 1. Д. 26. Л. 205.

[37] Советская деревня...С. 288–290, 315, 321, 330.

[38] Там же. С. 315.

[39] Там же. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 488. Л. 28–29 об.

[40] Там же. Л. 29 об.

[41] Там же. Л. 29; Д. 490. Л. 20—21.

[42] *Кочетков И. В.* К вопросу о продовольственном положении российского крестьянства в 1920-х гг. // История крестьянства в России. СПб., 2000. С. 118–123.

[43] Советская деревня...С. 296—297.

[44] ГАРФ. Ф. 7820. Оп. 1. Д. 26. Л. 275.

[45] Там же. Л. 193.

[46] Там же. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 714. Л. 136.

[47] *Кондрашин В. В.* Голод в крестьянском менталитете // Менталитет и аграрное развитие России. М., 1996. С. 121.

[48] Советская деревня... С. 231–232.
[49] Там же. С. 207–208.
[50] Там же. С. 231.
[51] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1372. Л. 145.
[52] Там же. Л. 342–373, 406.
[53] Советская деревня...С. 267.
[54] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1802. Л.16.
[55] Там же. Л. 17.
[56] Там же. Л. 5–16.
[57] Советская деревня... С. 288, 291.
[58] Там же. С. 292.
[59] Там же. С. 315.
[60] Там же. С. 321.
[61] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1804. Л. 456.
[62] Советская деревня... С. 315–316.
[63] Там же. С. 317–318.
[64] Там же. С. 329.
[65] Там же.
[66] Там же. С. 230–231.
[67] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 714. Л. 103 об.
[68] Там же. Л. 102–103 об.
[69] Советская деревня... С. 295–296.
[70] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1372. Л. 178.
[71] Советская деревня... С. 231–232.
[72] Там же. С. 234.
[73] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1372. Л. 186.
[74] Там же, Д. 1361. Л. 213.
[75] Там же. Л. 130.
[76] Там же. Л. 73.
[77] ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 55. Д. 714. Л. 23.
[78] Советская деревня... С. 295.
[79] Там же. С. 296.
[80] Там же. С. 329.
[81] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1801. Л. 6.
[82] *Озеров И. Н.* Хлебный рынок и хлебные цены в июле месяце 1924 г. // Экономический бюллетень Конъюнктурного института. 1924. № 8. С. 25.
[83] Там же.
[84] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1372. Л.173.
[85] Там же. Л. 170; См. также: Советская деревня... С. 228.
[86] Там же. С. 207, 230–235.
[87] *Ковальская Л.* Основные тенденции движения цен в первом квартале 1924/25 г. // Экономический бюллетень Конъюнктурного института. 1925. № 1. С. 1.
[88]Там же. Д. 1372. Л. 416.
[89] ГАРФ. Ф. 374. Оп. 14. Д. 93. Л. 76–77.

[90] Там же. Д. 92. Л. 29.

[91] Там же. Д. 102. Л. 34; Ф. 5446. Оп. 55. Д. 63. Л. 9–10.

[92] РГАЭ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1794. Л. 16.

[93] Советская деревня... С. 288.

[94] Там же. С. 301.

[95] Всесоюзное хлебозаготовительное совещание при Наркомате внутренней торговли 23 августа 1924 г. // Хлебный рынок. 1924. № 11. С. 30.

[96] Советская деревня... С. 301.

[97] Там же. С. 302.

А. П. Купайгородская

ИЗ ПРАКТИКИ ПЕРВЫХ ЛЕТ ГЛАВЛИТА

Создание Главлита — Главного управления по делам литературы и издательств — (в соответствии с декретом СНК РСФСР от 6 июня 1922 г.) знаменовало начало принципиально нового этапа в развитии государственной цензуры. В ее организации использовался богатый дореволюционный опыт.[1] Первоначально создание цензуры в советской России аргументировалось необходимостью охраны государственных и военных секретов. С началом осуществления новой экономической политики, допущения частного предпринимательства, создания частных издательств, большевистское руководство страны было озабочено необходимостью предотвратить усиление иного идеологического воздействия на население — помимо обязательного, официально предписанного — материалистического, марксистского, коммунистического. В резолюции XI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде» зафиксирована решимость партийного руководства противопоставить росту буржуазного влияния на трудящиеся массы энергичную политработу, агитационную и пропагандистскую.[2]

До образования Главлита роль цензора исполнял Политотдел Госиздата (Государственного издательства, ГИЗа), созданного в соответствии с постановлением ВЦИК от 20 мая 1919 г., — как «единого государственного аппарата печатного слова», состоящего при Наркомпросе. Руководство Госиздатом вначале было поручено В. В. Воровскому. С 1921 г. его возглавлял О. Ю. Шмидт (будущий академик, знаменитый исследователь Арктики). В Госиздат вошли существовавшие ранее государственные и кооперативные издательства. «Урегулированию и контролю» Госиздата подлежала «Издательская деятельность всех ученых и литературных обществ, а равно всех про-

чих издательств». Председатель руководящего органа Госиздата — редакционной коллегии — назначался Советом народных комиссаров, по представлению Наркомпроса, и утверждался ВЦИКом.[3]

Быстро развернуть издательскую деятельность большого объема Госиздат был не в состоянии — из за бедственного состояния отечественной полиграфии. В мае 1919 г. М. Горький предложил В. Воровскому организовать печатание книг за границей — так как в России такой возможности нет. Воровский идею одобрил, но просьба Госиздата о соответствующем финансировании не была поддержана Наркоматом внешней торговли.[4] Однако в дальнейшем правительству все же пришлось рассматривать возможности использования зарубежных издательских предприятий. 27 апреля 1920 г. Совнарком принял постановление: «Впредь до восстановления полиграфической промышленности и достаточного снабжения ее бумагою признать необходимым печатание за границей наиболее важных для страны изданий». К выяснению конкретных условий такой деятельности привлекался «особый отдел ВЧК в лице тов. Менжинского».[5] Предполагалось за пять месяцев 1921 г. отпечатать в Австрии, Германии, Латвии, Литве, Швеции, Эстонии более 10 млн. книг — около 150 млн. печатных листов. Но достаточные средства на выполнение этого обширного плана не были выделены, и в конечном счете он не был реализован.[6] А в октябре 1922 г. последовало постановление Совнаркома — «Ввиду тяжелого положения русской полиграфической промышленности» — всем государственным учреждениям и предприятиям обеспечить заказами именно отечественные типографии, «издавать необходимую им литературу исключительно в России через Государственное издательство, при помощи кооперативных или частных издательств, а также своими средствами».[7]

Базовым аргументом в распоряжениях Госиздата была забота об экономичном расходовании материальных ресурсов. 16 марта 1921 г. он постановил: «В целях урегулирования и налаживания печатного дела в РСФСР» — «вся газетная и печатная и бумага, находящаяся в типографиях, состоит на учете Госиздата и его местных органов и может быть расходуема только с разрешения органов Госиздата». Более того — ни одна работа (за исключением технических — печатания типографских бланков, канцелярских форм и пр.) не могла осуществляться без разрешения органов Госиздата.[8]

Госиздату поручалась ответственная роль в политическом контроле за деятельностью частных издательств — в соответствии с декретом СНК

от 12 декабря 1921 г. они могли создаваться только с его разрешения, а все организованные ранее подлежали перерегистрации. Ни одна книга не могла выйти в свет без разрешения органов Госиздата, или (на местах, где таких органов не было), — губернских политико-просветительных комитетов. Нарушение этого правила каралось конфискацией изданий и привлечением издателя к суду. Издательства были обязаны: вносить в контролирующий орган один довоенный рубль с каждого печатного листа рукописи; отдавать ему бесплатно 1 % издания (но не менее 10 экземпляров); половину этого количества получал Госиздат.[9] Все издательства должны были также незамедлительно (в течение трех суток по выходе первых экземпляров издания) отсылать в Российскую центральную книжную палату безвозмездно по 25 экземпляров любых изданий — не только книг, журналов, газет, но и плакатов, листовок, инструкций, циркуляров, объявлений, открыток, карт, нот и т. д. Сверх этого СНК обязал все издающие учреждения отсылать по одному экземпляру всех изданий (не только общего, но и специального, и секретного характера) в Библиотеку Государственного Румянцевского музея (с 1925 г. — Библиотека им. В. И. Ленина).[10]

Госиздат обладал правом контролировать не только издание литературы, но и ее закупки у частных и кооперативных издательств, а также у заграничных. Специальным циркуляром от 1 июня 1922 г. за подписью заведующего Госиздатом О. Ю. Шмидта предписывалось все закупки производить исключительно через Главное управление Госиздата — «дабы иметь возможность контролировать таковые на основе хозяйственной целесообразности».[11] Отметим последовательность в аргументации — очевидная политическая направленность объясняется мотивами сугубо материального свойства.

Контроль за изданием и закупками литературы был одной из функций Госиздата; впоследствии для реализации контроля в полном объеме создавались специальные структуры. В феврале 1922 г. Наркомпрос начал формировать губернские политические комиссии по делам печати.[12] 6 июня 1922 г. декретом СНК РСФСР был создан орган, для которого всесторонний политический контроль был главной обязанностью, — Главлит. Он был наделен весьма широкими полномочиями. Ему поручался надзор за деятельностью издательств (начиная с разрешения на их открытие), контроль всей книжной продукции, библиотечных фондов, литературы, поступающей из других стран, театрального репертуара и т. д. Вначале заведующим Главлита

был назначен председатель редколлегии Госиздата Н. Л. Мещеряков. Преемственность функций была очевидной. Вскоре руководство Главлитом было поручено коммунисту с большим опытом революционной и литературной работы — П. И. Лебедеву-Полянскому.[13] Для фильтрации литературы, поступающей из-за рубежа, в составе Главлита был учрежден иностранный отдел; в губерниях создавались местные отделения Главлита — гублиты.

Формирование государственной системы политического контроля происходило в сложнейшей экономической и социальной ситуации. Одним из тяжких губительных последствий гражданской войны был подрыв базы народного образования, науки. Вся сфера культуры испытывала острейший книжный голод. С началом первой мировой войны погромщиками были уничтожены типографии, склады, магазины немецких издателей, чрезвычайно много сделавших для развития русской культуры. В период гражданской войны прекратили работу, как и другие промышленные предприятия, многие типографии — ввиду недостатка энергоснабжения, нехватки квалифицированных рабочих, материального обеспечения. Имеющиеся ресурсы использовались приоритетно для печатания агитационной литературы, листовок, правительственных декретов, распоряжений органов центральной и местной власти, военного командования и т. д. Почти не издавались учебные пособия, научная литература.[14]

По свидетельству современника (Петроград, дневниковая запись от февраля 1920 г.): «С книгами вакханалия. Книг нет. А те, что продаются еще кое-где — безумно дороги».[15] Декретом Совнаркома от 20 апреля 1920 г. (подписанным В. И. Лениным), «все запасы книг и иных печатных произведений (за исключением библиотек), принадлежащие как частным лицам, так равно кооперативным и всяким другим организациям и учреждениям, а равно и муниципализированные Советами <...>», объявлялись собственностью государства — национализировались. Все виновные в сокрытии запасов книг и иных печатных изданий (частные лица, кооперативные организации, домовые комитеты, представители комитетов рабочих и служащих) должны были предаваться суду.[16] Вскоре (5 мая) последовал новый декрет, в котором разъяснялось, что книжные запасы Петрограда и Москвы имеют общегосударственное значение, и потому они подлежат учету Московской центральной комиссией Народного комиссариата просвещения.[17] Очевидно, в соответствии с этими декретами

государственные библиотеки пополнялись в основном «за счет национализированных фондов» — т. е. изданий, изъятых у прежних владельцев — отдельных лиц и общественных организаций.[18]

С введением нэпа массовый читатель, страдавший от резкого и все нараставшего снижения уровня жизни, озабоченный поддержанием своего элементарного существования, не получил возможности свободно покупать продукцию частных и кооперативных издательств. К. Чуковский записал в дневнике 22 декабря 1922 г.: «Книжная торговля никогда не была в таком упадке, как теперь. Книг выходит множество, а покупателя нет».[19]

В годы войны нарастал отрыв российских научных и учебных учреждений от других стран, не было взаимного обмена информацией, литературой, прекратилось личное общение. В апреле 1918 г. президент Академии наук А. П. Карпинский обратился в СНК с письмом, где говорилось о насущных нуждах Академии и других ученых учреждений и обществ. В числе основных вопросов были: невозможность печатать труды российских ученых и продолжать регулярный учет опубликованного из-за бедственного состояния типографий и Книжной палаты, отсутствие у Академии средств на закупку изданий, в частности — «обширной периодической и непериодической литературы 1917 г.».[20]

Работники науки и просвещения пытались найти выход из создавшегося катастрофического положения. В январе 1920 г. Юрий Владимирович Готье (историк, директор библиотеки Румянцевского музея) подал председателю Государственного ученого совета при Наркомпросе,[21] заместителю наркома просвещения М. Н. Покровскому докладную записку, в которой обосновывал необходимость покупать книги за границей. Подразумевалась литература, выпущенная за рубежом, преимущественно на русском языке. Идея была встречена благосклонно, словами, — что да, настало время готовиться к таким покупкам. В феврале Готье записал в своем дневнике, что вопрос о поездке для закупки книг за рубежом обсуждался в Наркомпросе, и к нему было «отношение самое предупредительное. Видимо, в этом учреждении желают, чтобы иностранные книги приезжали в Москву». Однако его оптимизм оказался преждевременным: через месяц он узнал, что «<...> вопрос о поездке за границу безвозвратно отложен впредь до того, как будут налажены сношения по внешней торговле».[22] Очевидно, первоначальное «благожелательное отношение» подверглось в правящих

структурах существенным коррективам, стало элементом организационной активности высших государственных органов. В 1920 г. Научно-технический отдел (НТО) ВСНХ неоднократно обращался в Совнарком с ходатайствами о посылке представителей в Европу для закупки новейшей иностранной литературы. В Берлине было учреждено заграничное бюро НТО — Бюро иностранной науки и техники (БИНТ).[23] Комиссия по приобретению книг за рубежом была создана осенью 1920 г. при Наркомпросе.[24] В октябре 1920 г. наркомат внешней торговли передал государственным библиотекам книги, закупленные в Англии по инициативе полпреда и торгпреда Л. Б. Красина.

Действия государственных органов были необходимы, но явно не систематичны, недостаточны. Ученые проявляли растущее беспокойство по поводу затянувшегося отрыва от международной научной среды. 25 февраля 1920 г. президиум Государственного рентгенологического и радиологического института принял решение ходатайствовать перед Наркомпросом о командировании за границу президента института М. И. Неменова и заведующего Физико-техническим отделом А. Ф. Иоффе для приобретения аппаратов, приборов, реактивов и литературы, поступления которой из-за рубежа не было с 1918 г.[25] В ноябре 1920 г. руководство Академии наук обратилось в СНК с напоминанием о необходимости «<...> принять меры к восстановлению научного общения между Россией и Западом», доставки научных книг и материалов из-за границы в Россию и из России за границу — «<...> эта связь при исключительной и полной интернационализации науки имеет для нее решающее значение».[26] В начале 1921 г. по ходатайству Академии наук были командированы в Германию для закупки книг, журналов, новейших оптических и физических приборов директор Государственного оптического института Д. С. Рождественский, академики А. Ф. Иоффе и А. Н. Крылов, а также сотрудники Политехнического института и Главной физической обсерватории.[27]

Деятели науки и культуры, для которых отчуждение от современного европейского книжного рынка было особенно чувствительно, старались использовать любую возможность, собственными силами, при содействии советских торговых и дипломатических представительств за рубежом пополнить библиотеки — свои и государственные. Сотрудники Академии наук, направленные ею в 1918–1919 гг. с научными целями в Швецию и Германию, смогли приобрести там и направить в Россию большие партии книг. Пополнению академических книжных

фондов содействовал академик Ф. И Щербатской, в 1920 г. находившийся в длительной зарубежной командировке. Большую партию книг послал в Россию английский писатель Г. Уэллс.[28] В 1920 г. О. А. Добиаш-Рождественская была командирована в Париж и Берлин для отбора литературы, особенно — специальной исторической, справочников, редких изданий; собранные ею ценные материалы поступили в Публичную библиотеку.[29] Известный художник, искусствовед И. Э. Грабарь и директор Румянцевского музея А. К. Виноградов, направленные в начале 1921 г. в Ригу для участия в конференции, обсуждавшей судьбу культурных ценностей, перемещенных в годы войны из Польши, все свободное время отдавали обследованию книжных магазинов. В январе 1921 г. Грабарь написал: «Мы <...> такую облаву учинили на все без исключения книжные магазины Риги, что после нас ничего не останется. Я беру подряд все, что выходило нового с 1914 г. по искусству, а он [Виноградов] по наукам — истории, физике, математике, химии, технологии, и пр.»[30] Особенно успешными были приобретения немецких изданий («<...> мне удалось по разным магазинчикам наскрести изрядное собраньице всего того, что вышло по искусству в Германии за 1914–21 годы, и даже главным образом за 1920 и 1921 годы»[31]). Обследовав книжный рынок Риги, неутомимый Грабарь расширил арену поисков. В феврале 1921 г. он написал: «Я заказал непосредственно в Германии <...> много таких книжных новинок, которые тут не удалось получить и таким образом книжный голод в области искусства надеюсь утолить».[32] А. К. Виноградов сообщал директору библиотеки Румянцевского музея Ю. В. Готье: «Я закупил все, что можно было из наличных запасов Риги: крупнейшие и важнейшие работы по всем отраслям, вышедшие за 1920, 1921 годы <...> удалось собрать небольшую коллекцию русских книг, изданных в Берлине и Стокгольме — несмотря на то, что в Риге трудно получать деньги даже при согласии Москвы <...> трудно посылать книги в Россию ввиду невыясненного международного торгового положения <...> еще труднее обстоит дело с теперешней выпиской книг не немецких: нельзя добыть валюту, нет журналов, а потому дело зависит не столько от обычной сноровки, сколько от знакомства с тактическими особенностями нашего времени. Лучше всего, конечно, ехать в Лейпциг или в Берлин с огромными миллионами <...>».[33] Необходимых миллионов не было у академика В. И. Вернадского. Он писал А. Е. Ферсману из Парижа 25 апреля 1923 г.: «<...> я почти не покупаю книг — не по средствам».[34]

Благодаря стараниям Красина и Виноградова библиотека Румянцевского музея в 1921–1922 гг. получила зарубежные издания: Соколов Н. А. «Убийство царской семьи» (Берлин, 1921); Смоленский С. «Крымская катастрофа (записки строевого офицера)» (София, 1921); изданный И. В. Гессеном «Архив русской революции», т. I. (Берлин, 1921); Соколов К. Н. «Правление генерала Деникина (Из воспоминаний)» (София, 1921); Андреев Л. «Дневник сатаны» (Гельсингфорс, 1921); Милюков П. Н. «История второй русской революции» т. I. (София, 1921); Граф С. Ю. Витте «Воспоминания», т. I. «Царствование Николая II» (Берлин, 1922); Czernin Ottakar. «Im Weltkrieg» (Berlin & Wien. 1919); Kleinwachter Friedrich S. C. «Der Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie» (Leipzig, 1920); Lüdendorf Erich von. «Kriegserinnerungen» (Berlin, 1919).[35]

В апреле 1921 г., т. е. почти через полтора года после первой инициативы Ю. В. Готье библиотека Румянцевского музея начала получать русскую зарубежную печать — книги и журналы. Эта тенденция поддерживалась руководством Наркомпроса — в мае 1921 г. нарком А. В. Луначарский в письме своему заместителю Е. А. Литкенсу требовал обеспечить снабжение иностранной литературой Публичную библиотеку[36] — оказывается, в ней отсутствуют книги, которые сумели приобрести «ничтожные библиотеки и частные лица <...>. Из всех первых очередей самая первая очередь для Петроградской публичной библиотеки, главного нашего книгохранилища, которым самым широким образом пользуются все».[37]

О понимании правительством назревшей проблемы и в то же время о стремлении решать ее исключительно под собственным контролем свидетельствует инициатива, проявленная в мае 1921 г. Управляющий делами Совета народных комиссаров Н. П. Горбунов направил в Наркомпрос письмо, в котором ему (Наркомпросу) предлагалось внести на заседание СНК вопрос о централизации закупки политических, научных и технических книг за границей. Имелось в виду приобретение литературы пяти видов: «1) Белогвардейская (представляющая чрезвычайный интерес для нас); 2) Научная; 3) Техническо-административная; 4) Художественная; 5) Партийная». Особо оговаривалась необходимость «<...> недопущения всякого рода залежей книг на складах», чтобы они были «доступными для широкого круга читателей <...>».[38]

В июне 1921 г. проблема централизованной закупки книг за рубежом рассматривалась на самом высоком уровне. Декретом СНК

за подписью В. И. Ленина при Наркомпросе учреждалась Центральная междуведомственная комиссия по закупке и распространению иностранной литературы («Коминолит»);[39] председателем комиссии в августе 1921 г. был назначен О. Ю. Шмидт — заведующий Госиздатом. Таким образом, в одних руках концентрировался контроль и за издательской деятельностью в стране, и за поступлением литературы из-за рубежа. Коминолиту поручалось «<...> получение из-за границы всякого рода литературы, необходимой для РСФСР по всем отраслям знания, в первую очередь вышедшей начиная со второй половины 1914 г.». Подчеркивалась, что вся заграничная литература должна сосредоточиваться «в соответствующих научных учреждениях и библиотеках».[40] Таким образом ограничивался круг имеющих реальную возможность работы с зарубежными изданиями и упрощался контроль их местонахождения и конкретной, индивидуальной востребованности.

Коминолиту были даны широкие полномочия, согласованные с другими властными структурами. На первый план выдвигалась отработка процесса контролирования направлявшейся из-за рубежа литературы. Получение адресатами зарубежной периодической печати разрешалось исключительно в соответствии с утвержденными Коминолитом списками, которые он сообщал другим заинтересованным ведомствам: Всероссийской чрезвычайной комиссии, Народному комиссариату иностранных дел, Народному комиссариату почт и телеграфов. Намеревающиеся действовать в обход установленных правил предупреждались: «Все учреждения и лица, закупающие и получающие из-за границы литературу, помимо указанного настоящим декретом порядка подлежат законной ответственности». В. И. Ленин, видимо, рассчитывал, что Коминолит будет способствовать преодолению информационного отрыва России от Зарубежья — в определенных рамках и правилах. 30 сентября 1921 г. он написал в Коминолит о необходимости наладить регулярное получение зарубежных периодических изданий и сосредоточить все заграничные новейшие технические и научные журналы и книги за 1919–1921 гг. в специальных библиотеках — что могло означать заботу о сохранности изданий, их систематизации в интересах специалистов, но также и возможность допуска к ним ограниченного, контролируемого контингента читателей.[41]

В период деятельности Коминолита проходила проверку попытка получения книг непосредственно от отдельного зарубежного из-

дательства. В ноябре 1921 г. берлинское книжное издательство «Знание» проявило инициативу, направленную на налаживание деловых контактов с советской Россией. В письме, адресованном в Управление делами СНК, издательство просило о содействии в деле осведомления русских читателей о направлении его работы — публикации научно-популярной литературы, серий «Литературная библиотека», «Детская библиотека». Подтверждая серьезность своих намерений, издательство прислало образцы продукции: Собрание стихотворений А. В. Кольцова, Русские сказки А. Н. Афанасьева, практическое руководство Л. Грейца «Электричество». В ответном письме, направленном в «Знание» 30 января 1922 г., управделами СНК Н. П. Горбунов одобрительно отозвался о присланных изданиях и высказал пожелание, чтобы издательство в первую очередь занялось печатанием серии практических руководств для ознакомления русского рабочего «<...> с новейшими техническими приемами и методами, а также орудиями производства западноевропейской и американской техники. В книжках этих должны быть изложены опытные и практические знания, которые обычно являются достоянием и секретом мастеров». Горбунов подчеркивал, что «<...> потребность в таких книжках в России сейчас очень велика».[42]

Просуществовал Коминолит недолго — он был расформирован Декретом СНК от 2 февраля 1922 г. Одновременно в Берлине было создано специальное бюро для централизованной закупки книг. В первой половине 1922 г. при его посредстве было закуплено значительное количество литературы (по медицине, естествознанию, социальным наукам), изданной в 1914–1920 гг., — более 20 тыс. экземпляров книг, около 4 тыс. комплектов журналов.[43]

Поток иностранной литературы — почтой, посылками, в личном багаже и т. д. — направлялся в Россию преимущественно через Петроград, поэтому первостепенную роль в деле цензуры зарубежных книжных поступлений играл именно петроградский (с января 1924 г. — ленинградский) гублит. Его иностранный отдел начал работать в июне 1923 г. Вначале его работа разворачивалась медленно. Первые полгода в штате отдела был только один штатный политредактор (цензор), обязанный просматривать всю литературу, поступающую из-за рубежа. Затем политредакторов стало двое; работали они в помещении политконтроля ОГПУ (Объединенного государственного политического управления при Совете народных комис-

саров СССР). В случаях большого скопления литературы или получения литературы на языках, которыми политредакторы не владели, им на помощь выделялись ответственные партийные работники.[44]

Работа политредакторов оплачивалась полистно. Объем работы постоянно возрастал, отпущенных на нее средств подчас нехватало, выплаты нередко задерживались. Функции политредакторов становились все более ответственными, сложными, многообразными. Им поручался не только контроль поступающей литературы. Они должны были также просматривать и утверждать списки, представленные учреждениями и отдельными лицами на предмет выдачи разрешений на выписку иностранной литературы. Кроме того, им поручался просмотр и утверждение списков иностранных книг, которые следовало изъять из книжных магазинов по представлениям Политконтроля ОГПУ; для этого они должны были проверять литературу на месте — в магазинах. Инструкция Главлита, разосланная всем его местным органам в ноябре 1922 г., ставила перед ними задачу осуществлять цензуру по всем направлениям — военному, идеологическому, политическому и т. д.; они должны были составлять списки произведений, запрещенных к выходу в свет и распространению. Эту ответственную работу — в органах цензуры — по требованиям партийного руководства надлежало поручать исключительно членам коммунистической партии.[45]

По итогам цензорской проверки литература делилась на три категории: а) разрешенная; б) запрещенная; в) разрешенная только для индивидуального пользования. Последняя категория первоначально применялась довольно широко, затем — все более ограниченно, только в отношении специальных научных изданий; художественная литература и периодика, как правило, сюда не включались.

В конце 1922 г. Иностранный отдел Главлита предъявил первые впечатляющие результаты своей работы. В декабре его работниками был составлен список книг, выпущенных иностранными издательствами, просмотренных за период с 10 сентября по 1 декабря 1922 г. и не допущенных к ввозу в СССР. В нем было 234 названия книг на русском языке и 81 — на иностранных. В аналогичном списке только за декабрь 1922 г. было 113 названий — объем просмотренного и запрещенного явно нарастал. Среди публикаций на русском языке были: сочинения Н. Гумилева, З. Гиппиус, А. Н. Толстого, И. Северянина, И. Соколова-Микитова, Тэффи, И. Шмелева, А. Белого, М. Волошина, Саши Черного, Б. Пильняка, В. Немировича-Дан-

ченко, Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Л. Шестова, И. Эренбурга, Г. Манна, Байрона, Боккачо. Не пропускались шесть книг А. Амфитеатрова и выпущенные двумя издательствами Берлина работы И. Василевского (Не-Буквы) о воспоминаниях графа Витте и о Николае II. В списке запрещенных были также письма В. Г. Короленко А. В. Луначарскому, шесть книг воспоминаний генерала П. Н. Краснова, воспоминания Н. Карабчевского, письма императрицы Александры Федоровны Николаю II, семь книг А. Ремизова. В числе не допущенных книг на немецком языке — сочинения Макса Адлера, Карла Каутского, О. Шпенглера; не были разрешены к ввозу: изданная в 1913 г. в Риге работа Ю. Гачека «Общее государственное право», опубликованные в Париже — «Очерки русской смуты» А. Деникина и книга Дионео «Англия. 1914–1919», вышедшие в Праге две книги Ф. В. Тотомианца о кооперации, напечатанные в Константинополе воспоминания П. Н. Раковского «В стане белых (от Орла до Новороссийска)», выпущенная издательством «Русская мысль» (Белград) работа Ф. А. Щербины «Законы эволюции и русский большевизм», сборник «Поэзия революционной Москвы» (под редакцией Э. Эренбурга) и мн. др.[46]

В середине июля 1923 г. Главлит разослал инструкцию, содержавшую пространный перечень характеристик неугодной в советской России литературы. Предписывалось не допускать к ввозу в страну: все произведения, враждебные советской власти и коммунизму, проводящие чуждую пролетариату идеологию, «пытающиеся в художественной форме исказить лицо нашей революционной общественности», враждебные марксизму, книги идеалистического, не материалистического направления, религиозные, мистические; сочинения, возбуждающие национальный фанатизм; детскую литературу, содержащую элементы буржуазной морали, с восхвалением старых бытовых условий, патриотизма, религиозных суеверий; не допускались сочинения контрреволюционеров, погибших в борьбе с советской властью, окруженных ореолом мученичества; в разряд запрещенных включались музыкальные произведения, имеющие монархический или религиозный характер, географические карты, календари с церковными праздниками.[47]

Запрещена была к ввозу — независимо от содержания — литература, выпущенная за рубежом издательствами, связанными материально с русскими белогвардейскими организациями или политическими груп-

пами («Слово», «О. Дьякова», «Обелиск», «Медный всадник», «Русь»), продукция религиозных, обществ, союзов, издательств (YMCA[48]).

Не допускались все произведения печати, подрывающие путем конкуренции или нарушения монополии интересы Госиздата или других советских издательств. Специально подчеркивалось требование недопущения в страну изданных за рубежом произведений русских классиков — поскольку на их публикацию установлена государственная монополия. Основанием для запрета могло быть и нарушение Постановления Совнаркома от 11 октября 1922 г. «О воспрещении государственным учреждениям и предприятиям издавать необходимую им литературу за границей», принятого в интересах поддержки отечественной полиграфии.[49]

Не разрешался ввоз изданий, использовавших отмененные в СССР правила — систему метрических мер и старую орфографию, в их числе — учебники, календари, справочники и т. п. Исключение допускалось лишь для сугубо научных изданий. Остальную литературу можно было пропускать только после предварительного просмотра.[50]

Наиболее интенсивный поток литературы устремлялся в Россию из Германии. В специальной справке, составленной иностранным отделом Главлита, отмечалось, что это было результатом взаимодействия многих факторов: наибольшего сосредоточения в Германии русской интеллигенции и русских капиталов, географической близости к России, благоприятным соотношением валютного курса в пользу германского экспорта, высоким техническим уровнем печатного дела, дешевизной изданий. В составленной Главлитом характеристике книгоиздательского дела в Германии констатировалась активная роль русской эмиграции.[51]

Более 60-и германских издательств, адресовавших литературу в Россию, базировались во многих городах страны, крупных и мелких. В этом списке — Тюбинген, Дрезден, Мюнхен, Ульм, Бреслау, Иена, Гамбург, Штутгарт, Франкфурт, Эссен, Бремен и др. Главным центром издания литературы на русском языке был Берлин. Многообразна была тематика и жанры издававшейся литературы. Выпускались книги по философии, экономике, политике, истории, исследования в разных областях науки, культуры, мемуары, стихи, проза, ноты.[52]

К литературе, изданной в Германии, в СССР проявлялось самое пристальное внимание. Не допускались к ввозу и распространению в стране книги всех германских издательств, имевших своей маркой

города русские и германские одновременно (Берлин — Москва, Берлин — Петроград и т. п.). Объяснение: для недопущения контрабанды, ибо такая марка могла ввести в заблуждение пограничные таможни, заставляя предполагать, что эти издательства имеют официальную легальную связь с СССР. На этом основании в начале 1923 г. не разрешалась к ввозу вся продукция издательств: «Гржебин» (Петроград — Москва — Берлин), «Петрополис» (Петроград — Берлин), «Эпоха» (Петроград — Берлин), «Геликон» (Москва — Берлин), «Светозар» (Петроград — Берлин), «Возрождение» (Москва — Берлин), «Русское музыкальное издательство» (Берлин — Петроград — Москва), «Оренштейн» (Киев — Лейпциг).[53]

Параллельно с детализацией правил запрета на ввоз литературы иногда допускались послабления по отдельным позициям. В декабре 1922 г. были несколько расширены возможности научных учреждений получать выпущенные в других странах книги и журналы — решением Совнаркома РСФСР им было предоставлено право непосредственного обмена научной литературой с научными учреждениями других стран, без просмотра их органами цензуры, получения зарубежных изданий — но не более трех экземпляров.[54] В августе 1923 г. циркуляром Главлита были разрешены к повсеместному распространению в СССР отдельные некоммунистические английские, французские, немецкие периодические издания, в их числе: «Frankfurter Zeitung», B. Z. am Mittag, «Berliner Tageblatt», «Fossische Zeitung», «Bersen Zeitung». Но и эти издания обязательно просматривались в иностранном отделе Главлита, их разрешалось пропускать лишь «<...> при отсутствии в них особо безобразных и вредных статей о советской России и коммунистическом движении», — и только в этом случае они разрешались к свободной продаже. Учитывалось, что эти издания стоят на платформе буржуазной государственности, их допуск обусловлен исключительно соображениями политической целесообразности, а их недопущение могло бы повредить отношениям советской республики с заграницей. Но все же даже из вышеуказанных изданий надлежало не допускать к распространению отдельные номера с особо злостными и резкими выпадами против коммунизма, «высмеивающие революционное строительство в СССР».[55]

Особое внимание проявлялось к специальной литературе, в какой-либо степени затрагивавшей внутренние проблемы СССР, его

экономику, принципы ее организации. Не мог увидеть советский читатель опубликованные за границей исследования отечественных и зарубежных ученых, касающиеся развития кооперации, налоговой системы, земледелия и землевладения. Так, не были пропущены: К. Каутский. «Социализация сельского хозяйства» (Университетское издательство. Берлин, 1921); А. И. Чупров. «Мелкое земледелие. Его основные нужды» («Слово». Берлин, 1921); М. И. Туган-Барановский. «Социальные основы кооперации» («Слово». Берлин, 1921); С. Н. Прокопович. «Крестьянское хозяйство» («Кооперативная мысль». Берлин, 1924); Н. Макаров. «Организация сельского хозяйства» (YMCA–Press. Берлин, 1924).

Безусловно под запретом были острые политические сюжеты. Не были допущены: напечатанная в Берлине книга С. Д. Войтинского с предисловием К. Каутского о суде над эсерами в Москве («12 смертников»), сочинение И. Майорова «Теория и практика советского строя» («Скифы». Берлин — Милан), брошюра В. Соколова с обзором состояния науки в советской России (Университетское издательство. Берлин, 1921) и другие, в которых содержались неугодные власти оценки советской действительности.

Не были допущены к ввозу в СССР многие издания трудов известных русских ученых — историков, экономистов, философов и др. В их числе: Зворыкин Н. Н. «Крушение золото-валютной системы» («Пресса». Берлин, 1922); Н. М. Книпович. «Каспийское море и его промыслы» («Гржебин». Берлин — Петроград — Москва, 1923); С. Ф. Платонов. «Прошлое русского севера». («Обелиск». Берлин, 1924). Оперативно отреагировала цензура на фундаментальный труд А. А. Чупрова «Курс политической экономии» («Товарищество Гликсман». Берлин), выпущенный в 1924 г. — он был в запретительном списке, составленном в феврале этого года.

Настороженное отношение было работам русских ученых, оказавшихся по разным причинам за рубежом, особенно — высланных в 1922 г. Информация о их жизни и работе была под запретом. Не была пропущена книга: А. Каминка. «Труды русских ученых за границей» («Слово», Берлин). В списках не допущенных — Н. Бердяев. «Философия неравенства» («Обелиск». Берлин, 1923); Л. Карсавин. «Философия истории». («Книгоиздательство писателей». Берлин, 1923); Б. Бруцкус. «Экономия сельского хозяйства». («Кооперативная мысль». Берлин, 1923); не было разрешения на ввоз продукции риж-

ского издательства «Гликсман» (1923 г.): И. Озеров. «Основы финансовой науки», И. Покровский. «История римского права», Тютрюмов И. М. «Законы гражданские», т. I и II, Шершеневич Г. «Курс торгового права», т. I, II, III, Н. А. Холодковский «Учебник зоологии и сравнительной анатомии», работы Г. Челпанова: «Введение в философию», «Учебник логики», «Учебник психологии», С. Н. Реформатский. «Начальный курс органической химии»; не были пропущены напечатанные в Праге работы С. Ф. Платонова «Смутное время» и «Борис Годунов», а также: В. Розенберг «Из истории русской печати», барон Б. Э. Нольде «Петербургская миссия Бисмарка (1859–1862)» и другие издания; не получил разрешения на ввоз труд П. Н. Милюкова «История второй русской революции», выпущенный русско-болгарским издательством «София».[56]

Долог и труден был путь трудов российских ученых к отечественному читателю. Некоторые все же проникали на родину разнообразными окольными путями, единичными экземплярами, поступали в крупные библиотеки. Иные через некоторое время получали разрешение на ввоз. Но прошли многие десятилетия, прежде чем они стали свободно издаваться и распространяться в России.

Общий запрет на продукцию отдельных издательств облегчал и упрощал работу цензоров. Не было необходимости вникать в содержание публикаций. Мотивы идеологического характера были в основе запрещения литературы, выпускаемой на немецком языке немецкими издательствами (Teosophisches Verlaghaus, Philosophish-Anthroposophischer Verlag, Internationale Bücherei «Der Kommende Tag»). Она вся не допускалась в страну, хотя, очевидно, могла понадобиться только весьма небольшому кругу специалистов, в совершенстве владеющих немецким языком и профессионально интересующихся проблематикой изданий. Не пропускались изданные на немецком языке книги по истории, философии, социологии, психологии, педагогике, религии, теории народного хозяйства, международным отношениям, литературоведению, рабочему движению, праву, медицине, гигиене. Как исключение была разрешена книга по истории социализма — с пояснением, что она «может служить пособием для рабочих клубов».[57]

К советскому читателю не допускалась литература как широкого теоретического плана, так и специально учебная, и общеобразовательная, популярная, и конкретно предметная, полезная в раз-

ных сферах индустриального и ремесленного труда и в обыденной жизни, изучении родного и иностранных языков, в практических работах в домашнем и сельском хозяйстве и т. д. В числе запрещенных особенно много изданий с маркой «Гржебин» (Берлин — Петроград — Москва), среди них: В. Н. Тонков. «Руководство нормальной анатомии человека», В. Любименко «Курс общей ботаники», О. Д. Хвольсон «Популярные статьи и речи», В. Владимирцов «Чингис-хан», О. А. Добиаш-Рождественская «Как люди научились считать время», С. А. Жебелев «Демосфен», Н. О. Лернер «Белинский», Б. Н Меншуткин «Зинин», Е. Радлов «Чарльз Диккенс» и др. Внимательно следили цензоры и за продукцией издательства YMCA–Press (Берлин–Прага) — не были разрешены выпущенные им книги: проф. Балдин. «Двигатели внутреннего сгорания», М. Головизнин «Проволочные телеграфы, телефоны и сигнальные аппараты», Г. Глиноецкий «Гражданская архитектура. Конструктивная часть», Э. Норрис, К. Смит «Практическая арифметика». Не получил советский читатель ряда изданных в Германии популярных практических руководств для изучения иностранных языков и выпущенного берлинским издательством «Шпрингер» двухтомного «Справочника по машиностроению» (автор — проф. Дуббель) и многих других полезных книг, необходимых организаторам производства, инженерам и медикам, учащим и учащимся.

Основной поток выпущенной за рубежом литературы, предназначенной русскому читателю, останавливался у советского кордона усилиями органов цензуры. Они действовали в соответствии с политическими установками большевистского руководства страны, но вопреки стремлениям деятелей науки и образования, в противоречии с истинными гражданскими потребностями общества.

---

[1] См.: *Блюм А. В.* За кулисами «министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917–1929. СПб., 1994.

[2] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. Т. 2. М., 1984. С. 323.

[3] СУ. 1919. № 20. Ст. 344.

[4] Архив А. М. Горького. Т. XIV. Неизданная переписка. М., 1976. С. 98–99.

[5] Издательское дело в первые годы Советской власти (1917–1922). М., 1972. С. 73.

[6] История книги в СССР. Т. 1. 1917–1921. М., 1983. С. 199–200.

[7] Декрет СНК от 11 октября 1922 г. // СУ. 1922. № 65. Ст. 840.

[8] Известия. 1921, 16 марта.

[9] СУ. 1921. № 80. Ст. 685.

[10] Там же. 1922. № 2. Ст. 37.

[11] Издательское дело в первые годы Советской власти.... С. 127.

[12] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 10. Д. 10435. Л. 156–158.

[13] *Зеленов М. В.* Главлит и историческая наука в 20–30-е годы // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 22.

[14] М. М. Пришвин записал в дневнике 3 декабря 1919 г., что на собрании деревенских учителей, обсуждавших способы ликвидации безграмотности, предлагалось делать азбуку из бересты, писать углем на струганых дощечках. — *Пришвин М. М.* Дневники. М., 1990. С. 107–108.

[15] *Князев Г. А.* Из записной книжки русского интеллигента (1919–1922 гг.) / Подготовка текста и комментарии А. В. Смолина // Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. С. 179.

[16] Декреты Советской власти. Т. 8. (апрель — май 1920 г.) М., 1976. С. 59–60.

[17] Там же. С. 157–158.

[18] Из отчета Публичной библиотеки за 1923 г. // История библиотечного дела в СССР. Документы и материалы. Ноябрь 1920–1929. М., 1979. С. 162.

[19] *Чуковский К.* Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 225.

[20] Известия РАН. VI серия. № 14. 1918. С. 1397–1399.

[21] Государственный ученый совет (ГУС) был учрежден декретом СНК от 4 февраля 1919 г. для осуществления реформы высшей школы; впоследствии был включен в Академический центр — руководящий идеологический орган Наркомпроса.

[22] *Готье Ю. В.* Мои заметки. М., 1997. С. 381–382.

[23] *Шишкин В. А.* Советское государство и страны Запада в 1917–1923 гг. Очерки истории становления экономических отношений. Л., 1969. С. 422–423.

[24] По-видимому, эффективность ее работы была недостаточна. В апреле 1923 г. В. И. Вернадский в письме А. Е Ферсману из Парижа выражал недоумение, почему до России не доходят книги, которые были выписаны по его заказам через представителей Наркомпроса. (Письма В. И. Вернадского А. Е. Ферсману. / Сост. Н. В. Филиппова. М., 1985. С. 108). Но возможно также, что в процесс вмешался набравший силу Главлит.

[25] Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925). Сборник документов. Л., 1968. С. 372.

[26]. Там же. С. 376.

[27] *Крылов А. Н.* Мои воспоминания. Л., 1979. С. 241.

[28] *Иоффе А. Е.* Международные связи советской науки, техники и культуры. 1917–1932. М., 1975. С. 45, 47–48.

[29] *Ершова В. М.* О. А. Добиаш-Рождественская. Л., 1988. С. 75.

[30] Игорь Грабарь. Письма. 1917–1941. М., 1977. С. 43.

[31] Там же. С. 44.

[32] Там же. С. 49.

[33] *Готье Ю. В.* Мои заметки. Приложения. С. 550–551.

[34] «Письма В. И. Вернадского А. Е. Ферсману...». С. 108.

[35] Впечатления от чтения этих книг Ю. В. Готье отразил в своем дневнике за 1920–1921 гг. («Мои заметки...». С. 424, 427, 460, 461, 465, 468, 470, 477, 479, 511).

[36] Имелась в виду Публичная библиотека в Петрограде, — с 1932 г. — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), с 1992 г.— Российская национальная библиотека (РНБ).

[37] ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 2. Д. 684. Л. 18.

[38] История СССР. 1965. № 2. С. 88.

[39] СУ. 1921. № 51. Ст. 285.

[40] Известия ВЦИК. 1921, 23 июня.

[41] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 53. С. 228–229.

[42] *Горбунов Н. П.* Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1986. С. 218.

[43] *Иоффе А. Е.* Международные связи советской науки, техники и культуры. С. 82.

[44] ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 10. Д. 10435. Л. 37–38.

[45] ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 1. Л. 82.

[46] Там же. Л. 13 – 14; Д. 6. Л. 1–4 об.

[47] Там же. Д. 9. Л. 93.

[48] YMCA (Young Men Christian Association) — христианское молодежное объединение, благотворительная организация, активно помогавшая русской эмиграции; в 1921 г. создавшая одноименное издательство.

[49] СУ. 1922. № 65. Ст. 840.

[50] Печатание книг по старой или новой орфографии не было формальным моментом — ту или другую сознательно и демонстративно использовали противники советской власти или сочувствующие ей.

[51] ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 13. Л. 3; См.: Русский Берлин. 1921–1923. Париж. YMCA-Press. 1983; Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. Пер. с англ. М., 1994; Костиков В. В. Не будем проклинать изгнанье... (Пути и судьбы русской эмиграции). М., 1990.

[52] ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 6. Л. 7–8.

[53] Там же. Д. 9. Л. 17.

[54] Издательское дело в первые годы советской власти. 1917–1922. Сборник документов и материалов. М., 1972. С. 140–141.

[55] ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 9. Л. 12.

[56] Там же. Д. 6. Л. 8–439.

[57] Там же. Д. 9. Л. 9.

Е. М. Балашов

РЕЛИГИОЗНЫЕ И АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 1910-х–1920-х гг.

Детское сознание, формируясь под влиянием окружающей среды, создает для себя некий положительный образ в качестве идеала для подражания. Выбор школьниками подобного идеала во многом способствует дальнейшему формированию у них жизненных установок. Если обратиться к сфере детских религиозных представлений, то необходимо отметить, что данные как дореволюционных, так и послереволюционных социологических обследований показывают скудость религиозных идеалов российских школьников всех возрастов. Это особенно заметно при сравнении с данными аналогичных обследований школьников других европейских стран. Так, у немецких детей в 1912 г. на первом месте среди идеалов подражания оказался Мартин Лютер (почти 9 % ответов), всего же они дали около 11 % ответов с религиозными идеалами. Опрошенные в 1913 г. русские деревенские дети (более 900 чел.) дали только пять ответов (0,5 %) с идеалами религиозного характера: Христос, Моисей, Иосиф, Лазарь и «святой» (без имени).[1] Женщины обычно религиознее мужчин, и, следовательно, девочки чаще выбирают религиозные идеалы, чем мальчики. Однако одно из дореволюционных обследований детских идеалов в России показало как раз обратное явление. И без того невысокий уровень религиозных идеалов русской молодежи у девочек оказался еще ниже, чем у мальчиков, — в целом он составил 1,2 %, а у девочек 0,5 %.[2] По обследованию, проведенному в 1912–1913 гг. в московских женских гимназиях, лишь 0,2 % ответов могли быть отнесены к религиозным идеалам, тогда как в ответах школьников шведского

города Гетеборга — около 15 %. Даже у американских школьников, которым не преподавались религиозные предметы, количество библейских идеалов насчитывало 3 %. Среди названных русскими детьми религиозных имен совсем не встречались упоминания национальных святых, кроме князей Александра Невского и Владимира,[3] которых можно также считать и историческими лицами. На отсутствие у российских школьников сколько-нибудь заметной тяги к религиозным идеалам указывают и другие обследования, проводившиеся в 10-х гг.[4] Та же картина наблюдалась и после революции. В 1920 г. из более чем 1.100 анкет, заполненных школьниками г. Тамбова, лишь в трех были указания на религиозные идеалы. Два 10-летних мальчика желали походить «на Бога» и один 11-летний — «на ангела».[5] В 1927 г. из 172 обследованных учащихся двух школ г. Саратова только один 11-летний мальчик выразил желание походить на Христа.[6]

Конечно, из этого никак нельзя делать вывод о меньшей религиозности русских детей в сравнении с западными. Скудость религиозных представлений свидетельствовала о другом. Во-первых, она была отражением общей узости круга личных представлений (идеалов) российских детей в сравнении с их западными сверстниками, которую постоянно отмечали все обследователи в 10-х–20-х гг. Выбор ими идеала для подражания отличался ограниченностью кругозора и привязкой к кругу лиц повседневного общения.[7] Во-вторых, это было следствием неудовлетворительной, формальной и схоластической постановки преподавания в школе Закона Божия (до отмены его в 1918 г.). В ответах деревенских школьников в 1913 г. на основной вопрос анкеты о Боге — «Что такое Бог?» — постоянно сказывалось следствие формалистики и зубрежки. Ответы не были изложением собственных (личных) религиозных чувств и представлений ребенка, а копировали формулировки, заимствованные из бесед законоучителя или из учебников.[8] Ряд ответов анкеты 1913 г. указывает на одну очень интересную и характерную особенность. Эти ответы обнаруживают, что деревенским детям не чуждо было представление о Боге, как о Боге только одной земли, о «*русском Боге*». При этом в ответах прежде всего особо подчеркивались такие свойства Бога, как *всемогущество*, *величина* и т. п.[9] Подобные ответы никак не вяжутся с христианством, а скорее должны быть соотнесены с примитивными первобытными верованиями. Школьники не могли, разумеется, почерпнуть эти представления из уроков Закона Божия. Они отражали

определенный уровень восприятия Бога малограмотными и суеверными деревенскими жителями, сохранившими в своих религиозных верованиях следы язычества. В 1909 г. сельским учителям, слушателям московских летних учительских курсов, приехавшим из более чем 40 губерний России, было предложено охарактеризовать психологические особенности и поведение своих учеников, ответив на вопросы анкеты. Педагог Н. В. Чехов, анализируя результаты опроса, писал: «Дети знакомы с суевериями и верят в них так твердо, что бороться с суевериями трудно <...>. Суеверия поддерживают взрослые: и родители и дети с громадным удовольствием слушают рассказы про колдунов, водяных, ведьм, верят в нечистую силу, в сатану, оборотней, в шептунов, в “страшные места”, в лешего <...>. Кладбища и покойников боятся огромное большинство <...>, думают, что покойники могут вставать из могилы. Значительная часть взрослого населения в тех деревнях и селах, где школа существует уже много лет, прошла через школу, но это не оказало заметного влияния на уменьшение суеверий».[10] Суеверия органически входили как неотъемлемая и значимая часть в религиозные представления крестьянских детей и подростков. Религия в русской деревне, как стержень всей сельской культуры, являлась главным элементом древних устоев, традиций предков. Церковные обряды и свято чтимые праздники, иконы и молитвы окружали ребенка со дня рождения. Церковно-патриархальные обычаи регламентировали поведение деревенской молодежи. Близость к природе, отсутствие, в отличие от горожан, влияния разного рода сильных и разнообразных внешних факторов, ограниченные возможности развлечений и чтения, неторопливый и однообразный ритм жизни, — все это накладывало особый отпечаток на отношения деревенского школьника к религии. Эти отношения были более тесными и интимными, хотя и имели некоторый пантеистический оттенок.

Война, объявленная религии и церкви советской властью, оказала ощутимое влияние в первую очередь на молодое поколение. Однако это влияние в первые годы после революции не было таким массовым и глубоким, каким хотелось бы его видеть борцам с религией. Отмена преподавания в школе Закона Божия, несмотря на невысокую популярность этого предмета среди учащихся, вызвала у большинства школьников, как и у их родителей, отрицательную реакцию. Осенью 1918 г., в начале первого «безрелигиозного» учебного года, было опрошено около 500 школьников средних и старших классов г. Орла об их

отношении к отмене Закона Божия. Уверенно поддержала отмену лишь четвертая часть опрошенных, и еще 12,5 % проявили безразличие. Остальные 62,5 % высказались против отмены. При этом основная часть противников отмены (50 %) поддержала весьма популярную среди городского населения идею об оставлении преподавания религии в качестве факультативного предмета. Среди противников отмены встречались даже те, кто считал этот предмет «скучной обязанностью», но и они высказались против, мотивируя свое решение осуждением «насилия» и «стеснения свободы».[11] Но все же в городских школах отмена уроков Закона Божия и удаление икон были приняты учащимися в целом вполне спокойно. Иначе обстояло дело в сельских школах. Еще некоторое время после выноса икон ученики, приходя в школу, демонстративно крестились на то место, где раньше висели святые лики. Антирелигиозные беседы, которые вели учителя, иногда превращались в дискуссии. Учителям приходилось слышать такие высказывания: «<...> Как это коммунисты могут велеть не верить в Бога. Откуда они знают, что нет Бога, раз мы все равно не можем всего знать, не можем даже еще знать, какова жизнь на других планетах».[12] Эти дискуссии особенно подхлестнула кампания по изъятию церковных ценностей. Иногда полемика принимала довольно горячий характер. Однако оппозицию безбожию оказывало лишь меньшинство, которое отличала стойкая вера в Бога. Некоторое представление о религиозности других слоев деревенских школьников может дать обследование круга представлений 12–15-летних выпускников школы-семилетки Рыбинского уезда Ярославской губернии в 1924 г. Две трети опрошенных дали слову «Бог» такое определение: «Бог-дух» (некоторые добавляли: «невидимый»). Одна треть отвергла существование Бога: «воображаемый народом», «старческая выдумка», «ложное представление» и т. п.[13] Мотивировки детьми своего критического отношения к религии основывались на сугубо рационалистичных представлениях, почерпнутых ими из антирелигиозной пропаганды. Школьники г. Весьегонска Тверской губернии на вопрос анкеты о книгах Священного писания дали ответы, которые вполне определенно можно разделить на три категории: 1) эти книги *неправда*, 2) в них *нет пользы*, 3) они *ненаучны*. Один из ответов был даже сформулирован так: «Эти книги развивают не ум, а фантазию».[14]

Постепенно падала посещаемость молодежью церквей. Впрочем, материальные условия жизни были таковы, что в церковь перестава-

ла ходить не только молодежь. В некоторых губерниях одной из главных причин непосещения церкви (как и школы) в первой половине 20-х гг. была нищета и разруха, отсутствие одежды и обуви. «Мало народу стало в церкви ходить, — рассказывал священник церкви в деревне Измайлово Тамбовской губернии. — Хозяева не ходят сами, ходят женщины да дети, кому есть в чем ходить. Вместо ходивших до революции 600–700, ходит 150–200 <...>. Разве босой пойдешь».[15] Но и там, где материальное положение крестьян было лучше, посещаемость церквей также упала. Безропотно исполняли религиозные обязанности лишь малолетние дети под надзором матерей. Конформистское большинство оглядывалось на своих сверстников. Тон задавали активные безбожники из организующихся то здесь, то там комсомольских ячеек. По их инициативе проводились акты «религиозного хулиганства», вызывавшие возмущение крестьян. В присутствии верующих молодежь начинала «материть» Бога и всех святых, или же толпа подростков направлялась навстречу церковной процессии с пением похабных песен под гармонику.[16] Дело заканчивалось взаимной руганью, а нередко и драками.

Отделение церкви от государства и школы от церкви, сопровождавшееся широкой антирелигиозной пропагандой, способствовало складыванию новой нравственной атмосферы в среде деревенской молодежи. Этот новый дух передавался от подростков к детям. Патриархальное почитание предков и стариков, — и без того уже изрядно поколебленное, — рухнуло окончательно. Дух отрицания тут же отразился в деревенском фольклоре:

«По деревне я иду,
Думаю, — по городу.
Я любому старику
Наплюю на бороду».

Все, что почиталось прошлыми поколениями: религия, традиции, — ныне предавалось поруганию *официально*, по настоянию властей. То, что освящалось церковным обрядом, — стало делом канцелярской записи. Раньше заключение брака составляло религиозное таинство с торжественным богослужением, связывающим пару молодых «навеки», а теперь — минутную процедуру в сельсовете. Венчание в церкви являлось не только освящением, но и символом брака, — как же должна была восприниматься крестьянами отмена венчания. Такая эмансипация шокировала старшее поколение, но очень импо-

нировала большинству молодых людей. На вечерних гуляньях 16–18-летние юноши и девушки весело распевали частушку:

«Теперь новые права
Не надо и венчатцы,
В комитете за столом
Только расписатцы».

А парни делали для себя еще и следующий вывод:

«Табаку вы не курите,
Не пейте больше самогон.
Больше девочек любите,
Это новый есть закон».[17]

Поведение молодежи русской деревни и раньше было достаточно свободным, но отношение к церковному браку, как основе семейно-патриархальных устоев, оставалось непреложным. Революция в этой области подрывала краеугольный камень старого деревенского быта.

Посещение церкви в среде деревенской молодежи становилось делом предосудительным. Даже религиозно настроенные ребята боялись мнения и насмешек своих ровесников.[18] На разных территориях и в различных слоях подростков-крестьян отношение к церковной службе было неодинаково. Наиболее усердно ходили в церковь староверы и молодое казачество.[19] Более склонны были к посещению церкви девочки, чем мальчики. Некоторые шли к службе, чтобы не огорчать родителей или избежать семейных конфликтов.[20] Но по церковным праздникам, особенно крупным — Рождество, Пасха, Троица и др., в церковь приходило большинство. В праздновании, которое длилось иногда по три дня, участвовала вся деревенская молодежь.[21] Церковные праздники, не только на селе, но и в городах, представляли самую большую проблему для богоборческого государства. Бороться с ними было очень трудно. В целом можно сказать, что независимо от конкретных условий, существовавших в тех или иных губерниях, городах и селах, общим было то, что с возрастом посещение церкви школьниками становилось все более редким. Массовый опрос учащихся школ г. Весьегонска в 1923 г. дал следующие результаты: среди детей младших классов школ 1-й ступени (8–11 лет) продолжали ходить в церковь 62 %, старших классов 1-й ступени (11–14 лет) — 52 %, классов 2-й ступени (14–20 лет) — 32 %.[22]

Но можно ли считать посещение церкви непременным признаком религиозности? Воспроизведем высказывания двух старшекласс-

ников из Нижнего Новгорода, которые в 1924 г. сходили на Пасху в церковь: «Раньше в ожидании исповеди я старался припомнить все свои грехи. В эту же Пасху перед исповедью я занимался разглядыванием исповедальцев, уделяя больше внимания молодым представительницам женского пола»; «<...> Я ходил в церковь к заутрене, но не за тем, чтобы молиться, а сознаюсь, за тем, чтобы похристосоваться с девочками».[23] Так же и в деревне религиозно индифферентная часть подростков с вызовом и бравадой признавалась, что ходит в церковь «похулиганить», «на свидание» или «покапать свечкой на голову».[24] «Я в церковь хожу только на Пасху, меня никто не посылает, — писал в сочинении на тему об отношении к религии деревенский школьник. — Я стою в церкви с товарищами. На Пасхе мы ходим звонить на колокольню и баловаться, в шапки стреляем. В церкви не очень интересно, а только красиво, на стене висят доски, зачерченные красками. Я в церковь ходить не люблю, а если пойду, то буду баловаться».[25] Очень похоже сочинение другого юного жителя деревни: «Я в церковь хожу только на Пасху и на большие годовые праздники. Мы ходим все с товарищами вместе, а по одному мы не ходим никогда. Мы стоим с товарищами: с Пашей и с Васей и держим по свечке, жгем их и тушим друг у друга. Мы выходим из церкви, потому что там жарко и тесно. Интересно мне там иконы разные и красивые».[26] Посещение церкви подростками даже в 20-х гг. могло быть вызвано не только религиозной потребностью, но всякого рода другими привходящими факторами: настояниями родителей, желанием поозорничать или пофлиртовать.

Однако и непосещение церкви, неисполнение религиозных обрядов и даже критическое отношение к священникам и к самой церкви также еще не является признаком безбожия. Воспитанное с раннего детства религиозное чувство значительная часть подростков не могла изжить так быстро и просто. Это выразил очень искренне и простодушно один юноша из староверов Тамбовской губернии, по внешним признакам, казалось бы, вполне отошедший от церкви: «В Бога все верят; как не веровать?».[27] Из учеников выпускных классов школ г. Краснодара (возраст 16–18 лет), анонимно опрошенных в 1923 г. лишь 32 % уверенно объявили себя неверующими, 15,6 % колебались в вопросах веры; исполняли обряды 48,8 % опрошенных, притом, что верующих в Бога оказалось 52,3 %.[28] Только 32 % старшеклассников г. Весьегонска продолжали ходить в церковь, но в то же время 59 %

испытывали сомнения и колебания в религиозных вопросах.[29] Этот процесс постепенной переоценки детских религиозных представлений переживали многие подростки, испытывая при этом различные душевные состояния. Приведем несколько отрывков из сочинений, написанных в 1924 г. старшеклассниками нижегородских школ о своих весенних (пасхальных) впечатлениях. Для одних процесс расставания с религией был болезненным и мучительным: «Я здоров, совершенно здоров телом, но не душой, она от чего-то болит, если можно так выразиться. В душе, если только она существует, темно, неясно и неприятно. Бога нет. Следовательно вместе с религией погибли все старые идеалы. А новых нет. По новой философии выходит, что я могу убить кого-нибудь и это для моей личности ни что иное, как неизбежное следствие. Жить-то и не стоит — выходит ясный вывод». Другие, отрицая церковь, не могли решить для себя основной вопрос веры: «Это правда, что попы обирают народ и читают разные библии, а иконы — это идолы. Но Бог — я не знаю — есть или нет». Третьи боялись потерять религию, как источник всеобщей любви: «Встречала Пасху дома... А мысли, мысли без конца. Хочется верить во что-то святое, хорошее; хочется верить в такое время, когда все будут друзьями. Ведь вот они там в церкви понимают друг друга, целуются; хоть не долго, но они друзья. Они любят друг друга, верят друг другу. И я верила, и мне было хорошо и легко». Некоторые пытались даже выразить свои сомнения в стихах:

«Как много, много впечатлений
Оставила ты, Пасха, мне.
Религия минувших поколений
Теперь на самом дне <...>.
Но как мне быть — я сам не знаю:
К религии иль от нее идти.
Хотя немножко понимаю,
Что новое получше на моем пути».[30]

Религиозные сомнения, в особенности у наиболее интеллектуально развитых школьников, сопутствовали поискам истины и смысла бытия. «Уже давно, — писал в начале 20-х гг. ученик выпускного класса из бывших гимназистов, — года три тому назад, когда я впервые стал рассуждать, я стал задумываться над серьезными религиозными, философскими и психологическими вопросами. Много пережил я религиозных сомнений, исканий; некоторые до сих пор еще

мучают меня».[31] В этих поисках подростки проявляли преимущественно не онтологический, а моральный и этический интерес, стремились найти обоснование своим представлениям о сущности жизни и поступков людей. При этом их подход, как правило, был настолько же эмоциональным, насколько и догматичным, основанным на вере в возможность найти универсальный разумный ответ на все вопросы жизни. Но и догматизм, в свою очередь, опирался на юношескую наивность и эмоции, благодаря чему, случайное поверхностное знакомство с каким-либо вероучением (не исключая и атеизма) приобретало в сознании школьника значение откровения, конечной истины бытия. «Я рано стал интересоваться вечными вопросами, — признавался другой бывший гимназист. — После двухлетних изысканий (в которых, впрочем, я проявил мало интенсивности, и по этим вопросам прочел очень мало) я пришел к более или менее определенному выводу атеиста, хотя в последнее время, заинтересовавшись „йоги“, я принял много черт индусской философии и уверовал в вечность жизни».[32] Говоря о своих религиозных переживаниях и сомнениях школьники обычно проявляли чрезвычайно смутное представление о Боге, крайнюю бедность мотивов веры и ограниченность религиозного сознания. «Больше всего во мне развито религиозное чувство, — уверенно заявлял школьник-богоискатель. — В тяжелые минуты жизни я всегда у ног Божества. Бог — это чувство; я так его и называю».[33] Благодаря этой смутности и неразвитости религиозных представлений, сочетание веры и безверия у части молодежи принимало исключительно противоречивые и путаные формы, доходящие иногда до абсурда. «Я к религии безразлична, — писала школьница. — Могла бы быть нерелигиозна, но <...> в школе и вообще нигде не могу найти таких доводов, которые бы меня уверили, что Бога нет. Почти никаких признаков религиозности нет, но <...> все-таки есть. Последний раз была в церкви накануне Пасхи, говела перед Пасхой. *С религией бороться нужно, но,* несмотря на это*, она имеет хорошую сторону*. Она как-то облагораживает человека. Уйдешь в церковь расстроенным, сердитым, а приходишь совсем другим человеком — там как-то забываешься от забот, от неприятностей».[34]

Самой трудной и, пожалуй, неразрешимой для исследователя проблемой представляется попытка определить количественное соотношение верующих в Бога (религиозных) и неверующих (нерелигиозных) детей и подростков. Вопрос веры настолько тонок и сложен, что

и взрослый индивидуум, сформировавшийся как личность, не всегда сможет без колебаний определить наличие в себе веры в Бога или ее отсутствие. Неизмеримо сложнее найти критерий веры в формирующейся детской душе. Малолетний ребенок в значительной степени подвержен родительской суггестии, юноша — суггестии той среды, которая соответствует его возрастному негативизму и устремленности в будущее. Поэтому можно лишь отметить динамику увеличения в 20-х гг. количества антирелигиозно *настроенных* школьников с увеличением их возраста, притом, что из года в год и в младших возрастах эта *настроенность* также постепенно росла. Однако в подсознании представителей поколения, с детства воспитанного в религиозном духе, неизбежно оставались элементы или хотя бы рудименты веры в Бога (в которых иногда трудно было сознаться самому себе, а не то что другим) и вполне сочетались с новой верой. Вот один из примеров такого сочетания. Молодой московский инженер из интеллигентной семьи, который, по его собственным словам, «с 16 лет стал убежденным марксистом» признавался в том, что, терзаемый осознанием совершенных им нехороших поступков, «простаивал иногда половину ночи на коленях и молился Богу, а днем как ни в чем не бывало, днем я был атеист <...>. Но по существу я был религиозен и во всех трудных моментах жизни <...> обращался к Богу; я выработал даже текст специальной молитвы<...>. При этом мое „ясное сознание“ считало молитву чепухой, но я боялся, что если я не помолюсь, то мне будет плохо».[35] В русской деревне даже самые безбожные и настроенные богоборчески молодые люди сохраняли веру в древние предрассудки и суеверия, впитанные, как говорится, с молоком матери. Исследователь русской деревни, долгое время наблюдавший жизнь сельского юношества, писал: «То, что молодежь безбожна, не является ни для кого новостью. Но считать крестьянскую молодежь свободной от веры во всякую святость, мистику и чертовщину на основании этого было бы величайшей опасностью <...>. Молодежь полна религиозных суеверий <...>. Одни допускают существование нечистой силы, нехорошего глаза, чудодейственного уголька, способного вылечить от всякой болезни <...>. Другие <...> идут к гадалке или сами просиживают часами над разложенными картами <...>».[36]

Количественному определению поддаются лишь признаки внешнего проявления веры или безверия. Репрезентативный опрос в 1927 г. более трех тысяч школьников на территории десяти губерний России

дал следующие результаты. На прямо поставленный вопрос анкеты: «Надо ли верить в Бога?» более половины (51 %) опрошенных ответили «не надо», 25 % — «надо» и 24 % совсем не ответили или ответили неопределенно. Пионеры дали почти вдвое больше отрицательных ответов в сравнении с обычными школьниками, мальчики в полтора раза больше, чем девочки. С возрастом число отрицательных ответов увеличивалось: 10-летние 47 %, 14-летние 52 %, 16-летние 88 %. Почти четверть промолчавших также определенным образом характеризует отношение к вопросу. Если у младших школьников отсутствие ответа обычно означает, что вопрос для них сложен, то у старших — нежелание отвечать. Еще более многозначительным фактом является необычайно большое количество анкет — 41,9 % (!), в которых ученики не пожелали ответить на вопрос «Что такое Бог?». Из остальных — 17,2 % ответили в традиционно-церковном духе и 40,9 % дали ответы, отрицающие существование Бога. И здесь количество отрицательных ответов увеличивалось соответственно возрасту опрошенных.[37]

Проведенное в 1928 г. тестовое обследование учащихся школ Московской губернии, из которых почти 45 % составляли дети рабочих, показало, что 63,5 % школьников празднуют Пасху и даже посещают церковь, хотя явно религиозные взгляды высказали только 9,4 %.[38] Две последние цифры представляют явление, очень типичное как для русской деревни, так и для города 20-х гг. Детей и подростков, в том числе и не верующих, привлекало радостное, светлое настроение церковных праздников, в особенности таких как Пасха и Рождество, которые проводились в семейном кругу за празднично накрытым столом, уставленном обильными яствами. По сведениям из Орехово-Зуевского уезда Московской губернии в 1926 г. в обычные церковные праздники в деревнях школу посещало не более 20 % учеников, а в большие, храмовые праздники не приходило ни одного ученика.[39] В 1927 г. в Ленинграде были отмечены случаи, когда в первый день Рождества (по старому стилю) учащиеся старших групп нескольких школ центральных районов в полном составе не явились на занятия. Ярославские учителя говорили, что, как правило, в эти праздники от половины до двух третей школьников отсутствует.[40] Церковный праздник символизировал для подростков теплоту и радость семейного очага. «Я не признаю Пасхи, как религиозного праздника, одержимого различными церковными предрассудками, — писал нижегородский старшеклассник. — Но я подчиняюсь против своей воли

чисто праздничному, веселому настроению, особенно когда нахожусь в кругу родных и близких их знакомых. Там, где идет антирелигиозная пропаганда: зимой в Рождество, недавно вот в Пасху, где общий гам, смех, театр, балет, — я чувствую неудовлетворенность. И я мысленно начинаю уноситься домой в свой родной очаг и я начинаю представлять праздничное настроение, родных, родной звон, родной и особенный колорит этого праздника».[41] Церковные праздники у большинства школьников возбуждали не столько религиозную веру, сколько чувства, порожденные бытовой приобщенностью к православной традиции, усвоенной с детства, и потребностью в праздничном сопереживании ярких, радостных событий в жизни. Очень показателен такой факт: ученики одной из школ Калужской губернии, желая подчеркнуть, с каким нетерпением они ждут празднования годовщины Октябрьской революции, говорили учителям: «Ждем этого праздника, *как Пасхи*».[42]

Но не менее типичным становилось другое явление. Молодежь отходила от религии, что сопровождалось иногда долгими колебаниями и мучительной душевной борьбой. Такой духовный переворот был следствием присущего юношескому сознанию стремления к переоценке заветов прошлого, которое в моменты социальных потрясений необыкновенно усиливается и может привести к восстанию против всех традиций. Отход от религии сопровождался, как правило, резким и вызывающим бунтом. Характерно, что в наиболее острой форме это проявлялось у натур эмоциональных, отличавшихся постоянным духовным брожением и поиском. Многие из них прежде сильно веровали в Бога и даже отличались религиозной экзальтацией, а затем круто меняли сферу приложения своей духовной энергии. Так, московская студентка-комсомолка из крестьян вспоминала, что «в раннем отрочестве» мечтала «о монастыре; — поживу там, а затем пойду проповедовать по земле, больше всего меня притягивала их черная одежда <...>. Потом все эти мои мечты прошли, — я превратилась после всяких колебаний из религиозной в антирелигиозную, все старые традиции оставила позади себя; мне хочется быть другом народа, проповедовать идею коммунизма».[43] Восемнадцатилетняя слушательница рабфака писала, что она «в отрочестве была фантазеркой, мечтала путешествовать. В юности была мистиком, мечтателем, не интересовалась реальной жизнью; разбирала вопрос, есть ли Бог, стоит ли жить. Это в 1920 и 1921 г.! Потом сразу стала общественной, типичной ком-

сомолкой <...>, хотела бороться [вместе] с пролетариатом за коммунизм».[44] Студент, выросший в деревне, признавался, что в отрочестве был «религиозным парнем», но преодолел свои религиозные переживания и «вступил в комсомол, в юности был в кружке безбожника и даже руководителем». Другой комсомолец-студент из крестьян писал, что после всяческих колебаний «лет в семнадцать сильно возненавидел религию и церковь, своей безбожностью сильно гордился и рисовался».[45] Для религиозной в прошлом молодежи, порвавшей затем с религией, типичным было то, что она проявляла ненависть к Богу с такой же силой, с какой раньше ему поклонялась. Обычно переживания подростка чередовались в следующей последовательности: сначала горячий, страстный поиск опоры и поддержки в религии, затем полоса сомнений и колебаний, потом наступал критический перелом и часто делался решительный вывод — «долой религию». Неудовлетворенность реальностью, жажда романтики, необыкновенного и героического («проповедовать», «путешествовать»), — с одной стороны, а с другой, — вражда и ненависть к религии за обманутые ею (как представлялось подростку) юношеские надежды, за не оправдавшуюся попытку найти в ней опору в поиске своего «я» и своих идеалов. А результатом становился бунт, отрицание старой веры и поиск себя в другой вере. Юность, отвергая традиции, стремилась в будущее, поэтому люди, выступавшие от имени этого будущего, призывавшие к революционному переустройству мира, быстро находили в ней отклик и поддержку. Это — типичный путь молодежи из православия в коммунизм, от традиции к ее отвержению, *от веры прошлого к вере в будущее*.

---

[1] *Рыбников Н.* Деревенский школьник и его идеалы. Очерки по психологии школьного возраста. М., 1916. С. 15. Кроме этих идеалов, в качестве признака глубокой религиозной озабоченности можно привести ответы на другой вопрос анкеты: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?». Около 6 % девочек пожелали стать «монашенками» и 0,2 % мальчиков — «монахами». — Там же. С. 111.

[2] *Новосильцева А. И.* Обзор работ о детских идеалах // Труды психологической лаборатории при Московском педагогическом собрании. М., 1911. Вып. 2. С. 8–9.

[3] *Рыбников Н.* 1) Идеалы гимназисток. М., 1916. С. 6; 2) Биографии и их изучение. М., 1920. С. 38.

[4] *Сивков К.* Идеалы учащейся молодежи (по данным анкеты) // Вестник воспитания. 1909. № 2; *Ананьин С. А.* Детские идеалы // Русская школа. 1911. № 9. С. 22–23; *Богданов Т. Ф.* Результаты пробной анкеты относительно идеалов детей //

Труды Психологической лаборатории при Московском педагогическом собрании. М., 1911. Вып. 2. С. 17; *Колотинский П. Н.* Опыт длительного изучения мировоззрения учащихся выпускных классов // Труды Кубанского пед. ин-та. Краснодар, 1929. Т. 2–3. С. 106.

[5] *Познанский Н.* Анкета о детских идеалах. Саратов, 1924. С. 13.

[6] *Хаскин Г. В. д-р.* Сравнительный анализ идеалов двух школьных коллективов // Изучение современного детства и юношества. Саратов, 1927. С. 74.

[7] См., например: Познанский Н. Анкета о детских идеалах. Диаграмма 3; Рыбников Н. А. 1) Деревенский школьник и его идеалы. С.61; 2) Идеалы современного ребенка // Современный ребенок. М., 1923. С. 40–41; 3) Интересы современного школьника. М.; Л., 1926. С. 35.

[8] *Рыбников Н. А.* Деревенский школьник и его идеалы. С. 87. Сухое, безжизненное преподавание не вызывало интереса учеников. Результаты обследований показывают, что Закон Божий, как учебный предмет, по популярности среди учащихся находился далеко не на первых местах. В городских школах к нему проявляли интерес главным образом девочки, в сельских — он относился к самым непопулярным наряду с церковнославянским чтением и грамматикой. — См.: *Ананьин С. А.* Детские идеалы. С. 214–215; *Богданов Т. Ф.* Результаты пробной анкеты относительно идеалов детей. С. 21; *Чехов Н. В.* На пороге в школу и из школы // Вопросы и нужды учительства. М., 1911. Сб. 10. С. 26.

[9] *Рыбников Н.* Деревенский школьник и его идеалы. С. 87.

[10] *Чехов Н. В.* На пороге в школу и из школы. С. 21, 24.

[11] *Азбукин Д.* Психология школьников в начале Октябрьской революции // Педологический журнал. (Орел). 1923. № 3. С. 71.

[12] *А. Г. Религия*, мораль и половой вопрос у детей и юношества (из педагогических наблюдений) // На путях к новой школе. 1923. № 1. С. 80–81.

[13] *Гладков А.* Сельский школьник // Наш труд. (Ярославль). 1924. № 4. С. 60.

[14] *Степухин Ф.* Деды, отцы и внуки // Народный учитель. 1926. № 1. С. 60–61.

[15] *Яковлев Я.* Наша деревня. Новое в старом и старое в новом. М., 1924. С. 127.

[16] *Мурин В. А.* Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 38.

[17] Цит. по: Старый и новый быт. Л., 1924. С. 122.

[18] Очерки быта деревенской молодежи. М., 1924. С. 16.

[19] Как живет и чем более деревня. (По материалам комиссии по обследованию деревни на Юго-Востоке). Ростов-на-Дону. М., 1924. С. 87.

[20] Очерки быта деревенской молодежи. С. 15.

[21] Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. М., 1996. С. 66–67.

[22] *Степухин Ф.* Деды, отцы и внуки. С. 59–60.

[23] Цит.по: Зарослов А. Наши ученики и антирелигиозная пропаганда // Школа и жизнь. (Н.-Новгород). 1924. № 2. С. 19.

[24] *Яковлев Я.* Наша деревня. С. 129.

[25] Обыденный нэп: (Сочинения и письма школьников 20-х годов) // Неизвестная Россия: XX век. М., 1993. Кн. III. С. 284.

[26] Там же. С. 285.

[27] *Яковлев Я.* Наша деревня. С. 130.

[28] Райский Н. Анкета, проведенная среди учащихся выпускных групп школ II ступени г. Краснодара в конце 1922/23 учеб. года // Просвещение (Краснодар). 1923. № 3–4. С. 60.

[29] *Степухин Ф.* Деды, отцы и внуки. С. 60.

[30] Цит. по: Зарослов А. Наши ученики и антирелигиозная пропаганда. С. 18–19.

[31] За сто лет. Воспоминания, статьи, материалы. (Петербургская быв. 3-я гимназия, ныне 13-я советская трудовая школа). Пг., 1923. С. 187.

[32] Там же. С. 187–188.

[33] Там же. С. 187.

[34] Обыденный нэп. С. 286.

[35] Цит. по: Рубинштейн М. М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. М., 1928. С. 61.

[36] *Мурин В. А.* Быт и нравы деревенской молодежи. С. 33.

[37] *Рыбников Н.* Как советский школьник оценивает существующий порядок // Дети и Октябрьская революция: Идеология советского школьника. М., 1928. С. 145.

[38] *Ривес С. М.* Религиозность и антирелигиозность в детской среде. М., 1930. С. 68.

[39] *Перегудов А.* Гуслица // Народный учитель. 1926. № 12. С. 58.

[40] *Шульгин В. Н.* О воспитании коммунистической морали. М., 1928. С. 16.

[41] Цит. по: Зарослов А. Наши ученики и антирелигиозная пропаганда. С. 18.

[42] *Викторова А., Меленчук А.* Проработка отдельных вопросов по осознанию Октябрьской революции и ее значение для жизни деревни // На путях к новой школе. 1926. № 1. С. 86.

[43] Цит. по: Рубинштейн М. М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. С. 60.

[44] Цит. по: Рубинштейн М. М., Игнатьев В. Е. Психология, педагогика и гигиена юности. М., 1926. С. 150.

[45] Цит. по: Рубинштейн М. М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. С. 59.

О. П. Илюха

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ШКОЛЬНОЙ ЭТИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КАРЕЛИИ 1920–1930-х гг.)*

В совокупности изменений, наблюдавшихся в обществе с установлением власти советов, трудно переоценить значение перемен, происходивших в сфере образования: ведь именно через систему образования, и прежде всего через школу, шла трансляция новой культуры. Школа провозглашалась орудием классового перерождения общества и рассматривалась большевиками как третий фронт, вслед за промышленностью и сельским хозяйством. Задача формирования «нового человека» с присущим ему коммунистическим мировоззрением была составной частью культурной революции.[1]

При неизменности главной задачи школы — подготовки «нового человека», строителя коммунистического общества, — на протяжении 1920–1930-х гг. происходили изменения в методах, стиле работы школы, характере взаимоотношений учителя с учениками. Идеалы новой школы, провозглашение ее свободы, служение интересам народа, вдохновляли учителей, являлись источником энтузиазма. Но творческий поиск новых подходов, осуществлявшийся в 1920-х гг., был свернут к концу десятилетия, и в дальнейшем нарастал диктат власти в отношении школы и учителя.

В связи с задачей укрепления социальной базы власти большевиков определились и новые приоритеты школы. Во главу угла был поставлен классовый подход. Он нашел свое выражение как в подго-

---

*Статья подготовлена в рамках проекта «Двуглавый орел и красная звезда. Преемственность и разрыв в российской государственности». Руководитель — доктор Антти Лайне (университет Йоэнсуу, Финляндия).

товке и подборе учительских кадров, так и в отношении к ученикам. В первые годы советской власти основным и безусловным требованием к учителю была поддержка нового режима или, по меньшей мере, лояльность к нему, профессиональные качества отодвинулись на задний план. По данным Наркомпроса КАССР лишь в 1924 г. при подборе школьных работников стали обращать внимание на их профессиональную подготовленность. Пригодность учителей к работе определяли проверкомы, созданные при уездных отделах народного образования. Контроль над составом учительства, особенно тщательный в пограничных районах, взяло в свои руки ГПУ. В ноябре 1923 г. по требованию ГПУ Наркомпрос Карелии в недельный срок предоставил списки всех учителей, находившихся на территории Карелии с указанием социального происхождения, образования, партийной принадлежности в прошлом и настоящем, семейного положения, должности, адреса, также было зафиксировано отношение к советскому строю. За предоставление неточных сведений виновным грозило привлечение к судебной ответственности. К началу 1930-х гг. заведующие школами утверждались не только в Наркомпросе, но и на президиумах РИКов, а заведующие учебной частью — в райкомах партии.[2]

Школы пограничной полосы были объектом повышенного внимания руководства республики. Костяк учительских кадров в национальных районах составили финны-эмигранты, с решимостью и упорством взявшиеся за дело. Профессор Д. А. Золотарев, побывавший в 1923 г. в Ухтинском районе в составе этнографической экспедиции Русского музея, отмечал колоссальное влияние финского учителя-коммуниста на все население волости: «Учитель финн-коммунист — не только преподаватель. Он, для молодежи особенно, руководитель во всем. Он вместе с другими работает, гуляет, танцует, поет, устраивает народный праздник, читает лекции, ставит концерт. <...> Учитель научил петь, танцевать, познакомил со старинными народными играми и танцами. Он внес то здоровое культурное влияние, которое привязало к нему молодежь и заставило старшее поколение относиться к нему с уважением. В русской деревне очень редко видишь подобных учителей. Правда, надо сказать, что учитель голодающей Карелии получал в августе оклад профессора Петроградского университета».[3] Спустя три года, в 1926 г. Золотарев вновь побывал в Северной Карелии и был поражен происходившими в крае переменами. Он опять обратил внимание на роль «красных» финнов и пришел к выводу, что Ухтин-

ский уезд «ушел намного вперед» по сравнению с соседним Кемским уездом в организации культурной жизни.[4]

Инспектора Наркомпроса Карелии также подчеркивали особую активность педагогов- финнов в проведении культурно-просветительной и спортивной работы. В то же время отмечалось отставание «финских» школ по уровню преподавания и, как следствие, по успехам учащихся. Причины отрицательного отношения населения к «финской» школе в первые годы ее существования Наркомпрос видел в педагогической неподготовленности учителей-финнов, имевших почти исключительно начальное образование, вынужденных работать поначалу без книг и учебников.[5] С 1925 г. пограничные (национальные) районы были определены как ударный пункт работы различных ведомств, в том числе и Наркомпроса Карелии.[6] В Москве, при Совете национальных меньшинств Наркомпроса в марте 1926 г. была организована финская секция, однако из-за отсутствия квалифицированных кадров она не смогла выполнить возлагавшиеся на нее задачи по методическому руководству школами.[7] В аппарате Наркомпроса Карелии лишь отдельные сотрудники владели одновременно русским и финским языками, поэтому контакты с пограничными районами, где в 1931/32 учебном году завершился переход школ на финский язык преподавания, осуществлялись через переводчика, а материалы с мест не рассматривались месяцами. Инструктивно-методическая работа Наркомпроса Карелии с национальными районами заключалась, в основном, в переводе на финский язык и пересылке мало приспособленных к местным условиям материалов, поступавших из Москвы.[8] Специальная литература на финском языке практически не издавалась. Для смягчения проблемы с января 1933 г. в журнале «Punainen Valistustyö» стали публиковаться конкретные методические рекомендации учителю.[9] В результате усиленной подготовки преподавателей из числа карелов и финнов, к 1932 г. они уже составляли 44 % учителей начальных школ республики .[10]

В школах пограничных районов, вследствие комплектования их «красными финнами», среди учителей стали преобладать мужчины, хотя еще до революции учительская профессия в Карелии стала по преимуществу «женской». В остальных районах тенденция феминизации учительской профессии устойчиво сохранялась. За счет «красных финнов» значительную прослойку учителей в школах приграничья стали составлять выходцы из рабочего класса. В 1933 г. в началь-

ных школах их было 18 % (в целом по республике — 17 %), в школах повышенного типа — 37 % (по республике — 20 %).[11]

В начале 1920-х гг. ряд школ Карелии еще оставался в руках старых специалистов с их этикой и знаниями. В 1924 г. в отдельных уездах четвертую часть учителей составляли лица духовного сословия и мещане. Среди учителей, получивших образование в дореволюционное время и принявших советскую власть, значительную долю составляли дети священнослужителей. Их перемещали в школы, удаленные от родительского дома, от «идейно чуждой» среды. В 1924 г. проверочная комиссия из Москвы отмечала, что значительная часть учителей, происходящих из духовного сословия, не отстает от других в отношении политической и педагогической подготовки. При этом указывалось, что «одни из них искренне осуществляют заветы Ильича в области народного образования, другие — из-за боязни быть уволенными».[12]

В борьбе за «классовую чистоту» школы учителя непролетарского происхождения постепенно вытеснялись в ряды технического персонала, а потом и вовсе за пределы школы. В 1933 г. по данным секретариата ОК ВКП(б) десятую часть учителей еще составляли выходцы из «чуждой социальной среды».[13] Классовая неприязнь или ненависть зачастую становились решающим фактором в кадровом вопросе. В январе 1933 г. Наркомпрос Карелии организовал специальную проверку в районах по определению «социального и политического лица» работников народного образования. В результате было выявлено 44 «классово чуждых» и «политически вредных» работника. Из них к 1 мая 1933 г. 31 человек был уволен. Эта цифра явно не устраивала руководящие органы, поэтому уже в мае 1933 г. последовало вторичное обследование, проведенное Наркомпросом совместно с отделом по культпросветработе обкома ВКП(б) по материалам районных парткомиссий. Были выявлены еще 56 кандидатов на увольнение. По решению Наркомпроса 24 из них были немедленно уволены, другие отстранены от работы до завершения перепроверки материалов.[14]

Всего в ходе двухэтапной чистки были сняты с работы 87 работников образования. В их числе: членов семей кулаков и лишенцев — 31; бывших офицеров и прапорщиков — 6; детей духовенства — 3; детей торговцев — 3. Выходцам из кулацких семей инкриминировалась «связь с кулачеством»; имевшим родственников в заключе-

нии — «связь с УСЛАГом». Распространенной причиной увольнения были также т. н. антисоветские или «политически вредные» выступления, к числу которых относились и попытки учителей правдиво оценить экономическую ситуацию в стране, объяснить детям причины голода. В конце концов, в запасе у борцов за классовую чистоту школы всегда была такая расплывчатая формулировка, как «производственная слабость» или «педагогическая непригодность».[15]

Размытость критериев позволяли навесить ярлык педагогической непригодности любому неугодному учителю. Например, учительница О. Я. Смирнова из Сегежи была уволена по итогам проверки «за грубое обращение с детьми». Однако в отчете Наркомпроса по этому факту содержится информация другого рода: «<...> Смирнова О. Я. — дочь псаломщика, замазывала факты проявления классово-чуждой идеологии в школе. Например, учащимися в газету была дана заметка с таким содержанием: “Брюхо голо, лапки в клетку (лапти. — *О. И.*), строим пятилетку”, на стол учительнице была подброшена записка “Долой Советы, да здравствует капитал!” — она эти документы пыталась замазать. Когда это было вскрыто, при обсуждении в сельсовете она заявила: “Нет хлеба и люди голодные, ходят в лаптях, — трудно доказать, что это не так”».[16]

Для усиления работы по «очищению» классового состава учителей обком требовал от Наркомпроса повысить революционную бдительность самих просвещенцев, организовать на местах *ежедневную* проверку работы педагогов, уделяя особое внимание выходцам из социально чуждой среды, а также тем, чье происхождение достоверно не установлено.[17]

Официальный идеал учителя новой школы вполне определился уже к началу 20-х гг. Для властей на первом плане была общественно-политическая активность, общественно-политическое «лицо», тогда как преподавательские способности оказывались второстепенными. На практике приближение учителя к новому идеалу осуществлялось весьма успешно. В начале 1920-х гг. учительство Карелии было политически пассивно. Оценивая участие просвещенцев в агитационно-пропагандистской работе в деревне, Наркомпрос Карелии отмечал в 1923 г.: «учительство оказалось плохим материалом», не доставало напористости и решимости.[18] Спустя десять лет уже не оставалось такой сферы общественно-политической жизни, в которой бы не участвовали работники школы. У наиболее активных

учителей было по 2–3 постоянных общественных поручения. Ежегодно они были вовлечены в десятки политических кампаний, походов, работали в ячейках МОПРа и Осоавиахима, в союзе безбожников, вели разъяснительную работу среди иностранных рабочих, собирали «шефский гривенник» и переписывались с подшефными тюрьмами Финляндии, без них не обходилась организация выборов и переписей. Этот перечень можно было бы существенно дополнить. Тем не менее, в марте 1931 г. Наркомпрос Карелии рассматривал вопрос о пока еще недостаточной роли просвещенцев в борьбе за колхоз, за проведение ожесточенной классовой борьбы с кулачеством. Для получения опыта классовой борьбы учителям рекомендовалось больше заниматься практическими вопросами, посещать производственные собрания.[19]

За этот период сформировался тип учителя-общественника, учителя-ударника. Вместе с тем перегруженность работой сокращала время для самообразования. Образовательный уровень педагогов оставался низким. Внешкольная деятельность столь очевидно отвлекала учителей от основной работы, приводила к снижению качества преподавания, что население порой выражало недовольство сложившимся порядком вещей. Общество хотело видеть в учителе, прежде всего, наставника детей и советчика для взрослых в различных практических вопросах. Наиболее ценилось неформальное общение с учителем, тогда как явка на родительские собрания оставалась очень низкой.[20]

Администрирование и недоверие к учителю, а также перегруженность школьных преподавателей и материальные трудности привели к тому, что среди учительства появилось «дезертирство»: многие уезжали без ведома администрации, не возвращались к месту работы из поездок в отпуск или командировок. Особенно значительной была текучесть национальных кадров, не имевших специальной педагогической подготовки. В 1928/29 учебном году за пределы Карелии выбыло около 100 учителей.[21] В начале 1930-х гг. нередко наблюдались пессимистические настроения, вызванные усталостью и плохим снабжением. Для учительских конференций становилась все более свойственна пассивность их рядовых участников: открыто с жалобами почти не выступали, в то же время в кулуарах велись оживленные беседы, шло обсуждение насущных проблем. В сводке оперуполномоченного Петрозаводского ГПУ из-

лагается содержание характерных для начала 1933 г. разговоров среди учителей: «На нас все нажимают, заставляют работать день и ночь, а как приходит время поесть — кормят разной гнилью. На учительстве все выезжают, а помощи никто не оказывает. Первое мая будем праздновать с одним хлебом».[22]

В ходе большевизации школы, при воспитании «красного» учителя осуществлялась унификация мировоззрения, насаждалась марксистская идеология. На первых порах для ознакомления с ней не было ни достаточного количества пропагандистов, ни соответствующей литературы. Многие учителя, на словах признавая марксизм, на деле усваивали лишь его лозунги. Они сами осознавали слабость своей подготовки, настаивали на улучшении политической учебы, качества преподавания. К середине 20-х гг. становится правилом проведение методических учительских конференций на местах с участием представителей уездных комитетов и местных ячеек РКП(б).[23] В 1930-х гг. сформировалась разветвленная сеть политической учебы, ею были охвачены практически все учителя. В начале 1931 г. был создан Карельский филиал общества педагогов-марксистов, но он так и не сумел наладить широкую просветительскую работу среди учителей. В связи с низким качеством марксистско-ленинской учебы бюро обкома ВКП(б) объявило в ноябре 1933 г. поход самопроверки, в ходе которого учителя должны были осуществлять взаимную проверку знаний. Постепенно школьные работники вовлекались в ряды партии. На 1 января 1924 г. 21 % учителей были членами РКП(б). В 1933 г. партийно-комсомольская прослойка составляла 43 %, а в пограничных районах — 67 %. В 1935 г. более половины учителей Карелии были коммунистами и комсомольцами.[24]

Происходила постепенная политизация школьного обучения. В 1920-е гг. еженедельно в каждом классе проходил час политграмоты. По существу он заменил собой уроки Закона Божия. До 1932 г. истории как отдельного предмета не было. Темы по истории классовой борьбы и революционного движения были включены в курс обществоведения. В 5–7 классах этому предмету отводилось 4–5 часов в неделю (среди прочих предметов столь же большое внимание уделялось лишь математике), а наибольшее время занимало изучение современных событий и явлений общественно-политической жизни страны и республики, международного положения СССР, истории борьбы иностранного пролетариата с буржуазией.[25]

В феврале 1924 г. в соответствии с постановлением областкома РКП(б) отделом агитации и пропаганды были назначены партийные работники для контроля за преподаванием политчаса в школе.[26] Одновременно началась кампания против верующих преподавателей. В 1924 г. Наркомпрос Карелии потребовал снять иконы в квартирах учителей и уволить преподавателей, посещавших церковь. Епархиальное начальство обратилось с жалобой в Москву. Из Наркомпроса РСФСР последовал ответ, что посещение церкви учителями «вредно отражается на интересах школьной работы». Следующим шагом было увольнение из педагогических учреждений жен священников. Впрочем, учительницы, проживавшие отдельно от мужей, были оставлены в школе.[27] Отречение от «классово-чуждых» родственников, разрыв с ними служили веским подтверждением преданности делу революции. Это подчеркивалось в автобиографиях, анкетах, служебных характеристиках, ставилось в заслугу.

Важнейшим направлением в деятельности школы была атеистическая работа. В рекомендациях Государственного ученого совета, опубликованных в 1926 г., подчеркивалась значимость победы над служителями церкви для укрепления авторитета учителя: «Чем скорее будет деревня освобождена от религиозного дурмана, тем ярче будет освещаться личность сельского учителя».[28] Немалое значение для ломки этики, сложившейся в дореволюционной школе, имели рекомендации учителям использовать насмешку над взрослыми как средство воспитания детей: «Сатира на служителей церкви, насмешка над верующими — вот первая ступень в сокрушении богов».[29]

В результате высмеивания в стенгазете и на собраниях, публичного осуждения товарищеским судом, всего лишь за полгода удалось добиться перемен в религиозных настроениях студентов русского отделения педтехникума в Петрозаводске. По отчетам партийной организации при проведении атеистического «комсомольского рождества» в 1924 г. у студентов «не осталось и тени той нерешительности и робости, похожей на сознание неприличия участия в кощунственном якобы деянии», которые наблюдались несколькими месяцами ранее — при праздновании «комсомольской пасхи».[30] Результаты антирелигиозной работы в школе и за ее пределами, несмотря на разнообразие форм, были не столь эффективны, как того желали ее организаторы. Подчас религиозные чувства скрывались во избежание преследований. В конце 30-х гг. еще отмечались случаи посещения

церкви школьниками и студентами педучилища, а также совершения ими актов конфирмации.[31]

От учителя требовалось увязывать теорию с практикой. В 1930 г. в результате проверки преподавания истории в школах республики, Наркомпрос Карелии сделал вывод о том, что «классовая линия страдает изгибами и искривлениями». Учителям ставилось в вину, что, изучая кулака, нэпмана в рамках программы, они не видели и не обличали таковых в своей деревне. Таким образом учителя втягивались в конфликты с местными жителями. Учитель-историк уже по характеру преподаваемого предмета должен был быть борцом за новые идеалы. Однако не все принимали навязываемый стиль и образ жизни. Не случайно Наркомпрос вынужден был констатировать, что многие педагоги запуганы, боязливы, оторваны от общественности.[32] В 1933/34 учебном году Наркомпросом были проведены контрольные работы по истории в 30 школах республики. В сущности, выявлялась степень владения учащимися теорией классовой борьбы. В результате анализа 1800 ученических работ был сделан вывод о некотором улучшении усвоения учащимися программного материала. В то же время доля неудовлетворительных ответов колебалась от 10 % до 70 % по различным группам школ.[33] Городские школы были в лучшем положении по сравнению с сельскими. Они имели более прочную учебную базу, более подготовленных учителей и надежное методическое руководство.

Уже к началу 30-х гг. сформировалось «табу» на темы о голоде, нехватке многих товаров — все эти проблемы оценивались как «временные трудности». От учителя стали требовать подробный тематический план урока, он мог быть проверен в любое время. В середине 30-х гг. рассуждения о современности, неизбежно приводившие к обсуждению проблем текущего дня и вызывавшие нежелательные вопросы учащихся (например, об отставании карельской деревни от города, о репрессиях), стали пресекаться. Самостоятельные рассуждения учащихся все больше заменялись формальным заучиванием положений учебников и произведений Сталина и их цитированием.[34] Это приводило к тому, что уроки истории и обществоведения становились все более «сухими» и скучными. Рекомендации методистов вносить оживление в преподавание путем использования картин и диаграмм, художественной пролетарской литературы, не могли изменить существа дела. На партийно-комсомольском со-

вещании работников просвещения, организованном Наркомпросом в Петрозаводске в 1937 г., учителя признавали, что «не умеют работать по истории».[35]

Обучение языку в школе также было направлено на формирование менталитета советского гражданина. Тихие, повседневные, незаметные практики «субъективизации», внедрения в массовое сознание идеологических установок, были подчас не менее продуктивны, чем репрессивные методы. На первый взгляд практики обучения чтению, письму, счету деидеологичны. Однако усвоение предлагаемых образцов таит гигантские ресурсы воздействия на человека. Например, в букварях выделялись курсивом такие фразы: «Kiitos, toveri Stalin, onnellisesta lapsuudesta» (Спасибо, товарищ Сталин, за счастливое детство!), «Кулак — враг колхозов», «Пасха — кулацкий праздник». Их предлагалось многократно переписывать или повторять.

Обучение грамоте привязывалось к определенному набору слов, чтение — к подборке тем. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к перечню тем школьных диктантов[36] или подбору слов в учебных словарях. В разделе общественно-политической лексики учебного словаря русско-карельского языка, подготовленного во второй половине 30-х гг. терминологической комиссией под руководством Д. П. Смирнова, содержится всего 50 терминов. По всей видимости, их можно считать базовыми или ключевыми для характеристики общественно-политической жизни того времени. Если из этого перечня исключить слова общего или сугубо экономического свойства (например: связь, снабжение, лесозаготовки, вывозка, рубка, причина, ремонт, объявление, школа, отлично, плохо и т. п.), то останется следующий ряд, не лишенный политического смысла: тюрьма, Лига наций, виновный, враг, режим, одобрение, комиссар, приказ, выборы, голосование, секретарь, председатель, безработный, борьба, бороться, годовщина, доклад, народный комиссар иностранных дел, Наркомвнудел, религия, собрание, сходка.[37]

По рекомендациям Наркомпроса Карелии в начальных школах были изъяты из репертуара чтения сказки о Бабе Яге, колдунах и ведьмах, «как рождающие чувство страха и веры в сверхъестественные силы».[38] Волшебную сказку на страницах букварей и книг для чтения сменили рассказы о борьбе пролетариата за Советскую власть, место сказочных героев заняли реальные персонажи. Теперь в облике злодеев все чаще представали кулаки и буржуи. При этом в ряде

изданий рассказы о советской действительности излагались в драматизированном ключе, привычным для детского слуха слогом сказочного повествования.

В Карелии, как пограничной республике, важнейшим фактором школьного воспитания стала близость буржуазной Финляндии. Тема охраны государственной границы была одной из центральных в организации всего воспитательного процесса в школах, расположенных в приграничных районах. Школы устанавливали связи с пограничными частями, брали над ними шефство. Устраивались концерты художественной самодеятельности, спортивные соревнования, обучение школьников стрелковому делу. В середине 30-х гг. организуются массовые военизированные кружки, в отдельных школах их насчитывается до шести и более наименований. Особенно популярными были кружки «Юный Ворошиловский стрелок». Учащиеся проявляли интерес к сдаче норм на оборонные значки.

В 1938 г. Наркомпросом Карелии был разработан план организации работы учащихся с книгой в начальной школе. Общим девизом работы были выбраны строки из стихотворения С. Михалкова «Врагами задуманы войны, немало врагов у страны...». Литература, рекомендуемая для чтения, была сгруппирована в четыре раздела: 1. Военные годы (о гражданской войне и интервенции); 2. Вожди и герои Красной Армии (Ленин, Сталин, Киров, Фрунзе, Ворошилов, Буденный, Чапаев, Щорс); 3. «Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту,/ И встану вместо брата с винтовкой на посту»; 4. На заставе (Советский пограничник).[39] В сущности, вся литература, рекомендуемая для чтения, так или иначе, рождала у детей чувство опасности, тревожности, непрочности окружающего мира, формировала ненависть к враждебному окружению страны.

«Чистота классовой линии» в школе контролировалась различными средствами. Школы подвергались многочисленным «чисткам» и проверкам. Средствами «укрощения» учителя были товарищеские суды, пресса, комсомольские и партийные организации. В 1920-е гг. защитником интересов учительства Карелии довольно эффективно выступал профсоюз, оказывая сопротивление в связи с массовыми перебросками учительства, добиваясь материальной компенсации. Последняя из известных нам значительных акций Областного союза работников просвещения относится к лету 1928 г., когда районными исполнительными комитетами республики были приня-

ты решения об увольнении 70 учителей. Большинство из этих решений были приняты с нарушениями трудового законодательства. Лишь обращение за поддержкой в Центросоюз позволило добиться восстановления на работе учителей, уволенных без достаточного основания.[40] В 1930-х гг. профсоюз работников просвещения Карелии оказался в полной зависимости от партийных органов; в середине десятилетия даже рядовые учителя допускались к работе после утверждения кандидатур в обкоме ВКП(б).

Наркомпрос Карелии требовал дифференцированного подхода к детям разных социальных слоев. Чистота классовой линии в педагогическом деле должна была выражаться в помощи отстающим детям рабочих и крестьянской бедноты, в проявлении самого чуткого отношения к детям из батрацко-бедняцких семей. От учителей требовали «всеми мерами добиваться удержания каждого ребенка рабочего, батрака, бедняка в школе до последней группы включительно».[41] Таким образом, закладывалась основа окрепшего в последующие годы подхода к обучению, когда школа была обязана «тащить» бездельников и двоечников, ибо за «отсев» с нее строго взыскивали руководящие инстанции. Вопреки директивам, в начале 30-х гг. еще имелись случаи приема сверх установленного комплекта лиц духовного происхождения и детей бывших торговцев. По мнению Наркомпроса Карелии, эти явления были следствием влияния на педагогов враждебного окружения — лагерей НКВД и спецпоселков, сконцентрированных в районах Кеми, Сороки, Медвежьегорска и Кандалакши.[42] Дети «антисоветских элементов» порой исключались из школы, в некоторых случаях это происходило в результате вмешательства органов ГПУ и ВКП(б).[43]

Система доносительства не обошла и школу. В фонде Пентти Ренвалла сохранились, например, доносы некоторых учителей на своих коллег. Из отдельных писем учителей в Наркомпрос явствует, что компенсацией за их согласие работать информаторами было обещание покровительства со стороны чиновников. Учителя были обязаны сигнализировать об антисоветских настроениях среди детей, о каких-либо политически вредных высказываниях.[44] Судя по сводкам ГПУ, в поле зрения спецорганов оказывались случаи обстрела из рогаток портретов вождей в школах, появление в стенгазетах или устный пересказ антисоветских стихов и частушек, а с середины 1930-х гг. — также и пение финских национальных песен, «возве-

личивающих бродяг, кулаков и принижающих роль женщины». Например, в сводке Петрозаводского оперуполномоченного ГПУ в январе 1933 г. приводилось содержание заметки из стенгазеты в Намоевской школе: «Как много говорили о пролетарской революции, но мы, ученики, будем <встречать> 15-ю годовщину со своей собственной революцией в желудках, не под пение Интернационала, а под ворчание голодных желудков». В записке Пряжинского РО НКВД от 21 января 1937 г. излагалась выявленная спецорганами цепочка распространения учениками Корзинской средней школы следующей частушки: «Ах, Семеновна, да юбка в клеточку, выполняй, Семеновна, пятилеточку, Если не выполнишь — под суд отдадут и четыре годика принуд. работ дадут».[45]

Во взаимоотношения работников просвещения с властью вольно и невольно вовлекались дети. Они становились не только наблюдателями, но нередко участниками или героями разворачивавшихся событий. Озорство и беспечность детей подчас служили для взрослых предметом манипулирования, средством укрепления служебного положения. В 1937 г., когда Наркомпрос Карелии лихорадило от увольнений, а на партсобраниях всякий раз поднимался вопрос обо все еще не разоренных «гнездах буржуазного национализма» в школах, о попытках классового врага подчинить своему влиянию подрастающее поколение, сотрудник Наркомата Майя Эдуардовна Гюллинг выступила с разоблачением ученицы школы № 14 Богдановой, от которой сын Майи услышал стихотворение, порочащее советский строй. Прозвучали несколько строк из этого стихотворения, созданного по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»:

«У лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в Торгсин снесли,
Русалку паспорта лишили...».[46]

Однако есть свидетельства и иного порядка. Даже в годы усиливавшихся поисков врага и нагнетания всеобщего страха, школы пытались противостоять некоторым решениям руководящих органов. В 1935 г. лишь два района поддержали инициативу Наркомпроса Карелии провести смотр самой плохой и самой хорошей школы. Остальные отказались, указывая на бессмысленность и безнравственность попыток «публично бить» плохую школу.[47]

Попытки учителей скрыть политически окрашенные проступки детей влекли за собой серьезные последствия. Детская наивность или

шалость нередко оказывалась причиной увольнения учителей, когда становилось известно, что не приняты достаточные меры по поводу «политически незрелой» заметки ученика в стенгазете или руководству школы не доложено о «политически вредных» высказываниях или о стрельбе из рогаток в портреты вождей.[48]

Административный произвол отражался на политических настроениях работников школы, усиливал апатию к своему делу, рождал нервозность и подозрительность. В отчете Наркомпроса Карелии об итогах аттестации 1937/38 гг. отмечалось, что нередко учителя являлись на аттестацию в нервном состоянии или глубоко пессимистическом настроении.[49] Партийная организация пединститута констатировала, что преподаватели отстраняются от общественной жизни, подают заявления об увольнении, не хотят работать, «сидят на чемоданах», а студенты перестали ходить на вечера, отсиживаются в общежитиях.[50]

Апогеем этой политики стал террор 1937 гг. Были арестованы многие учителя, в первую очередь финны, обвинявшиеся в буржуазном национализме. В 1937/38 учебном году Наркомпрос Карелии отстранил от работы в школе 492 человека, из них 214 человек были уволены по итогам аттестации, в том числе с формулировкой «вредительское отношение к аттестации». По другим причинам было уволено 278 человека, в том числе: «врагов народа», репрессированных органами НКВД — 62; «буржуазных националистов» — 5; «за связь с врагами народа» — 17; «за дискредитацию звания советского учителя» — 38; «за трудовое дезертирство» — 24; «как не владеющих русским и карельским языками» — 72; «как не справившихся с работой» — 65 человек. Особенно пострадали учительские кадры в пограничных районах. Подверглись репрессиям и сотрудники различных звеньев управления народным образованием. В Наркомате просвещения в 1937 г. были сняты с работы 14 руководящих работников, были также арестованы или уволены 13 из 21 заведующих РОНО.[51]

Непоследовательность органов власти в проведении национально-языковой политики вызывала дополнительную напряженность в школе. Репрессии в отношении учителей-финнов, изгнание финского языка из школы и отсутствие на местах объяснений происходящего, — все это привело к тому, что учителя боялись начинать преподавание на карельском языке, а студенты-карелы опасались, что, как и финнам, им «не дадут учиться»[52]. Русские учителя, многие из

которых пострадали «за связь с финскими буржуазными националистами», теперь опасались общаться и с учителями-карелами. С мест поступала информация о том, что в некоторых школах «русские учителя сидят в отдельной комнате от учителей-карелов, как будто у них нет ничего общего».[53]

В январе 1937 г., в разгар репрессий, в Петрозаводске состоялся IV Всекарельский слет учителей-ударников. С его трибуны звучали слова о том, что «работа аттестационных комиссий и их решения вызвали новый подъем производственной и общественно-политической активности учительства, положили начало обмену опытом, дружной творческой работы учителей и педагогической молодежи». О начале съезда газета «Красная Карелия» известила граждан республики передовой статьей «Учительство Советской страны согрето солнцем Сталинской заботы о человеке».[54]

Дегуманизация школы, как и культуры в целом, шла по всем направлениям. Попытка втиснуть реальность в марксистскую теоретическую схему оказалась невозможной без лжи и насилия. Политизация школы и учительства осуществлялась в ущерб качеству знаний, препятствовала установлению доверительных, дружеских отношений между преподавателями и учениками. Авторитарные принципы стали господствующими в отношениях власти к школе, учителя к ученикам. Через школу утверждались новые ценности. Учительская профессия все более превращалась в «женскую», однако мягкость, жалостливость и терпимость, связанные с образом женщины в номинальной системе культуры, изгонялись из школы, призванной воспитывать классовую ненависть. Впечатление от роста численности учебных заведений и учащихся в них, увеличения доли грамотного населения в Карелии 1920–1930-х гг. меркнет на фоне нравственных потерь школы того времени.

---

[1] См., например: Луначарский А. В. Третий фронт. М., 1925. С. 47; Калинин М. И. О коммунистическом воспитании и обучении. Сборник статей и речей. М.; Л., 1948; Крупская Н. К. О культурно-просветительной работе. Избранные статьи и речи. М., 1957.

[2] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 1/9; Оп. 1. Д. 18/164. Л. 27; ГАНИРК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 68. Л. 51;

[3] Архив КарНЦ РАН. Разряд VI. Оп.1. Д. 98. Л.9.

[4] *Золотарев Д.А.* В северо-западной Карелии // Западно-финский сборник.

Л., 1930. С. 7–16.

[5] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 10/99. Л. 11; Д. 1/9. Л. 56, 63.

[6] ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 69. Д. 2023. Л. 85–86.

[7] Там же. Ф. А296. Оп. 1. Д. 171. Л. 22

[8] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 59/489; ГАРФ. Ф. А296. Оп. 1. Д. 311. Л. 3.

[9] Там же. Л. 31–32.

[10] Там же.

[11] Там же. Л. 22.

[12] Там же. Д. 1/9. Л. 61–63.

[13] Там же. Д. 59/489. Л. 1–2.

[14] Там же. Л. 98.

[15] Там же.

[16] Там же.

[17] Там же. Л. 1, 2.

[18] Там же. Д. 2/11. Л. 54.

[19] ГАНИРК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 32. Л. 36–38.

[20] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 40/338. Л. 66.

[21] Там же. Д. 49/402. Л. 31–32.

[22] ГАНИРК. Ф. 1230. Оп. 7. Д. 6. Л. 74.

[23] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 3/28. Л. 66; Д. 5/48. Л. 242.

[24] ГАНИРК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 32. Л. 110–111; НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 1/9. Л. 68; Там же. Д. 59/489. Л. 1.

[25] Там же. Д. 3/28. Л. 40; Д. 1/9. Л.54.

[26] Там же. Д. 18/164. Л. 81–82.

[27] Там же. Д. 5/50. Л. 109; Д. 18/164. Л. 90.

[28] Текст для преподавателей к альбому картин по обществоведению. Рекомендации ГУСа. М.; Л., 1926. С. 6.

[29] Текст для преподавателей... С. 6.

[30] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 2/11. Л. 35.

[31] ГАНИРК. Ф. 110. Оп. 1. Д. 5, 27.

[32] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 49/402. Л. 55, 110.

[33] Грибков Н. Состояние преподавания обществоведения и истории в начальной и средней школе // Материалы по итогам работы школ Карелии. Петрозаводск, 1934. С. 3–6.

[34] ГАНИРК. Ф. 52. Оп. 2. Д. 11. Л. 10, 17, 27

[35] Kansallisarkisto. Pentti Renvallin kokoelma. 15 B.

[36] См., например: Вознесенская Т. И. Диктантойн сборникка. Пособия начальнойлойн школиэн учителиэн учитейлла. Петрозаводск, 1938.

[37] Kansallisarkisto. Pentti Renvallin kokoelma. 14 B.

[38] ГАРФ. Ф. А-2306. Д. 604. Л. 21–24; НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 1/9. Л. 105.

[39] Kansallisarkisto. Pentti Renvallin kokoelma. 14 B.

[40] ГАНИРК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 238. Л. 29–67.

[41] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 49/402. Л. 117.

[42] Там же. Л. 2, 110; Д. 59/489. Л. 98.

[43] ГАНИРК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 494.
[44] Kansallisarkisto. Pentti Renvallin kokoelma. 15 B.
[45] ГАНИРК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 494. Ф. 52. Оп. 2. Д. 11; Ф. 21. Оп. 1. Д. 183.
[46] Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 81. Л.10.
[47] Там же. Ф. 6298. Оп. 1. Д. 16. Л. 20.
[48] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 59/489.
[49]Там же. Д. 25/210. Л. 5.
[50] ГАНИРК. Ф. 52. Оп. 2. Д. 11. Л. 2, 17, 22.
[51] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 114/1074. Л. 43–44; Д. 96/801. Л. 13–14. Отметим, что в источнике сумма уволенных по различным причинам не совпадает с общей численностью уволенных. Kansallisarkisto. Pentti Renvallin kokoelma. 14 B.
[52] ГАНИРК. Ф. 3. Оп. 5. Д. 94. Л. 58; Там же. Ф. 110. Оп. 1. Д. 5. Л. 43.
[53] Там же. Ф. 3. Д. 83. Л. 27.
[54] НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 96/801. Л. 20–24; Красная Карелия. 1937, 4 января.

В. И. Мусаев

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РАСКУЛАЧИВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1930-е гг.)

С конца 1920-х гг. советским руководством был взят курс на свертывание нэпа и коллективизацию сельского хозяйства. И. В. Сталин в своей речи «К вопросам аграрной политики в СССР», произнесенной 27 декабря 1929 г. на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, провозгласил развертывание насильственной коллективизации и «ликвидацию кулачества как класса».[1] Выступая на конференции, Сталин отмечал: «Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс и заменить его производство производством колхозов и совхозов... Теперь раскулачивание в районах сплошной коллективизации не есть уже простая административная мера. Теперь раскулачивание представляет там составную часть образования и развития колхозов».[2] Эти сталинские положения вошли в принятое ЦК ВКП(б) 5 января 1930 г. постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государственному колхозному строительству», декларировавшее переход «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса».[3]

30 января 1930 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», в котором предлагалось провести конфискацию у кулаков средств производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке сельскохозяйственной про-

дукции и семенных запасов.[4] Наконец, 1 февраля вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», второй пункт которого гласил: «Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам и правительствам автономных республик право применять в этих районах все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)».[5]

Соответствующие меры предпринимались и в Ленинградской области. Еще в феврале 1928 г. на заседании президиума Ленинградского окружного исполкома было решено предложить окружному земельному управлению «принять меры ограничения выделения на хутора и дробимости крестьянских хозяйств <...>, проводя землеустройство в соответствии с имеющимися на этот счет директивами правительства, добиваясь большего распространения коллективных форм землепользования и интенсификации сельского хозяйства».[6] Широкого распространения колхозное движение в Ленинградской области до начала 1930-х гг. не получило. На 1 января 1930 г. в Ленинградской области в колхозы было объединено 5,8 % крестьянства.[7] И в дальнейшем уровень коллективизации в Ленинградской области был одним из самых низких по стране. Однако и активное сопротивление политике коллективизации в области было редкостью. Органы ОГПУ в июле–октябре 1929 г. зафиксировали в Ленинградской области 44 антисоветских проявления в деревне (из них два убийства).[8] Согласно статистическим сводкам, в Ленинградской области лишь против 10 процентов колхозов были совершены насильственные действия в той или иной форме, причем в основном не более одного раза[9] — значительно меньше, чем во многих других краях и областях. В частности, на заседании Парголовского райисполкома в конце января 1930 г. в выступлениях большинства представителей с мест отмечалось, что в их сельсоветах кулацких выступлений против колхозов не было, лишь в Мурино один кулак-лишенец высказывал недовольство принципами налогообложения и говорил, что «лишенные избирательных прав труженики, на которых держится Советская власть, сейчас выбрасываются за борт».[10] В информационной сводке Леноблисполкома от 7 февраля о кулацких выступлениях против коллективизации приводились примеры, относившиеся главным

образом к окраинным Лужскому и Псковскому округам, в собственно Ленинградском округе* подобные выступления были единичными: «В Красногвардейском** районе на одном из собраний представителя района силой вывели с собрания, в деревне Озертицы Волосовского района, с большинством населения евангелистов, члена партии, проводившего собрание, чуть ли не на руках вынесли из избы и прогнали; в деревне Орлово Ленинградского района кулаки сорвали собрание по переводу мелиоративного т-ва в колхоз».[11] Но и пассивное сопротивление колхозам власти не собирались терпеть.

Особенностью Ленинградской области, в первую очередь Ленинградского округа, был высокий процент среди населения национальных меньшинств, относившихся преимущественно к прибалтийско-финским народностям. В конце 1927 — начале 1928 гг. в районах округа (в сельской местности) насчитывалось примерно 122 тысячи ингерманландских финнов, 25 тысяч вепсов, 23 тысячи эстонцев (а также около 15 500 в Псковском округе, 7500 — в Лужском), 16 тысяч ижор, кроме того, около 7500 поляков, 4500 латышей (еще по несколько тысяч в Лужском и Псковском округах), более 4 тысяч немцев.[12] Бедняцкая прослойка среди крестьянского населения этих меньшинств была относительно невелика, в то же время было немало крепких хозяев-единоличников, хотя и настоящих богачей насчитывалось немного. В постановлении, принятом на совещании актива национальных меньшинств Ленинградского округа 21 декабря 1929 г., было записано: «В период реконструкции сельского хозяйства на коллективных началах и усиленного наступления на кулацкие элементы классовая борьба в среде национальных меньшинств приобретает зачастую особо острый характер. Распространенный среди ряда национальностей округа хуторской тип хозяйства (эстонцы, финны), а отсюда — значительность зажиточно-кулацкой части, верхушки, ведущей усиленное сопротивление мероприятиям Советской власти, относительно сильное влияние духовенства, а также ряд других куль-

---

* Ленинградская область, образованная в 1927 г., включала в себя территорию бывших Ленинградской, Псковской, Новгородской, части Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний и делилась на следующие округа — Ленинградский, Лужский, Новгородский, Псковский, Великолукский, Боровичский, Лодейнопольский, Череповецкий, Мурманский.

** Красногвардейск — название г. Гатчины в 1929–1943 гг.

турно-бытовых и экономических особенностей диктует необходимость особенно четкого и последовательного проведения классовой линии в нацменской работе».[13] Крупное крестьянское землевладение на российском Северо-Западе не получило широкого распространения. По расчетам, относящимся к середине 1920-х гг., на территории тогдашней Ленинградской губернии среди крестьянских хозяйств насчитывалось свыше 1/3 бедняцких, около 2/3 середняцких и не более 1—2 % крупных или «кулацких». При этом среди середняцких хозяйств большинство составляли мелкие, владевшие одной лошадью и посевной площадью до двух десятин.[14] Социальная ситуация в деревне мало чем отличалась от положения, существовавшего в предреволюционный период. Так что массовый характер репрессий в деревне в начале 1930-х гг. был совершенно неадекватным реальному положению дел. Раскулачивания и высылки затронули гораздо более широкие слои сельского населения, чем те, которые действительно можно считать зажиточными. Термин «кулак» во многих регионах страны толковался весьма расширительно, и Ленинградская область в этом отношении не была исключением: здесь достаточно было иметь в хозяйстве больше двух коров, чтобы попасть в «кулаки» со всеми вытекающими последствиями.[15] К тому же в кулацкие почти автоматически записывали хозяйства, которые сдавали часть своей земли в аренду. Однако занимались этим в основном не зажиточные крестьяне, а бедняки, которые не могли обрабатывать свои участки целиком либо из-за отсутствия рабочего скота и инвентаря, либо из-за нехватки рабочих рук.[16]

Декабрьский пленум 1929 г. Ленинградского обкома ВКП(б) поставил задачу коллективизировать к концу 1930 г. 20 % крестьянских хозяйств области. Однако Колхозцентр в феврале 1930 г. дал директивное предписание об увеличении контрольной цифры коллективизации в Ленобласти до 45 %. В результате, как было признано в одном из изданий о коллективизации на Северо-Западе, «на местах были допущены “левацкие” перегибы, которые привели к неоправданной гонке темпов коллективизации».[17] Коллективизация шла в области быстрыми темпами: на 1 февраля было коллективизировано 5069 хозяйств, на 10 февраля — 11 639, а на 1 марта — уже 28 285 (вместо намеченных по плану 21 877), что составило 22,7 % от общего числа хозяйств (всего по области насчитывалось 124 400 крестьянских хозяйств).[18] Количество колхозов в области выросло с 149 на 20 января до 556 на 1 марта.[19]

Наряду с коллективизацией в Ленобласти, как и по всей стране, начались аресты «кулаков» и конфискации их имущества. Всего по области намечалось раскулачить и выселить около 10 тысяч хозяйств — 2,3 % от всех хозяйств области, а в пограничных районах — 4 %. Ориентировочно предполагалось выселить 2014 хозяйств за пределы Ленинградской области, 4644 хозяйств переселить внутри области из округа в округ и 3365 — внутри округов.[20] 11 февраля президиум Ленинградского облисполкома разослал всем окружным исполкомам области секретное распоряжение «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».[21] Руководствуясь этим распоряжением, исполком Ленинградского окружного Совета составил и 15 февраля разослал районным исполкомам секретный циркуляр, которым он обязал их «приступить к составлению оперативного плана проведения мероприятий по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации Округа». Районные исполкомы должны были составить списки всех кулацких хозяйств и затем на основе решений бедняцких и колхозных собраний выносить постановления «о лишении кулацких хозяйств земли, конфискации имущества и высылке за пределы района, округа и области». Для проведения мероприятий в жизнь на местах создавались «тройки» в составе председателя райисполкома, секретаря местной партийной организации и представителя ГПУ.[22] Всего по округу из районов сплошной коллективизации следовало выселить 2597 хозяйств из 72 356.[23]

Первые заседания «троек» начались сразу после получения циркуляра. Например, на заседании парголовской районной «тройки» 18 февраля было принято решение о раскулачивании и выселении 88 хозяйств и о подготовке материалов еще на 11 семей. Из подлежавших высылке «кулаков» 40 хозяев были финны-ингерманландцы из деревень Юкки, Порошкино (Пороскюля), Мертуть (Меритуйту), Лупполово, Кавголово, Мистолово и некоторых других, один, по всей видимости, эстонец, остальные — русские и немцы из Ручьев, Гражданки, Парголово и Мурино.[24] На следующий день на заседании представителей окружных исполкомов Николаев из Ленинградского округа сообщал о 140 постановлениях сельских сходов и собраний колхозников и бедноты, при этом, по его словам, «нет ни одного постановления, где бы говорилось — выселить в пределах округа, только за пределы района, везде говорится — за пределы области».[25]

Многие семьи, квалифицированные как кулацкие или зажиточные, облагались непомерно высокими налогами, которые они не были в состоянии заплатить, и тогда у них конфисковывали все или почти все имущество. Ингерманландский крестьянин из Колтушей, бежавший в Финляндию, свидетельствовал: «Собственность [нашей] семьи состояла <...> из 6 га земли, трех коров, одной лошади, трех свиней и овцы. Коров забрали еще до Рождества, так как семья не смогла уплатить неслыханно тяжелый налог — 2600 рублей, который мы должны были внести осенью. После Рождества нам нужно было уплатить 30 % от этой суммы <...> Поскольку и эту сумму мы не были в состоянии выплатить, у нас конфисковали все остававшееся имущество: скот, строения, сельскохозяйственные орудия, домашнюю утварь и всю лучшую одежду».[26] Другой единоличник, также уехавший в Финляндию, Ю. Куокканен из Всеволожского района, сообщал в своих показаниях: «В Финляндию я был вынужден приехать потому, что мой земельный участок в 8 га у меня отобрали весной 1930 г. У меня были две коровы и телка, от которых я должен был сдавать государству 400 литров молока с каждой головы в год. Я не мог выполнить это задание, так как коровы дали мало молока, а телка не дала совсем, за что на меня наложили штраф в 300 рублей. Кроме того, меня обложили налогом в 1060 рублей как кулака. Я обжаловал это решение через финское консульство в Москву, налог снизили до 78 рублей, но так называемый кулацкий налог я должен был выплатить в местный Совет до принятия решения по моей жалобе в Москве. Несмотря на то, что налог мне снизили, Совет не вернул мне деньги. Кроме того, я должен был уплачивать в Совет разные мелкие налоги по так называемому самообложению и налог на просвещение».[27]

Некоторые из зажиточных крестьян, стремясь избежать раскулачивания, начали образовывать собственные объединения, но это, как правило, не спасало их: посланные в деревню двадцатипятитысячники распускали выявленные ими «кулацкие» кооперативы и распределяли конфискованное у них имущество среди настоящих колхозов.[28] 18,7 % собственности колхозов Ленинградской области составляло реквизированное имущество (в колхозах соседней Карелии в то же время — 2,6 %).[29] Нередко местные «тройки» и бедняцкий актив проявляли излишнее рвение, принимая решения помимо общих собраний колхозников, выселяя не подлежавшие раскулачива-

нию семьи середняков и бедняков, бывших красных партизан, красноармейцев, сельской интеллигенции. Следует заметить, впрочем, что в некоторых деревнях попытки властей опереться на бедняцкие слои при наступлении на «кулаков» нередко терпели неудачу: здесь население оказывалось более сплоченным, жители деревень, вместо того, чтобы грабить и изгонять своих односельчан, наоборот, зачастую брали их под защиту. К примеру, в деревне Келози Красногвардейского (Гатчинского) района беднота сорвала общее собрание крестьян, на котором должны были приниматься решения о раскулачивании, заявив представителям районного исполкома и местным активистам, что кулаков у них нет.[30]

В марте 1930 г. центральные власти, осознав пагубность «перегибов», решили скорректировать темпы коллективизации. После публикации известного письма И. В. Сталина «Головокружение от успехов» ЦК ВКП(б) принял закрытое постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». Руководствуясь этим постановлением, Ленинградский областной исполком 24 марта направил окружным и районным исполкомам циркуляр о порядке проведения раскулачивания и о ликвидации перегибов, в котором, в частности, отмечалось, что «вся практика по раскулачиванию ни в коем случае не должна коснуться хозяйств середняков, бедняков, бывших красных партизан, членов семей рядового и командного состава Красной Армии и Флота, сельской интеллигенции (сельские учителя и учительницы, агрономы)».[31] Отмечалось, что «во всех сельскохозяйственных артелях <...> мелкий скот, домашняя птица, одна корова и приусадебные земли (сад, огород), не имеющие товарного значения, подлежат возвращению в единоличное пользование».[32] Вслед за этим Ленинградский окружной исполком вынужден был своим циркуляром от 30 марта предложить пересмотреть списки раскулаченных и выселенных и указать, что раскулаченные и выселенные в результате «перегибов» должны быть возвращены обратно и им должно быть отдано конфискованное имущество.[33] 21 апреля Леноблисполком направил председателям окружных исполкомов указание немедленно пересмотреть списки лиц, лишенных избирательных прав, причем отмечалась необходимость «обратить особое внимание на устранение перегибов, допущенных в отношении нацменьшинств».[34] В это же время начался массовый отток крестьян из колхозов, который был приостановлен лишь к середине лета. Авторы многих заявлений

о выходе из колхоза указывали, что их вступление в члены колхоза не было добровольным. К примеру, в заявлении одной семьи из Молосковицкого района в конце марта 1930 г. говорится: «Просим нас <...> исключить <...> из числа членов колхоза <...> ввиду того, что мы в колхоз шли не добровольно, а потому что приходившая к нам бригада гор. Ленинграда определенно нам говорила, что все те, кто не запишется в колхоз, будут выселяться на самую плохую землю и с кооперации получать ничего не будут».[35] К осени 1930 г. уровень коллективизации в Ленинградской области закрепился на цифре 6 %.[36]

В прибрежных районах Сойкинского и Курголовского полуостровов, населенных преимущественно ижорскими рыбаками, колхозное строительство имело свою специфику. Хозяйства, объединявшиеся в рыболовецкие колхозы, получали определенные привилегии: члены колхоза обеспечивались сетями для ловли рыбы за счет государства, им оставлялось 1,5 килограммов рыбы от дневного улова, а единоличникам — только 800 грамм, а за остальную часть улова, сдаваемого государству, колхозники получали по восемь рублей за пуд, единоличники — вдвое меньше, остальная половина шла в счет налогов, страхования и других сборов. Практиковалась и такая мера — при обмене пропусков на выход в море лицам, считавшимся ненадежными, новые пропуска не выдавались.[37]

В 1930–1931 гг. по всей стране шли высылки «кулаков» в отдаленные районы Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 18 марта 1930 г. было принято постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области».[38] Публикация «Головокружения от успехов» не положила конец наступлению на кулака. В цитированном выше циркуляре Ленинградского обкома от 24 марта 1930 г. отмечалось, что поскольку кулаки могут использовать признание допущенных ошибок и кампанию по исправлению перегибов для выступлений против колхозов, необходимо продолжение борьбы против кулачества, «а в районах сплошной коллективизации — еще более решительная ликвидация кулачества как класса».[39] В директивном письме районным прокурорам и народным судьям Ленинградской области от 27 сентября 1930 г. за подписью прокурора области Кондратьева власти на местах подверглись критике за то, что из-за боязни перегибов «борьба с кулачеством в большинстве районов недопустимо ослаблена», письмо подчеркивало, что «классовая борьба в дерев-

не не только не утихает, но наоборот, разгорается и будет разгораться» и что «кулак должен почувствовать твердую руку пролетарской диктатуры».[40] После появления сталинской статьи ссылать стали несколько меньше, однако с начала следующего года кампания по выселению «кулаков» возобновилась с особой интенсивностью. 1 февраля 1931 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О предоставлении краевым (областным) исполкомам и правительствам автономных республик права выселения кулаков из пределов районов сплошной коллективизации сельского хозяйства».[41] 15 марта появился меморандум НКВД за подписью Г. Г. Ягоды, в котором было записано: «В целях полной очистки от кулаков, с мая по сентябрь 1931 г. намечено провести массовую операцию по кулачеству с высылкой в отдаленные местности Союза со всех областей». Для осуществления намеченной «массовой операции» краевым и областным властям предлагалось «установить количество кулацких хозяйств края <...>, подлежащих высылке», выявить кулаков, проникших в колхозы, бежавших в города и устроившихся на работу в промышленности, не позднее 10 апреля представить количество кулацких семей, подлежащих высылке и план проведения операции.[42] Всего по стране в 1930–1931 гг. депортации подверглись 356 544 семей или 1 679 528 человек, из них 551 330 человек (113 013 семей) в 1930 г. и 1 128 198 человек (243 531 семья) — в 1931 г.[43] Из Ленинградской области в 1930–1931 гг. были депортированы в общей сложности 8604 «кулацкие» семьи, из них 5344 — на Кольский полуостров, 337 — на Урал, 1269 — в Западную Сибирь, 929 — в Восточную Сибирь и 725 — в Якутию.[44]

Рубеж 1920-х–1930-х гг. был также отмечен началом гонений против церкви, как православной, так и лютеранской, к которой принадлежала большая часть национальных меньшинств Ленобласти. «Культурная революция», провозглашенная на рубеже десятилетий одновременно с коллективизацией, знаменовала собой новое наступление на религию. В сельской местности гонения на церковь были тесно связаны с политикой коллективизации, так как церковь считалась духовным оплотом крестьянского сопротивления мероприятиям властей. Правительственная пропаганда утверждала, что выступления «кулаков» из числа национальных меньшинств области против колхозов инспирировались лютеранскими пасторами, за которыми стояли определенные силы в Финляндии,

Эстонии и Латвии.[45] Начались аресты и высылки священнослужителей, закрытие приходов. Пастор финского лютеранского прихода в Лемболово А. Куортти был даже приговорен тройкой ГПУ в феврале 1930 г. к смертной казни по обвинению в том, что он вел занятия приходской школы, организовал церковный хор, собирал церковный налог, возбуждал прихожан против советской власти, не сообщил в ГПУ фамилии тех прихожан, которые в 1929 г. уехали в Финляндию. Приговор Куортти был заменен заключением в лагерь на побережье Белого моря.[46] В некоторых случаях прихожане сами вынуждены были отказываться от содержания приходов, так как не были в состоянии выплачивать те высокие налоги, которыми их облагали. Некоторые церкви оставались действующими, однако богослужения в них проводились крайне редко. Публичное празднование Рождества было запрещено, и семьи верующих отмечали его дома, за наглухо закрытыми шторами.

Репрессии периода коллективизации и культурной революции имели не национальный, а социальный характер. По всей стране сотни тысяч крестьян подверглись раскулачиванию и высылке из родных мест. В Ленинградской области террор затронул русских крестьян и православное духовенство и верующих не в меньшей степени, чем национальные и религиозные меньшинства. Однако общественным мнением в Финляндии события в Ингрии воспринимались именно как целенаправленное притеснение ингерманландских финнов. От трех до четырех тысяч человек, спасаясь от репрессий, бежали в 1930–1934 гг. из Ингрии и Восточной Карелии в Финляндию и Эстонию. 5 марта 1930 г. на собрании ингерманландских делегатов в Выборге было принято обращение к премьер-министру Финляндии К. Каллио с просьбой выступить на защиту притесняемого ингерманландского населения, привлечь внимание Лиги Наций и руководства великих держав к ингерманландской проблеме.[47] В финской печати была развернута энергичная антисоветская кампания, начало которой было положено статьей в номере газеты «Суомен хеймо», органа Карельского Академического общества, от 22 февраля 1931 г., под заголовком «Как Советская Россия выполняет обещания, данные на Тартуских мирных переговорах».[48] Советское руководство обвиняли в нарушении обещаний о гарантиях ингерманландской автономии, приложенных к Тартускому договору. В адрес финляндского правительства звучали призывы потребовать от советского руковод-

ства прекратить депортации и разрешить высланным или вернуться на родину, или переехать в Финляндию.[49]

В советско-финляндских отношениях наступил серьезный кризис. 16 мая 1931 г. временный поверенный в делах Финляндии в СССР Э. Вестерлунд передал советской стороне ноту, в которой заявлялось, что высылки финских крестьян из Ленинградской области вызывают беспокойство в Финляндии, и содержалась просьба «найти средства, способные устранить причины беспокойства <...> и создать этим благоприятные условия для постоянного развития дружественных отношений, существующих между двумя странами».[50] В ответ 17 и 24 мая были переданы две ноты за подписью заместителя наркома иностранных дел Н. Н. Крестинского, в которых осуждались поднятая в Финляндии «клеветническая кампания» по поводу «мнимого» преследования ингерманландцев и бездействие правительственных органов по отношению к ней, заявлялось, что ингерманландские крестьяне сами «<...> решениями своих сельских сходов удаляют из своей среды кулаков, составляющих ничтожную часть населения и старающихся всеми мерами, вплоть до применения террора, мешать подъему материального и культурного уровня подавляющего большинства финского крестьянства <...>»; нота финляндского правительства была расценена как вмешательство во внутренние дела Советского Союза.[51]

Попытки МИД Финляндии побудить другие державы к вмешательству в события в Советском Союзе не достигли результата. Однако определенное воздействие на поведение советских властей активность Хельсинки на международной арене все же оказала. Советское руководство не было заинтересовано в эскалации напряженности в отношениях с Финляндией, равно как и в международной огласке событий в Ингрии. Беспокойство внушала и перспектива военного сближения на антисоветской основе, в случае дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, между Финляндией и Польшей, к которым могли также присоединиться прибалтийские государства. Поэтому, формально отклонив демарш финляндского правительства, советское правительство все же сочло возможным принять некоторые меры для преодоления дипломатического кризиса. Народный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов встречался в Женеве с министром иностранных дел Финляндии А. С. Юрьё-Коскиненом (бывшим финляндским посланником в СССР). Их неофициальные переговоры имели

важное значение для урегулирования конфликта. В результате достигнутого компромисса советская сторона согласилась приостановить депортации ингерманландцев и разрешить некоторым из высланных вернуться в места прежнего проживания в обмен на обязательство Финляндии не поднимать ингерманландский вопрос в Лиге Наций. По слухам, именно кампания, поднятая за рубежом, была причиной отказа властей Ленинградской области от намеченной на май 1931 г. новой масштабной кампании по депортации ингерманландских «кулаков».[52]

Ослабление давления на деревню на Северо–Западе России было связано не только с отношениями с Финляндией, но и с корректировкой политики коллективизации на правительственном уровне: инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР № П–6028 от 8 мая 1933 г. объявила партийным и советским работникам, органам ГПУ, суда и прокуратуры об окончании массового террора против крестьянства и применения жестких форм репрессий в деревне.[53] Масштабы депортаций в 1932–1934 гг. действительно заметно сократились: за эти годы из Ингрии было выслано «всего лишь» около тысячи человек.[54] Впрочем, и в этот период борьба с «буржуазной националистической контрреволюцией» не прекращалась: в октябре 1932 — мае 1933 гг. ГПУ Ленинградского военного округа разрабатывало дело о так называемом «заговоре финского генштаба». В результате операции были ликвидированы 23 «контрреволюционные ячейки», из них 15 в Карелии и 8 — в Ленинградской области По данному делу в Ленобласти было арестовано 310 человек (в том числе 231 крестьянин, включая 12 председателей и членов правлений колхозов, 19 священнослужителей).[55] В то же время советское руководство старалось продемонстрировать, что автономные права ингерманландского и других меньшинств неукоснительно соблюдаются. С формальной точки зрения все так и обстояло: национальные сельсоветы и учебные заведения действовали по-прежнему, продолжал существовать Куйвозовский финский национальный район. Более того, в начале 1930-х на основе латинской графики был создан алфавит для ижорского языка, никогда ранее своей письменности не имевшего, и в школах населенных ижорами деревень было введено семилетнее обучение на родном языке.[56]

Если говорить о собственно коллективизации в Ленинградской области, она была в основном завершена к середине 1930-х гг. По дан-

ным на декабрь 1934 г., в 34 районах области коллективизация была осуществлена на 70 % (в 14 из них — более, чем на 80 %), в 35 районах — на 50–70 %, в шести районах — менее, чем на 50 % (в Волосовском районе — на 39,7 %).[57] Материальное положение большинства обобществленных хозяйств было затрудненным. За свой труд в колхозах крестьянские семьи получали крайне незначительное вознаграждение. Один из ингерманландских беженцев в Финляндии свидетельствовал: «Положение жителей деревни стало очень тяжелым. Все терпят нужду. Трудовой повинности подлежат все в возрасте с 12 лет. В колхозе за работу платят зарплату по 50 копеек в день. Продукты надо покупать в колхозном магазине. Цены на товары высоки <...>. Все работы нормированы. Каждый получает план работы на день. Если он по той или иной причине не сможет выполнить свою работу, на следующий день ему остается доделать эту же работу, а в книгу учета трудодней ему записывается отработка только одного дня. В колхоз берут теперь только таких крестьян, у которых имеется одна корова и лошадь. Их забирают в колхоз без какой-либо компенсации».[58] Обеспечивать себя колхозникам приходилось главным образом за счет небольшого приусадебного участка и единственной коровы, которую позволялось держать. Крестьянки отвозили молоко в город, где у них, как правило, имелись постоянные клиенты, и обменивали его на хлеб. Ученый-филолог Э. Г. Карху, который в те годы, будучи ребенком, жил у родственников в деревне Алакюля прихода Хиетамяки (его родители были высланы в Хибины), вспоминает: «Колхоз едва справлялся с обязательными госпоставками сельхозпродуктов, за которые выплачивали мизерные суммы — в десять-пятнадцать раз меньше рыночных цен, производить такую продукцию было себе в убыток. На денежную оплату трудодней колхозникам оставались гроши, низкой была и натуроплата зерном и картофелем <...>. Но и индивидуальное хозяйство с коровой и огородом площадью в четверть гектара облагалось непомерными налогами. Государству надо было отдать в год по 250 литров молока, 250 килограммов картофеля, немалую сумму денег <...>. Налогами облагалось абсолютно все — и овечка, и курица, и ягодный куст или фруктовое дерево».[59] Не во всех колхозах дела шли одинаково плохо — в некоторых жизнь была более зажиточной. Играли свою роль качество почвы, расстояние от рынков Ленинграда, деловые способности колхозного руководства. Э. Г. Карху пишет: «В деревнях Рюэмя и Райк-

коси колхозники жили чуть получше, чем в Алакюля или Финно-Высоцком. Многое зависело от расторопности и деловитости председателя, от того, осмеливался ли он хотя бы часть производимой колхозом продукции уберечь от обязательных госпоставок и продать на городском рынке за куда более высокую цену, чем платило государство. Такие торговые операции проводились тайком, на рынок направляли надежных людей, обычно женщин, которые продавали колхозное молоко или картошку как свою, а выручка шла в общую кассу, чтобы было из чего платить за трудодни колхозникам. За подобную председательскую хитрость могли и под суд отдать, но без риска колхозная касса была пуста. А между тем в Рюэмя за трудодень платили иногда даже по три рубля — почти невероятную сумму по тому времени».[60]

Многие колхозные хозяйства Ленинградской области вели свои дела далеко не лучшим образом. Составленная авторами сборника «Документы об Ингерманландии» подборка сообщений из номеров ленинградской финноязычной газеты «Вапаус» за январь 1935 г. наглядно свидетельствует об «успехах» колхозного строительства в Ингрии. Вот некоторые из них: «Колхоз “Зерно” (Куйвозовский район) к 6 января еще не приступил к лесным работам. Не завершена также заготовка навоза и песка. Колхозные лошади стоят без дела, так как только у трех из них исправны упряжь и сани <...>. В колхозе “Буря” дела идут плохо. Окончательное распределение урожая не произведено. Бухгалтерская отчетность запущена. Культмассовая работа и подписка на газеты проводятся слабо. Заготовка навоза и удобрений к 17 января еще не начата. Сельскохозяйственные машины все еще не отремонтированы <...>. В колхозе “Новая жизнь” замерзло 2000 кг картофеля и 2000 кг моркови. Лошади находятся в плохом состоянии, поэтому весенние работы не могут производиться <...>. В “Пионере” Тосненского района слабая готовность к севу: семена не рассортированы, сельскохозяйственные машины не отремонтированы <...>. В скворицком колхозе “Пюринтё” еще не завершено распределение урожая, не созывались ни производственное совещание, ни общее собрание. Трудовая дисциплина слаба и денежные дела хозяйства расстроены».[61] Достаточно красноречива и справка «о нарушении устава сельскохозяйственной артели по распределению доходов в колхозах Тосненского и Парголовского районов», составленная заведующим сельскохозяйственным отделом обкома ВКП(б)

Сиротиным и датированная мартом 1938 г. Из этой справки следует, что в Тосненском районе из 116 колхозов, закончивших распределение доходов, 35 колхозов ничего не выдавали деньгами на трудодни, в Парголовском — 13 из 18. В ряде колхозов имело место разбазаривание средств: «В колхозе “Комсомолец” деньгами на трудодни ничего не выдают, в то время как колхозом израсходован 1721 рубль на пьянки под видом празднования революционных праздников; на административно-хозяйственные расходы по смете было намечено 723 рубля, а фактически израсходовано 2437 рублей (главным образом на оплату председателя колхоза). Колхоз “Нива” истратил <...> на оплату наемных рабочих 5237 рублей, на административно-хозяйственные расходы 1880 рублей».[62]

Между тем репрессии против сельского населения Ленинградской области, после трехлетнего относительного затишья, возобновились с середины 1930-х гг. В 1935–1936 гг. 26–27 тысяч человек, преимущественно этнических финнов и эстонцев, были принудительно переселены из приграничных с Финляндией и Эстонией районов Ленинградской области в восточную часть области и в Архангельскую область.[63] «Большой террор» 1937–1938 гг. в Ленинградской области ударил в основном по сельским районам. В статье «О подрывной работе иностранных разведок в деревне», опубликованной в номере «Ленинградской правды» от 11 июля 1937 г., утверждалось: «По заданиям своих штабов — разведывательных органов буржуазных государств — шпионы, диверсанты, вредители прилагают все усилия к тому, чтобы расстроить в нашей стране не только промышленность и транспорт, но и сельскохозяйственное производство. Они стремятся подорвать урожайность наших полей, дискредитировать колхозный строй и на этой почве вызвать недовольство крестьян. Для достижения этих целей агенты иностранных разведок <...> нередко под видом специалистов проникают в земельные органы, колхозы, совхозы и МТС, создают там свою сеть из враждебных Советской власти элементов — троцкистов, бухаринцев, белогвардейцев, бывших эсеров, кулаков, попов — и с помощью этой черной сотни проводят подрывную работу в деревне». В ходе операции «по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», начавшейся в области 5 августа 1937 г., до конца года было арестовано и осуждено особой тройкой УНКВД 28 588 человек, из которых 13 384 человека были приговорены к расстрелу, 15 204 ока-

зались в тюрьмах и лагерях. При этом основной удар пришелся не по Ленинграду, а по районам области: по городу было репрессировано около 6 500 человек, а по области — свыше 18 тысяч.[64] Аресты и расстрелы продолжались и в 1938 г., хотя и в меньших масштабах: в течение этого года было осуждено 4126 человек, из них 888 по Ленинграду и пригородным районам и 3238 — по области.[65] В переданной А. А. Жданову докладной записке «о вредительской диверсионной деятельности правых в районах Ленинградской области в период 1937–1938 гг.» утверждалось: «В течение 1937–1938 гг. в сельских районах области вскрыты различного рода организованные контрреволюционные формирования, деятельность которых была направлена на развал сельского хозяйства и подготовку базы для реставрации капитализма <...>. Установлено, что правые создавали в районах области и повстанческие кадры для вооруженного выступления против Советской власти, приурочивая выступления к моменту начала войны капиталистических стран против СССР. Активную повстанческую и диверсионно-вредительскую деятельность вели в деревне контрреволюционные националистические элементы по заданию иностранных разведок».[66] В 1930-е гг., таким образом, население Ленинградской области понесло огромный урон, последствия которого, в сочетании с бедствиями и разрушениями периода Великой Отечественной войны, сказываются до сегодняшнего дня.

---

[1] Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927–1932 гг. М., 1989. С. 295–297.

[2] Цит. по: Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996. С. 66.

[3] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т. 2. М., 2000. С. 85.

[4] *Данилов В. П.* Коллективизация сельского хозяйства в СССР // История СССР. 1990. № 5. С. 23.

[5] Собрание законов рабоче-крестьянского правительства Союза ССР. 1930. № 9. С. 105.

[6] ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 2580. Л. 152 об.

[7] Suni L. Inkeriläisen talonpoikaisluokan hävittämisen alkusoitto vuonna 1930 // Inkeri: Historia, kansa, kulttuuri. Helsinki, 1991. S. 305.

[8] Трагедия советской деревни. Т. 1. С. 743.

[9] Документы свидетельствуют. С. 491.

[10] ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 1. Д. 72. Л. 104.

[11] Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе (1927–1937 гг.). Л., 1970. С. 162.

[12] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 110. Л. 38; ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 1. Д. 59. Л. 8.

[13] ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 1. Д. 60. Л. 59.

[14] Климин И. И. Крестьянское хозяйство Ленинградской губернии в середине 20-х годов // Социально-экономические и политические проблемы истории крестьянства Северо-Запада РСФСР IX–XX вв. Тезисы выступлений. Новгород, 1991. С. 93–94.

[15] ЛОГАВ. Ф. 507. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.

[16] Иванов В. А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в советской России в конце 20-х — 40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 12.

[17] Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе. С. 406.

[18] ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 9. Д. 111. Л. 13 об.

[19] Там же. Л. 14 об.

[20] Там же. Оп. 3. Д. 128. Л. 181.

[21] Там же. Л. 48–50.

[22] ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 3. Д. 4. Л. 119–122.

[23] ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 3. Д. 128. Л. 93.

[24] ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 3. Д. 4. Л. 128–128 об.

[25] ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 3. Д. 128. Л. 72 об.

[26] Цит. по: Gummerus H. Finnarna i Ingermanland // Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik. T. CXI. 1931. S. 34.

[27] ЛОГАВ. Ф. 507. Оп. 1. Д. 25. Л. 28–28 об.

[28] Gelb M. The Western Finnic Minorities and the Origins of the Stalinist Nationalities Deportations // Nationalities Papers. Vol. 24. № 2. 1996. P. 239.

[29] Suni L. Op. cit. S. 303.

[30] Иванов В. А. Указ. соч. С. 22.

[31] Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе. С. 170.

[32] ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 9. Д. 111. Л. 83.

[33] ЛОГАВ. Ф. р–407. Оп. 3. Д. 4. Л. 272.

[34] ЦГА СПб. Ф. 203. Оп. 2. Д. 40. Л. 60–61.

[35] Там же. Ф. 7179. Оп. 9. Д. 110. Л. 23.

[36] Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе. С. 406.

[37] Nevalainen P. Inkeriläiset exoduksessa 1900-luvulla // Dokumentteja Inkerinmaalta. Helsinki, 1990. S. 83-84.

[38] ГАРФ. Ф. 9479с. Оп. 1с. Д. 1. Л. 1.

[39] ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 9. Д. 111. Л. 83.

[40] Там же. Оп. 3. Д. 128. Л. 294–295.

[41] Известия. 1931, 2 февраля.

[42] ГАРФ. Ф. 9479с. Оп. 1с. Д. 3. Л. 2–3.

[43] РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 52. Л. 59.

[44] Ивницкий Н. А. Указ. соч. С. 193.

[45] Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London, 1961. P. 254.

[46] Kuortti A. Pappina, pakkotyössä, pakolaisena. Inkeriläisen papin kokemuksia

Neuvosto-Venäjällä. Porvoo–Helsinki, 1934. S. 98, 101, 120. Куортти сумел потом бежать из лагеря и добраться до Финляндии.

[47] ЛОГАВ. Ф. 507. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.

[48] Nygård T. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Helsinki, 1978. S. 172.

[49] Ibid. S. 174.

[50] Документы внешней политики СССР. Т. 14. М., 1968. С. 350.

[51] Там же. С. 327–330, 348–350.

[52] ЛОГАВ. Ф. 507. Оп. 1. Д. 25. Л. 28–28 об.

[53] Иванов В. А. Указ. соч. С. 52.

[54] Nevalainen P. Inkeriläiset ja Pietari // Suomi ja Pietari. Porvoo, 1995. S. 41.

[55] Такала И. Р. Национальные операции ОГПУ/НКВД в Карелии // В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо–Западе России в 1920–1950-е годы. Петрозаводск, 1998. С. 177–178.

[56] ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп.11. Д. 4. Л. 54; Fishman O. M., Juhnjova N. V., Konkova O. I., Shangina I. I., Zadneprovskaja A. J. Historical Ethnographic Composition of St. Petersburg and the Leningrad Region // Karelia and St. Petersburg. From Lakeland to European Metropolis. Joensuu, 1996. P. 89.

[57] Коллективизация сельского хозяйства в Северо–Западном районе. С. 337–338.

[58] Nevalainen P. Inkeriläiset exoduksessa 1900-luvulla. S. 82.

[59] Карху Э. Г. Малые народы в потоке истории. Исследования и воспоминания. Петрозаводск, 1999. С. 178.

[60] Там же. С. 185.

[61] Nevalainen P. Inkeriläiset exoduksessa 1900-luvulla. S. 75.

[62] РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 334. Л. 14–15.

[63] Подробнее см.: Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX–XX веке. СПб.; Кишинев, 2001. С. 231–235.

[64] Иванов В. А. Указ. соч. С. 149–150.

[65] Там же. С. 151.

[66] РГА СПИ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 681. Л. 1, 5–6.

ЛЕНИНГРАД ВОЕННЫЙ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ

В. М. Ковальчук

БОИ НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ ЛЕНИНГРАДА В 1941 г.

В результате упорной борьбы советских войск на лужском рубеже наступление немецких войск к 19 июля 1941 г. было остановлено почти на месяц. Это дало возможность советскому командованию принять ряд мер по укреплению обороны Ленинграда, что было чрезвычайно важно, так как уже 30 июля группа армий «Север» получила приказ Гитлера «продолжать наступление в направлении Ленинграда, нанося главный удар между озером Ильмень и Нарвой с целью окружить Ленинград и установить связь с финской армией».[1]

4 августа, находясь в штабе группы армий «Центр», Гитлер разъяснил, почему нужно разделаться с Ленинградом. «Для принятия решений о продолжении операции, — заявил он, — определяющим является задача лишить противника жизненно важных районов. Первой достижимой целью является Ленинград и русское побережье Балтийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется большое число промышленных предприятий, а в самом Ленинграде находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков, а также в связи с необходимостью устранения русского флота на Балтийском море».[2]

Имея на юго-западных подступах к Ленинграду превосходство в силах по пехоте и артиллерии в полтора раза, по танкам в два раза, немецкое командование перед наступлением перегруппировало свои силы и создало три ударные группировки — северную, лужскую и южную. Северную группировку составляли 41-й моторизованный и 38-й армейский корпуса 4-й танковой группы, лужскую — три дивизии 56 моторизованного корпуса 4-й танковой группы, южную — 28-й и 1-й армейские корпуса 16-й армии.[3]

Гитлеровское командование не сомневалось в успехе наступления. Гитлер, даже считая, что Ленинград будет взят к 20 августа, планировал передачу значительных сил группы армий «Север» в распоряжение группы армий «Центр».[4]

В августе бои под Ленинградом развернулись почти одновременно на всех направлениях. 31 июля в наступление на Карельском перешейке перешли финские войска. Оборонявшаяся здесь 23-я армия не могла сдержать превосходящие силы противника и была вынуждена отступать. Из-за неудовлетворительного управления отступление проходило неорганизованно, что привело к большим людским потерям и почти всей техники и оружия. Ввиду этого Военный совет СЗН принял решение об отводе войск 23 армии на рубеж Карельского укрепленного района, проходившего по линии государственной границы 1939 г.[5] К 1 сентября наступление финнов на этом рубеже было остановлено, и фронт здесь стабилизировался вплоть до лета 1944 г.

19 августа финские войска перешли в наступление и на свирско-петрозаводском направлении. Два месяца вела тяжелые бои оборонявшаяся здесь 7-я армия (командующий генерал Ф. Д. Гореленко, с 24 сентября генерал К. А. Мерецков). Однако финские войска, имея тройное превосходство в силах, к 10 сентября вышли к р. Свирь, а 2 октября захватили Петрозаводск.

8 августа с захваченных плацдармов на правом берегу р. Луги в 20–35 км юго-восточнее Кингисеппа перешли в наступление на красногвардейском направлении немецкие войска. Противник имел на этом участке пятнадцатикратное превосходство в танках, более чем полуторное в артиллерии и полное господство в воздухе.[6]

Оборонявшиеся здесь части, в том числе 2-я дивизия народного ополчения и 90-я стрелковая дивизия (командир генерал И. М. Любовцев), оказывали упорное сопротивление, переходили в контратаки, но сдержать натиск врага не смогли. Как доносил в Генеральный штаб начальник штаба Ленинградского фронта генерал Д. Н. Никишев, «трудность в создавшейся обстановке состоит в том, что ни командиры дивизий, ни командармы, ни командующий фронтом не имеют совершенно резервов. Всякий самый маленький прорыв затыкается наспех импровизированным подразделением или частью».[7]

13 августа противник захватил станцию Молосковицы и перерезал железную дорогу Ленинград–Кингисепп.

В связи с критическим положением на южных подступах к Ленинграду Военный совет СЗН 14 августа предложил Военному совету Северного фронта разработать план приведения в боевое состояние Красногвардейского укрепленного района. В приказе предусматривалось много разных мероприятий, в том числе мобилизация 120 тыс. человек на оборонительные работы в укрепленном районе и на берегу р. Невы, установка 100 станковых пулеметов, снятых с Карельского укрепленного района, отработка схемы артиллерийского и пулеметного огня по противнику, создания плана использования зенитной артиллерии и морских орудий для борьбы с танками.[8]

Меры важные и нужные. Но времени для их осуществления оставалось крайне мало. Слишком поздно был отдал приказ! Уже 16 августа был оставлен Кингисепп, а 19 августа начались бои на переднем рубеже красногвардейского укрепленного района. Однако прорвать здесь оборону советских войск с ходу противнику все же не удалось. Все его атаки были отражены.

Решающую роль здесь сыграла 1-я танковая дивизия под командованием генерала В. И. Баранова. Особенно отличился 1-й батальон тяжелых танков КВ (командир капитан И. Б. Шпиллер). Одна из рот этого батальона под командованием капитана З. Г. Колобанова в бою под Войсковицами 19 августа совершила подвиг, не имевший себе равных в истории. Действуя из засад, она уничтожила 43 танка противника. Из них 22 танка поджег экипаж танка командира роты. Командир орудия танка А. М. Усов был награжден орденом Ленина, а командир роты З. Г. Колобанов орденом Красного Знамени.[9]

10 августа немецкие войска начали наступление на лужском и новгородско-чудовском направлениях. Стойкая оборона советских войск не позволила противнику прорваться к Ленинграду через Лугу. Но на левом фланге Лужской оборонительной полосы, на новгородско-чудовском направлении немецкие войска, превосходившие почти в три раза сформированную 7 августа 48-ю армию (командующий генерал С. Д. Акимов) и имевшие полное господство в воздухе, 12 августа прорвались в район Шимска.

В этой трудной обстановке силам, оборонявшим Ленинград, была оказана помощь. По указанию Ставки Северо-Западный фронт нанес контрудар по противнику под Старой Руссой. Перешедшие в наступление 12 августа войска 34-й армии (командующий генерал К. М. Качанов)[10] и 11-й армии (командующий генерал В. И. Морозов) при

поддержке фронтовой и дальнебомбардировочной авиации к 14 августа продвинулись на 60 км и создали угрозу тылу группировки противника, наступавшей на Новгород. Это заставило командование группы армий «Север» перебросить в район Старой Руссы две моторизованные дивизии из-под Новгорода и Луги, 39-й моторизованный корпус со смоленского направления и сосредоточить здесь усилия 8-го авиационного корпуса. Ответный удар противника вынудил наши войска к 25 августа отойти на р. Ловать, при чем 34-я армия, отступавшая неорганизованно, понесла большие потери.

Но в боях под Старой Руссой немецко-фашистские войска также понесли большие потери. «Бои под Старой Руссой, — написано в истории 126-й пехотной дивизии 16-й армии, изданной в 1957 г. в ФРГ, — поставили немецкое командование перед задачами, которые два месяца назад показались бы фантастическими. В этих боях наступление, оборона и контрнаступление чередовались. Немецкая армия сражалась на пределе человеческих возможностей. Возник вопрос, хватит ли резервов, если такие бои повторятся? Немцы понесли тяжелые потери. Некоторые роты насчитывали приблизительно по 50 человек».[11]

Контрудар советских войск под Старой Руссой не только облегчил на некоторое время положение 48-й армии и войск Лужского участка, но и заставил гитлеровское командование откорректировать свои планы и на других участках советско-германского фронта. 15 августе ставка вермахта приказала приостановить дальнейшее наступление на Москву и группе армий «Север» перейти к обороне. В приказе указывалось, что лишь после того, как группа армий «Север» добьется успеха, то есть захватит Ленинград, «можно будет думать о возобновлении наступления на Москву». В связи с этим было приказано из танковой группы генерала Гота немедленно выделить и передать в подчинение группе армий «Север» возможно большее число подвижных соединений.[12]

Отражение контрудара советских войск позволило противнику продолжать наступление. 19 августа немецко-фашистские войска захватили Новгород, а 20 августа Чудово, перерезав главный ход Октябрьской железной дороги, связывавшей Ленинград с Москвой.

В борьбе с врагом в районе Новгорода особое упорство проявили воины 28 танковой дивизии под командованием полковника И. Д. Черняховского. Бессмертный подвиг совершил политрук одной из рот этой дивизии А. К. Панкратов. При штурме Кириллов-

ского монастыря он впервые в Великой Отечественной войне закрыл своим телом амбразуру пулеметной точки противника и дал возможность роте прорваться вперед. Мужественному воину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В связи с тем, что Ленинград оказался под непосредственной угрозой, Военный совет северо-западного направления 20 августа потребовал от воинов, защищавших город, драться с врагом за каждую пядь земли и преградить фашистам дорогу на Ленинград. 21 августа было опубликовано обращение «Ко всем трудящимся города Ленина» К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова и П. С. Попкова, в котором ленинградцы призывались встать «как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы».

Приказ и обращение встретили горячий отклик у защитников Ленинграда. На многочисленных митингах они заявляли о своей решимости отстоять город на Неве. Бодрость и уверенность в победе в сердца ленинградцев вселяли и приходившие со всех концов страны многочисленные письма советских людей с выражением братской любви и готовности оказать необходимую помощь. С особым энтузиазмом восприняли ленинградцы расклеенную в городе в сентябре песнь народного поэта Казахстана Джамбула «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя...».

Для улучшении управления войсками, защищавшими Ленинград, 23 августа Ставка Верховного Главнокомандования разделила Северный фронт на Карельский в составе 7-й и 14-й армий под командованием генерала В. А. Фролова, и Ленинградский в составе 23-й, 8-й и 48-й армий под командованием генерала М. М. Попова. Мера, несомненно, нужная, позволившая командованию Ленинградского фронта сконцентрировать усилия фронта только на решении задач обороны Ленинграда. Но проведена она была слишком поздно, почти через 1,5 месяца после начала битвы за Ленинград.

Был ликвидирован отрицательно сказывавшийся на руководстве обороной Ленинграда параллелизм, существовавший благодаря наличию в городе трех военных органов, осуществлявших это руководство, Два из них были упразднены. Главное командование северо-западным направлением решением ГКО от 29 августа было объединено с командованием Ленинградского фронта,[13] а в начале сентября ликвидировано совсем, 30 августа был упразднен Военный совет обороны Ленинграда, созданный 20 августа.

В конце августа в Ленинград прибыли уполномоченные Государственного Комитета обороны В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. Г. Кузнецов, А. Н. Косыгин, П. Ф. Жигарев для рассмотрения и решения совместно с ленинградским командованием «всех вопросов обороны Ленинграда и эвакуации предприятий и населения Ленинграда».[14]

Они рассмотрели вопросы усиления противовоздушной, противотанковой и артиллерийской обороны, утвердили на 10 дней план эвакуации некоторых предприятий и населения Ленинграда, приняли решение о создании в городе полуторамесячных запасов продовольствия.

31 августа Ставка утвердила предложения Военного совета Ленинградского фронта о превращении Слуцко-Колпинского сектора Красногвардейского укрепленного района в самостоятельный укрепленный район и о формировании 42-й и 55-й армий для прикрытия важнейших подступов к Ленинграду. В состав 42-й армии, которой командовал сначала генерал В. И. Щербаков, а затем Ф. С. Иванов, входили 2-я и 3-я гвардейские дивизии народного ополчения, 6-я бригада морской пехоты, 500-й стрелковый полк, Красногвардейский УР и другие части. В состав 55-й армии, которой командовал генерал И. Г. Лазарев, первоначально входили 70-я, 90-я, 168-я, 237-я стрелковые дивизии, 1-я и 4-я дивизии народного ополчения, 2-й стрелковый полк, Слуцко-Колпинский УР и др. соединения и части.[15]

Важной мерой являлось решение Ставки 23 августа и 2 сентября о развертывании восточнее Волхова 52-й резервной армии под командованием генерала Н. К. Клыкова и вновь формируемой на базе управления 44 стрелкового корпуса 54-й армии под командованием маршала Советского Союза Г. К. Кулика.[16] Войска этих армий прикрывали волховское направление.

Все эти мероприятия, несомненно, способствовали укреплению обороны Ленинграда, но сказались они несколько позже. В конце же августа обстановка под Ленинградом продолжала оставаться крайне тяжелой. 25 августа 9 немецких дивизий при поддержке авиации из района Чудово возобновили наступление на Ленинград. 48-я армия, в составе которой насчитывалось не более 10 тысяч человек, не смогла остановить противника и стала отступать. Направление на Тосно и Мгу осталось без прикрытия, что позволило немецким войскам уже 28 августа занять Тосно, находившееся в 50 км от Ленинграда .

Сдача Тосно вызвала беспокойство Ставки, и Сталин 29 августа направил в Ленинград телеграмму, в которой в резкой форме выра-

зил недовольство ленинградским командованием. Это недовольство было выражено уже тем, что телеграмма была адресована не Ворошилову, Жданову и Попову, а секретарю горкома Кузнецову для Молотова и Маленкова. «Только что сообщили, что Тосно взято противником, — говорилось в телеграмме. — Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди — ничего не пойму. В Ленинграде имеется теперь много танков КВ,[17] много авиации, эресы. Почему такие важные технические средства не действуют на участке Любань–Тосно? Что может сделать против немецких танков какой-то пехотный полк, выставленный командованием против немцев без этих технических средств? Почему богатая ленинградская техника не используется на этом решающем участке? Не кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает немцам дорогу на этом решающем участке? Что за человек Попов? Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленинграду? Я пишу об этом, так как очень встревожен непонятным для меня бездействием ленинградского командования <...>».[18]

29 августа немецкие войска вышли к Колпино, но здесь были остановлены частями 55-й армии и взявшими в руки оружие рабочими Ижорского завода. 2 сентября немцы заняли станцию Мга[19] и перерезали последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной, а 8 сентября захватили Шлиссельбург. Ленинград был полностью блокирован с суши, сообщение с ним теперь было возможно только через Ладожское озеро и по воздуху.[20]

Не удалось врагу захватить Шлиссельбургскую крепость — древний русский Орешек. Небольшой гарнизон острова почти 500 дней не только успешно оборонялся, но и наносил противнику немалый урон.

Стремясь к полному окружению Ленинграда, враг пытался в ночь на 9 сентября форсировать Неву и соединиться с финскими войсками на Карельском перешейке. Однако эта попытка была сорвана советскими войсками, развернутыми на правом берегу Невы, и кораблями Балтийского флота, стоявшими у Ивановских порогов.

Выход войск противника к Красногвардейску и к Колпину поставил в критическое положение части Лужского участка обороны. Они оказались в тылу немецких войск. Оставив Лугу 24 августа, войска участка, разделившись на отдельные группы, почти весь сентябрь с тяжелыми боями выходили из окружения.

Немецкое командование не сомневалось в быстром захвате Ленинграда. Еще 5 сентября Гитлер заявил, что под Ленинградом цель достигнута и «отныне район Ленинграда будет второстепенным театром военных действий», а 6 сентября он подписал директиву о подготовке генерального наступления на Москву, в которой командованию группы армий «Север» предлагалось окружить в районе Ленинграда действовавшие там советские войска и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» часть своих подвижных войск и авиационных соединений.[21] Уверенность фашистов в быстром захвате Ленинграда была так велика, что они даже собирались устроить банкет в гостинице «Астория», назначили коменданта города и отпечатали специальные пропуска на автомашины для въезда в Ленинград.[22]

Положение Ленинграда было действительно очень тяжелым, и даже на случай прорыва немцев в город были утверждены планы уничтожения кораблей Балтийского флота, торговых, промысловых и технических судов, разрушения ленинградского железнодорожного узла, вывода из строя важнейших промышленных и других военных объектов. А в октябре-ноябре 1941 г. была сформирована ленинградская нелегальная партийная организация (спецформирование), насчитывавшая 260 чел. Ее задачами являлись «организация и руководство народным мщением немецким оккупантам на основе широко развернутой и действенной политической работы в тылу врага».[23]

Однако гитлеровское командование просчиталось. Оно переоценило свои возможности. Командование Ленинградского фронта приняло ряд срочных мер по защите города. В частности, 3 сентября было принято постановление о форсированном строительстве оборонительной полосы внутренней зоны обороны с передним краем — Финский залив, поселок № 3, ст. Предпортовая, окружная железная дорога, село Рыбацкое, Уткина Заводь, Сосновка, Коммуна, Кудрово, Заневка, ст. Ржевская, Новые Ручьи, пригород Коломяги, Новая Деревня, Старая Деревня, Финский залив.[24]

В начале сентября немецко-фашистские войска, растянувшиеся на южных и юго-восточных подступах к Ленинграду на 400 км, уже не могли наступать по всему фронту. Но, решив захватить Ленинград штурмом, немецко-фашистское командование предприняло наступление на узком участке от Ропши до Колпино силами 9-ти пехотных и 2-х танковых дивизий.

Для противодействия противнику советское командование имело, включая резерв командующего фронтом, 12 стрелковых дивизий и одну бригады морской пехоты. И хотя по дивизиям соотношение было примерно равным, превосходство было на стороне противника, так как укомплектованность его дивизий была выше укомплектованности советских дивизий. Кроме того, господство в воздухе находилось на стороне немецкой авиации. Это дало возможность противнику, перешедшему 9 сентября в наступление на Красногвардейск, прорвать оборону советских войск. 11 сентября он захватил Дудергоф — важную командную позицию на подступах к Ленинграду, а 12 сентября — Красное Село.

В этот критический момент, 13 сентября, в командование войсками Ленинградского фронта вступил генерал армии Г. К. Жуков, назначенный Ставкой вместо К. Е. Ворошилова 11 сентября. Начальником штаба фронта был назначен генерал М. С. Хозин.[25]

Но посылая Г. К. Жукова в Ленинград, Сталин не верил в возможность отстоять город. Как потом Г. К. Жуков рассказывал К. Симонову, в разговоре, состоявшемся перед его назначением, Сталин «положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово “безнадежное”. Он говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным». Но в то же время он сказал Жукову: «Вашей задачей является не допустить врага в Ленинград, чего бы это вам не стоило».[26]

Жуков по приезде в Ленинград принял ряд мер по восстановлению нарушенного управления войсками, по концентрации усилий на наиболее опасных направлениях. Было, в частности, решено: снять с ПВО города часть зенитных орудий и поставить их на самые опасные участки; на всех уязвимых направлениях приступить к созданию глубокоэшелонированной инженерной обороны, обратив особое внимание на район Пулковских высот; для усиления обороны на рубеже Пулковские высоты — Урицк перебросить в 42-ю ар-

мию часть сил с Карельского перешейка и сосредоточить здесь огонь всей корабельной артиллерии Балтийского флота; начать формирование 5–6 отдельных стрелковых бригад за счет моряков Балтийского флота и учебных заведений Ленинграда.[27]

Но обстановка продолжала обостряться, враг рвался к городу. 13 сентября части 42-й армии отошли на Пулковский оборонительный рубеж, который в это время имел только земляные противотанковые препятствия, отдельные огневые точки и небольшое количество минных полей. 16 сентября противник прорвался к Финскому заливу между Стрельной и Урицком, что привело к образованию Приморского (Ораниенбаумского) плацдарма, так как части 8-й армии были отрезаны от основных сил Ленинградского фронта. 17 сентября враг захватил Слуцк (Павловск) и вклинился в центр г. Пушкина.

«17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения, — вспоминал Г. К. Жуков. — В этот день шесть дивизий противника при поддержке крупных сил авиации группы армий “Север” предприняли новую попытку прорваться к Ленинграду с юга. Защитники города стойко отстаивали буквально каждый метр, непрерывно контратакуя врага. Артиллерия фронта и Балтийского флота вела интенсивный огонь по наступавшим частям противника, авиация фронта и флота своевременно оказывала всемерную поддержку оборонявшимся частям.

Оценив ситуацию как исключительно опасную, Военный совет фронта 17 сентября направил Военным советам 42-й и 55-й армий предельной строгости приказ».[28] В приказе говорилось: «Учитывая особо важное значение в обороне южной части Ленинграда рубежа Лигово, Кискино, Верх. Койрово, Пулковских высот, района Московская Славянка, Шушары, Колпино, Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу».[29]

Суровость обстановки заставила применить приказ. Точных сведений как он выполнялся, нет, но за пять месяцев войны за дезертирство с поля боя особые органы НКВД фронта во внесудебном порядке расстреляли 1192 военнослужащих.[30] Советские воины, проявив массовый героизм, остановили фашистов.

В этих боях особенно отличились воины 21-й стрелковой дивизии НКВД (командир полковник М. Д. Папченко), 6-й бригады морской пехоты (командир полковник Ф. С. Петров) и 7-го истребительного авиационного корпуса (командир полковник С. П. Данилов), стойко отражавшие наступление врага через Лигово на Ленинград. Самоотверженно действовали артиллеристы 42-й армии (командующий артиллерии полковник М. С. Михалкин). Они громили наступавшего противника прямой наводкой, выдвигая на открытые огневые позиции целые дивизионы, а иногда и артиллерийские полки. Например, на участке Лигово — Пулково на прямую наводку было выставлено более 500 орудий.[31]

Для поддержки сухопутных войск в сентябрьских боях использовалась и вся наличная артиллерия Балтийского флота — корабельная и береговая — всего 472 орудия калибра 100 мм и выше (начальник артиллерии флота контрадмирал И. И. Грен). Кроме того Балтийский флот для боевых действий на суше выделил в 1941 г. почти 84 тыс. моряков, большинство которых действовало под Ленинградом.[32]

Авиация северо-западного направления (командующий генерал А. А. Новиков) в сентябре в интересах сухопутных войск совершила более 170 тыс. самолетовылетов, а с 28 июля по 22 сентября только для ударов по аэродромам врага произвела 1760 самолетовылетов, уничтожив и повредив до 500 немецких самолетов.[33]

Важную роль в отражении наступления фашистов сыграл контрудар 8-й армии 19 сентября в направлении Красного Села. Он заставил немцев перегруппировать часть сил с опасного для советских войск направления Урицк — Ленинград.

Вспоминая потом сентябрьские бои за Ленинград, Г. К. Жуков писал: «У нас бывали весьма тяжелые моменты, в особенности когда враг захватил Пулковские высоты и Урицк, а отдельные группы танков противника прорывались даже к Мясокомбинату. Казалось, вот-вот случится то, чего каждый из нас внутренне боялся. Но героические защитники города и в этих труднейших условиях находили в себе силы, снова и снова отбрасывали разъяренного противника на исходные позиции».[34]

23 сентября начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «В районе Ладожского озера войска продвинулись незначительно и, по-видимому, понесли большие потери. Для обороны сил тут вполне достаточно,

но для решительного разгрома противника их, вероятно, не хватит. Но у нас нет большего».[35] Именно поэтому штаб группы армий «Север» был вынужден 25 сентября сообщить Главному командованию сухопутных войск, что с оставшимися в его распоряжении силами он не в состоянии продолжать наступление на Ленинград.[36]

Впервые в истории второй мировой войны была окончательно остановлена крупная группировка немецко-фашистских войск. Группа армий «Север», дошедшая до стен Ленинграда, была вынуждена не только окопаться и перейти к обороне, но и полностью была лишена возможности вести в дальнейшем успешные наступательные действия. «Ленинград, — говорил Г. К. Жуков, — оказался первым стратегическим объектом на пути вермахта, который он не смог взять».[37] Это было первое крупное поражение вермахта во второй мировой войне.

Существенную помощь войскам Красной Армии в борьбе с гитлеровцами на ленинградском направлении оказали партизаны и подпольщики, действовавшие на оккупированной врагом территории Ленинградской области. Они вели разведку противника, уничтожали его живую силу и базы снабжения, нарушали связь и коммуникации немецких войск. В период боев на дальних подступах решающую роль сыграли партизанские формирования, и особенно партизанские полки, созданные в Ленинграде и переброшенные в тыл врага.

Важную роль в борьбе советских войск на ленинградском направлении сыграла также оборона Таллинна. Защитники эстонской столицы отвлекли на себя 4 германских дивизии, чем облегчили борьбу на подступах к Ленинграду. Героический переход кораблей из Таллинна в Кронштадт, в результате которого была эвакуирована половина таллиннского гарнизона и сохранено боевое ядро Балтийского флота, также имел большое значение для борьбы за Ленинград.

---

[1] Совершенно секретно! Только для командования! М., 1967. С. 269.

[2] Там же. С. 304.

[3] *Барбашин И. П., Кузнецов А. И., Морозов В. П., Харитонов Н. Д., Яковлев В. Н.* Битва за Ленинград. 1941–1944. М., 1964. С. 47.

[4] Совершенно секретно!.. С. 304.

[5] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 220. Л. 150–152.

[6] История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М., 1988. С. 186.

[7] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 220. Л. 258–267.

[8] Там же. Л. 278–280.

[9] Комсомольская правда. 1972, 9 мая; Танкисты в сражениях за Ленинград. Воспоминания. Очерки. Документы. Л., 1967. С. 62–68.

[10] 34-я армия 6 августа была передана Северо-Западному фронту из Резервного фронта.

[11] Lohse Geschichte des Rheinische–Westfälischen 126 infanterie Division 1940–1945 / Bad Munheim. 1957. S. 30.

[12] Совершенно секретно!.. С. 274–275.

[13] Главнокомандующим Северо-западным направлением и командующим Ленинградским фронтом был назначен К. Е. Ворошилов, начальником штаба — М. М. Попов (ЦАМО РФ. Ф. 2I7. Оп. 1227. Д. 25. Л. 269).

[14] Известия ЦК КПСС. 1990. *№* 9. С. 209.

[15] *Барбашин И. П. и др.* Битва за Ленинград. С. 63; Советская военная энциклопедия. Т. 6. М., 1978. С. 654, 655; Т. 7. М., 1979. С. 448.

[16] ЦАМО РФ. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 30. Л. 22, 23; Там же. Ф. 48–А. Оп. 1554. Д. 90. Л. 155—157.

[17] На Ленинградском фронте в это время имелось 240 танков, в том числе 12 КВ (ЦАМО РФ. Ф. 249. Оп. 544. Д. 112. Л. 93–96).

[18] Известия ЦК КПСС. 1990, № 9. С. 213

[19] В литературе приводятся разные даты падения Мги. Первый раз немецкие войска заняли Мгу 30 августа 1941 г. Но 1 сентября 1-я дивизия НКВД совместно с ОГСБр после упорного боя выбила немцев из Мги. Однако утром 2 сентября 1941 г. противник снова овладел Мгой (ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 220. Л. 354–356, 359–361).

[20] Правда, факт блокады Ленинграда не сразу стал достоянием советских людей. Даже 12 сентября на очередной пресс-конференции для иностранных журналистов С. А. Лозовский заявил, что «утверждение немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением» (Ленинградская правда 1941, 13 сентября).

[21] *Гальдер Ф.* Военный дневник. Т. 3. Кн. I. М., 1971. С. 328; Совершенно секретно!.. С. 328.

[22] Пропагандист. 1944, № 19–20. С. 31; Государственный музей истории С.-Петербурга. Экспозиция.

[23] Очерки истории Ленинграда. Т. 5. Л., 1963. С. 155; Ленинград в осаде. С. 113–114.

[24] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 34419. Д. 1. Л. 19–22.

[25] Там же. Ф. 132. Оп. 2642. Д. 30. Л. 35; Ф. 217. Оп. 1221. Д. 220. Л. 378. Г. К. Жуков в своих воспоминаниях пишет, что он, руководствуясь личной запиской Сталина, без объявления официального приказа, вступил в командование Ленинградским фронтом к исходу 10 сентября. Но это вызывает сомнение, так как приказы по фронту до 13 сентября подписывал К. Е. Ворошилов.

[26] Военно-исторический журнал. 1987, № 9. С. 30; Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. 1985. С. 87.

[27] *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. Т. 2. М., 1995. С. 171.

[28] Там же. С. 186.

[29] Военно-исторический журнал. 1988. № II. С. 95.

[30] *Иванов В. А.* Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20–40-х гг. (На материалах Северо–Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 248.

[31] *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. Т. 2. С. 186.

[32] Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1968. С. 215; *Камалов Х. Х.* Морская пехота в боях за Родину. (1941–1945). М., 1983. С. 48.

[33] Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941–1945. С. 48–49.

[34] *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. Т. 2. С. 189–190.

[35] *Гальдер Ф.* Военный дневник. Т. 3. Кн. I. С. 371.

[36] *Гудериан Г.* Воспоминания солдата. М., 1954. С. 215.

[37] Труд. 1971, 1 октября.

А. Р. Дзенискевич

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ЛЕНИНГРАДСКИХ ПСИХИАТРОВ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Очевидно, никто не станет спорить, что проблемы голода, смертности и заболеваемости являются важнейшими при изучении блокады Ленинграда в годы войны. И, тем не менее, проблема заболеваемости остается до сих пор мало известной даже специалистам по истории обороны Ленинграда. Конечно, каждый из нас имеет определенное представление об алиментарной дистрофии, значительно меньше о развитии других заболеваний в условиях длительного голода. Но есть болезни, о которых известно особенно мало. К их числу относятся психические заболевания. Между тем, именно в этой области кроются ответы на ряд вопросов, которые интересуют историков в настоящее время. Поэтому будут целесообразно, хотя бы коротко, рассказать о материалах, хранящихся в архивах.

Интересные наблюдения в период блокады и сразу после нее сделаны рядом ленинградских психиатров, работы которых отложились в фонде Государственного научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. Январем 1943 г. датирована рукопись Б. Е. Максимова «Некоторые наблюдения над течением депрессивных состояний в условиях осажденного города». Автор с мая по декабрь 1942 г. включительно наблюдал за больными в депрессивном состоянии, так как считал, что «состояния эти по своему содержанию и симптоматике в наибольшей мере соответствуют характеру вероятных психических реакций на создавшуюся в Ленинграде обстановку», а также из-за возможности этой группы «диффе-

ренцировать материал на основные деления по признаку генезиса заболевания: эндо- и экзогении и органические психозы».[1]

Психотравматизирующие факторы (которые Максимов называл «вредностями») он свел в семь основных групп:

1. Окружение города противником и прекращение нормальных связей со страной.

2. Чрезмерная близость врага от города, что усиливало ощущение непосредственной военной опасности.

3. Быстрота, с которой огромный город без всякой психологической подготовки оказался в блокаде. Огромный мирный город с высокоразвитой муниципальной культурой и сооружениями, многообразными историческими, художественными и научными ценностями в «почти неуловимо короткое время» превратился в город-фронт, что было совершенно чуждо сугубо мирной психологии большинства городского населения.

4. В этих условиях особенно тяжело действовали на людей неожиданно начавшиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы, сопровождавшиеся истреблением и «изуродованием» мирных горожан и детей.

5. Быстрый выход из строя культурно-просветительных и коммунально-бытовых учреждений, в течение десятилетий нормально обслуживавших население.

6. Разнообразные провокационные слухи, распускаемые диверсантами и шпионами, рассчитанные на создание панических настроений.

7. Исключительные по тяжести переживания, связанные с хроническим недоеданием, массовым вымиранием населения, незабываемые в их трагической насыщенности картины неубранных на улицах трупов, штабеля их в моргах, мумиеобразные тела покойников, влекомых на саночках шатающимися от слабости людьми.

Только эти — самые основные, общие воздействия на психику и нервную систему населения (в ряде случаев сложные комбинации указанных факторов) должны были привести к исключительно тяжелым последствиям, к массовой психотравматизации населения города и, соответственно, к массовым психическим заболеваниям среди населения.

Но этого не произошло, так как перечисленным отрицательным факторам противодействовали положительные силы и эмоции. Ав-

тор статьи указывает три группы факторов противодействия. Особенно интересна и актуальна в современных условиях первая из названных им «сила противодействия». Главную ее часть стоит привести полностью: «1. Чрезвычайные, стихийного порядка, бедствия и испытания, выпавшие на долю большого общественного объединения человеческого коллектива, если они по сути своей и социальной природе несправедливы, способны вызвать к действию в сознании человека такие механизмы и контрсилы, которые не только с успехом выстаивают против этих “вредностей”, но и вырабатывают с течением времени особую устойчивость, эндемически иммунизирующую целые общественные группы и коллективы».[2]

Как видим, в данном случае Б. Е. Максимов выступает не только как врач-психиатр, но как психолог и философ. Он справедливо считал, что именно уверенность людей в своей правоте порождала «пафос героики, несокрушимый энтузиазм, рожденный из глубокого и искреннего убеждения каждого ленинградца в [неизбежности] конечной победы, грядущем и уже близком торжестве идей и истин международной справедливости». Он высказал предположение, что зимой 1941/42 гг. уехали или погибли от голода психологически более слабые, неустойчивые. В результате такого своеобразного «отсева» к середине 1942 г. в Ленинграде остались «наиболее убежденные» в своей правоте люди, а потому и наиболее твердые в противостоянии тем вредностям, которыми была насыщена обстановка осажденного города. Первый тезис автора завершается окончательно сформулированным выводом: «Такое состояние духа, которое характеризуется верой в справедливость и конечное торжество ведущей идеи, — есть фактор огромного психофизического содержания и значения, способный поддерживать в состоянии высокого тонуса и жизнедеятельности всю нервно-психическую организацию как отдельного человека, так и целого общественного коллектива».[3]

2. Ко второй группе положительных факторов Б. Е. Максимов относит единство интересов людей различных национальностей. Он считает, что отдельные национальные особенности и слабости характеров сглаживаются, нивелируются и укрепляются в многонациональном объединении, сцементированном единой жизненно важной целью. Поэтому «стоящие плечом к плечу на <...> обороне Ленинграда украинец, таджик, великоросс, бурят, грузин, казах и ар-

мянин, — представляют из себя действительно стальную когорту, способную противостоять вражескому натиску любой силы».[4]

Б. Е. Максимов проанализировал 95 историй болезни в двух больницах (им. Скворцова-Степанова и 2-й Психиатрической). 9,5 % из них завершились смертельным исходом, 59 % оказались излечимыми.[5] Такой высокий процент благоприятного исхода объясняется тем, что в условиях блокады города нормальная система госпитализации душевнобольных была нарушена, прекратил работу психоприемник, в фильтре которого с 1938 г. оставалась вся группа быстро разрешающихся психотических реакций и вспышек. В значительной мере оказался парализованным и фильтр Скорой психиатрической и внебольничной помощи. Поток всех больных, которые ранее не доходили до больниц, теперь сразу попадал в психиатрические стационары, существенно изменив в них состав больных.

Этим автор и объясняет тот факт, что наблюдавшиеся случаи депрессивных состояний дали сравнительно высокий процент доброкачественных исходов. Число смертельных случаев в отделении больницы им. Скворцова-Степанова, где велись наблюдения, Максимов считает относительно незначительным, так как в целом по больнице оно было больше. Многие больные поступали в январе–феврале в тяжелейшем состоянии полного физического истощения и погибали в первые дни пребывания в больнице. В целом за 1942 г. смертность в больнице по докладу врача Лукиной составляла до 50 %.[6]

Что касается вопроса общего числа депрессивных состояний, то автор писал, что нет достаточных оснований считать, что «число депрессивных состояний в этиологии или патогенезе которых имели место реактивные моменты, в условиях блокады города значительно увеличилось».[7] Ниже он оговаривается, что не может судить об общей картине психических заболеваний, так как для этого нет необходимой общегородской статистики, но все же считает, что «блокада увеличила число и главное остроту психических заболеваний».[8]

Интересна систематизация Б. Е. Максимовым рассмотренных им случаев по причинам болезни. Первое место среди них занимали психозы, вызванные нарушением глубокого обмена — 48 %;

II. психогения — 30 %;

III. маниакально-депрессивный психоз — 6 %;

IV. инволюционные психозы — 4 %;

V. психозы при склерозе мозговых сосудов — 3 %;

VI–VII. интоксикации и инфекционные психозы — по 2 %;

VIII. сифилис мозга — 1 %.

Как видим, подавляющее большинство психических заболеваний возникало на основе специфических блокадных условий.

Изучая больных с точки зрения «тематической связи» их высказываний и поведения с условиями голодной блокады, автор рукописи констатирует наличие этой связи в 62 % случаев, в 38 % случаев установить ее не удалось.[9] Тематическая связанность достаточно часто сказывалась и в мучительных для больных воспоминаниях о судьбе семьи, близких, потере имущества, жилья, о перенесенных воздушных бомбардировках и артиллерийских обстрелах и т. п. Однако чувство страха, по впечатлению Б. Е. Максимова, «не играло в высказываниях больных и в их представлениях о грядущих событиях доминирующей роли».[10]

Автор работы разделил обследованных больных по характеру их беспокойства и агрессивности на шесть групп. Первые пять групп включили в себя больных с разной степенью суицидных (1–3 группы — 48 %) и гомоцидных (4–5 группы — 15 %) наклонностей. В шестую группу вошли «социально беспомощные» (37 %).[11] Опыт 1920–1922 гг. показал, что голод резко снижает явления психомоторного возбуждения. Поэтому автор приходит к выводу, что в условиях блокады Ленинграда голод не был главной причиной психической возбужденности больных. Он считал, что характер и степень внутренней тревоги и напряжения больных так велики, что именно они «в значительном числе случаев приводят к высшим аффективным разрядкам по типу беспокойства и агрессивности.[12] Все эти факты, подсчеты и рассуждения, судя по всему, важны для Б. Е. Максимова, так как служат ему аргументами в дискуссии с какими-то неназванными оппонентами, видевшими в поведении ленинградцев «синдром эмоционального паралича», «апатичного расслабления» и «отупения бойцов». В конце статьи автор ее доказывает, что ослабления реактивной способности нервной системы в массе населения Ленинграда не было. Защитники города и его население терпеливо переносили трудности, мужественно и упорно боролись с врагом за свой город.

Шире берет проблему профессор В. Н. Мясищев. В работе «Психические нарушения при алиментарной дистрофии в условиях блокады»[13] он сделал попытку в более обобщенной форме установить связь между алиментарным истощением и психическими расстрой-

ствами голодающих. С первых же строк он оговаривается, что психические расстройства, возникающие вследствие голода и алиментарного истощения, усиливаются и «приобретают особенную значимость и яркую форму в условиях военного времени». Он считает статистически обоснованным, доказанным, что число заболевших психическими расстройствами на почве голода крайне незначительно к общему числу истощенных людей, но без выраженных нарушений психического характера.[14] Общий характер изменяющихся условий осады влияет на заболеваемость и «<...> картина психических нарушений, связанных с истощением в процессе блокады, [так же] меняется». «Поэтому не только с патолого-анатомической и терапевтической, но и с психической позиции можно установить известные стадии в возникновении и течении заболеваний».[15]

По его наблюдениям, в начале блокады несколько возросло число реактивных состояний; с октября 1941 г. появляются астенические состояния с вялостью или раздражительностью, которые «представляли как бы сочетание фактов психического напряжения и недостатка питания». С января 1942 г. нарастает количественно «психоз истощения», а с весны обнаруживаются и присоединяются к истощению поли-гиповитаминозы. С начала лета начинаются случаи острых отравлений дикорастущими травами, кореньями, грибами и т. п.

К концу лета 1942 г. внешние соматические симптомы истощения утрачивают массовый характер, но психические нарушения дистрофического характера еще выражены. Затем «психозы истощения» идут на спад, но психозы, вызванные авитаминозами, особенно пелагрой, продолжают занимать заметное место. С конца 1943 г. у населения обнаруживается массовая гипертония и чрезмерная полнота, особенно у женщин, как фаза восстановления после дистрофии. Гипертония и связанные с нею психические расстройства встречаются и в 1944 г. Именно в 1944 г. обнаруживаются своеобразные психические расстройства, которые автор определяет как последствия блокады.[16] Динамику психических заболеваний блокадного периода в ее зависимости от событий, относительной роли отдельных факторов, сезонных колебаний и связанных с ними изменений питания и витаминного баланса В. Н. Мясищев подтверждает таблицей поквартальных поступлений больных в ленинградские психиатрические больницы в 1942–1944 гг.

Считая, что соматическая картина клиники алиментарной дистрофии уже достаточно подробно описана, автор сразу переходит к установлению связи между истощением и психическими заболеваниями: «Нарушение обмена и состояния деятельности эндокринных органов связаны с поражением нервной системы, вначале имеющим динамический, а в дальнейшем приобретающим органический характер».[17] Динамику заболеваний В. Н. Мясищев делит на несколько стадий, которые рассматривает подробно. Он приходит к выводу, что связь между физическим истощением организма и психическими расстройствами может быть различной. Наиболее очевидны около шести причин: 1. недоедание, голод; 2. психические травмы; 3. нарушение сна, чрезмерное мышечное перенапряжение (ходьба, производство); 4. температурный фактор (холод); 5. военные, производственные и бытовые травмы; 6. санитарно-гигиенические условия жизни (инфекции).[18] Все они так или иначе влияют на состояние организма. «Резкое изменение органов, особенно желудочно-кишечного тракта, печени, сердца, желез внутренней секреции — половых, поджелудочной, щитовидной, надпочечников и пр. — является источником ненормальной деятельности и морфологических изменений мозга».[19]

Но прямой связи между степенью алиментарного истощения и психическими заболеваниями нет. «Не степень истощения, а какие-то качественные особенности физико-химической и биохимической среды организма и реакции на них мозга сопровождаются психическими нарушениями. Гистопатологических особенностей, отличающих психическую группу, пока не удалось установить».[20] Поэтому В. Н. Мясищев делает вывод общего характера: «<...> психические расстройства при истощении по своей патологической природе представляют своеобразные состояния реакции измененного дистрофической энцефалопатией мозга на множественные биологические вредности, воздействующие на организм, на жизненные потрясения и трудности, возникающие перед человеком».[21]

По наблюдениям автора статьи, короткие периоды голодания проходят без каких-либо последствий, затяжные — дают более сложные прогнозы. Дольше всего остаются астенические состояния, недостаточность памяти и расстройство чувствительности. «Рецидивирующие декомпенсации представляют поздние следствия истощения и гиповитаминоза».[22]

Для лечения этих форм психических заболеваний В. Н. Мясищев рекомендовал прежде всего ликвидацию истощения и его последствий. При этом он отмечал, что большую роль в преодолении болезни играет психическая активность и «посильно деятельное состояние». «Опыт блокады показал, — пишет он, — подобно замерзающим или отравленным морфием лица, поддавшиеся влечению к покою, гибли». Поэтому «в режиме помимо общих мероприятий, важно предусмотреть необходимость настойчивой активизации больного и обязательного включения по мере восстановления его сил в работу, от которой и он стремится, и его часто склонны освобождать по мотивам истощения».[23] Признает он и благотворное действие лечебной физкультуры, применяемой в обще-соматическом плане. Но оговаривает необходимость профилактики, которую видит в дифференцированном подходе к больным. Вялых следует стимулировать, а легко возбудимых ограничивать, избегая лишних затрат физической энергии, обеспечивая им отдых, но «не бездеятельность».

Следует отметить, что в данном случае вывод врача-профессионала полностью совпадает с бытовым опытом блокадников, в воспоминаниях которых мы постоянно находим указанное наблюдение — те, кто опускался, кто переставал бороться, гибли в первую очередь.

По близкому кругу вопросов, но на других материалах, подготовила свой доклад врач Тупицына (инициалы не указаны) «Динамика психозов за период блокады Ленинграда» (1943 г.). Она вела свои наблюдения в одном из отделений больницы им. Белинского с осени 1941 до начала 1943 г. Тупицына ознакомилась с материалами 651 истории болезней людей, страдавших помимо психоза «соматическим истощением». В 241 случае в анамнезе не было никакого патологического наследственного или приобретенного отягощения ни психического, ни физического. Этот материал и был проанализирован с целью найти ответы на три основных вопроса:

1. Имеем ли мы в условиях войны и блокады те же формы психозов, что и в мирное время?

2. Как отразился голод и алиментарное истощение на клинической картине психозов?

3. Какие вообще формы психозов мы наблюдаем в нашем отделении больницы?

Далее в докладе дается динамика психических заболеваний, периоды которой близки к тому, что описано в статье В. Н. Мясищева,

но автор доклада считает, что «динамика душевной заболеваемости за взятый период поражает своим своеобразием и волнообразным течением психо-дистрофических расстройств».[24]

Не будем подробно излагать авторскую периодизацию заболеваний блокадного времени, но отметим наблюдения врача Тупицыной: «С ноября 1841 г., когда питание населения резко снизилось, изменился клинический вид психозов и поведение больных как уже находившихся <...> в больнице, так и вновь поступивших: исчезают большие эндогенные психозы, а больные, страдавшие таковыми, умирают, и поступлений с этими психозами в больницу, как вновь заболевших, мы не видим и не наблюдаем».[25] Клиническая картина заболеваний не укладывалась в общепризнанные формы психозов, что вынуждало врачей предполагать и искать специфический психоз, вызванный алиментарной дистрофией. Одновременно бросалась в глаза однотипность форм душевных расстройств, что нашло свое отражение в диагнозах на титульных листах историй болезней. Разные лечащие врачи пишут: «психоз истощения», «дистрофический психоз», «психическая вспышка на почве дистрофии, <...> на почве истощения» и т. п. Общепринятого термина еще нет, но медики уже нащупывают общую причину заболевания. Эти наблюдения интересны и в чем-то существенно дополняют соответствующие рассуждения Б. Е. Максимова и В. Н. Мясищева.

Подробно описав шесть указанных форм дистрофических психозов, доктор Тупицына подводит общий итог. «Имея 241 случай больных психозами, — пишет она, — в этиологии которых с несомненностью отмечается алиментарное истощение, приведшее к дистрофии с последующими психическими реакциями, мы видим на первый взгляд разнообразную, в смысле синдромов, клиническую картину, которая при более глубоком анализе позволяет все же находить сходные черты, объединяющие все эти психозы в одну патологическую сущность».[26]

Врач считала, что картина психических заболеваний по сравнению с мирным временем претерпела значительные изменения, выразившиеся в пяти основных положениях:

1. Большие эндогенные психозы сошли на нет и стали редки.

2. Возникновение различного клинического вида психозов шло волнами, в зависимости от изменений социально-бытовой и военной обстановки.

3. Синдромы психозов были разнообразны, но в наблюдаемых случаях, преобладает аментивный синдром.

4. Все психозы с различными синдромами имели между собой кое-что общее, а именно — синдромы так называемой психической слабости, то есть неустойчивость эмоциональной сферы при известном ограничении интеллекта, сопровождающаяся в тяжелых случаях органической микросимптоматикой.

5. Появление, в основном, психозов на почве истощения, которые можно назвать дистрофическим психозами или «психозами алиментарного истощения».[27]

Более узкую тему исследования избрали сотрудницы отделения психоневрозов и пограничных состояний Института им. В. М. Бехтерева Е. К. Яковлева и Н. В. Опарина. В результате наблюдения в период голода 100 больных алиментарной дистрофией (II и III степени) своего отделения они в 1950 г. подготовили доклад «Изменение личности при алиментарной дистрофии».[28] Их общие наблюдения не дают ничего нового по сравнению с тем, что уже было написано о голоде в Порт-Артуре (1904 г.), Перемышле (1915 г.), что записано в дневниках исследователей Арктики и Антарктики (Р. Э. Пири, Р. Ф. Скотт). Тем не менее, приводимые ими примеры изменения личности под действием алиментарной дистрофии представляют определенный интерес для изучающих историю блокады Ленинграда. Приведем некоторые из их примеров.

Прошедшая курс лечения женщина (бухгалтер по профессии) писала о себе: «сообразительность у меня стала заметно снижаться, я стала плохо понимать прочитанное, так как мешали мысли об еде. Трудоспособность резко падала, потому что я стала апатичная, безразличная. Будучи раньше живой и общительной, я стала какой-то вялой, замкнутой, неуклюжей. С нарастанием истощения я становилась все хуже, совсем перестала обращать на себя внимание, стала какая-то неряшливая, опустившаяся и всем казалась странной и, видимо, противной».[29]

Еще более драматично звучит признание 20-летнего больного А., попавшего в отделение с тяжелой формой депрессии: «Я очень любил своего отца, но во время истощения я становился все более безразличным. Тяжелая болезнь, а затем смерть отца не привлекли моего внимания, я не страдал от этого, и когда мать сказала мне о смерти отца, я отвернулся к стене. Так она и похоронила его без меня».[30]

Интересны наблюдения Е. К. Яковлевой и Н. В. Опариной, подтверждающие значение воспитания в человеке нравственных качеств. Так, больная из хорошей семьи, где в детях с малолетства воспитывали честность и порядочность, моральную чистоту, стремление к самосовершенствованию, «и в условиях жестокого проявления инстинкта самосохранения, когда выступила на сцену угроза жизни — эти установки оказались действенными, и ее самозащитные реакции пошли по линии законных требований; раздражительность больной, как видно, и выявлялась только тогда, когда, как ей казалось, попирались ее законные требования».[31] Благодаря ее моральной стойкости, ее удалось довольно быстро вылечить, и уже с небольшим улучшением здоровья она вернулась на работу.

Более очевидно, со своеобразной индивидуальной окраской, изменение личности и поведения в условиях дистрофии проявлялось у больных с невропатическими, психостеническими и другими чертами в прошлом. Яковлева и Опарина наблюдали ряд больных, у которых в период голода ярко обнажались преморбидные эгоистические тенденции их характера и жизненных установок. Особенно сказывалось в этом случае воспитание, заложенное еще в детском возрасте. Больной Г., тридцати лет, инженер, попал в больницу в состоянии дистрофии. Единственный ребенок в семье, избалованный матерью, он привык ни в чем себе не отказывать. В период голода брал последний кусок у жены и своего ребенка, продавал вещи, чтобы купить еду себе одному. Попав в больницу, Г. таскал масло, хлеб, папиросы у соседей по палате. В кражах сознавался, каялся, но удержаться от кражи не мог и даже не мог обещать не делать этого. «Аморальное поведение этого типа больных, — пишут авторы, — шло по типу простого снижения личности, а наступало благодаря снятию непрочно привитых положительных установок в индивидуальном воспитании».[32]

Все изменения личности, наблюдавшиеся Е. К. Яковлевой и Н. В. Опариной, носили динамический, нестойкий характер и проходили с улучшением соматического состояния. Более устойчивыми были характерологические изменения у больных с невропатическими чертами в прошлом, эгоистическими склонностями, воспитанными с детских лет. Но и их психопатологические особенности становились менее заметными или пропадали, когда больные возвращались к обычному труду.

Общие выводы авторов статьи сводились к четырем положениям:

1. Астено-апато-абулический синдром у больных, переживших алиментарное истощение, наблюдался в 58 % случаев. Больные этой группы были вялы, молчаливы, безразличны. Пассивность их проявлялась и в переживании голода. При сильной потребности в еде и внутренней сосредоточенности на ней, у этих больных не было ярко выраженных внешних проявлений голодной доминанты. Пассивное отношение к внешней ситуации приводило «к сновидным переживаниям, часто наполненным образами пищи».

2. 28 % больных имели ярко выраженный разлитой ирритативный синдром на том же астеническом фоне. У этих больных наблюдалась раздражительность, поводом для которой служили все стороны их жизни. Отношение к голоду и переживание его были яркими, формирующими все их поведение и подчиняющими себе интеллектуальную и волевую деятельность. Отмечено, что истерические тенденции угасали под влиянием сильного голода, однако истерики в прошлом «были яркими представителями больных с ирритативным синдромом».

3. 14 % больных дистрофией составляли больные с изменением личности вследствие заострения преморбидных черт характера. Особенно ярко заострялись психостенические черты личности у некоторых больных с образованием «сверхценных идей». Отношение к голоду у этих больных перерастало патологическую доминанту голодной смерти, сохраняющуюся даже при изменении ситуации в благоприятную сторону. У других это переходило в чувство психического голода, постоянного ненасыщения, на основе которого также возникала сверхценная идея, и у третьих — эгоистические тенденции личности, воспитанные и поддерживаемые домашним окружением до заболевания, в период дистрофии значительно заострялись и перерастали в аморальное поведение больных.

4. Наблюдавшиеся изменения личности носили нестойкий характер и проходили с улучшением соматического состояния. Особенно заметно это было у больных первых двух групп. Значительно дольше они держались у больных с характерологическим заострением. Отрицательные изменения личности у них начинали исчезать только после значительного восстановления физического состояния и, главным образом, с момента включения их в нормальную жизнь и работу.[33]

В последнем тезисе мы снова встречаемся с выводом о пользе активности и «включения в жизнь и работу» для людей, ослабленных голодом и болезнью. Здесь уместно напомнить хотя бы отчет Ленинградского союза советских композиторов о работе в период блокады. Его председатель В. М. Богданов-Березовский, никак не связанный с медициной и не мысливший ее категориями, подводя итог изложенным фактам, писал в отчете: «Наблюдения показали, что примат интеллекта, воля к труду и к творчеству — вот главный фактор, который спасал людей от гибели, ибо ничто так не способствовало развитию дистрофии, как упадок духа, нервная взвинченность, апатия и самозапугивание».[34]

Возможно, на первый взгляд, покажется странным включение в наш обзор достаточно специфической статьи профессора Н. И. Озерецкого «Особенности судебно-психиатрической экспертизы в дни блокады Ленинграда» (1946 г.).[35] Тем не менее, некоторые из приведенных им материалов и заключений могут оказаться весьма полезными для расширения наших знаний и понимания особых условий в осажденном городе. Как и упомянутые выше специалисты-психиатры, профессор Н. И. Озерецкий отмечает как положительный фактор моральную стойкость большинства населения города, верившего в справедливость своего дела и неизбежность победы. «Воля к победе, страстное желание отстоять свой город, — пишет он, — были теми благоприятными тонизирующими факторами, которые откладывали свой неизгладимый отпечаток на психике голодных ленинградцев, по своему ее облагораживая».[36]

Среди многочисленного населения Ленинграда нашелся и небольшой процент лиц, упавших духом, не выдержавших испытаний. По мнению автора статьи, из этой части людей чаще всего и выходили нарушители воинской дисциплины, дезертиры, преступники, предатели и психически больные. С началом блокады задача судебной экспертизы значительно усложнилась. В этот период клиника алиментарной дистрофии еще не была достаточно изучена. Поэтому в судебно-психиатрической практике обратили внимание на встречавшийся все чаще «психопатоподобный» симтомокомплекс, «до известной степени сближавшийся с изменением личности при эпидемическом энцефалите». Но скоро разобрались в причинах и начали признавать находящихся под следствием больных невменяемыми.

С февраля 1942 г. при судебно-психиатрической экспертизе лиц, совершивших воинские преступления, стала встречаться клиническая картина, сближавшаяся с картиной бери-бери, а также пеллагрозный симптомокомплекс.[37] Указанные наблюдения автора были подробно доложены на заседании Ученого совета Первого медицинского института 26 января 1942 г., а в марте 1943 г. — на конференции врачей Психиатрической больницы им. Скворцова-Степанов и опубликованы в III томе «Трудов ВММА» (Л., 1944). Следовательно нет необходимости их пересказывать.

Но представляют интерес высказывания профессора Озерецкого о гипертонической болезни. Судебно-психиатрической экспертизе пришлось с нею встретиться уже в 1942 г. Первыми, по его сведениям, начало «вспышки» гипертонической болезни обнаружили еще весной 1942 г. окулисты. Затем число заболеваний стало быстро увеличиваться, «достигнув своего максимума летом и осенью 1943 г.». В 1943 г. с проблемой «ленинградской гипертонии» пришлось столкнуться врачам почти всех специальностей.[38]

Среди лиц, попавших в поле зрения судебно-психиатрических экспертов, оказалось значительное число олигофренов (то есть людей, с детства психически недоразвитых, легко поддающихся уговорам и внушению). В обычное время медики не считали их серьезно больными и опасными для общества. Но в условиях блокады, в условиях города-фронта, благодаря повышенной внушаемости, они по наблюдениям и мнению Н. И. Озерецкого, стали опасны, так как «...в ряде случаев использовались врагом для преступных целей» (для распространения панических слухов и листовок, установления шпионских явок, как ракетчики и т. п.).[39] Олигофренов, попавших под следствие, внимательно обследовали врачи-психиатры. «В зависимости от степени интеллектуальной неполноценности, от способности понимать содеянное» решался вопрос о невменяемости подследственного. Больных отправляли в стационары. Но посылка их туда на общих основаниях не достигала цели. Врачи стационаров не считали их серьезными больными, у них было много другой более важной работы и олигофренов очень скоро отправляли домой. Тогда судебные органы стали выносить решения о принудительном лечении такого рода больных и удержании их в стационаре до конца блокады. «В этом была известная специфика города, в условиях которого олигофрены, лишенные надлежащего надзора, становились особенно социально опасными».[40]

Были и другие случаи обследования врачами-экспертами подследственных, когда они подозревались в симуляции душевных заболеваний. Дело в том, что немцы, засылая в город шпионов и диверсантов, в ряде случаев снабжали их документами, сфабрикованными на бланках больниц, оказавшихся на оккупированной территории и удостоверявших лечение в указанной больнице (от шизофрении, эпилепсии, иногда заболеваний центральной нервной системы и т. п.). Такое удостоверение о перенесенной психической болезни должно было помочь диверсанту избежать обвинения в дезертирстве и облегчить его положение в случае ареста. Их неплохо инструктировали и готовили к роли человека, перенесшего душевную болезнь. Но чаще всего это были люди некультурные. Попадая в непредусмотренные ситуации, они терялись и не умели выбрать линию поведения, которой должен был бы следовать действительно больной человек. Наиболее верным, оправдавшим себя способом разоблачения подозреваемого был следующий. Подследственного помещали в палату с настоящими больными, но среди них не должно было находиться ни одного пациента с тем диагнозом, который пытался симулировать задержанный. У него же создавали полную уверенность, что помещают его к аналогичным больным. Как правило, симулянты начинали воспроизводить поведение своих соседей по палате, страдающих другими болезнями, и этим себя разоблачали. Совершали они и другие ошибки. Труднее было распознать действительно болевших в прошлом людей, имевших свои подлинные документы, но находившихся в состоянии ремиссии. Но научились распознавать и разоблачать и эту — наиболее сложную симуляцию.

Среди прошедших судебно-медицинскую экспертизу заметное место занимали люди, получившие закрытые травмы головного мозга, страдавшие ослаблением интеллектуальной деятельности, резким снижением активного внимания, с заметными проблемами памяти. Чаще всего это были лица пожилого возраста.[41] Изучение их состояний, способности травмированных людей к ответственности за свои действия — все это также следует отнести к своеобразной исследовательской деятельности врачей-психиатров в чрезвычайных условиях осажденного города, так как и они имели дело с одним из многочисленных последствий войны и блокады.

В завершение упомянем рукопись статьи члена-корреспондента Академии медицинских наук, заслуженного деятеля науки, профес-

сора И. Я. Раздольского «О неврологических особенностях клиники ленинградской “блокадной” артериальной гипертонии».[42] В те годы специалисты не могли придти к общему мнению по вопросу — имеется ли прямая связь между артериальным и внутричерепным давлением. Для людей, не связанных с медициной, этот вопрос можно сформулировать проще: почему у гипертоников болит голова? Для клиницистов это имело большое научное и практическое значение.

На уровне технических возможностей периода войны И. Я. Раздольский не мог решить проблему окончательно. «Многочисленные определения, — пишет он, — давления крови и ликвора моими сотрудниками у нормотоников и гипертоников периода блокады Ленинграда обнаружили следующее. Постоянного параллелизма между давлением крови и ликвора у отдельных больных нет».[43] После анализа материала и обстоятельных рассуждений профессор, кажется, все-таки склоняется к выводу, что гипертония приводит к повышению внутричерепного давления.

Судя по всему, проблема «ленинградской гипертонии» тогда еще не была решена. Но ею занимались многие специалисты и, как видим, ведущие ученые Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева.

Приведенный выше материал свидетельствует о большой высокопрофессиональной и очень важной работе, проведенной ленинградскими психиатрами в годы блокады. Многое в их наблюдениях и выводах сохраняет научную и практическую ценность и в наше время. Историкам, изучающим оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, полезно знать ее медицинский аспект. В работах психиатров нам особенно важны выводы о факторах, помогавшим людям выжить в тяжелейших условиях блокады: уверенность в своей правоте, воля к победе, примат интеллекта и жизненная активность.

---

[1] ЦГАНТД СПб. Ф. 313. Оп. 2–1. Д. 182. Л. 2.
[2] Там же. Л. 6.
[3] Там же. Л. 7.
[4] Там же. Л. 8.
[5] Там же. Л. 14.
[6] Там же. Л. 16.

[7] Там же.
[8] Там же. Л. 28.
[9] Там же. Л. 24.
[10] Там же. Л. 25.
[11] Там же. Л. 26.
[12] Там же. Л. 27.
[13] Там же. Д. 231.
[14] Там же. Л. 1.
[15] Там же.
[16] Там же. Л. 2.
[17] Там же. Л. 4.
[18] Там же. Л. 9.
[19] Там же. Л. 10.
[20] Там же. Л. 11.
[21] Там же. Л. 13.
[22] Там же. Л. 13–14.
[23] Там же. Л. 15.
[24] Там же. Оп. 2–1. Д. 299. Л. 1.
[25] Там же.
[26] Там же. Л. 3.
[27] Там же.
[28] Там же. Оп. 2–1. Д. 347. Л. 1–3.
[29] Там же. Л. 3.
[30] Там же. Л. 4.
[31] Там же. Л. 8.
[32] Там же. Л. 10–11.
[33] Там же. Л. 12–13.
[34] Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944 гг. СПб., 1995. С. 534.
[35] ЦГАНТД СПб. Ф. 313. Оп. 2–1. Д. 235. Л. 1–21.
[36] Там же. Л. 2.
[37] Там же. Л. 3–4.
[38] Там же. Л. 11.
[39] Там же. Л. 27–28.
[40] Там же. Л. 28–29.
[41] Там же. Л. 30.
[42] Там же. Ф. 313. Оп. 2–1. Д. 264. Л. 1–20.
[43] Там же. Л. 1.

А. З. Ваксер

НАСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1965)

Сама жизнь, забота о настоящем и будущем России, ее народов с особой остротой поставили перед обществом, наукой проблемы демографии, изучения системы воспроизводства населения на разных, далеких и близких, этапах исторического пути страны. Статистики, демографы, политологи, обществоведы многих других специальностей активно включились и участвуют в этой работе, значимость которой трудно переоценить.[1]

Значительно продвинулась вперед историческая демография, которая обогатила не только историческую науку, но и смежные с нею дисциплины рядом крупных исследований, которые открывают возможность изучения долговременных процессов, определяющих вектор воспроизводства населения в России, СССР, РСФСР и РФ.[2]

Ширится фронт работ, посвященных исследованию демографических процессов в отдельных регионах. Помимо отмеченных выше трудов о населении Москвы и Сибири, активно работают в упомянутой области санкт-петербургские демографы и историки.[3]

Итоги войны, нового раздела Европы привели к серьезным изменениям в геополитическом, геоэкономическом положении Ленинграда. Неизмеримо возросла роль Москвы как одного из центров формировавшегося в послевоенные годы биполярного мира. Сверхцентрализованная экономическая и политическая система многократно усиливала функции столицы в жизни государства и страны. Другие крупные центры, в том числе и Ленинград, оттеснялись на второй план.

Из приграничного города, крупнейшей военно-морской базы на Балтике он превращался в тыловой город, второстепенную военно-морскую гавань. Из «окна в Европу» — одного из немногих пунктов транзитной торговли, связующих СССР с Западом, Ленинград становился далеко не самым удобным узлом сухопутных и морских коммуникаций. Они естественно смещались в более удобные для круглогодичной навигации порты Прибалтики, Причерноморья, в пункты железнодорожных связей, обеспечивающих быстро растущую торговлю внутри формирующегося социалистического лагеря. Что касается функций центра человеческих, информационных связей с западным миром, которые были присущи дореволюционному Петербургу, то они были в значительной мере утрачены еще раньше. Разгоравшаяся «холодная война» поставила на их остатках жирный крест. Эти объективные перемены во многом определяли послевоенную судьбу города, его экономики, оказывали влияние на науку, культуру и, разумеется, жителей.

Война, блокада катастрофически сказались на населении, его демографических и иных характеристиках. Из 3119 тыс. жителей, учтенных переписью 1939 г. в пределах собственно города, и 3401 тыс. с пригородами, подчиненными Ленсовету, к середине 1943 г. оставалось лишь приблизительно 600 тыс., а на 1 января 1944 г. — даже 546 тыс.[4]

После прорыва блокады и особенно ее окончательного снятия число обитателей города начало быстро возрастать. В 1944 г. среднегодовая численность населения достигла 707,4 тыс., а во второй половине 1945 г. составила 1 240 тыс. (36,6% довоенной).[5] В пригородах, находившихся в оккупации (Петродворец, Пушкин), численность жителей сократилась значительно заметнее, нежели в Колпине, Кронштадте.[6]

По составу ленинградцы сорок пятого года были в основном вчерашними блокадниками, работниками первых реэвакуированных предприятий и учреждений, уволенными в запас солдатами и офицерами начального этапа массовой демобилизации, инвалидами войны — т. е. преимущественно коренными ленинградцами. Вторую группу составлял контингент, прибывший из других регионов на берега Невы в 1943–1945 гг. в порядке трудмобилизаций.

Но многим и многим ленинградцам уже не суждено было возвратиться и вкусить радость победы, участвовать в возрождении род-

ного города. Установить даже приблизительно общую численность данной категории чрезвычайно сложно. Однако, для понимания грядущих судеб города, его экономики, культуры, характера и особенностей преемственности и воспроизводства поколений, сохранения менталитета и всего того, что называется питерским, ленинградским, необходимо. Это важно и для изучения специфики социально-экономических процессов.

Рассмотрим один из возможных вариантов расчетов общих демографических потерь Ленинграда в годы войны и, следовательно, постараемся определить человеческие ресурсы, которыми располагал город после ее завершения.

В последний мирный 1939-й год в Ленинграде, как уже упоминалось, проживало 3119 тыс., а с городами и рабочими поселками, подчиненными городскому Совету, 3401 тыс. (по другим сведениям 3015 тыс. и 3321 тыс.).[7]

После начала войны и до конца августа 1941 г. из города было эвакуировано 488,7 тыс. Далеко не все из них были ленинградцами. Большую категорию составляли беженцы из Прибалтики и других районов, которые устремились к берегам Невы в первые недели войны в поисках спасения. Приблизительно 85 тысяч остались в занятых немцами пригородах. С сентября 1941 г. (после установления блокады) и до конца 1942 г. водой, воздухом, по льду Ладоги удалось отправить на Большую землю (по подсчетам специалистов и свидетельству источников) 871180 ленинградцев.[8] Таким образом, общая численность эвакуированных горожан составляла 1359,9 тыс.

После многих лет споров, изысканий большинство историков отказалось от цифр, оценивавших число жертв блокады в 1–1,2 млн. и даже 2 млн. человек. Возобладала оценка, согласно которой количество погибших в блокаду колеблется в пределах 700–800 тыс.[9] Кроме того, в 1941 г. (до установления блокады) ушло из жизни естественным путем минимум 40–50 тыс.; в 1944 г. (т. е. после снятия блокады) — 12,5 тыс.[10]

Стало быть, общая численность погибшего, умершего населения в годы войны может быть определена в 750–860 тысяч.

Существует и иная методика подсчета смертности в городе в 1941, 1942, 1943 и 1944 гг. По сведениям городского статуправления, среднесуточно в 1941 г. в Ленинграде умирало 318 человек или за год 116070 человек; в 1942 г., соответственно 1406 человек и 500536 за

год; в 1943 г. — 60 человек и 21900; в 1944 г. умерло 12500. За четыре года войны, включая блокаду, ушло из жизни, по этим данным, 651006 ленинградцев.[11] Тогда нижний порог с 750 тыс. снижается примерно до 650 тысяч.

Чтобы определить масштабы смертности среди эвакуированных, надо обладать, как минимум, средними данными о смертности в СССР в военные годы. По сведениям, приведенным в монографии В. А. Исупова «Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века», коэффициент смертности тылового населения РСФСР колебался от 27,7 на тысячу населения в 1942 г. до 16,5 в 1943 г. Средний же коэффициент за годы войны равнялся 18,35. В районах Урала и Сибири, куда были эвакуированы многие ленинградские заводы, средний коэффициент равнялся соответственно 18,9 и 17,7 на тысячу жителей.[12] Естественно, что условия жизни эвакуированных, и особенно смертность в период эвакуации были повышенными. Поэтому остановимся на среднем коэффициенте смертности в 1942–1943 гг. — 22,1 на тысячу эвакуированных (из 1359,9 тыс.). Тогда цифра умерших в эвакуации составит 30,1 тыс. в год. За три года (1942, 1943 и 1944) — 90,3 тыс. Однако, полученные приблизительные данные все же, вероятно, несколько преуменьшают реальную цифру, ибо в их основе лежат сведения о состоянии общей смертности в тыловых районах.

Все источники однозначно подчеркивают, что смертность среди эвакуируемого населения Ленинграда была чрезвычайно высокой, прежде всего в дороге и в первые месяцы по прибытии на новые места жительства. Достаточно сказать, что только на одном направлении эвакуации — на территории Вологодской и Ярославской областей (по данным специального исследования) умерло около 20 тыс. ленинградцев.[13] Фактический ареал эвакуации был много шире. Это и Урал, и Сибирь, и Средняя Азия, и Казахстан. Так что в целом смертность в местах эвакуации и в дороге ориентировочно унесла жизни не менее 120–160 тыс. человек.

Еще одной самостоятельной категорией были потери среди военнослужащих и лиц, сражавшихся с врагом в народном ополчении, в рядах партизан. В воинском мартирологе, опубликованном в 18 томе «Книги памяти защитников Ленинграда» содержатся имена 265967 ленинградцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и войны с японскими милитаристами — чуть менее половины моби-

лизованных горожан. Среди них 116624 погибли в боях, 111387 пропали без вести, 36308 умерли от ран и болезней и 1648 сгинули в плену.[14] Назвать эти цифры исчерпывающими едва ли возможно. Так что общие потери на фронтах, в партизанском тылу можно было бы определить в 266–300 тыс. человек.

Таким образом, за годы войны умерло естественной смертью в городе, в эвакуации, погибло в блокаде, на фронтах приблизительно: от 650 до 800 тыс. (в блокаде) + 40–50 тыс. (в 1941 г.) + 12,5 тыс. (в 1944 г.) + 120–160 тыс. (за три года эвакуации) + 266–300 тыс. (на фронтах). Итого 1088,5 тыс. — 1322,5 тыс.

Далеко не все ленинградцы возвратились из эвакуации. Часть кадровых работников предприятий была оставлена на местах нового базирования и составила основной костяк коллективов заводов, продолжавших работу на Урале, в Сибири и других регионах. Часть просто ассимилировалась по разным обстоятельствам. Как минимум, судя по отрывочным сведениям отдельных заводов, эта категория составила 3–5 %. Если исходить из нее, то упомянутый контингент может быть примерно оценен в 40–80 тыс. человек.

И, наконец, последняя группа — военные, которых разбросала война и условия воинской службы и которые не смогли после войны вернуться в Ленинград. Здесь пока никаких сведений о численности мы не выявили. Ориентировочно 2–3 процента от числа мобилизованных (примерно 600 тыс.): 12–18 тысяч. Итого, категория[15] не возвратившихся в город приблизительно составит 52–98 тысяч.

В общей сложности, таким образом, в Ленинград не вернулось ориентировочно 1,2–1,4 млн. его довоенных жителей, т. е. от 40 до 47 %. И это притом, что в 1941–1944 гг. родилось 115,9 тыс., т. е. в 10–12 раз меньше, нежели ушло из жизни!

По другим расчетам, учитывающим данные о миграции населения, а также потери РККА, экстраполируемые на число призывников–ленинградцев, потери могли составить 27–36 %.[16]

Таким образом, по самым приблизительным подсчетам в Ленинград после войны не вернулось от 27 до 47 % довоенного состава жителей города. Разброс велик. Но он лишний раз демонстрирует начальный этап разработки вопроса.

Когда в результате катаклизма уходит в Лету, покидает город в короткий срок значительный пласт жителей, это отражается не только на демографическом состоянии, механизме воспроизводства на-

селения. Нарушается естественный процесс передачи от поколения к поколению неповторимого образа жизни, стиля поведения, культурного стереотипа — всего того, что именовалось и именуется «питерским», «ленинградским». Памятники культуры остаются. Они могут быть восстановлены. Но носитель культуры — человек, личность, значительная часть поколения воссозданы быть не могут. Даже с помощью клонирования. Таким образом, война и блокада не просто сопровождались огромными человеческими жертвами, невосполнимым генетическим ущербом. Был нарушен естественный механизм духовного, культурного воспроизводства.

Если общие демографические потери горожан (как и в целом по стране) не привлекали особого внимания власть имущих в те годы, то численность жителей, оказавшихся не по своей вине в оккупации и уже в силу этого вызывавших подозрение в лояльности, учитывались особой строкой. В 1945 г. среди жителей города эта категория насчитывала 14234 человека (1,1 %).[17]

Одной из характерных черт демографической обстановки в городе в послевоенные годы были широкие масштабы миграционных процессов. Последние характеризовали еще довоенный Ленинград, когда в город ежегодно прибывало и выезжало из него около полумиллиона человек. Теперь масштабы миграции еще более расширились. Общую их динамику за 1944–1960 гг. раскрывает нижеследующая таблица сальдо миграции:[18]

Таблица № 1.

Годы	Сальдо миграции	Годы	Сальдо миграции
1944	+94877	1955	+19126
1945	+571696	1956	-48,0
1946	+327644	1957	-20294
1947	+59591	1958	+6119
1948	+86730	1959	+36829
1949	+20570	1960	+48724
1950	+33766	1961	+34,9
1951	+55484	1962	+40,1
1952	+40636	1963	+41,0
1953	+93931	1964	+23,3
1954	+40499	1965	+23,2

Приводимые сведения позволяют выделить пять периодов: первый 1944–1946 гг. Он характеризовался масштабной миграцией. За три года сальдо миграции составило 1294217 человек. В том числе за два последних года 899340. Пиком стал 1945 год, когда положительное сальдо достигло 571696 человек. Несомненно, в это число входили и реэвакуированные и уволенные в запас фронтовики, и мигранты, направляемые в город из других регионов. Точно определить долю каждой категории пока не представляется возможным. Однако, годовая итоговая статистическая сводка за 1945 г. констатирует, что прибытие «шло в основном за счет возвращения из РККА и реэвакуации».[19] Город напоминал огромный табор. В последующем же доля названных категорий стала снижаться, хотя и в них коренные ленинградцы все-таки составляли заметную группу. Тем не менее, цифры сальдо миграции, приводимые в таблице, не полностью характеризуют масштабы огромного движения населения. Достаточно сказать, что за один 1945 г. в Ленинград прибыло и выбыло в общей сложности 719014 человек.[20] В 1947 и 1948 гг. миграционный прирост, хотя и заметно снижается, но носит еще характер огромного потока людей, переживших страшные потрясения и возвращающихся к родным очагам, просто ищущих нового места в жизни после перенесенных потрясений.

И только с конца 40-х г. миграция принимает иной характер. Она начинает в первую очередь удовлетворять текущие потребности народного хозяйства, растущей системы образования, отражает колебания в экономической политике. Наступает новый этап. Положительное сальдо миграции по годам колеблется, но в 1949–1954 гг. не превышает 30–40 тыс. в год. Исключение составляет лишь 1953 г. (93931 человек). Объясняется это не внутригородскими причинами, а начавшимся первым после войны массовым сокращением Вооруженных Сил и, по-видимому, амнистией. Среди мигрантов вновь заметное место занимают уволенные в запас офицеры, возвратившиеся в родной город. Часть их прибывала и в следующем 1954 г., что вновь отразилось на количестве прибывших.

Новый — третий цикл, наметился в 1955 г. Масштабы миграции начали заметно падать: в 1956 г. 6119 человек, в 1957 г. баланс стал даже отрицательным. В 1958 г. кривая миграции вновь полезла вверх, но размер ее все-таки оказался невелик. Связан этот «излом» с попыткой смены экономического курса в масштабах города мето-

дом команды «поворот все вдруг». Перед Ленинградом после XX съезда КПСС высшими партийными и государственными органами была поставлена задача увеличения производства без привлечения новой рабочей силы, т. е. путем резкой интенсификации, наращивания производительности труда.[21] Однако, ни промышленность, ни тем более городское хозяйство готовы к этому не были. Поэтому пришлось возвращаться к традиционному источнику — экстенсивным элементам развития, а задачи интенсификации решать шаг за шагом и постепенно.

В 1959 и в 1960 гг. миграционный поток вновь начал набирать силу: с 20294 человек до 48724, т. е. за два года (по сравнению с 1958 г.) вырос почти в 8 раз. В то время как до войны, большую часть мигрантов составляли сельские жители (75,2 % в 1940 г.), в начале 50-х гг. среди них уже преобладали горожане (1954 г. — 51,5 %, в 1955 г. — 53,3 %).[22] В основном эти люди прибывали из Ленинградской, Калининской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей.

При всей масштабности миграционных процессов Ленинград по национальному составу оставался русским. На их долю приходилось, по данным переписи 1959 г., 88,9 % жителей. Второе место принадлежало евреям — 5 %, третье — украинцам — 2 %.[23] И в дальнейшем удельный вес русского населения неизменно увеличивался.

Среди мигрантов доминировала молодежь. Многие приезжали для поступления в учебные заведения. Значительную часть составляли молодые люди, направляемые на предприятия, в городское хозяйство. Заметное место в 40-е и начале 50-х гг. принадлежало девушкам и женщинам, нанимавшимся домработницами. В те годы это был один из возможных каналов бегства из колхозов, своеобразное промежуточное звено между колхозом и предприятием.[24] Что касается лиц, покидавших город, то в первые годы они выезжали преимущественно в места, где жили ранее. Позже же, во второй половине 50-х гг., основная часть переезжала в Москву, а также на Урал и в Сибирь, т. е. на ударные стройки.[25]

Всего за 1946–1950 гг. население Ленинграда за счет механического прироста увеличилось на 528,3 тыс. За то же время в городе родилось живыми 145,8 тыс. За последующие пять лет прибыло 249,7 тыс., а родилось — 131,9 тыс.[26] Высокая рождаемость наблюдалась в Ленинграде лишь в 1944 и в 1945 гг.[27]

Таблица № 2.

Численность, рождаемость и смертность населения Ленинграда (без городов и поселков, подчиненных Ленгорсовету).[28]

Годы	Численность населения на начало года, тысяч	Родилось живыми	Умерлло	Прирост	На 1000 жит.		
					Род.	Ум.	Прир.
1945	927	45,2	19,0	+26,2	35,5	14,9	+20,6
1950	2258,0	42,1	19,7	+22,4	17,4	8,1	+9,3
1955	2797,0	48,8	21,4	+27,4	14,8	6,4	+8,2
1956	2814,0	44,6	21,9	+22,7	13,6	6,7	+6,9
1957	2816,0	44,4	22,6	+21,8	13,5	6,9	+6,6
1960	2934,0	46,1	24,01	+22,4	13,3	6,9	+6,4
1965	3239,0	42,57	29,60	+12,97	11,2	7,8	+3,4

В 1944 г. появилось на свет 23,5 тыс. при населении 707,4 тыс. (в среднем за год) и в 1945 г., как это видно из таблицы, 45,2 тыс.[29] при населении 1240 тыс. (к середине года), т. е. соответственно 33,2 и 38,2 на каждую 1000 жителей. В 1946 г. родилось 63,1 тыс., в 1947 г. — 59,9 тыс.[30] Это был пик. Такая повышенная рождаемость, по определению специалистов-демографов, носила компенсаторный характер. После первой мировой войны наблюдалось подобное же явление, но менее ярко выраженное. Показатель рождаемости 38,2 на 1000 жителей был одним из самых высоких в истории города в XX в. Среди новорожденных преобладали мальчики.[31] В последующие пять труднейших лет рождаемость снизилась более чем вдвое — до 15,5 на 1000 населения. Она снижалась постепенно: в 1948 г. до 46,8 тыс., 1949 г. — 47,6 тыс. (21,2, 18,5 на 100 населения).[32] С 1951 г. по 1955 г. рождаемость почти стабилизировалась, составив в 1955 г. 14,8 на 1000 ленинградцев. С 1956 г. по 1960 г. вновь произошло понижение: до 13,6–13,0 (в 1959 г.), однако, объяснить этот спад ухудшением жизненных условий невозможно. Демографы того времени, констатируя падение рождаемости, пытались связать его с увеличением абортов. Действительно, рост абортов был налицо. В 1940 г. — 42,4 тыс., в 1950 г. — 44,7 тыс., в 1955 г. — 76,9 тыс., в 1956 г. — 130,3 тыс., 1957 г. — 138,9 тыс., 1959 г. — 159,4 тыс., 1960 г. — 167,0 тыс.[33] В 1959 г., как указано выше, было зарегистрировано 159,4 тыс. абортов, а в 1964 г. — 171119. В этом же году учли 43,2 тыс. родов. В об-

щей сложности условно было зарегистрировано 214,4 тыс. беременностей. Из них только у 20,1% женщин родились дети.[34]

Аборты в СССР были запрещены в 1936 г. Влияние этой меры на состояние рождаемости в Ленинграде оказалось заметным, но сравнительно недолговечным. К тому же аборты нередко делались в обход закона, но не учитывались. В 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября запрещение абортов было отменено. В 1957 г. упразднили налог на холостяков и малодетные семьи. Это, безусловно, повлияло на цифры, учитываемые статистикой. На реальной рождаемости подобные меры, вероятно, сказались значительно меньше. Приводимые в таблице данные — 15,2 на 1000 населения в 1955 г., 13,9 в 1956 г. и 13,8 в 1957 г. частично отражают воздействие таких мер на рождаемость. Они лишь замедляли падение. После понижения в 1955–1956 гг. на 1,3 пункта наступил период относительной стабильности: с 1956 г. по 1960 г. рождаемость то несколько повышалась, то понижалась. Общее сокращение составило 0,5 пункта. После 1960 г. и до 1965 г. произошел новый заметный спад более чем на два пункта.

В целом же такая тенденция отражала влияние целого комплекса факторов — от перемен в основной ячейке общества — семье, демографическом поведении населения, до влияния на воспроизводственные процессы социальных, политических, идеологических, психологических факторов. Это и образование родителей, и обеспеченность детскими учреждениями, и удовлетворенность материальными условиями жизни, и военная опасность и пр.

«Когда я выполнял на фронте ответственные задания, я мысленно видел перед собой будущую мирную жизнь <...>, но эти дни остались позади. Тогда нам обещали много, а сейчас забыли. Теперь мы не нужны, ибо опасность не грозит <...>». «Вот уже шесть лет, как мы отказываем себе в самом необходимом <...>. Недоедают не только взрослые, но и дети».[35] Это лишь малая часть настроений ленинградцев, фиксируемых в политических сводках МГБ, райкомов. Естественно, что они не могли не сказываться на сознательно планируемом составе семьи. Именно последнее становилось все более важным фактором демографического роста.

Сопоставление рождаемости в Ленинграде в начале второй половины 50-х гг. с рождаемостью в других городах показывает, что более низкие показатели имели лишь три крупных города — Москва (14,5 на 1000 жителей), Харьков (15,1) и Одесса (13,6). В других городах

аналогичный показатель оказывался заметно более высоким: Киев — 16,1; Горький — 20,2: Тбилиси — 20,2; Омск — 26,9; Баку — 28,9. Это положение продолжало сохраняться и в последующие годы.[36]

Что касается смертности, то после блокадной катастрофы, когда ее показатель на 1000 жителей достигал ориентировочно 389,8 (по другим данным — 332,4[37]), положение в 1944 и в 1945 гг. быстро нормализовалось. В 1939 г. в городе уходило из жизни 14,9 на каждую 1000 жителей, в 1945 г. — 14,9; в 1950 г. — 8,1; в 1955 г. — 6,4. И лишь в первой половине 60-х гг. обозначилась новая тенденция: в 1959 г. — 7,0; в 1960 г. — 6,9; в 1965 г. — 7,8; в 1966 г. — 8,2. Такая динамика смертности совпадала с общесоюзной. Однако, конкретные погодные показатели в Ленинграде в 50-е гг. были ниже. Вероятно, сказывался общий более высокий уровень медицинского обслуживания. По мере же выравнивания последнего соотношение менялось не в пользу города на Неве.

Следует обратить внимание еще на одну особенность — структуру смертности. В 1950 г. среди умерших 18,9 % приходилось на детей в возрасте до 1 года. 8,9 % на детей и молодежь от 1 до 19 лет, 41,8 % — на жителей от 20 до 59 лет и 30,4 % на ленинградцев старших возрастов. В 1959 г. младенческая смертность резко снизилась и составляла лишь 4,5 %, детей и молодежи — 2,9 %, рабочих возрастов — 39,7 %. Свыше половины умерших (52,9 %) падало на долю людей в 60 лет и старше.[38] Цифры, таким образом, свидетельствуют, что возрастная структура смертности шаг за шагом приближалась к естественным границам.

Как отмечалось выше, рождаемость в Ленинграде в первые годы после кратковременного взлета сокращалась постепенно. Смертность же падала гораздо быстрее. Именно это и обеспечивало относительную устойчивость показателей естественного прироста населения, плавный и постепенный вектор его снижения в 50-е годы. (см. таблицу № 2). С + 20,6 на 1000 населения прирост сократился к 1950 г. до +9,3, т. е. весьма заметно. В последующее пятилетие он колебался незначительно, удерживаясь в основном на этом уровне. В 1956–1960 гг. произошло вновь небольшое падение — до +6,9, + 6,4 которое достигло минимума в 1965 г. + 3,4. Резкий спад первой половины 60-х гг. объясняется влиянием демографического «эха войны»: малочисленное поколение военного времени достигло воспроизводственного возраста.

Скромные, постоянно падающие показатели естественного прироста, как уже отмечалось выше, отодвигали его на второе место в

качестве источника увеличения населения города. На первом плане все послевоенные годы находился механический прирост — миграция преимущественно из близлежащих областей.

Ростом численности населения в известной степени власти управляли с помощью механизма прописки, введенного в 1932 г. Но этот механизм не был самодовлеющим. В свою очередь, на него оказывали влияние потребности народного хозяйства, в первую очередь в те годы потребности промышленности в рабочей силе. Требования хозяйственников, стремившихся, во что бы то ни стало выполнить плановые задания, не утруждая себя рискованными опытами, связанными с инновациями, крупными капиталовложениями (которых и без того недоставало), толкали их на экстенсивный путь привлечения дополнительной рабочей силы. Просьбы, адресованные партийным органам, о получении все новых и новых лимитов на прописку сыпались как из рога изобилия. И лишь в годы массовых сокращений Вооруженных Сил привычный механизм переставал действовать.

Рост населения Ленинграда в 40-е гг., хотя и шел довольно высокими темпами (на 2,4 раза за 1945–1950 гг.), тем не менее, численность горожан по состоянию на 1950 г. составляла лишь 87 % довоенного. Этот показатель, как отмечалось выше, заметно отставал от многих крупных городов СССР, которые к тому времени далеко перешагнули довоенный рубеж. За шесть последующих лет — с 1950 по 1955 гг. увеличение составило 23,9 %; за 1955–1960 гг. — 4,8 % и в 1960–1965 гг. — 10,3 % (см. табл. 2). Довоенная численность жителей (с городами и поселками, подчиненными Ленгорсовету) была достигнута лишь на рубеже 1959–1960 гг. Собственно же в городе — и того позже — в 1962–1963 гг.[39] В 1965 г. число жителей Ленинграда составило 3641 тыс. человек (107,5 % от уровня 1939 г.).

И все же такая весьма скромная по тем временам цифра превышала наметки Генерального плана развития города. А это, в свою очередь, вело к постоянному отставанию всей городской инфраструктуры от растущих потребностей ленинградцев, воспроизводило диспропорции, обостряло социальную обстановку в городе.

Потомственные горожане — уроженцы Ленинграда, лица, долгие годы проживавшие в городе, при подобном механизме воспроизводства населения не составляли преобладающего контингента, что затрудняло и без того нарушенный войной, блокадой процесс преемственности поколений.

Именно эти отклонения отражали влияние устойчивых тенденций в репродуктивном поведении, в семейных отношениях — фундаментальных основах демографического воспроизводства.

В годы блокады брачность в Ленинграде резко понизилась. Но уже с 1943 г. начался крутой подъем и в 1944–1946 гг. она превысила довоенный уровень. Одновременно частота разводов сократилась. В 1944 г. в связи с введением нового законодательства, затруднявшего процедуру разводов, последние на первых порах сократились. Однако в последующем возобновился их медленный рост. И все же в первой половине 1946 г. частота разводов (в расчете на год) была, по свидетельству медицинских работников, в 8 раз ниже, нежели в 1938–1939 гг. (3,5 на 1000 жителей в 1940 г.). За 1945 г. по 19 ЗАГСам (в городе и пригородах) было заключено 32163 брака и зарегистрировано 434 развода. На следующий год было заключено 36,3 тыс. браков и оформлено 540 разводов (т. е. приблизительно 25,9 и 0,35 на 1000 жителей.). В 1950 г.— браков 36,3 тыс., разводов 4,2 тыс.(15,8 и 1,8 на 1000 населения); в 1960 г. браков — 46,5 тыс., разводов — 10,3 тыс., т. е. 13,7 и 3,0. В 1965 г. соответственно 10,3 тыс. браков и 3,1 тыс. разводов.[40] На каждую тысячу заключенных браков в 1920 г. приходилось 6,7 разводов, в 1939 г. — 182, в 1942 г. — 219, в 1945 г. — 12, в 1946 г. — 25, в 1950 г. — 11,1. в 1955 г. — 136, в 1960 г. — 221, в 1965 г. — 321.[41]

Помимо внутренних процессов эволюции семьи, возрастания ее неустойчивости, менялся и характер последней. На смену среднедетной семье шла малодетная семья с 1–2 детьми, не обеспечивавшая даже простого замещения поколений.[42]

Нижеследующая таблица раскрывает распределение родившихся по порядку рождений за 50-е гг.[43]

Таблица 3.

	1950 г.	В %	1958 г.	В %	1965 г.	В %
Всего	42062	100	43063	100	41816	100
Из них:						
Первый	23448	55,7	29923	69,5	28782	68,8
Второй	11184	26,6	10679	24,8	11505	27,5
Третий	3986	9,5	1713	4,0	1181	2,8
Четвертый	1664	4,0	398	0,9	208	0,5
Пятый и последние	1658	3,9	295	0,7	140	0,3
Не указано	122	0,3	55	0,1	44	–

Уже к 1950-му г. абсолютное большинство составляли перворожденные дети (55,7 %). Вместе с второрожденными их удельный вес достигал 82,3 % родившихся, а к 1965 г. — 96,3 %. Это, как уже отмечалось, не обеспечивало не только расширенного, но и простого воспроизводства населения. Доля третьих детей упала с 9,5 % до 2,8 %, четвертых — в восемь раз (с 4 % до 0,5 %). Более чем в десять раз снизилось и рождение пятых и более детей. Рождение десятого, одиннадцатого и последующих детей стало редкостью. В 1950 г. было рождено 78 таких детей, в 1965 г. — 5 на весь более чем трехмиллионный город.[44]

Многолетний процесс перехода от многодетной, среднедетной к малодетной семье в 50-е гг., таким образом, в Ленинграде стал свершившимся фактом. Большую роль в этом сыграли и война, и блокада, и занятость в общественном производстве женщин, и быстрый рост образования, и многие другие факторы.[45] По переписи 1959 г. всего в браке состояло 1453,9 тыс. — 44 %, в том числе 51,5 % мужчин и только 38,3 % всех женщин. Из 1000 мужчин в возрасте 16 лет и старше в браке находилось 697, что почти совпадало с общесоюзными показателями (695). Из 1000 женщин — 466, что на 10,7 % меньше средних показателей по СССР (522).[46]

Исследований влияния образования женщин на их демографическое поведение в Ленинграде не проводилось. В Москве они были и показали, что существует обратная зависимость между уровнем образования и стилем жизни, в том числе и демографическим поведением.[47]

Феминизация населения являлась одной из характерных черт послевоенного Ленинграда. Если в 1910 г. на 100 мужчин в Петербурге приходилась 91 женщина, то в 1920 г. — 139, в 1939 г. — 120, в 1946 г. — 190, в 1959 г. — 142, в 1960 г. — 139, в 1965 г. — 133.[48]

Население довоенного и дореволюционного Петербурга носило явно урбанизированный характер. Преобладающая часть рабочих — значительной части жителей столицы — проживала в городе без семей. В послереволюционный период на половом составе петроградцев–ленинградцев сказались последствия первой мировой и гражданской войн, изменения в быте рабочих. Они стали жить с семьями. Возникшая диспропорциональность несколько сгладилась (со 139 до 120). Однако, к 1946 г. она приобрела беспрецедентный масштаб: 190 женщин на 100 мужчин. Это был результат и войны, и блокады, в период которой наиболее уязвимыми оказались мужчины. Макси-

мальное обезмуживание наблюдалось среди молодежи 20–29 лет, а также в старческих возрастах (60 лет и старше).[49] Первые понесли наибольшие потери в войне, продолжали службу в Армии. Вторые в большинстве не перенесли тягот блокады.

Женщины преобладали не только в населении, но и в составе основных групп работающих. В швейной промышленности, например, они составляли среди рабочих 98,6 %, в текстильной — 90,2 %, в металлообрабатывающей — 69,5 %, на электростанциях — 69,1 %.[50]

Выравнивание соотношения полов, как показывают данные нижеприводимой таблицы, шло в городе медленно, растянулось на многие десятилетия.[51] До конца XX столетия оно так и не восстановилось.

Таблица № 4.

Половой состав населения Ленинграда. 1939–1967 гг.

Годы	Все население тыс. чел.	В том числе		В % ко всему населению	
		муж.	жен.	муж.	жен.
1939	3015*	1373	1642	45,5	54,5
1946	1703,1**	587,4	1115,8	34,5	65,5
1959	2900***	1196	1704	41,2	58,8
1967	3296*	1417	1879	43,0	57,0

* На начало года.
** На середину года.
*** По данным переписи населения.

Как уже упоминалось, рождалось больше мальчиков. Так по сведениям за 1946 г. мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет было учтено 49216, а девочек — 48754. Но уже в следующей возрастной группе — с 5 до 9 лет девочки преобладали. (Соответственно 81447 и 86405).[52]

И все же выравнивание полового состава ленинградского населения среди юношества и молодежи происходило сравнительно быстрее. В составе же ленинградцев, переживших войну и блокаду, диспропорции между мужчинами и женщинами с годами не только не сглаживались, но и нарастали, ибо смертность среди мужчин была более высокой, и продолжительность жизни короче. Таким образом, преодоление обостренных войной диспропорций отличалось разны-

ми тенденциями. В целом же, как свидетельствует таблица № 4, во второй половине 1960-х гг., т. е. за 20–25 лет, диспропорциональность между полами значительно сгладилась.

Подобные процессы характеризовали и возрастной состав населения Ленинграда.[53]

Таблица № 5.

Возрастной состав населения Ленинграда. 1946–1965 гг.

Возр. группы	Числен. (тыс.)			В % ко всему населению		
	1946	1959	1965	1946	1959	1965
до 9 лет	265,8	433,4	275,1	15,6	13,1	7,5
10 – 19 лет	288,5	440,0	565,2	16,9	13,3	15,4
20 – 29 лет	272,8	671,7	602,9	16,0	20,2	16,4
30 – 39 лет	406,3	565,2	653,5	23,9	17,0	17,8
40 – 49 лет	265,0	516,0	489,8	15,6	15,5	13,4
50 – 59 лет	132,4	406,4	516,9	7,8	12,2	14,1
60 лет и старше	72,3	288,5	444,1	4,2	8,7	12,1

В первую очередь нуждается в комментариях численность группы до 9 лет. Относительно высокий показатель — 15,6 % в 1946 г. объясняется отнюдь не высокой долей детей всех возрастов, входящих в нее. Наоборот, удельный вес ребят, рожденных в период войны и блокады, был весьма скромен — 5,8 %. Большую же часть составляли дети, рожденные до войны, которым в 1946 г. было 5–9 лет. Если первых насчитывалось всего 98 тысяч, то вторых — 167,9 тыс., т. е. в 1,7 раза больше.[54]

Демографический провал — прямое наследие войны — влиял на многие стороны городской жизни в течение всего XX в. В конце 40-х — начале 50-х он нарушил нормальную работу системы народного образования, в начале 60-х (когда военное поколение достигло трудоспособного и репродукционного возраста) — обострил до чрезвычайности проблему рабочей силы в городе, повлиял на показатели рождаемости.

Следующей «провальной» группой оказалась категория 20–29-летних. Именно она понесла наибольшие потери в войне. Кроме того, часть этого немногочисленного возрастного контингента продолжа-

ла службу в Вооруженных Силах, еще к началу возрождения города не была уволена с военной службы. Названные два обстоятельства объясняют, на наш взгляд, и низкую численность, и незначительную долю этой группы среди ленинградцев в 1946 г. К 1959 г. количество 20–29-летних выросло с 272,8 тыс. до 671,7 тыс. (в 2,3 раза), а ее доля в составе населения — с 16 до 20,2 %. К 1965 г. удельный вес группы снизился вновь до 16,4 %, т. к. в нее вновь начали входить малочисленные контингенты, пострадавшие от войны.

Обращает также на себя внимание резкое сокращение доли пожилых людей (50–59 лет) и в особенности ленинградцев старше 60 лет в 1946 г. И здесь к 1959 г., за сравнительно непродолжительный для демографических процессов срок, соотношение заметно оптимизировалось. Первая группа с 7,8 % увеличила удельный вес в составе населения до 12,2 % и 14,1 %, а вторая — с 4,2 % до 8,7 %, 12,1 %.

Самым многочисленным контингентом в 1946 г. были 30–49-летние (39,5 %). Это означает, что миграционная политика властей в первую очередь обеспечивала насыщение города жителями трудоспособных возрастов. Мужское население 30–54 лет составляло 42,1 % всех мужчин послевоенного Ленинграда. К 1959 доля первого контингента несколько снизилась — до 32,5 %. В целом же жители трудоспособных возрастов 20–59 лет в 1946 г. составляли 63,3 %, а в 1959 г. — 64,9 %, в 1965 г. — 61,7 %. Трудовой потенциал ленинградского населения, таким образом, оставался все рассматриваемые годы значительным и относительно стабильным.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что соотношение возрастных групп в 1946 г. отличалось значительной неравномерностью, резкими диспропорциями, явным преобладанием молодежи. На долю 10–39-летних приходилось 56,8 % жителей. Город начинала возрождать в первую очередь молодежь: и коренные ленинградцы и иногородние, чья судьба в дальнейшем оказалась прочно связанной с городом на Неве. Вместе с тем и здесь господствовали контрасты. Мужчины, в сравнении с довоенным временем, моложе, а женщины — старше.[55] К 1959 г. контрасты в значительной мере сгладились.

Половой, возрастной состав — элементы качественной характеристики населения, определяющие его важнейшие признаки: воспроизводственный, трудовой потенциалы.

К числу качественных характеристик относится и состояние физического, морального, психологического здоровья жителей.

Эпидемиологическая обстановка в Ленинграде в первые мирные годы оставалась довольно сложной. Но ни в какое сравнение с периодом перехода от войны к миру в 20-е гг. не шла. Ее характеризуют следующие данные:[56]

Таблица № 6.

Заболеваемость в Ленинграде. 1939–1965 гг.

Болезни	Зарегистрировано на 10 тыс.				
	1939 г.	1944 г.	1945 г.	1961 г.	1965 г.
Брюшной тиф	2,4	7,8	8,2	н/св.	н/св.
Паратиф	н/св.	2,0	4,4	н/св.	н/св.
Дизентерия	34,2	75,4	70,4	31,6	21,3
Сыпной тиф	1,5	8,3	4,1	0,75	0,46
Возвратный тиф	–	0,4	0,4	н/св.	н/св.
Корь	102,2	401,7	80,2	15,6	20,3
Скарлатина	53,9	10,5	31,9	34,6	23,1
Дифтерия	16,2	20,0	14,7	0,03	нет
Коклюш	н/св.	58,9	39,9	6,1	3,1
Инфекционная желтуха	н/св.	11,3	4,9	н/св.	н/св.

Наиболее массовыми заболеваниями в 1945 г., несмотря на заметное снижение в сравнении с 1939 и 1944 гг., оставались дизентерия — среди взрослых, корь и скарлатина — среди детей. Это объяснялось в те годы резким ростом подвижности населения и, конечно, неблагоприятными санитарными условиями жизни в общежитиях, в которых тогда проживала значительная часть трудмобилизованных и реэвакуированных. Многие — с детьми.[57] Этими же обстоятельствами специалисты — инфекционисты объясняли и рост числа заболеваний брюшным тифом. И все же, если сравнить с последним мирным 1939 г., то обращает внимание некоторое улучшение эпидемической обстановки в городе по кори, скарлатине, дифтерии, инфекционной желтухе. В последующие годы инфекционные болезни в целом снижались, хотя вспышки эпидемий кори, скарлатины отмечались. На нет к середине 60-х гг. сошла дифтерия. В 1950 г. смертность от брюшного тифа составляла 0,05 на 10 тыс. населения, от сыпного тифа — 0,004 (заболел всего 1 человек), от кори — 0,1, скарлатины — 0,1, дизентерии и гемоко-

лита — 2,9 и т. д. Наиболее медленно отступала дизентерия.[58] Таким образом, эпидемическая обстановка в городе непрерывно улучшалась.

Резко сократилась, как отмечалось выше, и детская смертность. Из 100 родившихся в 1939 г. умирало в среднем 14,4; в 1950 г. — 8,4; в 1951 г. — 6,0, в 1961 г. — 2,2. в 1965 г. — 2,0.[59]

На этом, в целом позитивном, фоне выделялся грипп. В 1945 г. им переболело более четверти населения Ленинграда, хотя грипп в тот год не отличался особенной тяжестью. В 1961 г. гриппом и острыми распираторными заболеваниями переболели 1,4 млн. ленинградцев, в 1965 г. — 1,7 млн. Вместе с тем в первые послевоенные годы в городе отмечался значительный рост числа заболеваний малярией. Позже ее удалось ликвидировать.

Серьезнейшую опасность представлял туберкулез. В 1945 г. статистика зарегистрировала свыше 6 тыс. случаев заболеваний этой страшной социальной болезнью. 695 человек заразились сифилисом.[60]

Наиболее тяжелыми болезнями, сопровождавшимися летальным исходом, в первые послевоенные годы были туберкулез и воспаление легких. В расчете на 10 тыс. жителей в 1939 г. в Ленинграде умирало от туберкулеза 19,2; в 1944 г. — 21,0 и в 1945 г. — 24,2; в 1960 г. — 2,3 и в 1965 г. — 1,4. От воспаления легких смертность достигала 30 (в 1960 г. — 1,1). Меньшую, но все же значительную смертность давали рак и другие злокачественные новообразования: в 1939 г. — 13,2; в 1944 г. — 11,7; в 1945 г. — 11,6. На их долю приходилось 7,2 % от общего числа умерших. На следующем месте в погребальном списке находились пеллагра, авитаминоз, алиментарная дистрофия. От этих болезней, связанных с нарушением питания (прямой результат блокады), в 1939 г. умерло 0,04; в 1944 г. — 7,6 и в 1945 г. — 1,1 (в том числе от алиментарной дистрофии соответственно 00, 4,9 и 0,8).[61] Авторы медицинской статистики того времени считали, что случаи смертности от нарушений питания в Ленинграде в первый послевоенный год относились лишь к пришлому населению, а горожане быстро изжили это тяжелое следствие войны и блокады. Последующие годы доказали, что они оказались излишне оптимистичными.[62] В целом от заболеваний органов пищеварения в 1939 г. уходило из жизни 13,2 % умерших, а в 1945 г. — 9,8 %. Эти болезни по смертности в тот год опережали рак.

Массовое распространение в годы войны получила гипертоническая болезнь. В 1945 г. летальный исход от нее составлял 6,2 на 10 тыс.

населения (в 1960 г. — 16,4) , а в целом от болезней органов кровообращения — 9,9.[63]

На структуре смертности в 1945 г., если можно так выразиться, еще лежала печать войны. В последующие годы она существенно изменилась. Имеющиеся документы, однако, не дают возможности свести сведения в одну таблицу. Поэтому мы ограничимся данными за 1950 и частично за 1960 и 1965 гг. Причины смертности распределялись следующим образом:[64]

Таблица № 7.

Смертность и ее причины. 1950–1965 гг.

Болезни	1950 г.		1960 г.	1965 г.
	На 10 тыс.	В %.	На 10 тыс.	На 10 тыс.
Болезни сердца	21,5	26,3	25,9	27,4
Инфекционные и паразитарные	13,9	17,0	н/св.	н/св.
Злокачественные новообразования	13,2	16,2	17,2	21,6
Болезни органо дыхания	10,4	12,7	н/св.	2,1
Травмы	6,1	7,5	6,1	6,5
Болезни органов пищеварения	4,9	6,0	н/св.	2,3
Болезни нервной системы	4,0	4,8	5,2	14,4
Болезни новорожд. и врожд. пороки	3,3	4,0	н/св.	2,0
Другие болезни	3,6	3,4	н/св.	2,0

На первое место вышли сердечно-сосудистые заболевания. От них погибало более четверти всех умерших, а к 1965 г. — 34,2 %. Резко снизилась доля болезней органов дыхания. От рака и других злокачественных новообразования в 1945 г. погибало 11,6 на 10 тыс. жителей. В 1950 г. — уже 13,2 и соответственно в процентах — 7,2 и 16,2 %, в 1960 г. 17,2 на 10 тыс., в 1965 г. — 21,6 и 29,6 %. Замыкали этот печальный список болезни нервной системы и болезни новорожденных. Смертность от первых выросла с 4,0 на 10 тыс. до 5,2 и 14,4.

В первый послевоенный год и в этой области картина была несколько иной:[65]

Таблица № 8.

	На 10 тысяч населения		
	1939 г.	1944 г.	1945 г.
Самоубийства	2,0	3,1	2,5
Убийства	0,9	2,0	2,0
Произв. травмы	0,4	0,7	0,4
Прочие травмы	5,5	11,1	8,9
Военные травмы	–	3,9	0,7

В целом на долю болезней нервной системы (в том числе и самоубийств), приходилось значительная доля смертей. Это свидетельствует о продолжающем иметь место психическом и психологическом перенапряжении в обществе. Что касается травм, то показатель сократился с 10 (по всем видам травм) в 1945 г. до 6,1 в 1950 г.

Обращает на себя внимание высокая смертность от убийств — свидетельство напряженной криминальной обстановки в городе.

Завершая сюжет о состоянии здоровья ленинградцев в послевоенные годы, нельзя не сказать о физическом развитии детей, инвалидах и положении с венерическими заболеваниями и алкоголизмом. У детей отмечались нарушения пропорций тела, отставание в физическом развитии.[66] Тяжким наследием войны являлась возросшая инвалидность. К лету 1945 г. в городе было зарегистрировано 94837 инвалидов (35 тысяч инвалидов войны и 59 тысяч инвалидов «от общих причин»), т. е. 7,8 % населения.[67] В 1939 г. от сифилиса умирало 0,9 на 10 тыс. населения; в 1944 г. — 0,7 и в 1945 г. — 0,6. От алкоголизма соответственно 2,1, 0,5 и 0,8. Статистический ряд показывает, что эти социальные болезни постепенно сдавали позиции, хотя некоторый подъем смертности от алкоголизма в 1945 г. не мог не вызывать тревоги. Однако, найти надежного заслона от подобной беды ни тогда, ни позже не удалось.

Таким образом, на состоянии здоровья — одной из качественных характеристик населения Ленинграда — в послевоенные годы продолжали сказываться последствия войны. Изживались они постепенно. Высокий по тем временам уровень государственной медицины позволял контролировать и ограничивать заболеваемость. Вакцинации населения носили массовый характер. В одном лишь 1945 г. было

сделано 646323 прививок против брюшного тифа, 717233 — против дизентерии.[68] Год за годом усиливались меры борьбы с туберкулезом и воспалением легких. Отступали и венерические болезни, суициды.

Обобщающая характеристика здоровья — средняя продолжительность предстоящей жизни, ее качества менялась в позитивную сторону, особенно в конце 40-х и в 50-е гг.[69]

Таблица № 9.

Годы	Средняя продолж. жизни всего населения	В том числе	
		мужчин	женщин
1910–1911	34	31	38
1926–1927	46	42	50
1958–1959	69	64	72
1964–1965	70	65	74

Обращает на себя внимание именно тот факт, что в послевоенное время средняя продолжительность жизни, по сравнению с концом двадцатых годов, возросла более чем на 20 лет. Такого скачка история города не знала ни до того, ни в последующее время.

Существенным слагаемым качественной оценки населения является образование. Война негативно сказалась на образовательной программе Советской власти. Хотя даже в блокадном городе школы продолжали работать, тем не менее, осуществление всеобщего семилетнего образования после войны пришлось продолжить. До войны эта задача уже была однажды решена. Немало детей, подростков не могли в военное лихолетье посещать школы, работали на предприятиях. В январе 1946 г. было проведено специальное обследование заводов, фабрик, организаций с целью выявления неграмотных и малограмотных среди работающего населения. По далеко не полным сведениям, тогда удалось учесть 4197 неграмотных и 23991 малограмотных.[70]

Обучение этих категорий, как и в прошлом, велось в группах, индивидуально на предприятиях. Но дело двигалось медленно. На заводе «Большевик», например, из 145 неграмотных обучалось 12; из 860 малограмотных — только 28 Повседневные невзгоды, тяжелый быт, масса иных забот затрудняли обучение. Некоторые просто отказывались учиться. В 1958 г. вновь была проведена проверка состояния

учета и достоверности данных по ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослых ленинградцев. Было выявлено 4089 неграмотных и 18316 малограмотных.[71] Стало быть, остаточная неграмотность и малограмотность изживались очень медленно.

Что касается детей школьного возраста, то всеобуч с первых дней мира соблюдался строжайшим образом. В 1–4 классах в 1945/46 учебном году обучалось 158,6 тысяч (68,8% общего числа ленинградских учащихся). В 5–8 классах — 51,4 тыс. (22,2 %) и в 9–10 классах — 14,1 тыс. (6,1 %). Таким образом, на первых порах в послевоенные годы основная масса детей обучалась в младших классах. С годами доля старшеклассников увеличивалась. В 1950/51 г. в 1–4 классах постигало азы науки уже только 39 %. В 5–8 классах — 50 % и в 9–10 классах — 9,3 %. Через десять лет (в 1960/61 г.) соответственно — 43 %, 40 % и 14,8 %.[72]

Неуклонно увеличивалось число учащихся в школах рабочей молодежи (без отрыва от производства): 1945/46 г. — 20,7 тыс.; 1950/51 г. — 41,7 тыс.; 1960/61 г. — 85,4 тыс. Численность же молодежи в училищах, профессиональных школах, ФЗУ до реформы этой системы в 1958 г. падала: 1945/46 г. — 31,2 тыс.; 1950/51 г. — 27,3 тыс.; 1960/61 г. — 26,5 тыс. И только в середине 60 гг. обозначился устойчивый рост профессионально-технической школы. (1966/1967 г. — 37,2 тыс.).[73]

Высокими темпами возрастало число молодежи в техникумах и вузах. Количество студентов техникумов с 1945/46 г. по 1960/61 г. повысилось почти в три раза, а в вузах — в 3,8 раза.[74]

Перепись населения 1959 г. показала, что уже 560 ленинградцев из каждой 1000 имели высшее, среднее (полное и неполное) образование, в том числе 113 — высшее (законченное и незаконченное), 84 — среднее специальное, 122 — общее среднее и 241 — неполное среднее. По переписи 1939 г., высшим образованием обладали лишь 34 горожанина из 1000, а средним полным и неполным — 219.[75] Таким образом, уровень образования ленинградского населения за 15 послевоенных лет более чем удвоился. Образование, по сути, оказалось той единственной качественной демографической характеристикой, которая сравнительно быстро реагировала на принимаемые властями меры. Остальные характеристики обладали большей или меньшей инерционностью и менялись медленно. В совокупности они определяли еще один качественный признак — трудовой, интеллектуальный потенциал населения.

Нижеследующая таблица дает представление об изменениях в трудовом потенциале.[76]

Таблица № 10.

Состав занятого населения Ленинграда. 1950–1965 гг.

	В абсолютных числах (тыс. человек)			В процентах		
	1950 г.	1959 г.	1965 г.	1950 г.	1959 г.	1965 г.
Все насел.	2713,7	3321,2	3641	100	100	100
Занятое население	1289,6	1850,1	2130,3	47,5	55,7	58,5
В том числе						
рабочих	н/св.	1122,6	1266,4	–	60,7	59,4
служащих	н/св.	710,7	863,9	–	38,4	40,6
иждивенцев	н/св.	1467,6	1510,7	–	44,3	41,5
пенсионеров	н/св.	307,2	637,0	–	9,2	17,5

Прежде чем анализировать данные таблицы, обратимся к балансу трудовых ресурсов Ленинграда по состоянию на начало марта 1946 г. Он не совсем сопоставим с таблицей. Согласно балансу, общая численность занятых весной 1946 г. достигла 1243,8 тыс. (из общего числа 1759,6 тыс. жителей города), т. е. немногим уступала численности занятого населения в 1950 г. (1289,6).[77] Сюда входили: лица трудоспособного возраста — 1118,9 тыс., которые были обязаны работать или учиться, работающие старики — 110,6 тыс., работающие подростки — 0,9 тыс., иногородние, трудившиеся на ленинградских предприятиях — 13,4 тыс. Доля занятых в общей численности жителей достигала 69,9%. Эти данные свидетельствуют, прежде всего, о том, что трудовой потенциал к началу 1946 г. еще продолжал во многом носить отпечаток военного времени. Широко использовался труд лиц пожилого возраста, частично подростков и пр. Значительную часть, как особо подчеркивается в документе, составляли контингенты, вновь прибывшие в Ленинград. Нельзя не учитывать и заключенных, военнопленных, репатриированных, которые не отражались в официальной статистике.

Большинство упомянутых источников постепенно сходило на нет. Занятое население конца 40-х и 50-х гг. уже почти свободно от военных рудиментов. В 1950 г. оно составляло менее половины общей

численности жителей. Однако, цифра занятых недостаточно достоверна. Полную картину дает перепись 1959 г. Согласно ее сведениям, занятое население составляло 55,7 % и иждивенцы 44,3 %. Причем доля занятого населения, как видно из таблицы, постепенно к 1965 г. повышается до 55,8 %. Подобное положение объясняется, прежде всего, не столько улучшением возрастной структуры, сколько жесткими мерами, принятыми в начале 60-х гг. по привлечению к труду всех неработающих и лиц, занятых в домашнем хозяйстве. Трудом этого постоянно растущего количественно и качественно контингента в первую очередь восстанавливалось и развивалось народное хозяйство города.

* * *

Послевоенное демографическое движение населения Ленинграда — творца его экономики, культуры, нравственных начал — несло на себе неизгладимый отпечаток катаклизмов первых десятилетий века и, в первую очередь, Отечественной войны и блокады. В третий раз за неполные пятьдесят лет (после революции, гражданской войны и индустриализации) состав жителей города сильно изменился.

Полный демографический ущерб, причиненный населению Ленинграда в 1941–1945 гг. не поддается точному учету. По приблизительным оценкам потери составили от 27 % до 47 % довоенного населения. Такой большой разброс — следствие как несовершенства предложенной методики, нуждающейся в последующей доработке, так и разнобоя в исходных статистических сведениях, зафиксированных в источниках, а часто и отсутствия таковых.

Тем не менее, даже ориентировочные результаты дают основание утверждать, что состав горожан, по сравнению с довоенным временем, сильно изменился. Естественный процесс демографического, социального, духовного воспроизводства оказался нарушенным. Эти нарушения усугублялись широкомасштабной миграцией, повышенной подвижностью населения, особенно в первые послевоенные годы. Предпосылки для усиления процессов маргинализации населения возрастали.

Рост численности ленинградцев, хотя и отставал от темпов увеличения городского населения в стране, в большинстве крупных городов, тем не менее, шел довольно интенсивно. Темпы затухали, хотя и опережали прогнозы, заложенные в генеральном плане 1948 г.

Лишь к середине 60-х гг. движение населения стало постепенно стабилизироваться. Сальдо миграции вышло на уровень 0,6 % в год от общей численности жителей. Изменился и состав мигрантов. Если в 40-е годы среди них преобладали сельские жители, то в 50-е и особенно в 60-е гг. начали доминировать жители небольших и средних городов. Складывались условия для усиления элементов стабилизационных процессов, создания благоприятных предпосылок укрепления системы воспроизводства трудовых, социальных, нравственных качеств от одного поколения ленинградцев к другому. Только перепись населения 1979 г. зафиксировала, что свыше трех четвертей жителей города либо проживали в нем свыше 10 лет (примерно 800 тыс. человек), либо являлись уроженцами Ленинграда (2,4 млн.).[78]

Медленное формирование предпосылок демографической стабилизации осложнялось общей устойчивой тенденцией смены среднедетной семьи семьей малодетной. Планирование семьи становилось устойчивой традицией, важнейшим элементом репродуктивного поведения. Устойчивость семьи, как основной ячейки общества, обеспечивающей его рост, воспроизводство социальных, нравственных и иных качеств молодежи, ослабевала. Такому положению способствовали и сохранявшаяся многие годы диспропорция полов, особенно среди поколения, пережившего войну, возрастные диспропорции, порожденные ею, высокий уровень занятости женщин в народном хозяйстве. В целом оптимальная половозрастная структура восстанавливалась медленно.

Инерционность, хотя и в более ограниченных масштабах, проявлялась также в изменении такой качественной характеристики, как физическое здоровье. Постепенно, не сразу, отступали туберкулез, детские инфекции. Не проходили бесследно для физического состояния населения экстремальные годы блокады, хотя смертность от нарушений питания сократилась сравнительно быстро. После кратковременного снижения в годы войны вновь начал распространяться алкоголизм.

Структура причин смертности ленинградцев приобретала черты, характерные для индустриального общества. Среди них преобладали болезни кровообращения и новообразования.

Общее же физическое здоровье улучшалось не быстро, но неуклонно. К середине 60-х гг. показатель продолжительности жизни подошел к максимуму, достигнутому в XX в.

Повысился и трудовой, интеллектуальный потенциал. Численность трудоспособных горожан, занятых в народном хозяйстве, заметно увеличилась. Среди них преобладало поколение, вынесшее на своих плечах тяжести войны, восстановления города, ставшее питательной средой реформ Хрущева. В 60-е гг. заявило о себе поколение, родившееся в годы войны и после нее, которое не только подхватило эстафету созидания, но и предъявило к жизни, власти свои, во многом новые требования. Как при этом сказался разрыв между поколениями, обусловленный тяжелейшими потерями войны и блокады, каков его механизм и был ли он на самом деле? Эти чрезвычайно важные вопросы не только объясняющие прошлое, но и актуальные сегодня для понимания современной демографической катастрофы и ее последствий, еще ждут своего исследования.

---

[1] См. *Андреев Е. М.* Население Советского Союза. 1921–1991. М.,1993; Население России в XX веке. Исторические очерки. Т. 1–3. М., 2000–2003; Население Советского Союза. 1922–1991. М., 1993; Население Москвы. Прошлое. Настоящее. Будущее. М., 1992; Качество населения. М., 1993. Вып. 6; *Захарова О. Д.* Эволюция рождаемости в России XX века. М., 1993; *Симчера Я. В.* К оценке численности населения и масштабов человеческого потенциала России за 100 лет // Вопросы статистики. 2001. № 12; *Руткевич М. Н.* Демографическая катастрофа. Где выход? // Свободная мысль. 2002. № 6; Население России. Ежегодные выпуски и др.

[2] См. Проблемы исторической демографии СССР. Киев, 1988; Проблемы взаимодействия социальной структуры и воспроизводства населения в России и СССР. М., 1988; Историческая демография. Проблемы. Суждения. Задачи. М., 1989; Историческая демография: новые подходы. М., 1992; Население России в 1920–1950-е годы: Численность, потери, миграция. Сборник научных трудов. М., 1994; *Исупов В. А.* Городское население Сибири: От катастрофы к возрождению (конец 30-х — конец 50-х гг.). Новосибирск, 1991 и др.

[3] См. Качество населения Санкт-Петербурга. Труды Санкт-Петербургского института социологии РАН. Серия 3. СПб., 1993; *Клупт М. А.* Население Санкт-Петербурга // Санкт-Петербург в зеркале статистики. СПб., 1993; Ситуация в Санкт-Петербурге: Рождаемость падает — смертность растет // Молодежь: Цифры. Факты. Мнения // 1993. № 1; *Чистякова Н. Е.* Статистическое исследование влияния возрастно-половой структуры на воспроизводство населения крупного города (на примере Ленинграда). Автореферат диссертации на соискание уч. степ. канд. эк. наук. М., 1988; *Ковальчук В. М.* Трагические цифры блокады (К вопросу об установлении числа жертв блокированного Ленинграда) // Россия в XIX–XX вв. СПб., 1998; Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. Историко-меди-

цинский аспект. Материалы международной конференции 26–27 апреля 2001 г. СПб., 2001; *Ваксер А. З.* Политические и экономические катаклизмы в России XX века и население Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербурга // Россия в XIX–XX вв. СПб., 1998; *Рабжаева М., Семенков В.* В поисках петербургской идентичности // Свободная мысль. 2002. № 11 и др.

[4] Санкт-Петербург 1703–2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 2. СПб., 2003. С. 16; Очерки истории Ленинграда. Т. V. Л., 1967. С. 486; Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. Историко-медицинский аспект. С. 7.

[5] *Ваксер А. З.* Политические и экономические катаклизмы в России XX века и население Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербурга. С. 349.

[6] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 26.

[7] Ленинград за 50 лет. Статистический сборник. Л., 1967. С. 20–21; Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в годы 10 пятилетки. Статистический сборник. Л., 1981.С. 23; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 7.

[8] Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. СПб., 1995. С. 339; *Ковальчук В. М.* Трагические цифры блокады. (К вопросу об установлении числа жертв блокированного Ленинграда). С. 365.

[9] *Ковальчук В. М.* Указ. соч. С. 365; Вторая мировая война. Кн. 2. М., 1966. С. 161; Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. С. 89–90.

[10] *Ваксер А. З.* Указ. соч. С. 349.

[11] Там же.

[12] *Исупов В. А.* Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века. Новосибирск, 2000. С. 142, 158–159 (подсчет).

[13] *Фролов М. И.* К вопросу о числе погибших в блокаду (по материалам домовых книг) // Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. С. 20.

[14] Санкт-Петербургские ведомости. 1994, 8 декабря; 1998, 22 января.

[15] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 6–6а.

[16] Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993. С. 139–140 (подсчет); *Чистякова Н. Е.* Проблемы изучения демографических процессов в Ленинграде (Санкт-Петербурге): 1930–1950 годы // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития нашего знания. М., 1997. С. 175–176; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 105. Л. 21.

[17] Там же. Л. 14.

[18] *Чистякова Н. Е.* Указ. соч. С. 175–176; Ленинград за 50 лет. С. 24.

[19] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 22, 55–56.

[20] Там же. Л. 52.

[21] Там же. Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1316. Л. 3.

[22] Там же. Д. 1214. Л. 2–3.

[23] Ленинград за 50 лет... С. 22.

[24] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1237. Л. 3.

[25] Там же. Д. 1062. Л. 13.

[26] Там же. Д. 1236. Л. 2.

[27] *Чистякова Н. Е.* Указ. соч. С. 173; Ленинград за 50 лет. С. 21, 130; Народ-

ное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 10 пятилетке... Л., 1981. С. 23, 27; ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1236. Л. 2, 3; Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1139. Л. 23.

[28] Ленинград за 50 лет. С. 20, 130; Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет. Статистический сборник. Л., 1977. С. 14: Санкт-Петербург 1703–2003. Юбилейный статистический сборник. СПб., 2003. С. 63; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 7666. Л. 101–102; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 105. Л. 21; Д. 521. Л. 1; См. так же ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 557. Л. 4; Д. 738. Л. 4–4а, 6–6а.

[29] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 6–6а.

[30] Там же.

[31] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 39.

[32] Там же. Оп. 8. Д. 738. Л. 6–6а.

[33] Там же. Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1236. Л. 2; Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1136. Л. 23.

[34] Там же. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1062. С. 12; Оп. 8. Д. 557. Л. 5а, 16а.

[35] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2 в. Д. 7702. Л. 58.

[36] Народное хозяйство СССР. 1922–1972. Юбилейный статистический сборник. М., 1967. С. 130; Ленинград за 50 лет. С. 130; ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 37. Д. 1236. Л. 6.

[37] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 6–6а.

[38] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1062. С. 27.

[39] Там же. Оп. 8. Д. 738. Л. 4–4а.

[40] *Никольский С. А.* Влияние войны и блокады на изменения возрастно-полового состава населения, на брачность и частоту разводов в Ленинграде // Медико-санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации. Труды конференции 17–19 декабря 1946 г. Т. 2. М., 1948. С. 9; Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 10 пятилетке... Л., 1981. С. 27; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 521. Л. 1; Д. 1139. Л. 23; Д. 209. Л. 14.

[41] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 7–7а.

[42] См. *Волков А.* Население России на пороге XXI века: тенденции и перспективы // Общество и экономика. 1998. № 8–9. С. 31–51; Кризис семьи и депопуляция в России // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 50–52.

[43] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1062. Л. 25; Оп. 8. Д. 557. Л. 7.

[44] Там же.

[45] См. Население Москвы. Прошлое. Настоящее. Будущее. М., 1992.

[46] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1062. Л. 11.

[47] Население Москвы... С. 5, 22.

[48] Ленинград за 50 лет. С. 21; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 22.

[49] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 26.

[50] *Бабаянц Р. А.* О ходе изучения и ликвидации последствий войны и блокады в Ленинграде // Медико-санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации. Труды конференции. Т. 1. М., 1948. С. 30.

[51] Ленинград за 50 лет. С. 21; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 19 (подсчет).

[52] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 19.

[53] Ленинград за 50 лет. С. 22; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 19; Оп. 8 Д. 557. Л. 5.

[54] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 19.
[55] Там же. Л. 22.
[56] Там же. Л. 4–5; Оп. 8. Д. 557. Л. 16 а (подсчет).
[57] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2 в. Д.
[58] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 521. Л. 4.
[59] Там же. Л. 5, 8–13; Оп. 8. Д. 557. Л. 5 а (подсчет).
[60] Там же.
[61] Там же. Д. 209. Л. 42–44; Д. 1139. Л. 23 а; Оп. 8. Д. 557. Л. 9 а (подсчет).
[62] Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. С. 80–85.
[63] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 45–46.
[64] Там же. Д. 521. Л. 3; Д. 1139. Л. 23 а; Оп. 8. Д. 557. Л. 9 а (подсчет).
[65] Там же. Д. 209. Л. 44.
[66] Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. С. 49–65.
[67] *Дзенискевич А. Р.* Деятельность медиков–исследователей в блокированном Ленинграде // Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде. С. 23.
[68] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 209. Л. 8.
[69] Ленинград за 50 лет. С. 130.
[70] ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 210. Л. 5.
[71] Там же. Д. 967. Л. 25.
[72] Ленинград за 50 лет. С. 85.
[73] Там же.
[74] Там же. Подсчет.
[75] Там же. С. 84.
[76] Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. V. С. 34–35; Ленинград за 50 лет. С. 21; Ленинград и Ленинградская область в цифрах. Л., 1961. С. 43, 128; Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 10 пятилетке. С. 84; Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. Статистический справочник. Л., 1987. С. 111; ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 1139. Л. 5–5а, 6, 23. Некоторые данные получены путем подсчета и носят оценочный характер.
[77] Цифра получена путем косвенных расчетов, требует дальнейшей проверки.
[78] Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т. 10. М., 1990. С. 104–105.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Р. Ш. Ганелин

НИКОЛАЙ II И АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА В ПЕРЕПИСКЕ ДРУГ С ДРУГОМ ПЕРЕД УБИЙСТВОМ РАСПУТИНА

В современной российской историографии отчетливо прослеживается стремление считать Николая II и Александру Федоровну жертвами не столько даже всех вообще не зависевших от них обстоятельств, сколько, прежде всего, интриг и других предосудительных и преступных действий различных политических сил, реальных и мифических, — от либеральной оппозиции до мировой закулисы, масонов-заговорщиков и т. д. В значительной мере такой подход к делу, несомненно, обусловленный с точки зрения дальнейшего течения российской истории расправой над царской семьей и ее приближенными, восходит к эмигрантской историографической и публицистической традиции, начало которой было положено в 1920-х гг.

Ей противостояла возникшая тогда же советская политическая и историографическая концепция, в соответствии с которой царская чета, отождествлявшаяся с Распутиным и его влиянием, объявлялась носительницей абсолютного зла. Карикатурное ее изображение, продолжавшее жанр антимонархических памфлетов послефевральской пропагандистской кампании 1917 г., которая, несомненно, сыграла свою роль в идеологической подготовке убийства царской семьи, препятствовало исследовательскому рассмотрению убеждений и взглядов императора и императрицы, их отношений друг с другом и взаимных влияний в области государственного управления, а также ориентации каждого из них на те или иные политические силы. Почему старый режим не принял надлежащих мер к расширению своей социальной базы, не захотел или не сумел привлечь на свою сторону какое-то

число лиц из категории профессиональных политиков, образовавшейся в стране с начала XX в.? Полностью обоснованного ответа на этот вопрос так и не было дано, несмотря на то, что советские историки многое сделали для опубликования и анализа оказавшегося в их распоряжении богатого документального материала. Важное место в нем составляет переписка царской четы. Заключительная ее часть, относящаяся к двум последним отлучкам Николая II из Царского села в Ставку верховного главнокомандования — с 4 до 18 декабря 1916 г. и с 22 февраля 1917 г., оказавшейся последней, была до книжного издания опубликована в «Красном архиве» (1923 г. Т. 4).

Как и некоторые другие публикации документов, появившиеся в те годы в этом журнале, та, которую мы имеем здесь в виду, озаглавленная «Семейная переписка Романовых», не могла не оказать влияния на общественное мнение в Советской России. Свое краткое предисловие к этой публикации М. Покровский завершал панегириком С. Ю. Витте: «чтобы справиться с невообразимо трудным положением, созданным войной, <...> нужно было государственного человека, — а единственный, которым располагала империя к началу войны, умер в 1915 году, к великой радости Николая <...>».[1] Во всем остальном страница с небольшим печатного текста М. Покровского представляла собой основанную на нескольких цитатах из писем императрицы эскападу против царской четы отчасти даже с возвеличением Распутина как умного человека в противоположность Александре Федоровне, которую «без Распутина» он считал глупой, с чем вряд ли следует согласиться.

Научно-политическая позиция М. Н. Покровского, во всей своей неприглядности проявившаяся через несколько лет, не оказала, как представляется, существенного влияния на содержание его краткого предисловия к публикации, в котором он утверждал, что постоянно оказывавшееся Александрой Федоровной на мужа влияние сводилось к требованиям быть твердым и не делать никаких политических уступок. Содержание опубликованной переписки, в сущности, именно к этому и сводится. Недаром императрица иногда включала в свою подпись слово: «надоедливая», а император — хотя и с применением иронических кавычек, — ее упреки: «твой “бедный, маленький, безвольный муженек”». Александра Федоровна возражала («это убивает меня», «Не надо говорить “безвольный”, а только слабоват и не уверен в себе и чересчур легко доверяется дурным советам»). Подобно жене и советчице римского царя Нумы нимфе Эгерии, с которой

сравнил императрицу известный историк февральско-мартовских дней 1917 г. С. П. Мельгунов, подчеркнув ее большую по сравнению с Николаем II решительность,[2] она верила в силу гения своего мужа.

Предмет настоящего сообщения — рассмотрение переписки, преимущественно состоявшей из писем императрицы, за время отсутствия императора в Царском селе с 4 по 18 декабря. Это были дни, предшествовавшие убийству Распутина в ночь с 16 на 17 декабря, переживаний, вызванных в Царском селе его исчезновением, и потрясений — обнаружением его трупа. Автор прибегнул к необычно обильному цитированию писем, которое представляется ему целесообразным в частности и потому, что их язык выразительно передает характер отношений между императором и императрицей в делах государственного значения. В предпринятой им попытке установить некоторые черты этих отношений автор видит значение своего очерка как дополнения к трудам А. Я. Авреха, В. С. Дякина, Е. Д. Черменского. Перечень государственных дел, которых касалась в письмах к мужу императрица, был так обширен, что вряд ли может быть здесь с достаточной полнотой охарактеризован. Назовем лишь, кроме отмеченных уже настояний на недопустимости таких политических уступок, которые обозначали бы либерализацию государственного строя, ее требования неукоснительного следования рекомендациям Распутина в деле назначений на министерские и иные посты. Такая устремленность Александры Федоровны не могла не быть связана с тем, что именно в это время начали приобретать особенное распространение слухи о «темных силах», группировавшихся вокруг Распутина и связывавшихся с ее именем. Кн. Ф. Юсупов, один из участников убийства «старца» (двое других представляли: императорскую фамилию — в. кн. Дмитрий Павлович, а руководство части крайне правых политических сил — В. М. Пуришкевич) объяснял убийство тем, что Распутин собирался свергнуть Николая II и учредить регентство Александры Федоровны. Это было время активизации заговорщической деятельности оппозиционных кругов, в которой их представители видели последнее средство достижения своих целей, потерпев, несмотря на поддержку великих князей, неудачу в попытках склонить Николая II к принятию своих требований, главным из которых было установление ответственности правительства перед Думой. Деятельность заговорщиков протекала при минимальной конспирации. Подчеркивая парадоксальность этого, академик Е. В. Тарле привел сказанные незадол-

го до Февральской революции слова ирландского публициста и революционного деятеля О'Донована: «В России зреет против царя заговор, о котором открыто говорят заговорщики самому царю».[3]

Об одном из заговорщических кружков рассказал в 1936 г. на страницах эмигрантской газеты «Последние новости» А. И. Гучков. В него, кроме самого Гучкова, входили будущие министры Временного правительства первого состава П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, председатель Думы М. В. Родзянко и др. Напуганные, по словам Гучкова, предчувствием «большого народного революционного движения», они намеревались с помощью офицерства заменить Николая II на престоле сыном при регентстве великого князя Михаила Александровича.[4] О двух совещаниях участников этого заговора рассказал в своих воспоминаниях генерал А. И. Верховский, военный министр в правительстве Керенского, сообщивший, что в декабре 1916 г. помощь Гучкову в совершении дворцового переворота обещал ген. Л. Г. Корнилов. По словам Верховского, весной 1917 г. Гучков рассказал, что переворот был назначен на 1 марта. «К сожалению, революция предупредила нас», — заявил Гучков.[5]

Существовал и другой план дворцового переворота — в пользу великого князя Николая Николаевича. Душой этого замысла был князь Г. Е. Львов, председатель Союза земств и городов, рассматривавшийся в качестве будущего премьер-министра (он действительно стал министром-председателем в первом составе Временного правительства).[6]

Подготовка дворцового переворота сопровождалась продолжавшимися попытками склонить царя к уступкам либеральной оппозиции. Это, как писал Гучков, представлялось «наилучшим выходом из положения». Такие попытки исходили из различных кругов — от великих князей и Родзянко до П. Б. Струве, занимавшего пост председателя Особого междуведомственного комитета по ограничению снабжения и торговли неприятеля при Министерстве торговли и промышленности. О безуспешности некоторых из этих демаршей, и своего в том числе, рассказал генерал А. А. Брусилов.[7]

Разумеется о попытках склонить Николая II к уступкам Александра Федоровна должна была знать, хотя бы в общих чертах. Сведения или тревожные ощущения, связанные с заговорщической угрозой, лишь укрепляли ее уверенность в недопустимости каких бы то ни было уступок. В какой мере осведомлена она была о заговорщической деятельности — установить из переписки невозможно: тема эта гораздо

больше подходила для обсуждения во время пребывания императора в Царском селе. Следует, кроме того, иметь в виду, что сколько-нибудь определенно датировать заговорщическую активность вряд ли возможно. Г. Лелевич, еще в 1923 г. рассматривавший свидетельства о ней в эмигрантской литературе, отмечал, что «планы дворцового переворота становятся на практическую почву» после убийства Распутина.[8] А перечень лиц, которых Александра Федоровна считала недоброжелателями своими, а следовательно и Николая II (на этом она настаивала), был так обширен, что наряду с теми, кого можно было в той или иной степени считать причастными к заговорщическим кругам, например, Родзянко, в нем занимали самое видное место А. Ф. Трепов, председатель Совета министров с 19 ноября до 27 декабря 1916 г., министр юстиции с 7 июля до 20 декабря 1916 г. А. А. Макаров, лидер националистов П. Н. Балашов, генерал Н. С. Батюшин, председатель созданной военным командованием комиссии по расследованию злоупотреблений тыла, и др.

Несомненно, что общее возбужденное состояние Александры Федоровны, категоричность ее неуступчивости, болезненное неприятие Думы и т. п. в немалой степени объяснялись так называемым штурмом власти, начавшимся с открытием Думы пресловутой речью Милюкова 1 ноября[9] и продолжившимся 19 ноября, когда новый удар по царской чете был нанесен справа В. М. Пуришкевичем и В. А. Бобринским, сделавшими своей мишенью Протопопова. Разумеется, большое влияние на поведение Александры Федоровны оказывали и действия «великокняжеской партии» (так иронически называли великих князей, устно и письменно добивавшихся у Николая II либерализации политического курса). Позиция членов императорской фамилии вытекала в ее представлении из их традиционно враждебного личного к ней отношения.

Уже первое из вошедших в публикацию писем — данное Александрой Федоровной мужу при его отъезде в Ставку 4 декабря 1916 г. (у них был такой обычай) — содержало ясное изложение ее представлений о политической действительности, связанных с этим задачах государя и своей собственной роли.[10] Она писала: «Еще немного терпенья и глубочайшей веры в молитвы и помощь нашего Друга*, и все пойдет хорошо! <...> Покажи всем, что ты властелин, и твоя воля будет испол-

* Григорий Распутин. — Здесь и далее примеч. в «Красном архиве».

нена. Миновало время великой снисходительности и мягкости — теперь наступает твое царство воли и мощи! Они будут принуждены склониться пред тобой и слушаться твоих приказов и работать так, как ты хочешь и с кем ты назначишь. Их следует научить повиновению. Смысл этого слова им чужд: ты их избаловал своей добротой и всепрощением. Почему меня ненавидят? Потому что им известно, что у меня сильная воля и что когда я убеждена в правоте чего-нибудь (и если меня благословил Гр.**), то я не меняю мнения, и это невыносимо для них. Но это — дурные люди. Вспомни слова t-r Филиппа, когда он подарил мне икону с колокольчиком. Так как ты очень снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться, а я предостерегала бы тебя. Кто боится меня, не глядит мне в глаза, и кто замышляет недоброе — те не любят меня <...>. Хорошие же люди, честно и чистосердечно преданные тебе, любят меня: посмотри на простой народ и на военных, хорошее и дурное духовенство <...>».[11]

Проскрипционный список Александры Федоровны включал в себя «черных», как называла императрица великих княгинь Анастасию Николаевну и Милицу Николаевну, урожденных княжен черногорских, жен великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича, В. Н. Коковцова, А. Ф. Трепова, который требовал удаления из правительства А. Д. Протопопова. В нем фигурировали также А. А. Макаров, П. М. Кауфман, главноуполномоченный Российского красного креста при Ставке верховного главнокомандования, и др. Но — мало того — все письмо было посвящено недоброжелателям, в числе которых оказывались вел. кн. Николай Николаевич и ген. М. В. Алексеев, начальник штаба верховного главнокомандующего, временно замененный генералом В. И. Гурко («Не забудь воспретить Гурко болтать и вмешиваться в политику — это погубило Никол[ашу] и Алекс[еева]. Последнему бог послал болезнь, очевидно, с целью спасти тебя от человека, который сбился с пути и приносил вред тем, что слушался дурных писем и людей, вместо того, чтобы следовать твоим указаниям относительно войны, а также и за его упрямство. Его тоже восстановили против меня <...>»).

Особенной язвительностью был проникнут отзыв о вдовствующей императрице Марии Федоровне как связанной с недружествен-

---

** Он же.

ной по отношению к Александре Федоровне частью императорской фамилии («Если дорогая матушка станет тебе писать, помни, что за ее спиной стоят the Michels***, не обращай внимания и не принимай этого близко к сердцу. Слава богу, ее здесь нет, но добрые люди находят способ писать и пакостить»). Сама того не замечая или не желая замечать, Александра Федоровна старалась совершенно изолировать себя и мужа ото всех лиц и кругов, близких им не только иерархически, но и родственно.

Еще не прочитав этого письма, Николай II писал в едва отъехавшем от Петрограда поезде: «Да, эти дни, проведенные вместе, были тяжелы, но только благодаря тебе я их перенес более или менее спокойно. Ты такая сильная и выносливая — восхищаюсь тобою более, чем могу выразить. Прости, если я был не в духе или несдержан, иногда настроение должно прорваться! <...> Но теперь я твердо верю, что самое тяжелое позади, и что не будет уже так трудно, как раньше. А затем я намереваюсь стать резким и ядовитым».[12] На следующий же день, 5 декабря, Александра Федоровна в очередном письме возобновила свои настояния на неприкосновенности Протопопова. «Не подчиняйся человеку, подобному Трепову (которому ты не можешь доверять, которого ты не уважаешь). Ты сказал свое слово и выдержал борьбу из-за Протопопова — и не напрасно же мы столько выстрадали — держись его, будь стоек, не поддавайся, а то не знать нам больше покоя! — писала она. — <...> Так же упорно, как они, т. е. как Тр[епов] и Родз[янко] (со всеми злодеями) на одной стороне, — так я в свою очередь стану против них (вместе со святым божьим человеком) на другой. <...> Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего Друга. <...> Он умоляет, чтобы скорее сменили Макарова — и я вполне с Ним согласна. <...> Протоп[опов] и Шахов[ской] всецело наши <...>. А также Добро[вольский]. Если бы заглянул Ник[олай] Мих[айлович] (от чего упаси господи), будь строг и пробери его за письмо и поведение в городе».[13] И 6-го поздравительное по случаю именин Николая II письмо было посвящено тому же: накануне вечером она виделась с Распутиным и продолжала от их общего имени требовать устранения Трепова не только с поста председателя Совета министров, но и с поста министра путей сообщения, замены Макарова и запрета Трепову вместе с Родзянкой добиваться отставки Протопопова. «Как он смеет идти наперекор — ударь кула-

---

*** Михайловичи? Вел. князья Ник. Мих., Сергей Мих. и др.?

ком по столу! — возмущалась она. — Не уступай (ты говорил, что в конце концов тебе придется это сделать) — будь властелином, слушайся твоей стойкой женушки и нашего Друга, доверься нам!».[14]

Той же теме («с Треповым будь тверд, как кремень, и держись Калинина [это было прозвище Протопопова в кружке Александры Федоровны. — *Р. Г.*], верного друга») было посвящено ее письмо 8 декабря. Она выражала сожаление по поводу отказа мужа назначить в тот момент председателем Государственного совета И. Г. Щегловитова, который, по ее мнению, принял бы меры против оппозиционных выступлений его членов («сейчас никакая строгость не может быть достаточна»), и советовала поступить «умно» — распустить Думу.[15]

На следующий день, 9 декабря, императрица продолжала развивать эту тему. «А[нна Александровна Вырубова] вчера видела Калинина. Он ей сказал, что Трепов сговорился с Родзянко распустить Думу с 17-го декабря по 8 января, чтобы депутаты не успели на праздники покинуть Петроград и чтобы можно было здесь держать их в руках, — писала императрица. — Наш Друг и Калинин умоляют тебя распустить Думу не позже 14-го, по 1-ое или даже 14-ое февраля, иначе тебе не будет покоя, и дело не сдвинется с места. В Думе они боятся только одного — продолжительного перерыва, а Трепов намеревается тебя поддеть, говоря, что будет хуже, если эти люди разъедутся по домам и разнесут свои вести. Но наш Друг говорит, что никто не верит депутатам, когда они поодиночке у себя дома, — они сильны лишь, когда собираются вместе. Дорогой мой, будь тверд и доверься совету нашего Друга — это для твоей же пользы. Все, кто тебя любит, думают, что это правильно. Не слушай ни Гурко, ни Григор[овича], если они станут тебя просить о коротком перерыве, — они не ведают, что творят».[16]

Как видим, симпатий к Думе не было ни на той, ни на другой из боровшихся между собой сторон. Они расходились относительно продолжительности перерыва в занятиях Думы, исходя из собственных представлений о тактике ее обезвреживания, хотя, как увидим, Николай II, по всей вероятности, со слов Трепова, усматривал в его варианте роспуска возможность контакта с общественностью. «Я бы не стала всего этого писать, — продолжала Александра Федоровна, — если бы не боялась твоей мягкости и снисходительности, благодаря которым ты всегда готов уступить, если только тебя не поддерживают бедная старая женушка, А[нна] и наш Друг <...>». Таким узким был круг, образованный Александрой Федоровной, регулярно ви-

девшейся у А. А. Вырубовой с Распутиным и с большой решительностью вмешивавшейся во все те государственные дела, которые представлялись ей важными. Правда, были сочувствующие, иногда негласно. Так, Трепов посетил Ламздорфа, и не зная, что тот приходится двоюродным братом Протопопову, сообщил, что 11-го едет в Ставку настаивать перед царем на протопоповской отставке, о чем стало известно Александре Федоровне.[17]

Вероятно, нараставшая активность Александры Федоровны, становившейся в своих сопровождавшихся неизменными ссылками на Распутина политических требованиях все более настойчивой, также не составляла тайны. Разумеется, содержание ее писем в Ставку никому не было известно, но многое могло быть установлено из сопоставления поведения и действий самого Николая II с получавшими тем или иным способом огласку высказываниями Александры Федоровны, Вырубовой и, наконец, Распутина, для которого нарастание их совместной политической активности пришлось (случайно ли?) на последние дни его жизни.

Усиление давления на царя явственно ощущалось в письме 9 декабря, с которым читатель частично уже знаком. «Он не смеет противиться твоему приказу, — говорилось в нем все о том же Трепове, — прикрикни на него. Милый, не приехать ли мне к тебе на денек, чтобы придать тебе мужества и стойкости? Будь властелином! <...> Трепов флиртует с Родзянкой. Это всем известно, а от тебя он лукаво скрывает это из политики». И через каждую фразу письма следовало требование «постоянно» помнить о «нашем Друге», его сновидениях, предсказаниях и высказываниях. Последнее из них должно было польстить царю: «если наш (ты) не взял бы места Ник[олая] Николаевича], то летел бы с престола теперь».[18]

На следующий день, 10 декабря, письмо Александры Федоровны, помимо постоянных требований об увольнении Макарова, роспуске Думы на возможно более продолжительный срок и похвал Протопопову («Он страшно озабочен тем, чтобы ты скорее распустил Думу и притом надольше — за 10 лет у них ни разу не было перерыва, как этот, такого короткого, — тогда ничего нельзя успеть сделать. Государственный совет сошел с ума, соглашаясь с Думой относительно свободной цензуры.[19] У меня голова идет кругом, и я, кажется, пишу вздор. Только будь тверд, стоек! — настаивала она. — Слава богу, в Москве 6 раз закрывали собрания (Калинин до 4-х часов утра не отходил от телефо-

на), но здесь Львову удалось прочесть воззвание прежде, чем полиция успела их удержать.[20] Как видишь, Калинин работает как следует и решительно и не заигрывает с Думой, но исключительно думает о нас») содержало и две просьбы о прекращении уголовных дел, чреватых шумными политическими скандалами. Первое из них — дело И. Ф. Манасевича-Мануйлова — «грязная история, поднятая с целью повредить нашему Другу, Питириму и др.». Александра Федоровна опасалась того, что «через несколько дней начинается следствие — могут снова подняться весьма неприятные разговоры, и снова повторится этот ужасный прошлогодний скандал», и просила мужа «пожалуйста, сейчас же, не отказывая» «надписать “прекратить дело” и переслать его министру юстиции».[21] Царь выполнил эту просьбу. Что дело Манасевича-Мануйлова угрожало репутации не одного только Распутина, и Александра Федоровна сознавала это, подтверждается ее словами благодарности (не дождавшись курьера из Ставки, она телеграфировала туда): «Очень благодарю тебя (также и от имени Гр[игория] за Мануйлова. <...> Из этого хотели сделать целую историю, примешав туда разные имена (просто из грязных побуждений), и многие собирались присутствовать на суде. Еще раз спасибо, дорогой».[22]

Вторая просьба, содержавшаяся в письме Александры Федоровны 10 декабря, касалась судьбы Сухомлинова, обратившегося с письмом, содержавшим просьбу о помощи к Распутину. Пересылая это письмо мужу, Александра Федоровна требовала от него («ты должен») «вытребовать» дело Сухомлинова «отсюда, чтобы все это не попало в Государственный совет, иначе бедного Сухомлинова нельзя будет спасти».[23] В сущности, здесь правота была на стороне императрицы и Распутина: вина в военной неподготовленности ложилась в равной мере и на министра финансов Коковцова, «который не хотел давать денег», и на великого князя Сергея Михайловича, ведавшего артиллерией (правда, ему императрица инкриминировала отношения с М. Ф. Кшесинской).

После поездки Александры Федоровны в Новгород в ее письмах мужу 13-го и особенно 14-го декабря тон становился все более требовательным. Вероятно, в известной мере это объяснялось ее воодушевлением после массовых приветственных встреч, свидания со старицей 107 лет и т. п. Однако была, как представляется, еще одна, и весьма существенная причина особенной твердости императрицы в дни, предшествовавшие убийству Распутина, когда завязался тугой политический узел.

Письмо 13 декабря было посвящено постоянным требованиям — распустить Думу немедленно и надолго, во всем слушаться не Трепова, а Распутина, заменить Макарова Добровольским, покарать Балашова, не делать политических уступок («Только не отв[етственное] министерство, на котором все помешались!»). Но требования становились более жесткими и сопровождались упреками. Она требовала выговора Трепову и лишения мундира Родзянки за что, что они, не дожидаясь указа Сенату, объявили о роспуске Думы с 17 декабря (она считала ошибкой, что это сделано не с 14-го) до первой половины января. «А я так просила сделать это поскорее и на более долгий срок! Слава богу, что ты, по крайней мере, не назначил числа в январе и можешь созвать их в феврале или совсем не созвать. Они не работают, а Тре[пов] заигрывает с Родз[янко], — писала она. — Всем известно, что они по 2 раза в день встречаются — это недостойно. Почему он ладит и старается работать с ним (лгуном), а не с Протопоповым (который правдив)?».

Ссылаясь на очередную встречу с Распутиным за обедом у Вырубовой, она заклинала: «Он умоляет тебя быть твердым и властным и не уступать во всем Трепову. Ты знаешь гораздо больше, чем этот человек, и все-таки позволяешь ему руководить тобой, а почему не нашему Другу, который руководит при помощи бога? Вспомни, за что меня не любят — ясно, что я права, оставаясь твердой и внушая страх, и ты будь таким, — ты мужчина — только верь больше и крепче в нашего Друга (а не в Трепова <...> мы должны передать Бэби (так называли наследника в царской семье. — *Р. Г.*) сильную страну и не смеем быть слабыми, ради него, иначе ему будет еще труднее царствовать, исправляя наши ошибки и крепко натягивая возжи, которые ты распускаешь. Тебе приходится страдать за ошибки своих царственных предшественников <...>. Будь тверд. Я, как стена, стою за тобой и не поддамся—- я знаю, Он правильно ведет нас, а ты благосклонно внимаешь такому лживому человеку, как Тр[епов]! Хотя бы во имя любви, которую ты питаешь ко мне и Бэби, не предпринимай важных шагов, не предупредив меня и не переговорив спокойно обо всем». «Все становится тише и лучше, — казалось ей. — Только надо чувствовать твою руку. Как давно, уже много лет, люди говорили мне все то же: “Россия любит кнут!”. Это в их натуре — нежная любовь, а затем железная рука карающая и направляющая».[24]

Как и упоминание об ошибках явно либерального толка, совершенных царственными предшественниками, тема любви России к кнуту

была новой в письмах Александры Федоровны. В ее следующем письме, отправленном назавтра, 14 декабря, это проявилось с еще большей ясностью. Круг сюжетов был обычным, но требовательность нарастала. Закрытие Думы не 14-го, как требовал Распутин, а 17-го декабря вызывало у нее неодобрение, она продолжала настаивать на роспуске «сейчас же» и по возможности более позднем созыве («у них теперь есть время делать гадости», «не держись за 17-ое, время — деньги, мгновенье — золото, и когда упустишь момент — бывает трудно наверстать и поправить»). Она стремилась предотвратить приезд в Ставку великого князя Николая Николаевича («Не пускай его, злого гения. Он еще будет вмешиваться в дела и говорить о Васильчиковой»). Именно вслед за этими словами о княгине С. Н. Васильчиковой, высланной из Петрограда 2 декабря за письмо императрице, в котором Васильчикова убеждала ее прекратить вмешательство в государственные дела и удалить Распутина, Александра Федоровна обратилась к мужу со своим призывом: «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом — сокруши их всех — не смейся, гадкий, я страстно желала бы видеть тебя таким по отношению к этим людям, которые пытаются управлять тобою». Призыв этот приобрел хрестоматийную известность, а включенные в него слова о Павле I — зловещий смысл.

Пожаловавшись на симпатии к Васильчиковой в «гнилом, слабом, безнравственном» петербургском дамском обществе, Александра Федоровна противопоставляла ему «здоровых, благомыслящих, преданных подданных», которых «и надо слушать», поскольку их голос — голос России, а вовсе не голос общества и Думы». Речь шла о телеграмме от «Союзов русского народа» все с тем же требованием закрытия Дума до февраля. Но было в этом эпизоде нечто придающее ему особое значение в отношениях между царственными супругами. Телеграмма «союзников» была адресована императрице для передачи содержания императору. Телеграммы от них она получала и раньше, но на сей раз дело имело какой-то известный ей угрожающий смысл. «Если их не слушать, они возьмут дело в свои руки, чтобы спасти тебя, и может невольно выйти больше вреда, чем лишь одно твое простое слово — закрыть Думу, но до февраля <...>».[25]

Необыкновенная ожесточенность требований императрицы (Львова, Милюкова, Гучкова и Поливанова — в Сибирь, призыв к царю быть львом «в битве против маленькой кучки негодяев и республиканцев» и, наконец, под занавес: «Мы богом поставлены на

трон и должны сохранить его крепким и передать непоколебленным нашему сыну. Если ты будешь это помнить, то не забудешь, что ты властелин, и насколько это легче самодержавному монарху, чем такому, который присягал конституции!») была связана, по всей вероятности, с тем, что Александра Федоровна вступила в тесный контакт с крайне или «неумеренно», как выражался начальник Петроградского охранного отделения генерал К. И. Глобачев, правыми силами, точнее — с той частью «союзников», которая не присоединилась к Пуришкевичу, а осталась с А. И. Дубровиным. При этом она понимала грозящую справа опасность (повторим ее слова: «может невольно выйти больше вреда») и сознавала общественную предосудительность такого курса. На следующий день, 15 декабря, она смиренно спрашивала мужа: «Друг мой, Дубровин просит повидать меня — можно или нет?».[26] «Лучше не принимай Дубров[ина] теперь», — ответил он 16-го.[27] Но из того же письма императрицы от 15 декабря он не мог не видеть, что политические связи Александры Федоровны с Дубровиным так или иначе существуют. «Почему генералы не позволяют посылать в армию "Русское знамя" (небольшая патриотическая газета)? Дубровин находит, что это — позор (я согласна), — а читать всякие прокламации им можно? Наши начальники, право, идиоты», — писала императрица.[28]

А между тем она должна была сознавать, что у военного командования были основания для настороженного отношения к «Русскому знамени», проблески которого были и у нее самой, например, когда она остерегалась принять Дубровина без разрешения императора. Но особенность момента состояла в том, что Александра Федоровна, всегда державшаяся за «неумеренно правых», теперь никак не могла стать хотя бы в пол-оборота к той их части, которая, за вычетом Пуришкевича и его сторонников, оказалась единственной на стороне «старца», а, следовательно, и на ее стороне общественной силой. Это был день накануне убийства Распутина, и мрачные предчувствия появились за некоторое время до того. «Он уже давным-давно не выходит из дому, — писала Александра Федоровна в этот день, — ходит только сюда (имелся в виду дом Вырубовой в Царском селе. — *Р. Г.*). Но вчера Он гулял по улицам с Муней [Головиной] к Казанскому Собору и Исаакиевскому, и ни одного неприятного взгляда, все спокойны».[29]

Дни, предшествовавшие убийству Распутина, были отмечены, как представляется, некоторым омрачением отношений между царствен-

ными супругами. Смысл появившейся в письме от 14-го фразы о вреде, который невольно могут причинить крайние правые, если возьмут дело монархии в свои руки, зависел от того, какое крыло правых имела в виду императрица — возглавлявшееся Дубровиным или Пуришкевичем. Если бы она имела в виду пуришкевический «Союз Михаила-Архангела», это означало бы, что речь идет об угрозе Руспутину. Но мы знаем, что она вела речь о дубровинском «Союзе русского народа» и, следовательно, угроза возможного вреда была направлена в другую сторону... А 16-го Александра Федоровна прямо заявила мужу, что обижена его пассивностью в деле ее защиты от политической дискредитации. «В частной жизни муж не потерпел бы ни одного часа таких нападок на свою жену», — писала она.[30]

Впрочем размолвка между супругами на политической почве наметилась еще до отъезда царя в Ставку. Напомним слова его письма из поезда сейчас же после этого. В них признание того, что дни, проведенные вместе, были тяжелыми, восхищение силой и твердостью императрицы, извинение за несдержанность, когда «был не в духе» («иногда настроение должно прорваться!») и обещание «стать резким и ядовитым». А в цитированном заклинании Александры Федоровны против уступок в ее письме 6 декабря обратим внимание на ее поставленные в скобки слова: «ты говорил, что в конце концов тебе придется это сделать».

Обращение к таким источникам, как перлюстрированная переписка осведомленных участников политических событий, дает поденные сведения о нарастании изоляции царственной четы. Союз объединенного дворянства, пуришкевический Союз Михаила-Архангела стояли чуть ли не в первых рядах противников Распутина и его влияния. Высылка Васильчиковой заставила высказаться даже министра двора барона В. Б. Фредерикса, всегда беспрекословно выполнявшего монаршую волю. Он не допустил снятия с Васильчиковой шифра фрейлины, заявив: «Вы не можете отнимать то, чего сами не дали», а по поводу намерения снять знаки шталмейстера у ее мужа кн. Б. А. Васильчикова пригрозил, что снимет свои аксельбанты.

Москвич кн. Г. П. Трубецкой писал о своих впечатлениях о посещении Петрограда, где «все, даже чиновники до товарищей министров, возлагают надежду на одну Думу» и боятся, что она не доведет «своего дела до конца». Он завтракал с П. Б. Струве, Н. Н. Львовым, которые были «в очень приподнятом настроении» и в то же время

поражали «скромностью своих желаний» («Во время войны они хотели бы вовсе не министерства общественного и думского, а просто из несомненно честных людей. В качестве министра внутренних дел они называли А. Д. Самарина»).[31] Но и с умеренным крылом оппозиции соглашение у власти не получалось.

«Идет упорная борьба между двумя придворными партиями, — писал член Думы А. А. Эрн 1 декабря. — Он будто бы склонен на уступки, согласен, чтобы за короной было оставлено назначение четырех министров, председателя Совета министров, военного, морского и министра двора. Она убеждает, что на это Он не имеет права итти, так как он самодержец».[32] В представлении авторов писем борьба между Николаем II и Александрой Федоровной носила самые острые формы. «Мы переживаем то, что переживали наши предки времен Петра III», — говорилось в одном из писем. В другом сообщались слухи противоположного характера: «В Москве народ говорит, будто полковник с Красного крыльца в Москве объявит о заточении своей супруги в монастырь».[33] Сам автор письма считал, что «до этого не дойдет дело».

В личных беседах, как отмечалось в письмах, царь проявил склонность к компромиссу. «Родзянко докладывал государю, что Г[ригорий] Р[аспутин] продажный человек и что необходимо министерство доверия. На что, говорят, государь сказал: “Не рано ли будет”. Когда Родзянко говорил о всеобщем желании, чтобы Протопопов ушел, государь сказал: “Я об этом подумаю”».[34]

Было ли это такой манерой поведения, которая считалась чертой его характера, или оно определялось пониманием необходимости в политических переменах?

Вернемся к декабрьской переписке императора и императрицы, обращая теперь внимание на его отношение к исходившим из Царского села требованиям. 6 декабря Александра Федоровна просила, чтобы Фредерикс разрешил напечатать две полученные ею «милые телеграммы из Архангельска от монархической партии» и ее ответ, составленный с помощью Распутина.[35] На самом деле телеграммы были из Астрахани от Н. Н. Тихановича-Савицкого. Обещая сказать о них Фредериксу, император писал: «Этот человек мне часто телеграфирует. Я помню — еще в те времена, когда был жив Столыпин, — он посылал мне такие доброжелательные телеграммы. Он же не одобрял речи Шуваева и Григоровича в Думе».[36] Тем не

менее, когда Фредерикс прежде чем напечатать телеграммы, решил «разузнать о человеке, приславшем их», царь, несмотря на повторные настояния жены, согласился с ним («И я нахожу, что это правильнее») и, выражаясь современным языком, «отфутболил» ее к Протопопову. Между тем Фредерикс печатание телеграмм запретил. Александра Федоровна назвала это безобразием, но последующие телеграммы правых, о которых она сообщала 14 декабря, были по содержанию таковы, что она просила лишь о приказании Фредериксу «поблагодарить “тепло” и “от нас”», чтобы «поддержать их», и добилась этого.[37]

Поначалу император в ответ на требования быть твердым с Треповым отвечал согласием. «Будь уверена, моя любимая, что я буду знать, как ответить Трепову, когда он явится», — писал он 7-го. «Не мучься, моя дорогая. Теперь я спокоен и тверд и знаю, что отвечать», «Я намерен быть твердым, резким и нелюбезным», — успокаивал он Александру Федоровну 8-го и 9-го. Но из его письма 13-го следовало, что после приема в Ставке Трепова, который «был смирен и покорен и не затрагивал имени Прот[опопова]», царь, хоть лицо его при этом «было нелюбезно и жестко», одобрил треповский план роспуска Думы с 17 декабря до 19 января, против которого так возражала Александра Федоровна. Трепов соблазнил царя «логичностью» своего замысла «показать им и всей стране, что несмотря на все сказанное ими, правительство желает работать вместе».[38] Известное назидание Александре Федоровне содержалось и в словах царя о том, что он сам намечал роспуск Думы лишь на начало февраля, в то время как она вместе с Распутиным настойчиво требовала сделать это не с 17, а с 14 декабря.

Не случайно, по-видимому, письмо императора на следующий день, 14 декабря, шедшее навстречу известному читателю необыкновенно требовательному письму императрицы от того же числа, начиналось многозначительной фразой: «Нежно благодарю за строгий письменный выговор. Я читал его с улыбкой, потому что ты говоришь, как с ребенком».[39] Тем не менее письмо носило деловой характер. В нем он обещал найти Трепову преемника, «а потом вытолкать его — после того, как он сделает грязную работу» — закроет Думу, посылал ей списки кандидатов в Государственный совет, которые Трепов ему оставил, а она передала Протопопову (за что просила затем прощения у мужа, очевидно, выразившего ей свое недовольство).[40]

Но наряду с тем, как нарастала требовательность Александры Федоровны и Распутина в последние дни жизни «старца», усиливалось сопротивление императора. 15-го, отвечая на письмо из Царского от 13-го («В нем столько вопросов, что не знаю, как на все ответить») он написал знаменательную фразу, в сущности отвергавшую воинственные рекомендации. Она гласила: «Я считаю безусловно необходимым водворить мир и спокойствие среди всего населения нашей страны».[41]

Определенной была его реакция в письме от 16-го на требование не созывать Думу до февраля, содержавшееся в известном читателю максималистском письме Александры Федоровны от 14-го. Сообщив ей, что он за это письмо не сердится, он добавил: «Но изменить день созыва Думы (12 янв.) я не могу, так как он уже назначен в указе, который появится в газетах завтра».[42] Впрочем тут же он соглашался с женой в том, что Протопопова следует утвердить на посту министра. Однако 17-го он отказал жене в ее просьбах о репрессиях задевавшим ее лицам («Ведь я здесь газет не читаю») и не без резкости ответил на ее категорическое указание о том, как ему проводить совещание с главнокомандующими фронтами, предстоявшее в Ставке 17-го. «Только военные и никаких политических вопросов!» — писала она 16-го. «Как ты можешь думать, что генералы на военном совете станут обсуждать политические вопросы? Послушал бы я, как кто-нибудь из них затронул бы такую тему в моем присутствии!» — ответил он на следующий день.[43]

Пожалуй, в свете той роли, которую сыграли главнокомандующие фронтами в принятии решения об отречении Николая II, предчувствие не обмануло Александру Федоровну.

Как бы то ни было перед убийством Распутина давление его кружка на императора достигло такой силы, что это придает достоверность появившимся в свое время сведениям о том, что трагическое для Александры Федоровны событие, сопровождавшееся ее опасениями за судьбу Вырубовой, вызвало у Николая II чувство облегчения.[44] Двухмесячное пребывание царя в Царском селе не изменило, как представляется, ни твердого настроя императрицы, ни слабых попыток императора противостоять этому.

Несмотря на отказ в продлении думских каникул, данный Николаем II Александре Федоровне в письме 16 декабря, ей удалось настоять на своем. 19 декабря царь вернулся из Ставки, и 6 января

появился указ об отсрочке возобновления занятий Думы и Государственного совета, как того требовала императрица, до 14 февраля. Срок это был установлен с ведома нового премьера Н. Д. Голицына, сменившего Трепова, уволенного, наконец, по беспрестанным требованиям Александры Федоровны. В определении этого срока принимал участие Протопопов, утвержденный к новому 1917 г. министром, как того требовала императрица. С другой стороны, 2 января Протопопов и назначенный незадолго до того министром иностранных дел Н. Н. Покровский, представитель либерального крыла Совета министров, обсуждали с Голицыным проект рескрипта на его имя, в котором речь шла о продовольственном вопросе, о благожелательном отношении к законодательным учреждениям и, наконец, о том, что правительство имеет в виду опираться на земские учреждения.[45]

Между тем в течение января резко усилилась активность той группы правых, которые, опираясь на Александру Федоровну, вынашивали план восстановления самодержавия с пересмотром Основных законов.[46]

Когда переписка возобновилась с отъездом императора в Ставку 22 февраля 1917 г., в тех немногих письмах, которые были написаны до краха монархии, как и раньше, Александра Федоровна требовала твердости, а царь пытался отстаивать свой образ поведения.

В письме в день отъезда, оставленном ею по традиции в купе, была почти слово в слово повторена ее прежняя сентенция, появившаяся в первом из двух известных читателю особенно строгих писем — написанном 13 декабря — о «властной руке», которая требуется русским. «Ты никогда не упускал случая, — говорилось в нем, — показать любовь и доброту, — дай им теперь почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого — сколь многие недавно говорили мне: “нам нужен кнут”. Это странно, но такова славянская натура — величайшая твердость, жестокость даже — и горячая любовь. С тех пор как они стали теперь “чувствовать” тебя и Калинина, они начали успокаиваться. Они должны научиться бояться тебя — любви одной мало. Ребенок, обожающий своего отца, все же должен бояться разгневать, огорчить или ослушаться его! Надо играть поводьями: ослабить их, подтянуть, но пусть всегда чувствуется властная рука. Тогда доброта больше будет цениться, мягкость одну они не понимают».[47]

«Ты пишешь о том, чтобы быть твердым — повелителем, это совершенно верно, — в тот же день отвечал царь. — Будь уверена, я не забываю, но вовсе не нужно огрызаться на людей направо и налево. Спокойного резкого замечания или ответа очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его место».[48]

Откуда именно ждали опасности царственные супруги, какие социальные слои считали они наиболее себе враждебными в последние дни существования монархии? Краткость написанного царем не дает возможность со сколько-нибудь значительной достоверностью установить его точку зрения. Что же касается Александры Федоровны, то ее слова о кулаке и кнуте, необходимых русским, относились не столько к народным массам, сколько к «людям из высшего общества», сердца которых были, по ее словам, «странно сказать, <...> не мягки и не отзывчивы». «В обращении с ними нужна решительность, особенно теперь», — так завершила она эту тему в письме 22 февраля. Правда, обычного в прежнее время упования на народную любовь к монархии и преданность ей в последних письмах не было. Хотя была надежда на то, что в присутствии царя в Петрограде любовь эта в сочетании со страхом помогут делу. Призывая его вернуться поскорее, она добавляла, что это с ее стороны «не одно только эгоистическое желание». «Я знаю слишком хорошо, как “ревущие толпы” ведут себя, когда ты близко, — писала она. — Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что, где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет».[49]

Очевидно, заверения справа о безграничности народной преданности монархии сталкивались в ее восприятии со сведениями о выделении Петроградского военного округа из состава Северного фронта и о регулярно проводившихся полицейскими властями совещаниях для подготовки к подавлению массового движения в столице. Правда, даже в разгар его, 25 февраля, она, называя его «хулиганским», видела корень зла в действиях либеральной оппозиции («это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя»[50]), всякой возможности соглашения с которой она так упорно противостояла.

Впрочем, помешало ли бы такое соглашение представляющемуся неотвратимым революционизированию масс — вопрос, выходящий за рамки настоящего сообщения.

[1] Семейная переписка Романовых / Подг. к печати А. А. Сергеев. Перевод с англ. яз. С. Г. Займовского // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 158.

[2] *Мельгунов С. П.* Творимые легенды (Из истории февральских дней 17 г.) // Возрождение. 1950. № 10. С. 126.

[3] *Тарле Е. В.* Два заговора. Соч. в 12-ти. т. Т. 11. М., 1961. С. 684–689.

[4] Последние новости (Париж). 1936, 9 сентября. № 5647; 13 сентября. № 5651.

[5] *Верховский А. И.* На трудном перевале. М., 1959. С. 144–158, 206, 228.

[6] *Мельгунов С.* На путях к дворцовому перевороту. Париж, 1931. С. 90–100.

[7] *Брусилов А. А.* Мои воспоминания. М., 1983. С. 223–224.

[8] *Лелевич Г.* Февральская революция в белогвардейском описании // Пролетарская революция. 1923. 1(13). С. 194; О Г. Лелевиче см.: *Рабинович М. Б.* Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996. С. 29–36.

[9] Милюков обвинил власть в глупости или — без существенных оснований — в измене. Дума и организованная общественность поддержала второе толкование — «измену» («даже там, где сам я не был в нем вполне уверен», — признался Милюков в своих «Воспоминаниях». Т. 2. М., 1990. С. 237). Оценивая политическую линию Милюкова, преподававший ему в университете проф. В. И. Герье, известный историк, назвал его в своем письме А. Н. Куломзину «дипломированным нахалом». «Это свойство его мне известно с его студенческой скамьи», — добавил он (*Ганелин Р. Ш.* Государственная Дума и правительственная власть в перлюстрированной переписке кануна 1917 года // Отечественная история. 1997. № 1. С. 153).

[10] Красный архив. 1923. Т. 4. С. 159–161.

[11] Там же. С. 159–160.

[12] Там же. С. 161.

[13] Там же. С. 163–164. В. Н. Шаховской был министром торговли и промышленности с 1915 г. Н. А. Добровольского Александра Федоровна прочила в преемники Макарову.

[14] Там же. С. 166.

[15] Там же. С. 170–171.

[16] Там же. С. 173. Генерал Вас. И. Гурко заменял на посту начальника Штаба верховного главнокомандования заболевшего генерала М. В. Алексеева. И. К. Григорович — морской министр.

[17] По-видимому, речь шла о П. К. Ламздорфе, вице-директоре Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий МВД. Легко предположить, что он рассказал о намерении Трепова самому Протопопову, который поставил в известность Александру Федоровну.

[18] Красный архив. 1923. Т. 4. С. 174.

[19] Руководство Думы требовало бесцензурной публикации произносившихся в ней речей.

[20] Запреты заседаний съезда земств и городов под председательством кн. Г. Е. Львова полицейским властям осуществить не удавалось.

[21] Красный архив. 1923. Т. 4. С. 176.

[22] Письмо Александры Федоровны 15 декабря 1916 г. // Там же. С. 190.

[23] Там же. С. 176.

[24] Там же. С. 182–184.

[25] Там же. С. 86–187.

[26] Там же. С. 191.

[27] Там же. С. 196.

[28] Там же. С. 191.

[29] Там же. С. 190.

[30] Там же. С. 194.

[31] *Ганелин Р. Ш.* Государственная Дума и правительственная власть в перлюстрированной переписке кануна 1917 года. С. 153.

[32] Там же. С. 155. Эрн сообщал в этом письме об опасениях в кадетской партии за жизнь Милюкова.

[33] Там же.

[34] Там же.

[35] Красный архив. 1923. Т. 4. С. 167.

[36] Там же. С. 169.

[37] Там же. С. 170–172, 186, 191.

[38] Там же. С. 170–171, 174, 184–185.

[39] Там же. С. 189. Напомним слова Александры Федоровны: «не смейся, гадкий», которыми она сопроводила свое требование к мужу быть Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом.

[40] Там же. С. 189, 194.

[41] Там же. С. 191.

[42] Там же. С. 196.

[43] Там же. С. 195, 199.

[44] Отметим, что 23 декабря он телеграфировал матери, ходатайствовавшей за Юсупова и Дмитрия Павловича, что дело будет немедленно прекращено (Полк. Г. Г. Перетц. В Цитадели русской революции. Записки коменданта Таврического дворца. Изд. 2-ое. Петроград, 1917. С. 10).

[45] *Ганелин Р. Ш.* После Распутина // Историк и революция. Сб. статей к 70-летию со дня рождения О. Н. Знаменского. СПб., 1999. С. 123. См. там же (С. 134–135) о попытках Николая II избегать крайностей при проведении твердой линии в январско-февральские дни.

[46] В дополнение к тому, что содержится по этому вопросу в работах А. Я. Авреха и В. С. Дякина, нам приходилось писать о нем, опираясь в частности на материалы, опубликованные Ю. И. Кирьяновым (*Ганелин Р. Ш.* Государственная Дума и правительственная власть в перлюстрированной переписке кануна 1917 года. С. 158; *Ганелин Р. Ш.*, *Флоринский М. Ф.* Российская государственность и первая мировая война // Февральская революция. От новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 29–31).

[47] Красный архив. 1923. Т. 4. С. 201.

[48] Там же.

[49] Там же. С. 201–202.

[50] Там же. С. 208.

В. А. Кутузов

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ: НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

Для тех, кто работал в блокаду на ленинградских предприятиях, кто сражался у стен нашего города или бился с фашистами на оккупированной территории области, близко и дорого имя Алексея Александровича Кузнецова, второго секретаря Ленинградского горкома партии, члена Военного совета фронта. В начале 1945 г. А. А. Кузнецова избрали первым секретарем Ленинградского горкома и обкома.

Во время войны и блокады необычайно вырос авторитет «ленинградского Кузнецова». Он стал весьма популярен не только в нашем городе, но и в стране. В марте 1946 г. А. А. Кузнецова избирают секретарем ЦК и членом оргбюро. Почти три года он входит в состав высшего партийного руководства.

Из публикаций об А. А. Кузнецове следует прежде всего выделить книгу, выдержавшую два издания.[1] Отдавая должное авторам, сумевшим создать на материалах Ленинградского и Новгородского партархивов и воспоминаний, в том числе и собранных специально для данной книги, самое подробное жизнеописание А. А. Кузнецова, нельзя не отметить, что их труд несет в себе типичные недостатки литературы тех лет. Помимо лакировки своего героя, В. Н. Базовский и Н. Д. Шумилов со старых позиций оценивают его участие в проведении коллективизации, в борьбе с новой оппозицией, ничего не пишут о причастности А. А. Кузнецова к репрессиям 30-х гг. Не касаются они и «Ленинградского дела», сыгравшего трагическую роль в судьбе их героя. Главное внимание в книге уделено раскрытию роли А. А. Кузнецова в обороне Ленинграда. Последнему сюже-

ту отводится также большое место в многочисленной литературе, посвященной обороне Ленинграда, в том числе и мемуарной.

Следующую группу публикаций составляют юбилейные газетные статьи, появившиеся в связи с 60-летием,[2] 70-летием[3] и 80-летием[4] Алексея Александровича. Все они, по вполне понятным причинам, включая публикации автора данной статьи, носят парадный характер и также несут в себе отпечаток своего времени.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. возрос интерес к А. А. Кузнецову в связи с изучением «Ленинградского дела»,[5] появились даже газетные статьи о нем.[6] Расширенный и доработанный вариант газетной публикации А. Афанасьева был опубликован в книге.[7]

Отметим, что наиболее хорошо изучена военная и отчасти послевоенная биография А. А. Кузнецова. Что же касается начала его политической деятельности, то она освещена в гораздо меньшей степени. Ведь даже в книге, специально посвященной жизнеописанию А. А. Кузнецова, начало его политической биографии показано скупо, занимает незначительную часть текста. Между тем этот период в его жизни также представляет немалый интерес. Именно тогда формировались те качества нашего героя, которые наиболее ярко проявились в дальнейшем.

Основные черты характера закладываются, как известно в детстве, в семье. Не является исключением в этом отношении и наш герой. Алексей Александрович Кузнецов родился 20 февраля 1905 г. в г. Боровичи Новгородской области. Его отец, Александр Иванович Кузнецов, был, по воспоминаниям, внешне видный, степенный мужчина, отличавшийся природным умом, трудолюбием и высокой нравственностью. К нему нередко приходили соседи за советом по различным вопросам, включая и семейные, ибо знали, что у Кузнецовых царили мир и согласие, а сами они всегда готовы оказать в любой форме помощь нуждающимся. Вначале Александр Иванович трудился грузчиком-упаковщиком на водочном заводе, затем перешел на лесопильный завод, где труд оплачивали лучше. По словам Е. А. Славиной, работавшей вместе с А. И. Кузнецовым, позднее одной из первых депутатов Боровичевского городского Совета, Александр Иванович «с виду был строг, и на самом деле был строг, если сталкивался с несправедливостью, умышленным обманом, с подлостью. А по натуре — мягок и сердечен. Не помню, чтобы он кого-нибудь незаслуженно обругал <...>».[8] Алексей, по обще-

му мнению старожилов, много унаследовал от отца, от его характера и внешнего облика, тонкие черты продолговатого лица, четко очерченный рот, выразительные темные глаза.[9]

Жена Александра Ивановича, Мария Ивановна, по обычаю тех лет вела домашнее хозяйство, воспитывала троих детей, младшим из которых был Алексей.

Семья Кузнецовых жила в скромном достатке. С детских лет дети приучались к труду, помогали по хозяйству. Будучи еще маленьким, Алеша собирал на старых шахтах колчедан, принося домой заработанные от его продажи копейки. Это не мешало ему хорошо учится. В. А. Кривцова, проработавшая в школах Боровичей около 50 лет, вспоминала о своем ученике: «Помню, хорошо помню его мальчиком. Скромный, вдумчивый. Учился отлично, охотно помогал отстающим ученикам. Алеша сознавал, что он лучший ученик. Мы его нередко ставили в пример. Однако мальчик не зазнавался, всегда был на равных со своими сверстниками. Правда, с заносчивыми сынками купчиков ввязывался в драки <...>».[10]

Бывшая одноклассница А. А. Кузнецова К. А. Хамецкая дополнила слова учительницы: «Алексей приходил в школу раньше всех, заранее договорившись с отстающими и объяснял непонятные для них уроки <...>. Иногда мы с Лешей приводили отстающих учеников к нему домой. Мама его очень сердечная женщина, всех нас накормит, а потом мы садимся за уроки <...>».[11]

В 1917 г. Алексей Кузнецов перешел в среднюю школу, преобразованную из прежнего городского училища. По свидетельству преподавателя истории и литературы П. И. Илларионова, ученик его много и вдумчиво читал сверх программы, ответы юноши на уроках были обстоятельными и глубоки.[12] В школьные же годы Алексей приобщился к общественной работе.

На формирование мировоззрения Алексея исключительное влияние оказал А. И. Каршеник, член партии с 1904 г., работавший в Боровичах в органах народного образования и уездном комитете партии. С помощью этого образованнейшего большевика, имевшего богатую библиотеку, юноша познакомился с трудами социалистов-утопистов, Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина. Общение Алексея с семьей Каршеник продолжалось и после окончания им средней школы в 1922 г.[13]

Как ни хотелось способному юноше продолжить образование, однако ввиду тяжелых материальных условий пришлось зарабатывать

на жизнь. В 1922 г. Алексей устроился рабочим на станцию Боровичи.[14] Спустя восемь месяцев он переходит бракером-сортировщиком на лесопильный завод № 15 «Пролетарий».[15]

В начале 1923 г., 18-ти лет, А. А. Кузнецов вступает в комсомол, организует на заводе ячейку, становится ее первым секретарем. Энергичного вожака заводских комсомольцев рекомендуют в 1924 г. на освобожденную работу – ответственным секретарем Ореховского волостного комитета РЛКСМ Боровичского уезда.[16] Здесь среди сельской молодежи Алексей также хорошо проявил себя и в январе 1925 г. его принимают в члены партии.[17]

Молодого коммуниста выдвигают в мае 1925 г. инструктором, затем заворготделом Боровичского уездного комитета комсомола.[18] По свидетельству будущего министра СССР Л. П. Грачева, в те годы комсомольского работника, Алексей отличался тогда «особой серьезностью, деловитостью».[19] Не случайно в августе 1925 г. он избирается секретарем Боровичского укома РЛКСМ.[20] Позже, в мае 1937 г., при обсуждении кандидатуры А. А. Кузнецова в состав Дзержинского РК ВКП(б), один из делегатов районной конференции следующим образом оценивал этот период деятельности молодого комсомольского работника: «Когда он (А. А. Кузнецов. — *В. К.*) работал в комсомоле в Боровичах, то какие бы трудные задачи ни стояли <...>, т. Кузнецов сумел и мог сплачивать вокруг себя крепкое ядро из комсомольцев. Он пользовался большим авторитетом в комсомольской организации и в партийной организации, в партийных кругах».[21]

Когда потребовалось укрепить руководство Маловишерского укома РЛКСМ, то выбор пал на А. А. Кузнецова, который в октябре 1925 г. становится его секретарем.[22] Здесь он впервые включается во внутрипартийную борьбу. Вот как вспоминал об этом позже сам А. А. Кузнецов: «7 января 1926 г., вопреки бывшему оппозиционному руководству Новгородского губкома, у нас состоялась комсомольская конференция, где был обсужден политический вопрос и было принято приветствие ЦК нашей партии <...>».[23] На такой позиции Алексея Кузнецова сказалась, как нам представляется, его безоговорочная вера в правоту Центрального Комитета. Будучи молодым и малоискушенным в политике, он мог и не догадываться, что на принципиальных разногласиях в партии весьма существенно сказывалась борьба за власть.

После двух лет работы в Малой Вишере, в сентябре 1927 г. А. Кузнецова переводят заведующим экономическим отделом Новгородско-

го окружкома ВЛКСМ, а с августа 1928 г. по май 1929 г. он секретарь Чудовского райкома комсомола.[24] На этом самостоятельном участке работы Алексей проявил себя, по мнению аппарата обкома комсомола, с самой хорошей стороны. Когда секретаря Лужского окружкома ВЛКСМ отозвали в распоряжение областного комитета, то на его место был рекомендован А. А. Кузнецов. В протоколе заседания бюро Лужского окружного комитета ВЛКСМ от 6 июня 1929 г. читаем: «С кандидатурой, рекомендованной на секретаря ОК тов. Кузнецова — согласиться. Тов. Кузнецова ввести в состав бюро ОК».[25] Пленум окружкома утвердил решение бюро.

Расположенный на юге области Лужский округ, включавший в себя 11 районов, являлся ведущим в сельскохозяйственном отношении в Ленинградской области. А. Кузнецов возглавил окружком в момент наивысшего обострения классовой борьбы, вызванной прежде всего сталинскими перегибами, грубейшими отступлениями от ленинской политики по отношению к крестьянству. В ответ на непосильное обложение крестьян хлебозаготовками усилилось их сопротивление, в том числе и молодежи. В информационной сводке от 15 октября 1929 г. по предварительным итогам участия комсомольской организации в хлебозаготовительной компании по Лужскому округу отмечалось «нездоровое отношение к хлебозаготовкам отдельных групп комсомольцев».[26] Так, в Струго-Красненском районе некоторые члены ВЛКСМ говорили руководителям: «Вы этими хлебозаготовками разоряете середняка, не даете ему опериться. Где же ваша помощь крестьянству?». Отдельные комсомольцы голосовали против хлебозаготовок. По деревням ходил, как его тогда расценивали, «слух ложного порядка о том, что сейчас отбирают хлеб, а после будут отбирать скот, сено и т. д.».[27] К этому времени все больше набирала силу административно-командная система. От местных властей требовалось беспрекословное выполнение указаний центра. Алексей Кузнецов, без сомнений и колебаний, мобилизовал на это комсомольцев и молодежь. «Мне приходилось бывать с А. А. Кузнецовым на сельских сходах, где его засыпали колючими вопросами, слышать злые выкрики, даже угрозы, — вспоминал позднее Д. П. Павлов, — но Алексей Александрович никогда не терялся. Остроумной фразой он срезал подкулачника, отвечал на вопросы темпераментно и обстоятельно. В конце схода атмосфера в зале менялась. Кузнецов приобретал много друзей <...>».[28]

Убежденный в правоте «генеральной линии партии», А. А. Кузнецов приложил руку к замене местного руководства, подверженного, по его мнению, правому уклону. «Ленинградская правда» позднее писала: «Лужский окружком ВКП(б), возглавлявшийся тогда людьми, впоследствии разоблаченными как враги народа, вел антисоветскую, право-опортунистическую политику. Тов. Кузнецов вступил в борьбу с тщательно замаскировавшимися врагами, сигнализировал об их подрывной работе в областной комитет партии и руководство округа было обновлено. Непримиримость к врагам — вот черта, характеризующая тов. Кузнецова как большевика ленинца-сталинца».[29]

Последнее и способствовало в немалой степени быстрому росту комсомольского работника.

Летом 1930 г. было решено ликвидировать округа. В связи с этим 21 июля бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ утвердило порядок ликвидации окружных комсомольских организаций. На этом же заседании постановили: «Утвердить зам. зав. оргинструкторским отделом обкома ВЛКСМ по руководству деревенскими организациями тов. Кузнецова, отозвав его с работы секретаря Лужского окружкома. Предложено тов. Кузнецову приступить к работе с 1 августа».[30]

Учитывая значительный опыт Алексея и его высокие деловые качества, этот выбор можно считать весьма удачным. Не случайно он вскоре возглавил в обкоме массово-производственный отдел.[31] Однако в аппарате областного комитета ВЛКСМ А. А. Кузнецов проработал недолго. В конце ноября 1931 г. пленум Ленинградского обкома комсомола постановил выделить из областной организации комсомольскую организацию г. Ленинграда в самостоятельную единицу с созданием городского комитета ВЛКСМ.[32] После конференции, состоявшейся 20 декабря 1931 г., А. Кузнецова утвердили заведующим производственно-техническим отделом Ленинградского горкома, ввели в состав его бюро.[33] Главной задачей отдела было развертывание соцсоревнования и ударничества среди молодежи, рационализации и изобретательства, увеличение вклада юношей и девушек в своевременное выполнение заказов ударных строек и многое другое, связанное с плановыми заданиями первой пятилетки в области промышленности.

Бывший журналист молодежной газеты вспоминал: «Помню, как вместе с Кузнецовым обсуждали, с чего начать, как повести задуманный нами поход “Смены” за внедрение достижений науки в произ-

водство. Кузнецов предложил взять под наблюдение газеты несколько весомых, сулящих большой экономический эффект научных работ ленинградских научно-исследовательских институтов и проследить их путь от лаборатории до цеха. “Первыми помощниками газеты, — говорил он, — должны стать комсомольцы научных институтов, заводских лабораторий, комитеты комсомола предприятий и учреждений, где особо проявляют себя силы сопротивления новому в технике” <...>. Не без помощи А. А. Кузнецова “Смена” стала в те годы своеобразным штабом союза науки, техники и производства».[34]

По всей вероятности, именно в начале тридцатых годов, как вспоминали ветераны, на энергичного толкового заведующего отделом ЛГК ВЛКСМ и обратил внимание С. М. Киров. 28 июня 1932 г. на заседании объединенного секретариата Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) под председательством С. М. Кирова был заслушан вопрос «О работе т. Кузнецова». В протоколе читаем: «Утвердить т.Кузнецова ответственным инструктором ЛК ВКП(б), предоставив ему месячный отпуск с 1-го июля с. г.».[35] Молодому инструктору было поручено курировать один из крупнейших – Московский райком ВКП(б). В личном деле А. А. Кузнецова имеются краткие характеристики, относящиеся к этому периоду. Из одной из них видно, что «тов. Кузнецов дисциплинирован, энергичен, умеет и любит работать, в практической работе проводит генеральную линию партии».[36] В другой характеристике, также относящейся к 1933 г., читаем: «К работе относится добросовестно, инициативен, политически развит».[37] Из протокола № 3 открытого партийного собрания смены «А» дерево-каблучного цеха фабрики «Пролетарская победа» № 2 от 22 октября 1933 г., выписка из которого также имеется в личном деле, видно, что работу Алексея Александровича высоко оценивало не только его непосредственное руководство, но и рядовые коммунисты. Вот что говорили об инструкторе горкома на собрании: «У Кузнецова большевистский подход к делу. Он, обследуя нашу фабрику, сразу же окунулся в цех и болел за недостатки в работе <...> и большое внимание уделял устранению этих недостатков. Ведет занятие в школе ленинизма».[38]

Вскоре А. А. Кузнецова перебросили на другой участок — курировать первичные организации оборонных заводов Ленинграда,[39] что говорило об особом политическом доверии к нему. Не успел он как следует познакомиться с закрепленными за ним первичными органи-

зациями, как в январе 1934 г. последовало новое выдвижение — на этот раз — заместителем секретаря Смольнинского РК ВКП(б).[40] Наряду со многими другими райкомовскими обязанностями, а А. А. Кузнецов являлся также членом бюро РК ВКП(б), на него было возложено непосредственное руководство и организация выдачи партийных документов.[41] Предпочитая по складу своего характера кабинетному стилю работу с людьми, Кузнецов не уделял данной стороне дела достаточного внимания. Он, видимо, не сразу понял, что в числе многих других мер, в основном репрессивных, принятых ЦК ВКП(б) после убийства С. М. Кирова, явился и жесткий контроль за выдачей партийных билетов. В марте 1935 г. постановлением секретариата обкома ВКП(б) «заместителю секретаря Смольнинского райкома ВКП(б) тов. Кузнецову <...> за безответственное отношение к постановке дела выдачи и хранения партбилетов в аппарате райкома и отсутствие контроля за работой технического аппарата» был объявлен выговор.[42] Важно отметить, что и в данной ситуации Алексей Александрович, проявив свойственную ему энергию и настойчивость, сумел быстро выправить положение, так что партийное взыскание не отразилось на его дальнейшем росте. Уже 1 апреля 1935 г., после введения в штат райкома должности 2-го секретаря, А. А. Кузнецов был утвержден в ней, одновременно возглавив вновь созданный отдел парткадров.[43]

Буквально через год, его избрали первым секретарем вновь созданного Дзержинского райкома партии.[44]

Напутствуя А. А. Кузнецова, 1-й секретарь Смольнинского РК ВКП(б) Ю. И. Касимов пожелал дальнейших успехов «Леше Кузнецову, молодому, но хорошему большевику, которого выдвинул горком на эту работу».[45]

Должность первого секретаря райкома требовала тогда от претендента на нее богатого жизненного опыта, разносторонней подготовки, хорошего знания людей, готовности принятия самостоятельных решений и многого другого. Как строевой генерал не может не миновать ступени командира полка, так и партийный работник высоко ранга должен был, как правило, пройти школу первого секретаря райкома. А. А. Кузнецов прошел ее, по меркам того времени, весьма успешно. Об этом красноречиво говорят материалы 2-й партийной конференции Дзержинского района (май 1937 г.). Всего по кандидатуре А. А. Кузнецова, выдвинутой в новый состав райкома, выступило 15 делегатов. Они отмечали высокие деловые качества секретаря

райкома, его большой авторитет («умеет по-большевистски драться за разрешение задач и доводить их до конца», «свои недостатки исправляет на ходу», «всегда дает исчерпывающие ответы», «мы должны гордиться тем, что наши молодые кадры умеют так работать»),[46] подчеркивали его демократичность («прислушивается к голосу рядовых работников», «в любое время никогда не откажется принять», «отсутствие даже всякого намека на бюрократизм»),[47] обращали внимание на скромность, честность, принципиальность, серьезность.[48]

Лишь один из выступающих отметил его недостаток: «слишком мягок наш Леша, добродушен. Это иногда сказывается на работе аппарата и нас секретарей».[49] На это замечание тотчас возразил другой оратор: «Т. Кузнецов показал себя образцовым большевиком <...>, во всех принципиально-политических вопросах обладает большевистской стойкостью, большевистской твердостью».[50]

В качестве главной заслуги секретаря райкома указывалось, что «т. Кузнецов <...> проводил правильно политику партии <...> и во вновь избранном районном комитете он будет продолжать сталинскую политику».[51]

Данное утверждение не было голословным, а подтверждается многими документами. «С неутомимой энергией боролся тов. Кузнецов за разоблачение врагов, орудовавших на идеологическом фронте, в Государственном Эрмитаже, Русском музее, музее революции и ряде других культурных учреждений»,[52] — писала несколько позже группа партийных работников Дзержинского района. Список подобных учреждений можно пополнить Институтом Красной профессуры, Ленинградским библиотечным институтом имени Н. К. Крупской, Ленинградским отделением Союза советских писателей. В Институте Красной профессуры, как отмечалось на уже упоминавшейся 2-й отчетно-выборной партийной конференции Дзержинского района, райком «немало разоблачил врагов». Дело дошло до того, что там из-за страха перестали преподавать социально-экономические дисциплины, ибо преподавателей этих дисциплин «часто арестовывали».[53]

В архиве сохранилась докладная записка секретарю ЛОК ВКП(б) А. С. Щербакову и ЛГК ВКП(б) В. И. Шестакову 15 декабря 1936 г., подписанная А. А. Кузнецовым. В ней в дополнение к ранее посланной докладной записке, где речь шла «о засоренности Ленинградского отделения союза писателей враждебными и чуждыми людьми, выходцами из других партий, о замкнутости ряда писателей (Каве-

рин, Тынянов, Зощенко) в связи с обсуждением обвинительного заключения над бандой контрреволюционеров-троцкистов-зиновьевцев»,[54] анализировалось положение дел в ССП за время после предшествующей докладной записки. Речь, в частности, шла о том, что «вопросы, связанные с последними разоблачениями троцкистско-зиновьевских убийц-реставраторов капитализма ставятся формально, проходят стороной мимо основной массы писателей. В результате такие писатели, как Тихонов, Федин и другие ходатайствуют за арестованного Оксмана, чем по существу демонстрируют недоверие к органам пролетарской диктатуры».[55]

Можно предположить, что докладные не остались без внимания. Уже к маю 1937 г. из 300 членов ССП, проживавших в Ленинграде, 40 человек было арестовано.[56]

Этому способствовала и деятельность Дзержинского райкома партии, возглавляемого А. А. Кузнецовым. Именно по инициативе райкома был исключен из партии как агент правых и враг народа первый секретарь Ленинградского отделения ССП А. Е. Горелов.[57] Позднее Анатолий Ефимович был арестован и, по его словам, после окончания срока заключения, при прямом содействии А. А. Кузнецова провел в тюрьмах и ссылках дополнительно 14 лет.[58]

Эти факты как бы противоречат блестящей характеристике А. А. Кузнецова, данной на районной конференции. Объяснить такой диссонанс, можно только тем, что тогда большинство людей, не исключая и А. А. Кузнецова, искренно верило в наличие врагов народа и борьбу с ними воспринимало иначе, чем это оценивается теперь. Более того, многие были убеждены в том, что тот, кто сомневается в справедливости принимаемых мер, кто отмалчивается во время разоблачительных компаний, тот и есть замаскированный враг народа.

Несомненно, что активность А. А. Кузнецова в борьбе с «врагами народа» была замечена вышестоящими инстанциями. 11 июня 1937 г. делегаты VI Ленинградской областной партийной конференции избирают 1-го секретаря Дзержинского РК ВКП(б) членом обкома. Ему было оказано особое доверие: под бурные аплодисменты А. А. Кузнецов зачитал текст приветствия «Центральному Комитету ВКП(б), товарищу Сталину».[59]

К данному времени вопрос о перемещении А. А. Кузнецова был, по всей видимости, предрешен. Уже 22 июня 1937 г. бюро областного комитета партии утвердило его заведующим отделом руководя-

щих парторганов Ленинградского обкома ВКП(б).[60] Росту А. А. Кузнецова, помимо его личных качеств, способствовало и наличие вакансий на руководящие должности. Как говорил на упомянутой ранее областной партийной конференции второй секретарь обкома А. С. Щербаков, «за последние 2,5 года за проявленные ранее колебания и за связь с троцкистами и зиновьевцами освобождены от работы в аппарате обкома и горкома 31 ответственный работник: 18 в обкоме и 13 в горкоме».[61] Одним из первых шагов А. А. Кузнецова в новой должности стало направление в 4-й отдел управления НКВД списка секретарей райкомов с просьбой проверить их на преданность. Перечень фамилий занимал 16 страниц.[62]

На этом посту Алексей Александрович проработал всего четыре месяца. 22 октября 1937 г. объединенный пленум ленинградских областного и городского комитетов ВКП(б) избрал по предложению А. А. Жданова и с согласия Сталина А. А. Кузнецова вторым секретарем и членом бюро Ленинградского обкома. Он заменил П. И. Смородина, назначенного 1-м секретарем Сталинградского обкома партии.[63] Вскоре нового секретаря избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Несмотря на то, что А. А. Кузнецов выполнял все указания по усилению репрессий, показания у арестованных брались и на него самого. Тогдашний начальник Ленинградского управления НКВД М. И. Литвин дал команду подчиненным связать деятельность «запасного центра правых» с А. А. Кузнецовым,[64] делалось это, видимо, на всякий случай, а вдруг пригодится.

Вполне возможно, что тем самым хотели заполучить на него «компромат» с тем, чтобы он еще активнее проводил репрессивную политику. Во всяком случае наличие «признаний», не помешало дальнейшей карьере А. А. Кузнецова. Опасность подстерегала его с противоположной стороны. После январского (1938 г.) Пленума ЦК ВКП(б), обсудившего вопрос «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков», почва под ногами А. А. Кузнецова закачалась. На одном из заседаний его участники прямо указывали на порочный стиль работы А. А. Кузнецова, связанный с неправильными исключениями из партии, грубым отношением к коммунистам и т. д. Его обвиняли в духе решений пленума: подобная деятельность «отражает интересы вражеских сил».[65] Поддержка, по всей видимо-

сти, самого А. А. Жданова, помогла А. А. Кузнецову не только удержаться, но и сделать еще один шаг вверх. 19 февраля 1938 г. собрался объединенный пленум Ленинградского областного и городского комитетов партии. Он был целиком посвящен организационным вопросам. Сначала пленум вывел из состава руководящих органов, в том числе и по сообщению А. А. Кузнецова, 25 человек с формулировками «как разоблаченных врагов народа», «не внушающих политического доверия» и «не оправдавших звания» члена выборного органа.[66] Затем по предложению А. А. Жданова, А. А. Кузнецова избрали вторым секретарем и членом бюро Ленинградского горкома с освобождением от обязанностей второго секретаря обкома.[67] Ввиду того, что сам Жданов являлся первым секретарем Ленинградского обкома и горкома, то Кузнецов стал фактически его правой рукой в Ленинграде. К этому времени он окончательно сложился как партийный работник конца 30-х гг., отличительной особенностью которого стала безоговорочная вера в правильность решений вышестоящих органов и особенно указаний Сталина.

Еще ранее, в частных беседах, как вспоминал ветеран комсомола А. К. Тамми, Кузнецов упрекал своих товарищей в недопонимании того, что теперь нужно быть лично преданным Сталину. Эти взгляды он излагал и с трибуны V Ленинградской городской партийной конференции в июне 1938 г.: «Мы воспитываем наших членов организации на том, что то, что записано в решениях центрального комитета партии, то, что сказал наш вождь, наш учитель товарищ Сталин, — это является для нас законом и никакой критике не подлежит».[68] Такая постановка вопроса полностью отвечала взглядам значительной части нового актива, сменившего ленинскую гвардию. Не случайно, данные слова второго секретаря горкома сопровождались аплодисментами. Бурными, долго не смолкающими аплодисментами, переходящими в овацию, как отмечено в стенограмме конференции, была встречена кандидатура А. А. Кузнецова и при выборах нового состава горкома. Только А. А. Жданов получил больше почестей на конференции, ибо знаки одобрения последнему сопровождались еще и криками «ура!».[69]

Вторым секретарем Ленинградского горкома А. А. Кузнецов проработал шесть лет. Ни до этого, ни после ему не довелось столь долго пребывать в одной должности. Да и по насыщенности событиями, по сложности обстановки, по затратам нервным и физическим, по ответственности и многому другому данный период занимает в его

биографии особое место. В марте 1939 г., будучи делегатом, он принимает участие в работе XVIII съезда ВКП(б), избирается в президиум съезда, получает возможность выступить.[70]

Серьезным испытанием для партийных работников Ленинграда, в том числе, и для самого Кузнецова, явилась советско-финская война. Пожалуй, для него в большей степени, чем для многих других руководителей города. Из 3,5 месяцев войны А. А. Жданов «непосредственно пробыл на фронте больше двух месяцев».[71] Это накладывало особую ответственность на второго секретаря горкома. Не случайно, на имя А. А. Кузнецова и председателя Ленгорисполкома П. С. Попкова приходили телеграммы за подписями И. В. Сталина и В. М. Молотова, в которых предлагалось «взять под личное наблюдение выполнение заказов, размещенных на ряде ленинградских предприятий <...>».[72]

За период военных действий промышленность Ленинграда дала армии свыше 100 наименований новейшей техники, причем в обычных условиях их бы, по словам А. А. Кузнецова, выпустили на несколько лет позже.[73] «Целый ряд изделий во время войн с Финляндией был выпущен быстро потому, что работники горкома, секретари райкомов сидели над этими заказами от начала до конца и устраняли оперативным путем вставшие на пути трудности», — выступал Алексей Александрович в феврале 1941 г. на XVIII Всесоюзной партийной конференции.[74]

«Будучи в дни войны с финнами в Ленинграде, вспоминал В. К. Зинин, — мне довелось встретиться с А. А. Кузнецовым в Смольном, в его кабинете. Он был спокоен, сосредоточен, но юношеский задор <...> сразу напомнил мне вожака Лужского комсомола. Он разговаривал по телефону:

— Вы не могли бы увеличить выпуск приборов процентов на десять? — переспросил он. — Так <...> сдерживает Металлический завод <...> Хорошо. Постараюсь помочь.

Кузнецов сразу же попросил соединить его с Металлическим заводом. У телефона, как я понял, был директор. Алексей Александрович коротко изложил ему суть дела и спросил:

— Что Вы на это скажете? — Последовали объяснения <...>. Потом Кузнецов сказал: “Значит возможности исчерпаны? Я знаю ваши возможности. Послушайте, а Вы не боитесь обиды на вас своего коллектива? Я сейчас приеду к вам на завод и объясню рабочим, инженерам, что ваши соседи готовы к тому-то и тому-то, если вы их под-

держите, а ваш директор утверждает нет возможности поддержать. А? Я уверен обидятся <...>. — Кузнецов улыбнулся. — Хорошо. Я думаю, мы не будем возвращаться к этому вопросу. Желаю успеха”».[75]

По воспоминаниям В. К. Зинина, А. А. Кузнецов тогда не только часто бывал на оборонных заводах, но и выезжал в действующую армию, на корабли Балтфлота.[76] Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 апреля 1940 г. за успешную работу и проявленную инициативу по укреплению обороноспособности нашей страны А. А. Кузнецов был награжден орденом Ленина.[77]

После окончания советско-финляндской войны на ленинградскую военную промышленность была возложена задача по организации выпуска тяжелых танков. Весь производственный процесс жестко контролировался органами НКВД. 23 сентября 1940 г. горком партии информировался ленинградским управлением в срыве выполнения программы выпуска тяжелых танков на Кировском заводе. При этом приводились следующие факты: за июнь–август завод должен был выпустить 30 танков, а реально сдано только 20. Начальник управления НКВД по Ленинградской области выдвигал обвинения в адрес директора завода И. М. Зальцмана и военпреда А. Ф. Шпитанова в очковтирательстве и обмане. Интересна в связи с этим реакция А. А. Кузнецова. На докладе он пишет следующую резолюцию: «Чересчур!!! Неверно, вместо 30 есть 28».[78] Обращаем внимание на то, что во-первых, секретарь горкома владел информацией, а, во-вторых, он к этому времени не принимал безоговорочно сигналы органов НКВД. Добавим для того, чтобы увеличить выпуск танков А. А. Кузнецов помог передать завод мелкого судостроительного литья с шестью тысячами рабочих Кировскому заводу. В связи с этим парторг ЦК ВКП(б) на Кировском заводе М. Д. Козин вспоминал: «А. Кузнецов был человеком дела. Как и с кем он согласовал этот вопрос, не знаем, только он был очень быстро решен в Совнаркоме СССР. По-государственному решил А. Кузнецов вопросы производства <...>».[79]

В феврале 1941 г., как уже отмечалось, состоялась XVIII Всесоюзная партийная конференция. А. А. Кузнецов вошел в президиум конференции и выступил в прениях по докладу Г. М. Маленкова «О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта». Если докладчик ратовал за усиление административных мер воздействия как единственное средство повышения эффективности производства, производительности труда, то Алексей Александрович

наряду с председателем Госплана СССР Н. А. Вознесенским и заместителем председателя Совнаркома СССР А. Н. Косыгиным (кстати, недавними ленинградцами) высказался, основываясь на опыте Ленинграда, и за необходимость экономической подготовки кадров. Вооружение кадров «знанием экономических вопросов, обсуждение этих вопросов на партийных собраниях, хозяйственных активах, контроль горкома за работой предприятий в этой области — все это дало положительные результаты»,[80] — говорил А. А. Кузнецов. Его включили в комиссию по рассмотрению поправок и дополнений к проекту резолюции.

Не тогда ли было положено начало разногласиям между Маленковым и Кузнецовым, закончившихся трагически для последнего 1 октября 1950 г.?

Между тем, война уже стояла у порога. Эта большая тема требует отдельного исследования. Пока же скажем: школа жизни и деятельности, которую прошел Алексей Александрович Кузнецов в двадцатые–тридцатые годы, подготовила его к работе в условиях войны и блокады, в послевоенные годы.[81] Именно тогда наиболее ярко проявились дарования этого незаурядного человека.

---

[1] *Базовский В. Н., Шумилов Н. Д.* Самое дорогое. Документальное повествование об А. А. Кузнецове. М., 1982; изд. 2-е, дополненное. М., 1985.

[2] *Леонов Ф.* Видный деятель ленинской партии (к 60-летию со дня рождения А. А. Кузнецова) // Правда. 1965, 20 февраля; Константинов А. Видный деятель нашей партии // Ленинградская правда. 1965, 20 февраля; *Мавродин В., Бондаревская Т.* Верный сын партии // Вечерний Ленинград. 1965, 20 февраля; *Зинин В.* Начало пути // Новгородская правда. 1965, 20 февраля.

[3] *Тихонов Н.* Верный сын партии. К 70-летию со дня рождения А. А. Кузнецова // Правда. 1975, 20 февраля; *Кутузов В.* Коммунист, солдат. К 70-летию со дня рождения А. А. Кузнецова // Ленинградская правда. 1975, 19 февраля.

[4] *Микоян С.* Вся жизнь — партия. К 80-летию со дня рождения А. А. Кузнецова // Правда. 1985, 20 февраля; *Кутузов В.* Его любили все в Ленинграде... К 80-летию со дня рождения А. А. Кузнецова // Ленинградская правда. 1985, 20 февраля; *Павлов Д.* Верный сын партии. К 80-летию со дня рождения А. А. Кузнецова // Ленинградский рабочий. 1985, 22 февраля.

[5] *Кутузов В.* «Ленинградское дело» // Диалог (Ленинград). 1987. № 18; № 19; О так называемом «Ленинградском деле» // Известия ЦК КПСС. 1989. № 2; *Кутузов В.* Так называемое «Ленинградское дело» // Вопросы истории КПСС. 1989. № 3; «Ленинградское дело». Составители В. И. Демидов и В. А. Кутузов. Л., 1990 и др.

[6] *Сидоровский Л.* Кузнецов // Смена (Ленинград). 1988, 13 января; Афанасьев А. Победитель // Комсомольская правда. 1988, 15 января.

[7] Они не молчали / Сост.: А. В. Афанасьев. М., 1991.

[8] ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 498. Л. 17. Здесь и далее широко используются написанные в 1975 г. воспоминания работника юстиции В. К. Зинина, считавшего «своим партийным долгом рассказать о незабвенном для меня человеке все, что сохранила моя память и память людей, знавших А. А. Кузнецова в детстве и юности, в период его становления как партийного и государственного деятеля» (там же. Л. 2).

[9] Там же. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 498. Л. 4.

[10] Там же. Л. 18.

[11] Там же. Д. 247. Л. 1.

[12] Там же. Д. 498. Л. 19.

[13] Там же. В книге Базовского В. Н. и Шумилова Н. Д. «Самое дорогое...» ошибочно названа другая дата окончания средней школы — 1919 г.

[14] Там же. Ф. К-951. Оп. 1. Д. 123. Л. 24 об. Утверждение авторов книги «Самое дорогое...», что лесопильный завод стал первым жизненным университетом юного Алексея Кузнецова неверно.

[15] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 72. Л. 93 об.

[16] Там же.

[17] Базовский В. Н., Шумилов Н. Д. Указ. соч. М., 1982. С. 12; ЦГАИПД СПб. Ф. Коллекция. № 196568.

[18] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 72. Л. 93 об.

[19] *Грачев Л. П.* Дорога от Волхова. Л., 1983. С. 41.

[20] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 72. Л. 93 об.

[21] Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 69. Л. 30.

[22] Там же. Ф. 25. Оп. 2. Д. 72. Л. 93 об.

[23] Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 69. Л. 23.

[24] Там же. Ф. 25. Оп. 2. Д. 72. Л. 93 об.

[25] Там же. Ф. К–951. Оп. 1. Д. 87. Л. 259.

[26] Там же. Д. 64. Л. 85.

[27] Там же. Л. 82об.–83.

[28] *Павлов Д. П.* Ленинград в блокаде. Изд. 6-е, исправленное и дополненное. Л., 1985. С. 18.

[29] Алексей Александрович Кузнецов – кандидат в депутаты Совета Союза (Верховного Совета СССР) от Волховского избирательного округа // Ленинградская правда. 1937, 16 ноября.

[30] ЦГАИПД СПб. Ф. К–598. Оп. 2. Д. 118. Л. 212.

[31] Там же. Ф. К–881. Оп. 10. Д. 46. Л. 81.

[32] Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969. С. 235.

[33] ЦГАИПД СПб. Ф. К–598. Оп. 1. Д. 3770. Л. 24–25.

[34] *Леров М.* Как мы «оживляли» мертвые капиталы // «Смена». 1989, 3 октября.

[35] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 1. Д. 384. Л. 83.

[36] Там же. Ф. Коллекция. № 196568.

[37] Там же.

[38] Там же.

[39] ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 69. Л. 24.

[40] Там же. Ф. 1816. Оп. 2. Д. 4261. Л. 1; Ф. 408. Оп. 1. Д. 69. Л. 24.

[41] Там же. Л. 22.

[42] Там же. Ф. 24. Оп. 2. Д. 269. Л. 34.

[43] Там же. Ф. 1816. Оп. 2. Д. 4276. Л. 16.

[44] «Правда». 1936, 24 апреля.

[45] ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1. Л. 48. Вряд ли мог предугадать молодой первый секретарь райкома, что спустя 15 лет, в июле 1951 г., обком ВКП(б) направит в райкомы и Ленинградский горком «список лиц, за подписями которых подлежат замене партийные документы». Список открывала фамилия бывшего 1-го секретаря Дзержинского РК ВКП(б) А. А. Кузнецова (ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 65. Д. 725. Л. 76). Не думал, по всей вероятности и Ю.И.Касимов, что он вскоре с поста второго секретаря Иркутского обкома ВКП(б) попадет в сталинские лагеря, где проведет много лет (Антонов-Овсеенко А. В. Сталин и его время // Вопросы истории. 1989. № 10. С. 93).

[46] ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 69. Л. 26, 31, 34, 37–38, 44.

[47] Там же. Л. 31, 33–34, 37.

[48] Там же. Л. 37–38.

[49] Там же. Л. 34.

[50] Там же. Л. 36.

[51] Там же. Л. 43.

[52] Алексей Александрович Кузнецов — кандидат в депутаты Совета Союза (Верховного Совета СССР) от Волховского избирательного округа // Ленинградская правда. 1937, 16 ноября.

[53] ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 67. Л. 81–82.

[54] Там же. Д. 34. Л. 48.

[55] Там же. Л. 48–49.

[56] Там же. Д. 66. Л. 32.

[57] Там же. Д. 66. Л. 34. В уже упомянутой докладной записке на имя А. С. Щербакова и В. И. Шестакова А. А. Кузнецов подчеркивал: «Мы писали и о Горелове, который был связан с враждебными людьми...» (ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 34. Л. 48).

[58] Подробнее об этом см.: «Кто мог пережить...» // Литератор, газета Ленинградской писательской организации. 1990. № 4(9).

[59] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 1212. Л. 8.

[60] Там же. Ф. 24. Оп. 2. Д. 1430. Л. 2.

[61] Там же. Д. 1200. Л. 149.

[62] Тридцатые годы: горькая цена // Ленинградская правда. 1989, 1 ноября.

[63] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 1350. Л. 41.

[64] Смородин Д. Открытый процесс не состоялся (год 1937-й) // Диалог. 1989. № 28. С. 24; *Лукин Е.* Палачи // Ленинградская правда. 1989, 5 августа.

[65] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2 в. Д. 8477. Л. 4–5.

[66] Там же. Оп. 2. Д. 1952. Л. 2–10.

[67] Там же. Л. 12–14. На этом же пленуме в состав Горкома были избраны Я. Ф. Капустин, П. С. Попков и Ф. Е. Михеев, спустя 12 лет оказавшиеся с Алексеем Александровичем на одной скамье подсудимых (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 1253. Л. 3–4).

[68] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 1139. Л. 54.

[69] Там же. Д. 1140. Л. 3.

[70] XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М., 1939. С. 79.

[71] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 3628. Л. 121.

[72] Известия ЦК КПСС, 1990, № 3. С. 204.

[73] ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 3628. Л. 36, 122.

[74] Речь тов. Кузнецова (Ленинград) // Пропаганда и агитация. 1941. № 4. С. 29.

[75] ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 498. Л. 72.

[76] Там же. Л. 71.

[77] Ленинградская правда. 1940, 18 апреля.

[78] *Щерба А. Н.* Становление и развитие танковой промышленности Ленинграда до Великой Отечественной войны // Петербургская историческая школа. Альманах. Приложение к журналу для ученых «Клио». Первый год выпуска. Памяти В. А. Ежова. СПб., 2001. С. 246–247.

[79] *Базовский В. Н., Шумилов Н. Д.* Указ. соч. С. 28.

[80] Правда. 1941, 18 февраля.

[81] См.: *Кутузов В. А.* «Много сделал для защиты города...»: Страницы военной биографии Алексея Александровича Кузнецова // История глазами историков. Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 70-летию Евгения Романовича Ольховского. / Научный редактор и составитель Г. А. Тишкин. СПб., 2002; Он же. Алексей Александрович Кузнецов: Страницы послевоенной политической биографии // Клио. Журнал для ученых. СПб., 2001. № 3 (15).

А. И. Рупасов

Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ В ЭСТОНИИ (1930–1933 гг.): НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ

Интерес к личности Федора Федоровича Раскольникова (Ильина), как и ко многим другим деятелям бурных лет революции и гражданской войны, особенно проявился на рубеже 80–90-х гг. Тогда, вслед за опубликованным на страницах «Комсомольской правды» интервью с вдовой Раскольникова Музой Канивез,[1] появилась обстоятельная статья Сергея Шумихина о судьбе архива Ф. Ф. Раскольникова.[2] В последовавших за ними публикациях основное внимание уделялось почти исключительно заслугам Раскольникова на военном и партийном поприще, реже — его литературной и окололитературной деятельности. Возросший интерес в России к этому человеку побудил и финского историка Макса Энгмана обобщить крохи сведений о возвращении Раскольникова из английского плена через Финляндию[3] (правда, больший интерес представляла бы информация о поведении Федора Федоровича в плену, но каких-либо сведений об этом — за исключением тех, которые сообщил миру сам пострадавший — пока не удалось собрать никому).[4]

Особый пиетет читающей публики неизменно вызывало открытое письмо Ф. Ф. Раскольникова И. В. Сталину. Именно благодаря этому письму бывший мичман был отнесен к когорте борцов («они не молчали») со сталинским режимом.[5] Данное обстоятельство в значительной мере (помимо отсутствия необходимых документальных материалов) способствовало тому, например, что деятельность Раскольникова (тов. Петрова) в Исполкоме Коминтерна (особенно участие в выработке решений по проблемам китайской революции и коммунистического движения на Ближнем и Среднем Востоке), работа в составе японской и

афганской комиссий Политбюро ЦК ВКП(б) и в качестве полномочного представителя Страны Советов в Афганистане (1922–3), Эстонии (1930–3), Дании (1933–4) и Болгарии (1934–8) — до сих пор остается малоизвестной.[6] Московский историк О. Н. Решетникова справедливо отмечала, что историкам еще предстоит воссоздать портрет Федора Раскольникова, — «портрет, лишенный ореола мученика», «проанализировать и дать объективную оценку его деятельности».[7] Замечание более чем уместное после выхода в свет в 1990 г. исключительно приторной по содержанию и тональности книге П. С. Кольцова «Дипломат Федор Раскольников».[8] Знакомство с этим образцом агиографической литературы эпохи перестройки, оставляет не только неприятные ощущения, которые обычно испытывает человек обманутый, но и совершенно четкое осознание того, что ты — как читатель — не знаешь самых избитых истин, известных настолько широко, что само напоминание о них на страницах книги могло послужить поводом для упреков автора в любви к банальностям. Выдающиеся дипломатические таланты мичмана Ильина читательскому глазу в ней явлены не были. За исключением, пожалуй, одного — умения (или скорее, быть может, желания) нравиться окружающим.[9] Судя по всему, П. С. Кольцов и не ставил себе целью знакомить читателя с нюансами взаимоотношений СССР с Афганистаном, Эстонией, Данией и Болгарией по той простой причине, что его осведомленность в вопросах международных отношений в целом и внешней политики СССР, в частности, нельзя оценить иначе, как скромную даже для времени издания книги.

Воспевание «незаурядных способностей дипломата», проявленных Раскольниковым в Афганистане, Эстонии и Дании, чему способствовали его «большие организаторские способности, широкие культурные интересы и личное обаяние», продолжил вслед за Кольцовым белорусский историк Д. Б. Мельцер,[10] не утруждая при этом себя приведением каких-либо подтверждающих это славословие свидетельств. Положимся на мнение главы Наркоминдела Г. В. Чичерина, обмолвившегося в одном из личных писем полпреду в Латвии С. И. Аралову в 1923 г., что «нам безусловно необходимо назначить серьезного посла в Афганистан»,[11] — дабы не возвращаться к вопросу о причинах многолетнего перерыва в дипломатической карьере Раскольникова.

Сами обстоятельства возвращения Раскольникова в начале 1930 г. (после почти семилетнего перерыва) на дипломатическую работу, воз-

вращения, положившего конец его деятельности не только в качестве главы Главреперткома[12] и Главискусства,[13] но и в качестве главы одного из литературных журналов (ответственный редактор «Красной нови»), не привлекали внимания историков. Было ли назначение полномочным представителем СССР в Эстонии своеобразным сертификатом непригодности Федора Федоровича для выполнения новых задач в области литературы и искусства (как сегмента более обширной сферы — насущно необходимой при строительстве социалистического общества — всеохватной агитации и пропаганды), которые были по-новому сформулированы политическим руководством СССР именно на рубеже двадцатых — тридцатых годов?[14] Или появление восторжествовавшего над А. И. Свидерским в начале осени 1929 г. и занявшего его пост Раскольникова[15] в качестве полпреда СССР в Эстонии следует рассматривать как свидетельство неожиданных перемен в советской внешней политике, требовавших придания столь исключительной значимости советско-эстонским отношениям, что потребовалась жертва в виде крайне ценного специалиста и талантливого драматурга, встречу с детищем которого — «социальной трагедией в 4-х действиях и 6-ти картинах» «Робеспьер» — советскому зрителю пришлось отложить более чем на год?

Более обоснованной причиной очередного поворота в судьбе незадачливого флотоводца и куратора коммунистического движения на Востоке были, как нам представляется, именно его деловые качества. Нежелание Раскольникова признать ограниченность собственных способностей, потребных в областях деятельности, в которых ему приходилось работать, определенно не компенсировалось в глазах политического руководства его стремлением услужить. Удача неизменно отказывала моряку, драматургу и дипломату во взаимности, а ведь именно она нередко полностью позволяет потомкам закрыть глаза на моральные качества того или иного государственного деятеля. Невольно вспоминаются слова древнекитайского мыслителя Ван Чуна: «Яо был просто дерьмом, Шунь — подлецом, У-ван — кровожадным злодеем, Тай-гун — лютым палачом. Все они были равно порочны и одинаково мерзки, однако, когда они брались за государственные дела, то все приводили в порядок».[16]

Коротко говоря, возвращение на дипломатическую работу являлось для Раскольникова своего рода свидетельством не столько того, что его былые революционные заслуги более не будут служить га-

рантией сохранения видного положения в партийной или советской иерархии, сколько окончательно поставленной точкой в его судьбе. Это подтверждал и первоначальный выбор страны, в которой он должен был возглавить советское дипломатической представительство — Мексика. Только разрыв отношений с этой страной в январе 1930 г. не позволил Раскольникову (с 1926 г. отвечавшему в исполкоме Коминтерна за коммунистическое движение на Ближнем Востоке, что, несомненно, должно было пригодиться ему при работе в Латинской Америке) отправиться на другой берег Атлантики. Впрочем, замена Мексики на Эстонию ничего принципиально не меняла.

Стоит отметить, что с разницей всего в несколько месяцев произошла замена полпредов в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Резкое усиление в 1929 г. позиций Польши на востоке Балтики не вызывало в Москве восторга. После того, как летом 1929 г. пост Государственного старейшины (Главы государства) в Эстонии занял бывший эстонский посланник в Польше Отто Штрандман, политические контакты Варшавы и Таллинна значительно оживились. Назначенный после неудачной попытки коммунистического переворота в Таллинне полпредом в Эстонии А. М. Петровский, основная задача которого сводилась, пожалуй, к тому, чтобы внести успокоение в двусторонние отношения, и у которого за пять лет сложился свой стиль взаимоотношений с политической элитой Эстонии, не вполне подходил для новой политической ситуации. Его таланты в тот период времени более подходили для работы в Каунасе, так как после отстранения в сентябре 1929 г. от власти А. Вольдемараса в литовско-советских отношениях возникла ситуация неопределенности. Реплика, брошенная заместителем наркома М. М. Литвиновым в беседе с Раскольниковым, выдуманной упомянутым выше П. С. Кольцовым — «С Эстонией у нас отношения надежные» [17] — скрывает от читателя его книги серьезное раздражение, которое в то время вызывала в Москве внешняя политика Эстонии.

О «надежности» этих отношений свидетельствует сказанное членом Коллегии НКИД Борисом Спиридоновичем Стомоняковым в беседе с эстонским посланником Юлиусом Сельямаа в конце января 1930 г., когда агреман для Раскольникова был уже запрошен: «В течение последнего года мы как-то стали привыкать к мысли, что Эстония взяла более независимый курс в своей политике, и были рады установлению нормальных с нею отношений. Поездка Штрандмана

[в Варшаву] показывает, однако, что мы были слишком большими оптимистами <...>. Приходиться сожалеть об этом опрометчивом решении эстонского правительства».[18] Попытка эстонской стороны убедить Москву в том, что поездка главы государства в Польшу не более чем визит вежливости, что Штрандмана в этой поездке будут сопровождать не военный министр или начальник генерального штаба, а начальник военной академии генерал Густав Йонсон («маловлиятельная академическая фигура»), успеха не имела.[19] Именно переговоры Штрандмана с маршалом Ю. Пилсудским послужили причиной отказа советской стороны принять эстонскую экономическую делегацию — всего за несколько дней до приезда в Таллинн Раскольникова.[20] Еще одной острой проблемой в двусторонних отношениях, было стремление эстонской стороны добиться разрешения на выезд в Эстонию эстонским крестьянам (около 100 тыс. чел., в том числе, имевшим эстонское гражданство), которые, испытав на себе коллективизацию, поняли опрометчивость своего отказа выехать на историческую родину после оптации, осуществленной по условиям мирного договора. Не мог вызывать удовлетворения советской стороны и 6-месячный запрет на ввоз газеты «Известия», введенный в январе 1930 г. эстонскими властями.

Выбор Раскольникова в качестве полпреда в Эстонии случаен не был, хотя решение о назначении, скорее всего, было принято спонтанно. 5 января 1930 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о переводе Петровского из Таллинна в Каунас, о чем глава советской дипломатической миссии в Эстонии был извещен уже через два дня. Исходя из сложности и длительности в СССР самой процедуры замены полпредов можно предположить, что решение о переводе Петровского стало предметом обсуждения в руководстве НКИД самое позднее в конце осени 1929 г. Однако, судя по тому, что протокол заседания Политбюро не зафиксировал обсуждения вопроса о назначении его преемника в Таллинне, окончательного решения в НКИД о предполагаемой кандидатуре не имелось.[21] В случае, если какие-либо кандидатуры были все же предложены Наркоминделом высшей инстанции, но не были одобрены последней, протокол сохранил бы стандартную обезличенную формулировку: «О полпреде в Эстонии. — Вопрос снять».

Спустя несколько дней после решения о Петровском вице-министр иностранных дел Эстонии Август Шмидт (10 января 1930 г.), а

еще через три дня начальник Восточного департамента МИД Польши Тадеуш Голувко поставили НКИД в известность о поездке О. Штрандмана. Коллегия НКИД дважды обстоятельно обсуждала возможные результаты этого визита и ответные меры советской стороны, поскольку, несмотря на отсутствие данных о том, что «Польша и Эстония намерены заключить какой-нибудь новый договор или соглашение», считалось бесспорным, что поездка нанесет серьезный ущерб, «если не принять своевременных мер для ее нейтрализации» или для «соответствующего воздействия на Эстонию» со стороны других Прибалтов («непрерывное «паломничество» деятелей прибалтийских государств в Варшаву все более и более выявляется как один из методов вовлечения Прибалтов в орбиту польской политики»). 20 января заместитель наркома НКИД М. М. Литвинов направил генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Сталину письмо по этому вопросу. В качестве возможных средств «обезвреженія поездки Штрандмана» он называл приглашение последнего в СССР. Однако при этом Литвинов особо подчеркивал, что реализация подобной меры невозможна, так как пришлось бы обещать эстонской стороне ответную поездку одного из председателей ЦИК СССР. Возможно, развивал свои мысли заместитель наркома, следовало заменить приглашение Штрандмана приглашением главы МИД Эстонии пастора Я. Латтика, объяснив эстонской стороне отказ пригласить главу государства отсутствием прецедентов заграничных визитов председателей ЦИК. Заместитель наркома просил поставить на заседание Политбюро вопрос о приглашении Латтика, если же высшая инстанция сочтет это нежелательным, то рассмотреть вопрос о «реагировании экономическими мерами воздействия».[22]

Вопрос о кандидатурах на пост полпреда в Эстонии Литвиновым в письме не затрагивался. Вместе с тем, есть основания предположить, что именно в этот период кандидатура оказавшегося временно не пристроенным Раскольникова стала рассматриваться, как наиболее подходящая (в силу «одиозности» этой фигуры для эстонцев — в Эстонии не забывали ни о неудачной попытке «похода» под Ревель судов Балтфлота под его командованием в конце 1918 г., ни о включении эстонскими коммунистами имени Федора Федоровича — как «павшего в борьбе с империалистами» — в свои избирательные списки). Только после отправления упомянутого письма Литвинова Б. С. Стомоняков упомянул имя Раскольникова в беседе с эстонским послан-

ником, официально запросив агреман. Несмотря на резко негативное отношение эстонской стороны к Раскольникову, НКИД, проявив исключительную настойчивость, добился того, что к заседанию Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшемуся 25 января 1930 г., было получено согласие Таллинна на предоставление агремана, что и предрешило положительное решение политического руководства о назначении Раскольникова полпредом в Эстонии.

Стоит отметить, что принятое одновременно с этим на заседании Политбюро решение о приглашении Яана Латтика в Москву не было реализовано советским внешнеполитическим ведомством. Можно предположить, что само согласие Таллинна принять Раскольникова было расценено как достаточное доказательство того, что эстонская политическая элита осознает опасность резкого нарушения баланса польского и советского влияния. Сам Раскольников признавал, что для эстонцев он являлся исключительно одиозной фигурой. По приезде в Таллинн его встретили весьма прохладно, хотя эстонская сторона и не стала тянуть с процедурой вручения верительных грамот, — новый полпред уже 14 марта — через пять дней после прибытия — был принят главой государства. Не большая теплота была проявлена при расставании с ним, когда 22 августа 1933 г. глава государства Яан Тыниссон[23] дал ему прощальный завтрак. «Присутствовал на завтраке, устроенном главой государства Теннисоном в честь уезжающего т. Раскольникова, — докладывал 1 секретарь полпредства. — В противоположность завтраку, данному НКИД уезжавшему [эстонскому посланнику] Сельямаа, здесь никаких речей не было. Официальная часть завтрака прошла сдержанно и даже немного холодно».[24]

Трудно предположить, что у Раскольникова могли иметься какие-либо сомнения по поводу своего назначения: Таллинн был для него местом ссылки и ни чем иным. Осенью 1930 г., т. е. всего через полгода после его приезда в Эстонию, в НКИД обсуждался вопрос о кандидатуре нового полпреда в Литве (А. М. Петровский и его супруга были встречены в Каунасе едва ли не враждебно, их подозревали (особенно в военных кругах) в симпатиях к Польше). При подборе кандидатур всплыло и имя Раскольникова. Однако Коллегия НКИД была единодушна в том, чтобы последний остался в Эстонии еще «на некоторое время».[25] Можно ли такое решение руководства Наркоминдела рассматривать как косвенное подтверждение неких успехов, достигнутых Федором Федоровичем за столь краткий

срок? Или же считалось, что сложности, с которыми в своей работе столкнется новый глава советской миссии в Каунасе, требуют назначения человека, чьи профессиональные качества — в отличие от Раскольникова — позволяют хотя бы рассчитывать на возможность успеха? К сожалению, отсутствие документов вынуждает довольствоваться только предположениями. Однако то обстоятельство, что выбор был остановлен на профессиональном дипломате — заведующем 1 Западным отделом НКИД Михаиле Андреевиче Карском, заставляет дать положительный ответ на последний вопрос. Хотя мы не располагаем сведениями о том, по чьей инициативе был вообще поставлен вопрос о переводе Раскольникова, можно предположить, что поводом послужили закулисные шаги, предпринимавшиеся Раскольниковым в аппарате ЦК ВКП(б). Возможно, неудача в этом деле и привела к первому серьезному должностному проступку полпреда.

Заметим, что при исполнении своего служебного долга Федор Федорович не раз позволял себе манкирование должностными обязанностями. Мы не склонны считать, что таковые являлись исключительно своего рода демонстративным протестом против почетной ссылки на задворки Европы. И не только потому, что желание поступать как вздумается стоило ему неизбежных письменных оправданий, формулировки которых более говорят об ущемленной гордыни, чем о скрытом торжестве от удавшейся каверзы. Ситуация в Эстонии, перспективы ее развития оставались вне его понимания. Пренебрежение обязанностями в определенной мере предопределялось у него едва ли не осознаваемым стремлением замаскировать собственную несостоятельность в качестве дипломата. Показательна в связи с этим история его февральской 1931 г. поездки в Ленинград на премьеру своей пьесы «Робеспьер». Разрешение на трехдневную отлучку полпред получил, судя по всему, еще в середине января, когда не шло речи о сроках возможного правительственного кризиса. 11 февраля Федор Федорович покинул Таллинн и 12 присутствовал на спектакле в Государственном академическом театре.[26] Его радушно встретили. Прием был достаточно теплым, чтобы драматург рискнул задержаться «на пару дней дольше разрешенного срока по болезни» (в действительности — на пять дней). Задержка, возможно, и не вызвала бы в Наркоминделе серьезного недовольства, если бы не одно обстоятельство: полпред отсутствовал в Таллинне в те дни, когда происходило формирование нового состава правительства по главе с

Константином Пятсом. В НКИД явно считали, что особые отношения, которые сложились у советской стороны с этим эстонским политиком, позволяли рассчитывать на то, что мнение Москвы, высказанное в корректной форме, может повлиять на процесс формирования правительства.

Вернувшись только 20 февраля в Таллинн и уже зная, что в правительство и, прежде всего, в министерство иностранных дел пришли люди, контакты с которыми наладить будет не только не просто, но, пожалуй, и невозможно, полпред в своем первом докладе попытался, тем не менее, успокоить руководство. «Думаю, — писал он, — <...> с новым правительством будет работать легче».[27] Подобная простота бывалого, пусть и не преуспевшего аппаратчика вызвала резкую отповедь Стомонякова, что вынудило Раскольникова еще раз давать объяснения. О своем болезненном состоянии он уже не рисковал упоминать. Сам отъезд объяснялся им тем, что оказывать влияние на формирование правительства ему представлялось невозможным (это утверждение, кстати, противоречило его прежним бравурным заверениям), именно поэтому, как он писал в Москву, «период времени, когда новые министры входят в курс дел, я счел наиболее подходящим для своей поездки».[28]

Не приходится сомневаться, что руководство Наркоминдела имело представление о возможностях Федора Федоровича и не стремилось обременять его сложными дипломатическими делами. Данное обстоятельство предопределяло рамки осведомленности полномочного представителя о предпринимаемых советской дипломатией крупных внешнеполитических акциях, в том числе касающихся и страны его пребывания, — рамки информированности оказались гораздо более узкими, чем у его коллег в Каунасе, Риге, Хельсинки. В свою очередь, поскольку неукротимый нрав не допускал столь явного пренебрежения заслугами и неуместного умаления достоинств его, как героя революции и гражданской войны, Раскольников попытался на первых порах компенсировать дефицит доверия руководства поражающим читателя его докладов полетом фантазии, в основе которой (это неизменно подчеркивалось им) лежал *марксистский диалектический подход.* Никогда не забывавшаяся им народная мудрость, напоминавшая о неуместности забывчивости в деле собственного восхваления, вынуждала Федора Федоровича предостерегать начальство о большой опасности — слабом знакомстве

«молодых товарищей» из Наркоминдела с этим подходом.[29] Фантазии у руководства восторга не вызывали. Предрекаемый полпредом польский десант на северном и южном берегах Финского залива не высаживался.[30] Интерес Раскольникова к Эстонии стал быстро угасать, сменившись в начале намеками, а затем и откровенными пожеланиями получить «место в Европе». Уже через четыре месяца после приезда в Эстонию, Федор Федорович, объясняя в одном из докладов причину своего отказа совершить ознакомительную поездку по стране, писал, что будет более желательным, если такую поездку с посещением Печерского края совершит его менее одиозный преемник.[31] Намек не был воспринят в Москве.

Период пребывания Раскольникова в Эстонии не был богат драматическими событиями. Исключением было совершенное в начале апреля 1930 г. — через месяц после приезда Раскольникова — покушение на начальника таллиннского гарнизона генерала Й. Унта (в работе П. С. Кольцова поименованного Уньтцем). Генерал был смертельно ранен. Через несколько дней после убийства (виновниками называли и эстонских коммунистов, и обиженных среди эстонских военнослужащих, пострадавших от проводившегося сокращения штатов) Раскольникову в письме прислали петлю. В своем дневнике полпред отмечал, что обыватели шушукаются: «Петровский пробыл в Ревеле пять лет, и все было спокойно, и вот приехал Раскольников и сразу начались террористические акты».[32] Внутриполитическая жизнь в Эстонии приобрела особую динамику к концу срока работы Раскольникова, однако, это не означало, что происходившие в 1930–1933 гг. в эстонском обществе процессы, возможные изменения внешнеполитического курса Эстонии не представляли для тогдашнего политического руководства СССР и советского внешнеполитического ведомства исключительного интереса. Донесения Раскольникова едва ли могли удовлетворить этот интерес.

Тем не менее, для исследователей те материалы, которые подготавливались для Коллегии НКИД полпредством в Таллинне, весьма любопытны. Знакомство с достаточно обширным массивом документов (несколько сотен докладов, дневников, писем и пр.), автором которых был Раскольников, заставляет в качестве их наиболее характерной черты выделить не только скоропалительность выводов, но и полное отсутствие во многих случаях какого-либо обоснования делавшихся умозаключений. 16 июня 1930 г. Раскольникова

навестил в полпредстве заводчик Евгений Лукк, изложивший в ходе состоявшейся беседы свои взгляды на способы предотвращения участия Эстонии в антисоветских военных авантюрах. Лукк полагал, что этому будет способствовать создание объединенного эстонско-финского государства, территорию которого Советскому Союзу следовало бы увеличить за счет передачи этому государству советской Карелии («в крайнем случае, без Мурманской железной дороги»). Раскольников вполне уместно выразил свое скептическое отношение к этой идее.[33] Но спустя всего пять дней полпред был склонен оценить этот визит эстонского бизнесмена, как «тягу к нам», порожденную нарастанием военной опасности.[34] Встретившись в первый раз с Константином Пятсом (19 марта 1930 г.), Федор Федорович не выразил никакого сомнения в уместности сделанного этим эстонским политиком предложения о «создании вместе с нами завода по изготовлению искусственной селитры», которую можно было бы в дальнейшем продавать и Финляндии.[35] Хотя не только само предложение о реализации подобной продукции в Финляндии должно было вызвать у полпреда по меньшей мере удивление, но и то обстоятельство, что собеседник обошел стороной волновавший тогда советскую сторону вопрос о предоставлении концессии на «использование силы Нарвского водопада», т. е. строительство электростанции, которая обеспечила бы такой завод энергией. В Таллинне упорно отказывались рассматривать какие-либо советские проекты, предпочитая иметь дело с английскими, немецкими или французскими фирмами.

Первоначально проявленный Раскольниковым размах в осмыслении перспектив развития советско-эстонских отношений резко контрастирует с его отрешенным безразличием спустя два года. Вполне справедливо оценивая эстонскую промышленность как худосочную и отсталую, работающую устарелыми средствами производства, чуждую современной рационализации и способную стать основой экономического благополучия Эстонии только за счет наращивания объемов советских заказов, Раскольников, явно ознакомившийся с дипломатической перепиской своих предшественников, попытался реанимировать замыслы, от которых в Москве отказались еще в начале 20-х гг. Речь идет о заинтересованности СССР в «индустриализации Эстонии», поскольку она «увеличивает численность рабочего класса», «неизбежно вынуждает Эстонию ориентироваться на советский рынок», «ставит Эстонию в положение экономической зависи-

мости от СССР». Процесс аграризации и деиндустриализации Эстонии, по его мнению, противоречил интересам Советского Союза, «способствовал превращению Эстонии в аграрный придаток империалистических государств».[36]

Размышления над реалистичностью предлагаемого «стратегического замысла» полпред не относил к своим заботам. Неизменное и, так сказать, тотальное игнорирование всего, что могло противоречить однажды забредшей в голову идее, — характерная черта Раскольникова. Сама возможность усиления зависимости Эстонии (хотя бы только в торгово-экономической сфере) от Советской России, служившая основой для высказывания серьезных опасений в среде эстонской политической элиты, о чем иногда полпред все же вспоминал, никак не увязывалась им с выражавшимися английскими и французскими дипломатами сомнениями в жизнеспособности прибалтийских государств, предсказаниями их вполне вероятной реабсорбции восточным соседом в более или менее отдаленном будущем, что резко ограничивало в рассматриваемый нами период круг вероятных союзников Таллинна и вынуждало эстонские правительства при всех издержках поддерживать особые отношения с Варшавой. Сам вопрос об «изживании» польского влияния в Таллинне имел в тот период исключительно умозрительный характер. Цель была в то время недостижима даже в случае усиленного наращивания торгового оборота Советского Союза с Эстонией.[37]

В оценке польского влияния в Прибалтике и, в частности, в Эстонии, а также в отношении планов создания малого или большого прибалтийских блоков существовали серьезные расхождения между Раскольниковым и курировавшим 1 Западный отдел НКИД членом Коллегии НКИД Б. С. Стомоняковым. Неприязненное отношение последнего к полпреду в Таллинне было, впрочем, обусловлено не только расхождениями по данному или иным спорным вопросам. Поразительная небрежность слога писателя-полпреда в изложении собственных умозаключений обоснованно порождала сомнения в наличии у него не только потребных для дипломата качеств, но и минимальных аналитических способностей. А невероятная самоуверенность, проявленная полпредом в вопросах двусторонних хозяйственных связей, обернулась для него нежеланием органов НКВТ посвящать его в детали проводимых переговоров и консультаций по внешнеэкономической проблематике.[38] Столь явное пренебрежение

к себе Раскольников с лихвой компенсировал тем, что к концу своего срока пребывания в Эстонии вообще перестал утруждать себя доказательствами выдвигаемых предположений. Поля его докладов пестрят огромным количеством вопросительных и восклицательных знаком, категоричных «Нет!» и прочих помет Стомонякова и руководителей 1 Западного отдела НКИД («В чем это проявляется?», «Где факты? Нельзя же без фактов!», «Очень упрощенно» — по поводу емкой формулировки Раскольникова «Польша — хозяин, Эстония — приказчик», «Слишком глубокомысленно» — последняя помета скрывала едкую иронию Стомонякова по поводу поразительного по наивности доказательства истинности стратегических замыслов эстонской дипломатии по установлению взаимодействия с государствами Малой Антанты при переговорах о конвенции об определении агрессора 1933 г. в Лондоне, в которые Раскольников был посвящен лишь поскольку постольку).

Раскольников первоначально настойчиво пытался увязать в некую примитивную, логически внешне объяснимую систему массу разнообразных и противоречивых фактов. Однако неизменно терпел в этих попытках неудачи. Так, в конце весны 1931 г., когда ему стало известно о беседе главы эстонского МИД Яана Тыниссона с польским посланником Либицким по вопросу о малом прибалтийском блоке, он, не желая признать излишне оптимистичными свои прежние утверждения о серьезных изменениях внешнеполитического курса Эстонии после прихода к власти К. Пятса, сообщал в Москву: «Полонофильский уклон, приданный эстонской внешней политике Штрандманом, сейчас постепенно исправляется. Охлаждение к Польше, разочарование в ней было отмечено т. Курдюмовым[39] даже в военной сфере.[40] На вечерах это проявляется еще заметнее. Той дружбы, которая существовала раньше, в настоящее время уже нет. Однако переговоры Тыниссона с Либицким о прибалтийском блоке за нашей спиной[41] свидетельствуют, что равновесия сил нашего и польского влияния еще не наступило». В качестве дополнительного аргумента в пользу правильности всего вышеизложенного Федор Федорович приписал: «Я еще не имел возможности беседовать с Пятсом по основным политическим вопросам».[42]

Спустя всего три недели в Москве с не меньшим, пожалуй, удивлением должны были ознакомиться с еще одним интересным докладом полпреда. Прибегнув к ранее уже не раз опробованной тактике,

Раскольников начал с полного одобрения мнения руководства: «краеугольным камнем внешней политики правительства Пятса является создание малого прибалтийского блока <...> нет сомнения, что независимо от субъективных намерений отдельных членов кабинета, она объективно льет воду на мельницу Польши». Констатировав, что такая опасная для национальных интересов Эстонии политика приведет последнюю в объятия Польши, докладчик тут же отметил «*известное разочарование Польшей*», замеченное т. Курдюмовым «*даже среди эстонской военщины, где полонофильские симпатии свили себе наиболее прочное гнездо*». — «И генерал Йонсон и полковник Лауриц[43] в интимных беседах прямо заявляли <...> что полонофильство в Эстонии не дает политических результатов <...> Трудно сказать, насколько это было искренно».[44] Окончательный вывод, к которому автор доклада готовил своего читателя, можно было предугадать: «Активизация польских связей происходит, главным образом, по линии укрепления позиций в военной среде».[45]

Впрочем, Федор Федорович, вероятно, не все доверял бумаге — по крайней мере то, что собственно и должно было бы объяснять изысканность его логических построений. В противном случае трудно объяснить настойчивые попытки Раскольникова добиться вызова в Москву ради изложения своих предложений «для выработки конкретной программы действий на ближайший период в связи с приходом к власти Пятса». Он высказывался даже за созыв в столице всех полпредов в государствах Прибалтики. Но в Москве сочли «тайное» столь же весомым, как и изложенное в докладах. Вызова в столицу Раскольников тогда не дождался.[46] Первоначально, по уже отработанной методе, полпред позволил себе выразить недоумение и несогласие с руководством: «Я не вижу никаких оснований для пересмотра нашего предположения о наличии некоторого охлаждения к Польше, как со стороны правительства Пятса, так и со стороны некоторых общественных кругов».[47] После того, как это заявление произвело свое успокаивающее действие на ранимую душу его автора, и после того как руководство в очередной раз прямолинейно указало ему на неоправданность его умозаключений,[48] Раскольников счел себя обязанным обидеться. «Мне непонятно, — писал он Стомонякову, — почему Вы мои слова «охлаждение и разочарование Польшей» заключаете в иронические кавычки <...> я никогда не говорил об охлаждении и разочаровании Польшей со стороны Эстонии».[49] От-

вета адресата ему пришлось ожидать более полумесяца. «Мы поступим политически правильнее, — известил его 16 июня Стомоняков, — если не будем делать себе никаких иллюзий относительно возможностей охлаждения между Эстонией и Польшей в настоящее время или в обозримом будущем».[50] Последним рубежом обороны его оппонента стало заявление о согласии с этой точкой зрения, оговоренное принципиальной возможностью «различных градаций» степени охлаждения (применительно к данному случаю — «небольшой») польско-эстонских отношений.[51]

Не менее серьезные расхождения во взглядах имелись у Раскольникова с руководством НКИД в оценке роли развития экономических отношений СССР с Эстонией и между государствами Балтии. Стомоняков был убежден в том, что «в Прибалтике экономические отношения являются не базой, а скорее препятствием для осуществления политического сближения», и что экономическое сближение Латвии, Литвы и Эстонии «диктуется политическими интересами».[52] Подобная точка зрения не разделялась Раскольниковым. «Я не понимаю Ваш тезис, — писал он Б. С. Стомонякову. Не удержавшись лишний раз от желания напомнить руководству некоторые азы марксизма, он подчеркивал: «Во всех без исключения странах экономические отношения служат базисом политической надстройки. Другое дело, что между Эстонией и Латвией, Эстонией и Литвой, Эстонией и Финляндией существуют экономические противоречия. Но торговые договоры как раз и заключаются, чтобы устранить или, по крайней мере, смягчить эти противоречия». Знаток марксизма допускал возможность того, что «антисоветские политические соображения могут привести те или иные государства к политическому сближению даже при неурегулированных экономических отношениях». Однако подобное сближение только тогда будет прочным, когда под него будет подведена экономическая база. Именно поэтому, заключавшиеся в то время торговые договоры между прибалтийскими странами, по его мнению, имели *гигантское* политическое значение и являлись «необходимой предпосылкой для создания прибалтийского блока».[53]

Убогий ликбез по марксизму вызвал плохо скрываемое раздражение Б. С. Стомонякова, гораздо более своего подчиненного разбиравшегося в теории и практике международной торговли, прекрасно осведомленного о потенциальных возможностях советских внешнеторговых органов. «Из того, что “экономические отношения служат

базисом политической надстройки", вообще еще не следует, как Вы полагаете, что без углубленных экономических отношений невозможны близкие политические отношения», — писал он в Таллинн. Утверждение, что «сближение» между прибалтийскими государствами невозможно, если под него не будет предварительно «подведена экономическая база», опасно уже в силу того, что изображает положение вещей «более выгодным для нас, чем оно является на самом деле, тогда как экономические противоречия между государствами Балтии, являясь чрезвычайно серьезными и трудноразрешимыми, тем не менее, не препятствуют их политической близости».[54]

Упорства в отстаивании своей позиции Раскольникову было не занимать. С одной стороны, поспешив заявить Стомонякову, что «относительно соотношения «экономики» и «политики»» тот его неправильно понял, с другой, он не пожелал признать неоднократно излагавшуюся в докладах «марксистскую точку зрения» ошибочной и настаивал: «военные и политические союзы в конечном счете всегда определяются экономическими факторами».[55] Полемика по переписке стала приобретать довольно резкую тональность. Отвечая на обвинения в приверженности к ереси, Стомоняков писал подчиненному: «Вы <...> абсолютно не правы, хотя и приводите <...> несколько бесспорных марксистских истин, которые к рассматриваемому вопросу имеют мало отношения <...>. В интересах экономии времени и энергии я предлагаю, однако, прекратить переписку по этому вопросу, тем более, что то или иное разрешение его не может вести в настоящее время к каким либо практическим последствиям».[56] Раздражение Стомонякова вызывало и то, что Раскольников нередко прибегал к неблаговидному приему приписывания некому не называемому им оппоненту ложной точки зрения (в ряде случаев благоразумно (=бессовестно) закрывая глаза на то, что он сам является ее автором), которую же затем и опровергал. В конце мая 1931 г. полпред подчеркивал как нечто само собой разумеющееся, что «экономические отношения ни в коем случае не могут служить непреодолимым препятствием для осуществления политического сближения прибалтийских стран на антисоветской базе <...>/ В состоянии ли экономические противоречия помешать антисоветскому политическому сближению Прибалтийских стран? Я убежден, что не могут». Борис Спиридонович, испещривший своими пометами текст доклада, резонно выразил свое недоумение, что им высказывалась иная точка зрения («разве я когда-либо

ставил так вопрос?»). Выдав чужую точку зрения за свою, Федор Федорович понудил себя снизойти до сообщения, что он подчиняется приказанию руководства прекратить переписку по данному вопросу. При этом он не забыл бросить горький упрек: «не могу выразить сожаления, что вместо терпеливого товарищеского разъяснения Вашей точки зрения, Вы ограничились простым заявлением о моей абсолютной неправоте».[57] Казалось, точка в дискуссии была поставлена Стомоняковым в середине июня, когда он написал полпреду: «Вы совершенно неправильно ставите вопрос, когда спрашиваете меня, — “в состоянии ли экономические противоречия помешать антисоветскому политическому сближению прибалтийских стран?”. Само собой разумеется — не в состоянии».[58] Однако полтора года спустя — в декабре 1932 г. — члену Коллегии НКИД пришлось возвратиться к этой теме. В очередной раз обратив внимание Раскольникова на то обстоятельство, что «действительной экономической подоплеки» попытки создания прибалтийского блока никогда не имели и иметь не могут, он писал: «Экономические интересы Эстонии, Латвии и Литвы крайне трудно и даже невозможно примирить в рамках единого государственно-экономического организма <...>. Все они имеют однородный экспорт, а рынки сбыта все более ссужаются. <...> Если бы даже когда-нибудь под влиянием чрезвычайных политических событий, эти страны заключили между собой тесное политическое соглашение и даже образовали федерацию, можно быть уверенным, что они даже и тогда сохранили бы между собой таможенные преграды».[59]

Круг политических деятелей Эстонии, с которыми у Раскольникова сложились хорошие был довольно узок. Особые отношения сложились у него с лидером аграриев Константином Пятсом. Во многом это было обусловлено тем, что в «наследство» от своего предшественника (Петровского) Федор Федорович получил не до конца урегулированный вопрос о т. н. «бонусе» Пятсу, т. е. о денежных выплатах (формально за исполнение обязанностей юрисконсульта советско-эстонского акционерного общества по продаже нефтепродуктов).[60] Неоднократно занимавший пост главы государства Константин Пятс относился к тем государственным деятелям Эстонии, политические взгляды и моральные принципы которых были хорошо известны в Москве. Свойственное Пятсу по меньшей мере сдержанно-критическое отношение к парламентарным институтам и неоднократно допускаемые им в доверительных беседах оговорки о желательности внесения существен-

ных изменений в методы государственного управления, не ограничивавшиеся учреждением поста президента республики, как и его публичные выступления в ходе избирательных кампаний давали основания для выводов если не о приверженности, то склонности Пятса к идеалам фашистского движения. В руководстве НКИД приход к власти Пятса в феврале 1931 г. оценивался как определенный сдвиг в развитии внутриполитической ситуации в Эстонии, означавший усиление «элементов фашизации».[61] Заметим, об установлении в ближайшей перспективе фашистского режима речи при этом не шло. Однако подобная оценка мгновенно вызвала категоричные возражения полпреда. Закрыв глаза на специфику отношений Советского Союза с фашистской Италией,[62] он писал: «Если бы дело обстояло так, то правительство Пятса должно было бы встретить отрицательное отношение с нашей стороны, так как всякое усиление элементов фашизации в любой прибалтийской стране равнозначно росту антисоветской агрессивности. Я не отрицаю наличие фашистской опасности в Эстонии, которая из скрытого, потенциального состояния легко может выйти наружу в случае роста фашистского движения в других прибалтийских странах, либо в случае прихода к власти более левого правительства, например, эстонских социалистов <...>. Но никакого усиления элементов фашизации в факте прихода к власти Пятса, разумеется, усмотреть нельзя».[63] Абстрагируясь от реального расклада политических сил в парламенте и положения дел во фракции Социалистической партии Эстонии, Раскольников подкреплял свой тезис следующим наблюдением: «Если бы аграрии мечтали о фашизации, то они не стали бы блокироваться с социалистами, которые научены горьким опытом Финляндии, что после расправы с коммунистами фашисты принимаются за них».[64] В допущенной некорректности формулировки данного утверждения (не стоило продолжать фразу после слов «с социалистами») — не только неудержимая страсть к демонстрации собственного всеведения и поучениям, но и неизменно присущая Раскольникову в делах поспешность, недоделанность, подсознательная вера во всемогущество доказательности некого набора из «правильных слов», поразительная слепота на противоречия в собственных умозаключениях.

Эти возражения были отклонены руководством НКИД. Раскольникову было резко отказано в самом праве дискутировать по вопросу «относительно возможной роли нынешнего эст[онского]пра[вительства] в деле фашизации Эстонии». Стомоняков, не склонный

ожидать полной фашизации страны в ближайшем будущем, был категоричен в отстаивании тезиса, что именно партия Пятса являлась на тот момент единственной политической силой, «способной осуществить фашистскую программу».[65]

Реакция руководства на попытку макияжа политического лица Пятса не заставила Раскольникова уступить. Прием, к которому он при этом прибег, в логике именуется подменой предмета рассмотрения. Проблема наличия или отсутствия «элементов фашизма» в политических взглядах Пятса оказалась замещенной проблемой наличия фашистской опасности в Эстонии. Подобный ход позволял полпреду напомнить Б. С. Стомонякову, что еще в сентябре 1930 г. тот сам в одном из своих директивных писем, подчеркивая нереальность фашистского переворота в Эстонии в обозримой перспективе, тем не менее, полагал, что возможность такого переворота возникнет в случае прихода к власти левого правительства.[66] Полпред даже не пытался замаскировать свой упрек начальству, которое «ставит пятна леопарду», указывая полпреду на фашистскую опасность, поскольку еще в докладе от 20 августа 1930 г. он сам обращал на нее внимание. В Эстонии, «находясь под влиянием финских лапуасцев, фашисты, действуя в глубоком подполье, продолжают вести организационную и агитационную работу». Однако Раскольников не допускал мысли, что «фашизация Эстонии дело ближайшего будущего». «И я уж никак не могу согласиться, что правительство Пятса очередной этап по пути фашизации, — писал он Б. С. Стомонякову. — Если партия аграриев потенциально способна стать носительницей фашизма, что, безусловно, правильно, то ниоткуда[67] не следует, что уже в данное время она является носительницей фашизма. Если Пятс является сторонником изменения основных законов в целях установления должности президента, то ниоткуда не следует, что Пятс фашист.[68] <...> Если бы правительство Пятса действительно подготавливало фашизацию Эстонии, то вся его политика по отношению к СССР была бы совершенно противоположной <...>. Фашистское движение в Эстонии не может быть иным как воинствующим антисоветским движением. Для подготовки фашизации Эстонии фигура благожелательного к нам Пятса явно не годится». Проявив свойственную ему в ведении дискуссий забывчивость, Раскольников оставил в стороне собственный тезис о том, что блокирование сторонников Пятса с социалистами являлось свидетельством отсутствия

опасности фашизма.[69] За две недели, истекшие с момента этого утверждения, смотревшие со страхом на расправу со своими политическими собратьями в Финляндии эстонские социалисты во главе с Августом Реем перепугались, как увидел полпред, настолько, что стали источником фашистской опасности. «Наши молодые товарищи,[70] лишенные теоретической марксистской подготовки, иногда бывают склонны всякое буржуазное правительство заносить под рубрику фашизма, но эта неразборчивость не выдерживает никакой критики».[71]

Взаимопонимание (отнюдь не дружба, как иногда считали в Москве) возникшее у Раскольникова с Константином Пятсом, которое, быть может, стоит рассматривать как некую родственность не обремененных нормами морали душ, прежде всего и обусловливало для полпреда (если забыть о том, что подобного уровня отношений ни с кем другим из эстонской политической элиты ему установить не удалось) необходимость создания в своих докладах образа Пятса, как едва ли не единственного политика, на которого может опираться советская дипломатия.[72] Именно поэтому, когда в конце 1932 г. начавшийся подъем движения вапсов («воинов-освободителей») поставил в повестку дня угрозу фашистского coup d'йtat, Раскольников (высказывавший, кстати, сомнения в успехе этого движения и предрекавший провал затеянного вапсами референдума по изменению конституции) поспешил представить Пятса, способного, по признанию полпреда, самому решиться на переворот и ввести должность президента, в качестве своего рода борца с фашизмом.[73] Однако убедить членов Коллегии НКИД в этом ему не удалось. В Москве оценивали совокупность взглядов этого эстонского политика как фашистскую идеологию. Стоит отметить, что информация о попытках Пятса договориться с вапсами поступила из полпредства в Москву как только Раскольников покинул Таллинн.

Интерес представляет вопрос об отношении советской стороны к проводимой эстонскими властями политики в отношении национальных меньшинств. Прежде всего, речь идет о русском меньшинстве. Это был едва ли не единственный вопрос, по которому позиции полпреда и Москвы не расходились. Советская сторона исходила из того, что русское население Эстонии не следует использовать в качестве одного из рычагов давления на правительство этого прибалтийского государства. Подобная позиция объяснялась не просто настороженным, а резким негативным отношением русского насе-

ления Печерского края к Советской России. Именно оно вызывало ответную, едва ли не враждебную реакцию в Москве. Усиливала это негативное отношение и большая активность представителей различных политических группировок русского населения в Эстонии в таком деле, как налаживание контактов с представителями русского меньшинства в других европейских государствах (в Москве понимали: «с контрреволюционной эмиграцией»).[74] Поэтому такие, например, события, как съезд представителей русских национальных меньшинств в Риге в 1929 г., последующая подготовка более представительного съезда в Женеве неизбежно влекли за собой давление компетентных органов на НКИД в тех немногих случаях, когда внешнеполитическое ведомство все же пыталось иногда, хотя и довольно робко, использовать наличие компактно проживающего в Эстонии русского населения в своих целях. Так было, например, когда велась подготовка советско-эстонской рыболовной конвенции. НКИД приложил немало усилий, чтобы доказать ОГПУ «политическую заинтересованность (СССР) в том, чтобы пойти навстречу интересам русских в Эстонии».[75]

В определенной мере справедливым будет утверждение, что Москва отстраненно наблюдала за развитием взаимоотношений русского национального меньшинства с Эстонским государством. Даже когда на страницах эстонской прессы появились сообщения о планах переселения печерских рыбаков на побережье Балтийского моря (ради того, чтобы ослабить кризисную экономическую ситуацию в Печерском крае), Наркоминдел ограничился запросом информации о масштабах переселения русских и более к этой теме не возвращался.[76] Вероятно, именно поэтому Ф. Ф. Раскольников считал за лучшее не начинать объезда страны с Печерского края, в котором компактно проживали русские и сеты, чтобы не вызывать у эстонцев каких-либо подозрений. Судя по всему, член Коллегии НКИД Б. С. Стомоняков, курировавший отношения с Эстонией, прямо запретил весной 1932 г. особую работу среди национальных меньшинств (имелись в виду русские и евреи),[77] хотя сам Раскольников, когда ставил об этом вопрос, имел ввиду всего лишь создание «из левых элементов этих меньшинств благожелательного окружения вокруг полпредства».[78] Идея туманная, но, действительно, явно не содержавшая даже намека на желательность изменения ставшего уже традиционным отношения СССР к русскому национальному меньшинству в Эстонии.

Поднятая членом Государственного собрания Эстонии А. В. Гречановым (левый социалист) в разговоре с Раскольниковым тема присоединения Печерского края к Советской России была воспринята в Москве как провокация.[79] Однако главной причиной, обусловливавшей такое отношение, были все же, пожалуй, явно преобладавшие среди русского населения Печерского края и Принаровья антисоветские настроения, о которых в Москве были хорошо осведомлены. В августе 1930 г. у Раскольникова состоялась продолжительная беседа с упомянутым выше А. В. Гречановым. Последний пространно поведал о росте национальных противоречий, приведя в качестве примера плохое обращение с русскими солдатами эстонских унтер-офицеров в Печерах, выселении русских из Печер на окраины, на осушаемые болота, тогда как получавшие повышенные оклады эстонские чиновники заселяли город и т. п. Однако в итоге Гречанов был вынужден признавать, что антисоветские настроения в этом крае необычайно сильны, даже среди бедноты.[80]

Когда пошел третий год пребывания на посту полпреда в Эстонии, Раскольников, судя по его докладам, испытывал сильнейшее желание вырваться из этой дипломатической ссылки. Можно предположить, что когда 23 апреля 1933 г. в беседе с приехавшим из Москвы эстонским посланником Ю. Сельямаа он услышал, что тому «частным образом» довелось узнать о назначении Раскольникова на пост полпреда в Дании (вместо М. В. Кобецкого), то настроение Федора Федоровича значительно улучшилось. Нарисованная Музой Канивез драматическая сцена прощания Раскольникова с полюбившимся ему Таллинном была необходима мемуаристке в качестве завершающего штриха к той благостной картине всеобщей любви, которой был окружен супруг, но сомнительно, чтобы тот при отъезде испытывал что-либо кроме радости.

---

[1] *Кучкина О.* Возвращенное имя // Комсомольская правда. 1987, 26 декабря.

[2] *Шумихин С.* Судьба архива Ф. Ф. Раскольникова // Наше наследие. 1988. IV. С.79–85.

[3] *Max Engman.* Raskolnikov på Karelska näset // Historisk tidskrift för Finland. 1995. N 2. S. 203–224.

[4] Насколько надуманным представляется объяснение Виктора Шкловского в его «Сентиментальном путешествии. Воспоминания. 1918–1923» (Л., 1924.

С. 51) причин отказа зимой 1919 г. от штурма «отрядом броневиков» таллиннской тюрьмы ради освобождения из нее Раскольникова («матросы, которые должны были ехать со мной (под командой Грицая) разъехались куда-то, а больше в Ямбург за свининой»), настолько правдоподобным выглядит сам факт «вызревания» столь гениальной задумки в голове Ларисы Рейснер.

[5] Причины, обусловившие снятие в 1938 г. Раскольникова с поста полпреда в Болгарии (что и подтолкнуло его к невозвращению в СССР) остаются не вполне ясными. Резолюция Сталина на страницах протокола допроса Л. М. Карахана: «отозвать из Болгарии Раскольникова» относится к июню 1937 г. Рука генерального секретаря начертала ее возле абзаца, в котором шла речь о содержании беседы Карахана с германским генералом Мильхом в Будапеште. Последний, якобы, говоря о вариантах наступления Германии на СССР, заявил: «Организация германских морских баз в Болгарии может быть организована только под видом болгарских морских баз, которые в случае открытой войны Германии против СССР или законспирированной помощи контрреволюционному заговору могли бы быть использованы как базы для германского флота». (Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину с приложением протокола допроса Л. М. Карахана, 19.6.1937 // Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотников. М., 2004. С. 222–225). Можно только предположить, что в докладах Раскольникова из Софии не упоминалось о подобного рода деятельности германских военных в Болгарии.

[6] Насколько важен был вклад Раскольникова в развитие, например, советско-болгарских и советско-эстонских отношений, косвенно свидетельствует тот факт, что в новейшей историографии этот вопрос просто не ставится. (См.: Луиза Ревякина. Българо-съветските отношения (1935–1940) // Исторически преглед. 2001. Кн. 1–2. С. 21–60; Magnus Ilmjärv. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu Tallinna saatkond: aastad 1925–1934 // Acta historica Tallinnensia. 1999. 3. S. 156–223. В изданной в 2004 г. интересной и богатой фактами монографии Илмъярва основное внимание также уделено контактам Раскольникова с Пятсом. Взгляды полпреда, его полемика с руководством, к сожалению, не анализируются. См.: Magnus Ilmjärv. Hääletu alistumine. Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilisi orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Tallinn: Argo, 2004. S. 87–92). Какие-либо работы, в которых бы рассматривался краткий период деятельности Федора Федоровича в Копенгагене, нам обнаружить не удалось.

[7] *Решетникова О. Н.* Ф. Ф. Раскольников глазами болгарской полиции // Славяноведение. 1992. № 5. С. 87–94.

[8] *Кольцов П. С.* Дипломат Федор Раскольников. М., 1990. 284 с.

[9] Впрочем, архивные документы дают повод усомниться в наличии этого качества у Раскольникова. Заслуживает внимания то, что его вторая супруга — Муза Канивез — в своих воспоминаниях, назойливо подчеркивая такие качества своего мужа, как внимательность, благожелательность и доброта, его способность располагать к себе людей, тем не менее, благоразумно не упоминает среди государственных и политических деятелей Эстонии тех, с кем Раскольникову постоянно приходилось иметь дело, выполняя свои должностные обязанности

(в частности, имя заместителя министра иностранных дел в 1931–1933 гг. Александра Геллата, которого полпред характеризовал, как «непримиримо враждебного, мелочного, напористого, лишенного дипломатической гибкости»; глава МИД Эстонии «простой и доброжелательный человек» — по словам Канивез — пастор Латтик (как, например, и другой глава МИД — Яан Тыниссон) не были ею включены в список лиц, с которыми у ее супруга сложились хорошие отношения). (М. Канивез. Моя жизнь с Раскольниковым // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 7. М., 1992. С. 65–68). В целом отношения полпреда с высшими чинами эстонского внешнеполитического ведомства нельзя было назвать теплыми. Заметим, что английские дипломаты, кропотливо собиравшие сведения об эстонских политиках, считали того же Геллата (выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета) человеком не только простым и откровенным, но особо подчеркивали его удивительную честность и вместе с тем его скромность и сильный характер. (A. J. Hill to Mr. Knatchbull-Hugessen, Letter, 15. 1. 1932. — PRO. FO / 371 / 16263. Я благодарен Олегу Кену за предоставленную мне возможность ознакомиться с копией этого документа). Доклады Раскольникова являются свидетельством того, что уровень его контактов с представителями политического и делового мира Эстонии был гораздо более скромным, чем у английских и даже — учитывая традиционное отношение эстонцев к немецкому балтийскому дворянству — у германских дипломатов. По вполне понятным причинам Муза Канивез не стала уделять особого внимания быту своей семьи, тягостной переписке Федора Федоровича с Наркоматом труда и руководством НКИД по поводу разницы в оплате труда между ним и торгпредом; в противном случае у читателя возникли бы сомнения в искренности ее супруга, указавшего советскому читателю на причины серьезнейших недостатков в творчестве Ильи Эренбурга: «Продолжительный отрыв от страны, охваченной энтузиазмом строительства и неутомимо закладывающей фундамент величественного здания социализма, не может пройти безнаказанно для писательской психики». (Ф. Ф. Раскольников. Предисловие // Илья Эренбург. Виза времени. М.; Л., 1931. С. 3).

[10] *Мельцер Д. Б.* Болгарский этап дипломатической деятельности Ф. Ф. Раскольникова // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта имя У. І. Леніна. Сер. 3. 1991. № 3. С. 18–21.

[11] Письмо Г.В.Чичерина С.И.Аралову, 18.12.1923 // АВП РФ. Ф. 04. Оп. 25. П. 173. Д. 51820. Л. 127. «Кабул есть в высшей степени важный географический пункт, — продолжал нарком. — Там идет необычайно сложная политика с Англией и с нами».

[12] Главный комитет по надзору за репертуаром театров.

[13] Совет по делам искусства и литературы.

[14] В 1929 г. было осуществлено еще несколько серьезных кадровых перестановок на высоких постах: главой Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) был назначен 33-летний Алексей Иванович Стецкий, вовремя успевший отдалиться от своего прежнего покровителя и учителя Н. И. Бухарина; на посту наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского сменил Андрей Сергеевич Бубнов, в течение долгого времени возглавлявший Политическое Управление РККА.

Происходившие в этом году перемещения заставляют рассматривать перевод Раскольникова в Наркоминдел как одно из звеньев продуманной политической кампании по укреплению идеологических основ режима. Проявленная при этом торопливость послужила причиной непреднамеренной, как представляется, оплошности: от должности «ответредактора» «Красной нови» Федор Федорович формально был освобожден постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) только 5 мая 1930 г. (Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. Сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 1999. С. 127).

[15] Безусловно, реплику Сталина — «Я не считаю Главрепертком центром художественного творчества» (В. И. Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть. М., 2000. С. 169) — безоговорочно переносить на оценку достоинств собственно Раскольникова нельзя. Вместе с тем, нескрываемое недовольство генерального секретаря деятельностью как Главреперткома, так и Главискусства, проявившееся именно в 1929 г. (см.: Ответ т. Сталина [Н. В.]Билль-Белоцерковскому — *И. В. Сталин*. Сочинения. Т. XI. С. 326–329), явно предрешило перестановки на начальствующих постах в обоих ведомствах. Свидерский (как и Горький) поддержал осенью 1928 г. постановку пьесы «Бег» М. А. Булгакова. Раскольников, претендовавший на исключительную роль в определении тенденций развития театра в СССР и определенно считавший себя талантливым писателем, Драматургом, поспешил направить на Свидерского политический донос в ЦК ВКП(б). (Михаил Булгаков. Дневник. Письма. 1914–1940. (Составление, подготовка текста, комментарии В. И. Лосева). М., 1997. С. 190). Кампания, развернутая Раскольниковым и присными и поддержанная «Комсомольской правдой» фактически и привела к отставке Свидерского в следующем году. Невольно возникает искушение объяснить краткость «правления» Федора Федоровича в Главискусстве и последующие его направление именно в Таллинн, от которого было рукой подать до Риги, где должность полпреда с осени 1929 г. исполнял Свидерский, нескрываемым недовольством Сталина (об отношении его к творчеству Булгакова касаться здесь не станем) крайне грубым навязыванием коллегией Главреперткома своего мнения политическому руководству. Возможно поэтому преемник Раскольникова в Главреперткоме В. Н. Гандурин не был склонен действовать столь нахраписто. A propos: Свидерский, в отличие от мичмана-драматурга, после назначения на дипломатический пост, не утратил своих связей в высшем политическом и государственном руководстве СССР и пользовался гораздо большим доверием, хотя в его докладах, в отличие от донесений Раскольникова, не находилось места «сигналам».

[16] *Ван Чун*. Лунь хэн // Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. С. 256.

[17] *Кольцов П. С.* Дипломат Федор Раскольников. С. 218.

[18] *Б. С. Стомоняков*. Запись беседы с Ю. Сельямаа, 21. 1. 1930. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 5. П. 40. Д. 4. Л. 124.

[19] Там же. Л. 125. В том же 1930 г. Г. Йонсон был назначен командиром 3-й дивизии и начальником столичного гарнизона.

[20] *Б. С. Стомоняков*. Запись беседы с Ю. Сельямаа, 5. 3. 1930. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 5. П. 40. Д. 4. Л. 134.

[21] *Кен О.Н., Рупасов А.И.*. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Т. 1. 1928–1934 гг. СПб., 2000. С. 595–596.

[22] Письмо М. М. Литвинова И. В. Сталину, 20. 1. 1930. — АВП РФ. Ф. 05. Оп. 10. П. 66. Д. 98. Л. 1–4.

[23] По неизвестной причине в русскоязычной литературе бытует неверная передача фамилии этого эстонского политика (Tõnisson) — Тениссон (нередко даже Теннисон).

[24] Дневник Я. Ю. Клявина, 22. 8. 1933. — АВП РФ. Ф. 05. Оп. 10. П. 66. Д. 98. Л. 148. Раскольников покинул Эстонию 2 сентября 1933 г.

[25] Письмо Н. Н. Крестинского А. М. Петровскому, 12. 11. 1930. — Там же. Ф. 10. Оп. 1. П. 4. Д. 64. Л. 15 об.

[26] Раскольниковский Максимилиан Робеспьер вышел таким, что вопрос о причинах его падения (т. е. поражения Великой революции в глазах автора) у зрителя после просмотра спектакля (или прочтения изданного автором в 1930 г. за свой счет текста пьесы) просто не мог возникнуть. Но неизбежным должно было быть удивление, как же настолько омерзительная в воспевании собственного величия потрясающе недальновидная и трусливая личность, как Неподкупный, оказалась превознесенной в ранг святых от революции. Судя по всему, такое впечатление не складывалось только у автора пьесы. Ленинградский театр драмы предпочел издать перед премьерой не только программку, но и своего рода «шпаргалку» для зрителя, включавшую не только объяснение тех целей, которыми руководствовался театр, ставя спектакль, но и довольно подробный путеводитель по французской революции. Поразительно утверждение руководства театра, что «судьба героев «Робеспьера» предопределена ходом событий, которые развиваются независимо от них». Предложение столь примитивного варианта решения проблемы роли личности в истории, скорее всего, исходило от автора пьесы, а не от постановщиков спектакля. Что касается современной критики, то она с особой осторожностью отнеслась к акимовской постановке «Робеспьера». Так, Барташевич, отмечая, что советская пьеса вообще «драматургически несовершенная, но ценная по идее, в нее заложенной», обращал внимание на то, что Н. Акимов вынес на себе всю тяжесть «этого сложного и ответственного спектакля», сделав упор на зрелищности (иллюзорности), балансируя на грани «беспланового эстетизма». (А. Барташевич. Н. Акимов. Театральные работы // Театр. 1931. № 4. С. 22–24). Принадлежавшие к различным группировкам критики С. Л. Цимбал (Ленинградская правда. 15 февраля 1931) и С. С. Мокульский (Красная газета. 15 февраля 1931), намеренно оставив в стороне разбор раскольниковской драматургии, незаслуженно, на наш взгляд, обвинили игравшего Робеспьера актера Певцова в том, что его герой получился каким-то «болезненным интеллигентом-неврастеником, почти что припадочным субъектом». Певцов, видимо, внимательно прочел текст пьесы.

[27] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 21. 2. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. Папка 54. Д. 58. Л. 4.

[28] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 11. 3. 1931. — Там же. Л. 6.

[29] Некоторые формулировки донесений наводят на мысль, что под «молодыми» Раскольниковым понимались не только младшие по возрасту коллеги по Наркоминделу, но и просто стоящие ниже его на служебной лестнице.

[30] Летом 1931 г. Раскольников докладывал руководству: «Нам необходимо быть готовыми к тому, что с началом новой интервенции Польша погрузит в Гданьске десант в несколько тысяч штыков и под охраной своего флота высадит его в Эстонии. Произвести одновременную высадку серьезного десанта в Эстонии и Финляндии Польша будет не в состоянии. Польше несравненно важнее Эстония, чем Финляндия, так как польский десант, высадившись в Эстонии, легче сможет осуществить связь с левым флангом польской армии, которому будет дано задание двигаться на Ленинград через Псков. Между тем, при высадке десанта в Финляндии, он будет отрезан Финским заливом. Поэтому, несмотря на близость от Ленинграда финской границы с точки зрения интервенционистских планов Польши Финляндии по сравнению с Эстонией отводится второстепенная роль». (Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 6. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. П. 54. Д. 57. Л. 64).

[31] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 21. 6. 1930. — Там же. Ф. 0154. Оп. 22. П. 30. Д. 1. Л. 41.

[32] Дневник Ф. Ф. Раскольникова, 3, 5, 7, 10. 4. 1930. — Там же. Ф. 09. Оп. 5. П. 46. Д. 47. Л. 83, 85, 87.

[33] Дневник Ф. Ф. Раскольникова, 16. 6. 1930. — Там же. Ф. 0154. Оп. 22. П. 30. Д. 6. Л. 104.

[34] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 21. 6. 1930. — Там же. Д. 1. Л. 41. 2 июля состоялась еще одна встреча полпреда с Е. Лукком, в ходе которой последний высказал не менее оригинальную мысль: перед войной (которая, по его мнению, была неизбежна, и в ходе которой территория Латвии хотя бы временно, но будет занята советскими войсками) следует дать согласие на увеличение территории Эстонии за счет Латвии: Советскому Союзу следовало бы передать Эстонии принадлежащие Латвии Валкский и Вольмарский уезды. Такой шаг, считал Лукк, гарантировал бы Москве нейтралитет Таллинна.

[35] Дневник Ф. Ф. Раскольникова, 19. 3. 1930. — АВП РФ. Ф. 09. Оп.5. П. 46. Д. 47. Л. 68–69.

[36] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 10. 7. 1930. — Там же. Ф. 154. Оп. 22. П. 30. Д. 1. Л. 49.

[37] Доказательством этого в первой половине 30-х гг. могло служить развитие политических и хозяйственных отношений СССР с Латвией. О том, как в политическом руководстве СССР относились к использованию торговли в качестве рычага политического воздействия косвенно свидетельствует письмо Кагановича Сталину. Замещавший на время отпуска генерального секретаря Каганович был категорически против возможного использования переговоров о заключении торгового договора с Латвией ради того, чтобы облегчить левым вступление в правительство: «Какой резон нам руки марать?» — Письмо Л. М. Кагановича И. В. Сталину, 11. 9. 1931 // Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 95.

[38] «Необходимо раз и навсегда экономику наших хозяйственных организаций, часто не обладающих широким кругозором, подчинить политике Наркоминдела», — писал полпред в Москву. (Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 4. 1931. — Там же. Оп. 23. П. 33. Д. 1. Л. 36). Отдавая должное его желанию активизировать двусторонние хозяйственные связи, стоит отметить, что в отличие от коллег в других Прибалтийских государствах, обоснованно признававших ограниченность использования развития торговых отношений в качестве серьезного фактора воздействия на внешнеполитический курс этих государств, Раскольников настолько абстрагировался от действительности, что возникают подозрения в наличии у него желания вникнуть в суть дела.

[39] В. Н. Курдюмов — военный атташе в Литве и Эстонии (1929–1931).

[40] Подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «?».

[41] Подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «!!!».

[42] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 30. 3. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. П. 54. Д. 57. Л. 29–30. Подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «!».

[43] Карл Лауритс — начальник разведывательного отдела генерального штаба Эстонии.

[44] Подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «именно!».

[45] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 4. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. П. 54. Д. 57. Л. 35–36. Подчеркнуто Стомоняковым.

[46] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 6. 5. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 30.

[47] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 9. 5. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 44.

[48] «Я думаю, что в своем стремлении доказать наличие «охлаждения» и «разочарования» Польшей со стороны Эстонии Вы зашли слишком далеко». — Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 26. 5. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 33.

[49] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 29. 5. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 51. Стомоняков на полях начертал: «Именно так и ставил вопрос».

[50] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 16. 6. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 42.

[51] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 6. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 61–62.

[52] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 16. 4. 1931. — Там же. Ф. 09. Оп. 6. Папка 54. Д. 56. Л. 25.

[53] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 4. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 38.

[54] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 6. 5. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 28–29.

[55] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 9. 5. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 46–47. Стомоняков, особо отметив этот пассаж в докладе, начертал на полях «?!».

[56] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 26. 5. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 34.

[57] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 29. 5. 1931. — Там же. Д. 57. Л. 52–53.

[58] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 16. 6. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 40.

[59] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 11. 12. 1932. — Там же. Ф. 154. Оп. 25. П. 37. Д. 25. Л. 46–47.

[60] Публикации эстонского историка Магнуса Илмъярва, нашедшего подтверждающие это документы, вызвали огромный интерес. См., например: Ulrike Plath, Karsten Brüggemann. Vom Tanz mit des Teufels Grossmutter. Die estnische Debatte um die Zusammenarbeit von Präsident Konstantin Päts mit Sowjetunion // Osteuropa. 2000. H. 9. S. 329–339. Стоит заметить, что в публикацию вкралась досадная неточность: с Пятсом оговаривался вопрос о выплате 4000 долларов не в месяц, а в год.

[61] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 17. 2. 1931. — Там же. Оп. 6. Папка 54. Д. 56. Л. 13.

[62] Сам Раскольников неоднократно в донесениях указывал на желательность взаимодействия с дипломатической миссией фашистской Италии, ссылаясь на свой удачный опыт времен пребывания в Афганистане.

[63] Подчеркнуто Стомоняковым. На полях сделанная его рукой помета: «Расходится с установкой. Также дружит!».

[64] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 21. 2. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. Папка 54. Д. 57. Л. 17–18.

[65] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 7. 3. 1931. — Там же. Д. 56. Л. 14–15.

[66] Письмо Б. С. Стомонякова Ф. Ф. Раскольникову, 8. 9. 1930. — Там же. Ф. 0154. Оп. 22. П. 30. Д. 2. Л. 48.

[67] подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «!».

[68] на полях — «!».

[69] Раскольников неоднократно за короткий период менял свою оценку последствий возможного блока аграриев и социалистов. В конце осени 1930 г. он, например, полагал, что «аграрии безусловно надуют социалистов». В силу этого трудно воссоздать промежуточные звенья рассуждений полпреда, которые позволили бы ответить на вполне уместный вопрос: как безусловная уверенность социалистов в том, что они будут обмануты аграриями, превратилась в убежденность, что блок с последними не закончится расправой с социалистами. Забыл Раскольников и о том, что сам в августе 1930 г. считал более чем вероятной возможность того, что «кулацкая партия аграриев» во главе с Пятсом перекинется на сторону фашистского движения.

[70] подчеркнуто Стомоняковым, на полях — «!».

[71] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 11. 3. 1931. — АВП РФ. Ф. 09. Оп. 6. Папка 54. Д. 57. Л. 25–26.

[72] Стоит отметить, что следователи НКВД, допрашивавшие экс-президента Пятса и генерала Й. Лайдонера, не проявили никакого интереса в отношении Раскольникова. (См.: President ja sõjavägede ülemjuhataja NKVD EES. Dokumente

ja materiale. Vene keelest tôlkinud ja kommenteerinud M. Ilmjärv. Tallinn, 1993). Это контрастирует с тем любопытством, которое во время допросов было проявлено не только к событиям, предшествовавшим второй мировой войне, но и к событиям гражданской войны, к самым незначительным эпизодам случайных знакомств этих двух политических деятелей Эстонии.

[73] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 24. 11. 1932. — Там же. Ф. 0154. Оп. 25. П. 37. Д. 27. Л. 80.

[74] Там же. Ф. 09. Оп. 4. П. 39. Д. 40. Л. 60 об.

[75] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 26. 6. 1930. — Там же. Ф. 0154. Оп. 22. П. 30. Д. 1. Л. 41. Вскоре, впрочем, выяснилось, что в НКИД не слишком хорошо сами разобрались в ситуации, так как с некоторым удивлением должны были констатировать, что русских рыбаков в Причудье интересовали не столько районы рыбной ловли, сколько вопросы сбыта улова в Россию. — Там же. Д. 41. Л. 79.

[76] Там же. Ф. 154. Оп. 21. П. 27. Д. 3. Л. 17; Д. 4. Л. 17 об.

[77] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 20. 6. 1931. — Там же. Оп. 23. П. 33. Д. 1. Л. 51. Заметим, что в НКИД обращали внимание на сильные юдофобские настроения в Эстонии и в некоторых случаях были вынуждены учитывать их при подборе кадров сотрудников для полпредства.

[78] Доклад Ф. Ф. Раскольникова Б. С. Стомонякову, 9. 5. 1931. — Там же. Л. 44.

[79] Там же. Оп. 22. П. 30. Д. 1. Л. 41. Любое затрагивание темы «присоединения» Эстонии к СССР неизменно рассматривалась в Москве как политически вредный и неуместный шаг. Когда в июле 1930 г. военный атташе Филиппов, беседуя с начальником разведывательного отдела генерального штаба Лауритсом о перспективах создания панъевропейской федерации, в шутку «предложил Эстонии вступить в СССР», Раскольников поспешил указать шутнику, представлявшему к тому же советское военное ведомство, на недопустимость политических разговоров в подобном духе. (Дневник Ф. Ф. Раскольникова, 1. 8. 1930. — Там же. Ф. 09. Оп. 5. П. 46. Д. 47. Л. 119). С другой стороны, интерес представляет рассказ председателя союза эстонских писателей Эдуарда Хубеля в ноябре 1935 г. о том, что еще до совершения государственного переворота — в 1933 г. К. Пятс в личной беседе с ним прямо заявил, что он «вовсе не за драку за самостоятельность во всех без исключения случаях, напротив, ввиду малочисленности эстонского народа, он допускает такое изменение и сочетание обстоятельств в будущем, когда наиболее разумным может явится заключение федерации с СССР». (Дневник Я. Ю. Клявина, 18. 11. 1935. — Там же. Ф. 0154. Оп. 28. П. 40. Д. 6. Л. 176).

[80] Дневник Ф. Ф. Раскольникова, 4. 8. 1930. — Там же. Ф. 09. Оп. 5. П. 46. Д. 47. Л. 121.

О. Н. Кен

М. С. ОСТРОВСКИЙ И СОВЕТСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1934–1938 гг.)

Для советской внешней политики 1934 г. был ознаменован вступлением в Лигу Наций и «второй полосой признания». Особое значение для СССР имело нормальных дипломатических отношений с государствами Малой Антанты – Чехословакией и Румынией и связанное с этим укрепление советских позиций в Центральной Европе.

В отличие от Чехословакии, не имевшей с СССР ни общей границы, ни спорных вопросов и находившейся в окружении реваншистских государств, Румыния должна была исходить прежде всего из трудного соседства с Советским Союзом. От него Румынское королевство отделяло лишь протяженная линия Днестра, которую Москва отказалась признавать государственной границей между Украинской ССР и Бессарабией. Тлеющий конфликт по поводу принадлежности Бессарабии сопровождался неурегулированностью вопросов о вывезенных в Россию румынских архивах и «румынском золоте», иных имущественных претензиях. Заключенный в 1921 г. союзный договор между Бухарестом и Варшавой обеспечивал Румынии видное место в ряду «ближайших вероятных противников» СССР. Несмотря на нажим своих союзников – Франции и Польши, Румыния предпочла остаться вне системы пактов, заключенных СССР с западными соседними государствами в 1932 г., нежели согласиться подставить под сомнение свой суверенитет над Бессарабией.

Решающую роль в срыве планов заключения советско-румынского договора о ненападении сыграл талантливый и амбициозный посланник Румынии в Лондоне Николае Титулеску, осенью 1932 г. на-

значенный королем на пост министра иностранных дел. Твердый сторонник прозападной ориентации, Титулеску вместе с тем одним их первых осознал возможности, которые открывала для Румынии быстрая эволюция советской внешней политики в направлении поддержки европейского статус-кво. По его инициативе в июле 1933 г. СССР и Румыния подписали Лондонскую конвенцию об определении нападающей стороны, позволявшей считать агрессией любой возможный насильственный акт Москвы по «возвращению» Бессарабии. Основное препятствие к нормализации двусторонних отношений отпало. Вскоре после начала переговоров между СССР и Францией о взаимной помощи, румынская дипломатия сделала ставку на сближение с СССР как оплотом послевоенного порядка. 9 июня 1934 г. нарком М. М. Литвинов и министр Н. Титулеску обменялись нотами об установлении нормальных дипломатических отношений. О «существующих спорах» (формулировка, ставшая камнем преткновения на переговорах 1932 г.) при этом не упоминалось.

Первым полпредом (Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром) в Бухаресте стал 42-х летний Михаил Семенович Островский. Назначение недавнего сотрудника Наркомата внешней торговли на ответственный дипломатический пост было необычным, тем более, что в Москве не было никаких иллюзий относительно развития хозяйственных связей с аграрной Румынией.

О биографии и предшествующей деятельности Островского известно сравнительно мало.[1] Членом ВКП(б) он стал в 1919 г., примерно в то же время поступил в Красную армию; после гражданской войны служил заместителем комиссара Военной академии РККА. С 1925 г. Островский в качестве уполномоченного Нефтесиндиката работал в Турции, Германии и Франции, а в августе 1932 г. был назначен заместителем председателя объединения «Союзнефть» с сохранением за ним должности президента Sociйtй franзaise du Naphte russe.[2] С 1933 г. и вплоть до перехода в Наркоминдел осенью 1934 г. Островский занимал важный пост торгового представителя СССР во Франции. В этом качестве он должен был стать хорошо известным как наркому Литвинову, лично курировавшему 3-й Западный отдел НКИД, так и аппарату ЦК ВКП(б). Двухлетнее пребывание Островского в Германии, возможно, положило начало теплым отношениям с первым заместителем наркома Н. Н. Крестинским (в 20-е гг. — полпредом в Берлине). Непринужденные отношения наладились у

Островского с ближайшим сотрудником Крестинского — уроженцем Бессарабии Д. Г. Штерном, который с 1931 г. заведовал II Западным отделом (Центральная, Юго-Восточная и Северная Европа) и референтом по Румынии Г. Я. Бежановым.

Сколь бы далекими от политических проблем ни выглядела служебные обязанности Островского, с осени 1932 г. он начал играть выдающуюся роль в налаживании доверительных отношений между Парижем и Москвой. Используя знакомство с представителем одной из нефтяных компаний майором Кайролем, Островский установил тесный контакт с «небольшой группой реалистов» во французском военном командовании (подполковник де Латтр, генерал Луазо, полковник Мендра), считавших сближение с Россией стратегически необходимым.[3] В многочисленных беседах с Кайролем и де Латтром (переписка с которым к лету 1933 г. приобрела фамильярный оттенок) Островский убеждал французов, что Москва все более озабочена перевооружением Германии и «не может допустить, чтобы Польша вновь стала немецкой <...>. Перед этой опасностью вопросы об Украине и даже Бессарабии отходят на второй план».[4] О контактах с Островским де Латтр докладывал своему шефу М. Вейгану — заместителю председателя Высшего военного совета и главнокомандующему в случае войны. Остается неясным, в какой мере Островский как «агент влияния» следовал директивам Москвы и с какими именно советскими ведомствами он сносился. Вполне вероятно, полагает директор исследований Исторической службы армии Ф. Гуэлтон, что Островский являлся сотрудником военной разведки, однако твердые данные на этот счет отсутствуют.[5] Во всяком случае, Островский выказал необычайные способности. «Хитрый как обезьяна, чувствительный к малейшим нюансам, — вспоминал о нем первый военный атташе Франции в СССР Мендра, — он угадывал направление ветра и управлял людьми как игрушками».[6] К началу 1934 г. идея соглашения о взаимной помощи между СССР и Францией начала обсуждаться на официальном уровне. Парижская миссия Островского, таким образом, завершилась.

Н. Титулеску, назначив посланником Румынии в Москве своего бывшего секретаря Э. Чиунту (по обычным меркам — слишком молодого человека для такого поста), просил Литвинова прислать в Бухарест дипломата, удовлетворяющего следующим условиям: «а) не еврей; б) не выглядящий большевиком; в) умеющий говорить по-французски; г) способный обращаться с румынскими дамами». Литвинов

ответил, что единственный человек, который бы отвечал этим требованиям, говорит по-немецки, но не по-французски.[7] Решительное отклонение Титулеску этого варианта было весьма показательным. Король, вдохновленный слухами о том, что Пилсудский договорился с Гитлером о проходе германских войск для нападения на СССР в случае советско-японской войны, весной неожиданно проявил живой интерес к вступлению в переговоры с Германией на этот счет. Ввиду ослабления польско-румынского союза, растущей немецкой активности в Румынии и неустойчивости политических воззрений Кароля II, министр желал видеть советским посланником в Бухаресте человека, который одновременно символизировал собою укрепление отношений между СССР и главным союзником Румынии — Францией. Эти расчеты в НКИД могли только приветствовать, что по всей вероятности, определило выбор в пользу Островского, несмотря на антисемитизм румынских политических кругов (который, впрочем, умерялся еврейским происхождением «дамы» короля). Заинтересованный в скорейшем прибытии советского посланника Бухарест без промедления предоставил агреман на назначение Островского.

В конце августа, еще оставаясь на посту торгпреда во Франции, Островский впервые встретился с Титулеску, который предупредил его о намерении жестко следовать «джентльменскому соглашению» с Литвиновым — впредь не касаться международного статуса Бессарабии. «Если когда-нибудь в Бухаресте осмелитесь поднять вопрос о Бессарабии передо мной или кем-то другим, — заявил Титулеску, — буду требовать, чтобы Вас отозвали в 24 часа. По этому пункту есть договоренность с г-ном Литвиновым». В ответ «г-н Островский с улыбкой признал, что он в курсе дела и будет с этим сообразовываться».[8] 3 ноября 1934 г. назначение полпреда в Румынию было оформлено постановлением ЦИК СССР, и в декабре Островский выехал в Бухарест. Перемещение состоялось столь стремительно, что знакомиться с «историей существующих ныне в Румынии политических группировок» ему пришлось из посланного вдогонку информационного письма НКИД.[9]

Островский был принят в Бухаресте как желанный гость. Уже в начале января посланник, «усевшись и закурив», выслушивал комплименты короля по поводу миролюбивой политики СССР. Премьер национал-либерального кабинета Г. Татареску, высшие чиновники и деятели оппозиционных партий скоро стали частыми собеседниками

полпреда. С вице-премьером и министром внутренних дел И. Инкулецом Островский был знаком со времен совместной учебы в Петербургском университете,[10] что чрезвычайно облегчило общение между советским полпредом и признанным борцом с «внутренним коммунизмом». Одновременно между Литвиновым и Титулеску установилось «сердечное сотрудничество» в Женеве и в Париже,[11] где румынский министр сыграл немалую роль в успешном завершении переговоров о советско-французском договоре взаимной помощи. С начала года в Бухаресте шли толки о скором визите министра иностранных дел в Советский Союз. Успешный дипломатический дебют Островского (и возможно, разочарование в Чиунту, на которого НКВД быстро собрало компрометирующие материалы) побудили Наркоминдел расширить первоначальные полномочия полпреда и приобщить его к высшей дипломатии. В конце февраля 1935 г. Островский был вызван в Москву для получения от Литвинова «подробной информации», после чего НКИД «легко будет <...> держать через Вас активную оперативную связь с Титулеску».[12]

Желая облегчить запоздалое налаживание связей СССР с Румынией и расширить базу проводимой Титулеску политики, в первой половине 1935 г. Москва сделала несколько символических жестов — обещание восстановить железнодорожное сообщение через Днестр, вступление в переговоры о торговом соглашении, возвращение румынам полутора тысяч ящиков (как предполагалось, с ценными архивными документами) и останков господаря Молдавии Д. Кантемира и т. д. Благодаря изобретательности Титулеску этим акциям был придан характер общенационального значения, тогда как посланник союзной Польши тщетно добивался аудиенции у министра или короля. Польский военный атташе сообщал в июне 1935 г.:

> «Министр Титулеску после своего возвращения из Парижа и Женевы постоянно сидит в обществе советского посланника Островского. По случаю годовщины установления отношений с СССР он пришел к Островскому с несколькими бутылками старого коньяка, и они просидели в узком интимном кругу до 5-го часа утра. По случаю прибытия из СССР 1450 ящиков с румынскими архивами Титулеску снова вместе с Островским поехал в Констанцу, где они устроили выпивку в ресторане, после которой Островский в подвыпившем состоянии пожелал прочесть надпись на цоколе статуи Овидия, которая стоит

на рынке в Констанце, для чего вся веселая компания, с редкостно говорливым и жестикулирующим Титулеску и с Островским, поддерживаемым под руку вице-министром Савелом Радулеску, отправилась к памятнику и там при свете месяца с трудом читала латинскую надпись <...>. Иначе говоря, у Титулеску нет времени на встречи со своими коллегами по кабинету, ибо ни с кем из них по возвращении он не виделся, зато на Островского времени у него вдоволь».[13]

Проницательный представитель Пилсудского не обманывался относительно того, что доверительное общение Титулеску с Островским должно было послужить прелюдией к переговорам, способным радикально изменить политическую ситуацию в Юго-Восточной Европе. Еще весной 1934 г., после того как румынам стали известны намерения Москвы и Парижа о создании региональной системы безопасности в Восточной Европе с участием Польши и Чехословакии, Титулеску предложил включить в нее и Румынию. Реакции СССР была холодной, Титулеску просили не осложнять и без того нелегкие переговоры. Провал идеи Восточного Локарно и заключение Советским Союзом двусторонних соглашений о взаимной помощи с Францией и Чехословакией в мае 1935 г. создали условия для выдвижения вопроса об аналогичном пакте между СССР и Румынией. С одной стороны, ее связывали с Чехословакией и Францией союзные обязательства, с другой — после того, как быстрая деградация советско-польских отношений сделала нереальным соглашение о северном варианте военного обеспечения союза СССР и Чехословакии,[14] использование территории и воздушного пространства Румынии оставалось единственным средством придать реальный вес политическим соглашениям Москвы с Парижем и Прагой. Советско-румынский пакт о взаимной помощи мог придать стабильность советско-французским отношениям: французы убедились бы в потенциальной эффективности платонического союза с Москвой, а Советы уверились бы в серьезном отношении к ним со стороны Парижа, что отвратило бы обе стороны от тайных поисков сепаратной договоренности с Германией. Сама Румыния становилась бы главным союзником Франции и привилегированным партнером СССР.

В конце июня 1935 г. Титулеску, преодолевая уклончивость французской дипломатии и заручившись согласием британской, добился от короля и правительства полномочий на заключение договора о

взаимной помощи с СССР при условии формального признания суверенитета Румынии в отношении Бессарабии и сохранения польско-румынского союза. Телеграмму Островского, сообщившего об инициативе Бухареста, «очень обеспокоили» Литвинова.[15] В отличие от договора СССР с Чехословакией, пакт с Румынией должен был предусматривать защиту румынских границ не только от нападения со стороны Германии, но и других стран – соседей Румынии. Это была высокая цена, однако выгоды соглашения с Румынией для политики коллективной безопасности могли быть неизмеримо большими. На это и делал ставку Титулеску, представляя в сентябре 1935 г. свои предложения наркому Литвинову. Он расценил их как небывалые и неоправданные и обвинил министра в попытке шантажа, когда тот дал понять, что если Россия не хочет получить в лице Румынии союзника, она может обнаружить на своей западной границе германского сателлита.[16] Литвинов не только отказался обсуждать румынские условия, но и по возвращении из Женевы воздержался от внесения в Политбюро предложения о переговорах с Румынией.

Импульс к его выдвижению дали осторожные настояния полпреда Островского, который каждые несколько дней беседовал с вернувшимся в Бухарест Титулеску. Тщательный анализ политической кампании против румыно-советского договора и попыток немецкой и польской дипломатии помешать дальнейшему сближению Румынии с Советским Союзом Островский сопроводил собственными комментариями. После некоторых колебаний он советовал Москве ухватиться за предложение Титулеску подписать договор аналогичный советско-чехословацкому пакту, определив в нем территорию Бессарабии как румынскую «только для того, чтобы установить, откуда должны выйти советские вооруженные силы в случае победоносного окончания войны». В спорах с оппонентами и королем Титулеску доказывал, что подписание договора с Советами не таит никакой дополнительной опасности. Напротив, если СССР пожелает силой занять Бессарабию, Румыния все равно будет не в силах этому помешать, тогда как дружественные отношения и ясное определение условий пребывания советских войск в случае войны создают дополнительные международные гарантии целостности Румынского королевства. Аналогичную аргументацию развивал в письме Литвинову и Островский, напоминая что «всякий договор <...> действует ровно столько времени, сколько хотят обе стороны, и тогда, когда

это выгодно обеим сторонам». Понятно, соглашался он, что «гарантировать постоянную верность Румынии пакту о взаимопомощи с нами (СССР. — *Авт.*) никто не может», но его наличие в ближайшей перспективе затруднит германское проникновение в Румынию, расширит «трещину между поляками и румынами» и укрепит внутриполитические позиции Титулеску.[17]

19 ноября 1935 г. Политбюро разрешило «сообщить Титулеску, что если б он предложил заключение общего пакта о взаимной помощи, без исключения агрессии какого бы то ни было государства, то мы считали бы такое предложение дискутабельным, но что в определении границ надобности нет, т. к. этот вопрос может вызвать нежелательную дискуссию, а практически вопрос разрешен пактом (конвенцией. — *Авт.*) об определении агрессии».[18] Между тем Титулеску, испытывая давление как польской дипломатии, которая использовала озабоченность румынских политиков и военных возможным распадом союза с Варшавой, изменил переговорную позицию. Он предложил взять за образец советско-чехословацкий договор, согласно которому обязательства взаимной помощи вступали в силу лишь при условии выполнения франко-советского пакта. Тем самым Советский Союз освобождался бы от необходимости защищать Румынию от нападения со стороны Венгрии и Болгарии, поскольку это не предусматривалось франко-румынским союзным договором. Одновременно, однако, Румыния избегала обязательства вступать в войну с Польшей, в случае если она совершит агрессию против СССР (и Франция, как ожидалось, не выступит против нее). «Что касается определения территории, — сообщал полпред, — то он ни в коем случае не может согласиться на подписание текста, отдающего всю Румынию [с] руками и ногами Союзу без того, чтобы географически определить нынешний фактически[й] территориальный статус Румынии»[19].

Островский советовал Литвинову начать переговоры на основе предложений Титулеску, поскольку предложенная им формула означает «завуалированное отсутствие формального признания» Москвой суверенитета Румынии над Бессарабией. «С Вашими рассуждениями на эту тему никак невозможно согласиться, — парировал нарком. — Завуалированное <...> отсутствие признания, но признание есть». Максимальная уступка, о которой Литвинов соглашался запросить Кремль, состояла в особом протоколе о выводе войск за те пределы, в которых они до начала вооруженного конфликта не на-

ходились.[20] «В общем, Вы несомненно переоцениваете значение для нас пакта с Румынией», — заявлял Литвинов Островскому, ссылаясь на то, что подписание пакта не приведет к «окончательному» устранению опасности переориентации Румынии на Германию (как если бы в отношении какой-либо восточноевропейской страны было возможным «окончательно» устранить такую опасность).[21] Литвинов внушал полпреду, что Титулеску надлежит осознать: «не мы предлагаем Румынии пакт, а наоборот <...> и поэтому не ей нам ставить ультимативные условия».[22] По существу, руководитель НКИД настаивал на том, чтобы в переговорах с Румынией Советский Союз выступал не в качестве великой державы, рассматривающей любые двусторонние вопросы с точки зрения своих широких жизненных интересов, а всего лишь как равный партнер. Односторонность аргументации и недомолвки в письмах и телеграммах, направлявшихся руководством Наркоминдела в Бухарест в конце 1935 — начале 1936 гг., свидетельствовали об отсутствии серьезной заинтересованности Москвы в достижении соглашения с Румынией об оказании взаимной помощи, что позволяло СССР, с одной стороны, создать условия для стратегического взаимодействия с Чехословакией и, с другой, сдерживать германскую экспансию в Юго-Восточной Европе.

Беседы Литвинова и Титулеску на протяжении первой половины 1936 г. в Женеве и Лондоне не продвинули дела вперед, несмотря на то, что в марте 1936 г. с ратификацией франко-советского пакта отпал один из аргументов НКИД в пользу откладывания переговоров с румынами. В начале марта Титулеску обратился к Островскому с просьбой поехать в Москву и сообщить Литвинову, что он готов нанести визит в СССР для подписания пакта.[23] Чехословацкие дипломаты и военные с нетерпением ожидали заключения советско-румынского договора, который должен был стабилизировать международное положение Чехословакии и открыть возможность к оказанию ей помощи со стороны как СССР, так и Румынии.[24] На конференции стран Малой Антанты в середине июня Титулеску просил президента Бенеша о посредничестве, одновременно сообщая о намерении в течение двух недель предпринять визит в Россию для достижения окончательной договоренности.[25]

Поездка Титулеску в Москву в очередной раз была отложена. 29 июня в ходе встречи с Титулеску в Женеве Литвинов выразил ему недоверие, указав на растущее расхождение между румынской дипломатией

и обстановкой внутри страны. Он «позволил себе сказать открыто, что Румыния находится на пороге гитлеризации, что наше (либеральное. — *Авт.*) правительство будет в скором времени заменено правым правительством, что в целом то, что происходит в Румынии сводится к сближению Румынии с Германией против России. Литвинов сказал мне (Титулеску. — *Авт*) буквально, что сожалеет о своей политике в течение четырех лет <...> об исключении бессарабского вопроса из дискуссии, поскольку дружественные жесты Советов не дали никакого результата». «<...>Если мы хотим проводить прогитлеровскую политику, — парировал румынский министр, — почему мы готовы подписать договор о взаимопомощи с Советами, от которого Советы постоянно отказываются?». «Вы что, г-н Титулеску, думаете, что мы заключим договор о взаимопомощи с такими странами как ваша, в завтрашней судьбе которой мы не уверены? Мы будем смешны, если мы, Советы, стали бы сегодня союзниками Румынии, чтобы завтра вы стали союзниками Германии», — вызовом отвечал Литвинов. Разъяснение советских мотивов он сопроводил неприкрытой угрозой: «Отныне мы знаем, что сделаем, чтобы защитить свои интересы, когда вы будете в руках немцев». Возмущенный Титулеску заявил, что не допустит, чтобы полномочного представителя Румынии рассматривали в качестве «безмозглой куклы», «используемой другими в своих целях». «<...> Я, который Вас любил, говорю теперь, что ненавижу и говорю это в лицо, хотя Вы представляете 170 млн человек».[26] Этот эмоциональный разговор не привел к переменам в советской позиции. Подводя в июле 1936 г. итоги годичных переговоров о пакте взаимопомощи с Румынией, нарком констатировал сохранение двух разногласий: относительно определения территории и возможности сохранения Румынией нейтралитета в случае нападения Польши на СССР. «Согласовав здесь (в Москве. — *Авт.*) вопрос с инстанцией», первый заместитель наркома подтвердил Литвинову, что «здесь с ним вполне согласны и считают нецелесообразным идти на какие-либо дальнейшие уступки».[27]

Таким образом, неуступчивость советского руководства вызывалась отсутствием заинтересованности в договоре взаимной помощи, если он не сопровождается разрывом польско-румынского союза и отказом Румынии от надежд окончательного определения ее границ. Выполнение этих требований была равносильно превращению Румынии в советский протекторат.[28] Их выдвижение, как и отчужденное отношение к перспективам сотрудничества СССР и Румынии на деле не могло не

способствовать ее «гитлеризации». Неуступчивость в отношении национальных интересов Румынии сопровождалась подчеркиванием со стороны советской миссии своей ориентации на национально-крестьянскую партию; французский посланник опасался, что расточаемые этой партии похвалы чреваты ее компрометацией.[29] Борьба между историческими партиями и новыми правонационалистическими группами, подталкивавшими правительство к ориентации на Гитлера и Муссолини в 1935–1936 гг. развивалась в неблагоприятном направлении. Правительство либералов, несмотря на традиционный антикоммунизм, стремилось ограничить влияние на внутриполитическое положение со стороны Германии, Италии, Польши. В начале лета 1935 г., когда, как с грустью констатировал польский атташе в Бухаресте, «совдеповцы ходили здесь как павы, уверенно и свободно», а немцы пребывали в «бессильном бешенстве»,[30] не кто иной как Титулеску попытался привлечь внимание Литвинова к необходимости адекватного противодействия германской активности и «как бы упрекал меня (Литвинова. — *Авт.*) в отсутствии с нашей стороны контрпропаганды». Нарком отделался высокопарной фразой о том, что «мы никакой пропагандой нигде не занимаемся, не тратим на это никаких денег и прессы не покупаем».[31] До известной степени такая позиция была оправдана — как отмечалось выше, к середине 1935 г. советская сторона уже предприняла ряд пропагандистских по своему существу акций, демонстрируя свою волю к равноправным добрососедским отношениям. К концу 1935 г. положение стало меняться, первоначальный импульс был исчерпан, из-за разногласий по пакту взаимопомощи намеченный на ноябрь визит Титулеску в Москву был отменен, а кризис в переговорах о пакте взаимопомощи реанимировал активность дипломатии Польши и Германии, Италии и Югославии, которые, каждая по своим мотивам, попытались сдержать дрейф Румынии в объятия России.

Островский стал проявлять тревогу. «Необходимо что-то сделать для вовлечения в нашу орбиту, вернее затронуть нашей работой военные круги, которые не были затронуты или почти не были ею затронуты.[32] Почву для этого можно нащупать. Обстановка в строевых частях, в особенности в части младшего и среднего офицерского корпуса для этого благоприятная <...>», — писал он наркому, прося содействовать получению копий фильмов «Чапаев» и «Киевские маневры» для руководящего состава Генштаба.[33] Получил ли он их, неясно; для регулярных контактов с румынскими военными в Бухарест требова-

лось направить советского военного атташе. Москва относилась к этому индифферентно, и Румыния оказалась единственной страной, которая не имела военного представителя в составе своей дипломатической миссии в Москве. Когда в сентябре 1936 г. Островский благожелательно выслушал пожелания начальника Генштаба Н. Самсоновича относительно обмена военными атташе между «завтрашними союзниками»,[34] то получил реприманд со стороны Крестинского. Сам Крестинский не возражал против обмена атташе, но и не считал нужным воздействовать на Наркомат обороны, тогда как Ворошилов был «не склонен посылать в Бухарест самостоятельного военного атташе» и соглашался поставить этот вопрос перед «инстанцией» лишь в случае официального обращения румынской стороны.[35]

Сходное положение складывалось и в других, более «невинных» областях, нежели военные контакты или оказание технической помощи (с запросом на этот счет безуспешно обращался «румынский Крупп» Малакса, участниками в прибылях которого являлись король и «дама»). Безусловно, у каждого из советских ведомств были собственные заботы, и Островский со знанием дела иронизировал над своими недавними «товарищами из НКВТ, действия которых не всегда доступны разуму обыкновенных людей, не принадлежащих к племени Внешторга».[36] Для Высшего совета физической культуры Румыния была «слишком маленькой страной, которой нашим физкультурникам, вышедшим в люди, заниматься некогда».[37] «Немцы посылают сюда лыжную команду, венгры, поляки — только мы одни считаем невозможным спуститься до румын», — констатировал Островский.[38] Что же касается печального известного Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, то, по утверждению советника полпредства, оно «до сих пор Румынию не признало. Прошло уже больше года после возобновления дипломатических отношений между СССР и Румынией, но ВОКС ничего не сделал для того, чтобы начать свою работу в Румынии».[39] Свой вклад в деградацию «сердечных отношений» с Румынией внесло и НКВД, запретившее использование воздушного пространства над Сибирью для рекордного кругосветного полета князя Кантакузена, что не только лишало СССР возможности «без особой драки попасть в большие забияки», но и создавало ему «лишних недругов в румынском дворе, обществе, где у нас их и так мало, и в авиации, где мы насчитываем только друзей, которых нам нечего терять».[40]

Настояния Островского в большинстве случаев оказывались бесплодны.[41] С одной стороны, советские ведомства явно не имели ориентировки свыше на благоприятное отношение к запросам румынской стороны. С другой, в самом НКИД придавали преувеличенное значение выпадам румынской прессы против французских социалистов или запрету отдельных номеров советских газет, и полпреду приходилось защищаться от упреков в недооценке «немецкой опасности» в Румынии. Действительно, писал он во 2-й Западный отдел в конце июня 1936 г.:

> «<...> никогда немцы не имели для себя такой благоприятной обстановки для работы в Румынии как сейчас. Обстановка создалась сама собой, но которую они используют вовсю, питая ее своими фондами.
>
> В этом основная разница между работой немцев и нашей.
>
> Мы полагаемся на три элемента румынской политики: 1) наше непосредственное соседство, 2) настроение большинства народных масс и 3) Титулеско.
>
> Эти три элемента действительно существуют и имеют неоспоримую ценность в нашей политической игре.
>
> Мы положились на эти элементы и почием на лаврах.
>
> Мы ничего не делаем для подкрепления имманентного действия этих трех элементов ни политически, ни экономически: мы за четыре месяца ничего не купили и ничего не продали в Румынию. И даже Титулеско, который никогда не интересуется экономическими вопросами, не без ехидства меня «мимоходом» спросил: «А дала ли какие-нибудь результаты наша торговая конвенция, и какие?». Я, разумеется, начал жаловаться на тутошние порядки, на задержку в выдаче лицензии, на задержку в открытии счета в Нацбанке и т. д., но по существу я благодарил это стечение обстоятельств, которое дает возможность нам иметь законные основания для нашей бездеятельности и разыгрывать свою роль».[42]

Эти рассуждения Островского датированные тем самым днем, когда в Женеве разыгралась описанная выше решительная сцена между Литвиновым и Титулеску, позволяют лучше оценить драматизм ситуации. Холодность Москвы к договору о взаимной помощи и нежелание предпринять энергичные шаги по наполнению советско-румынских отношений реальным содержанием превращали обвинения

Литвинова по адресу Румынии в самосбывающееся пророчество. Поведение СССР играло на руку противникам Титулеску, оказавшимся под огнем критики на неспособность добиться успеха в избранном им направлении. Измученный министр решился на крайнее средство. По возвращении из Женевы, он подал королю прошение об отставке. Премьер-министр с облегчением поддержал уход своего амбициозного коллеги, находя, что «некоторые его преувеличения <...> в вопросе отношений с СССР» лишают Титулеску «большой части симпатий румынского общественного мнения». Титулеску оказался сильнее, и вскоре по поручению короля к нему явились ведущие члены кабинета (И. Инкулец и В. Антонеску), обещая удовлетворить все его условия. Совет министров официально солидаризировался с проводимой Титулеску политикой и, «имея в виду подписание договора о взаимопомощи с СССР», решил принять «некоторые меры для успокоения Советов» — организовать соответствующие публикации в прессе и выступления на публичных собраниях. «<...> В области внешней политики мы за соглашение с СССР, союзником наших союзников — Франции, Чехословакии, Турции, соглашение, которое только и может придать этим союзам эффективность», — говорилось в коммюнике кабинета министров. Полномочия Титулеску на заключение договора были подтверждены без всяких условий.[43]

Несколькими днями позже, 20–21 июля Титулеску и Литвинов достигли соглашения по основным пунктам договора о взаимной помощи, впервые парафировав письменный документ («бумажку», по выражению наркома).[44] Договор должен был выглядеть наподобие советско-чехословацкого или советско-французского, но быть направлен против любого европейского агрессора (а не только Германии). Вопрос об «определении территории» договаривающихся сторон был Титулеску снят. Правительство СССР должно было обязаться ввести свои войска за Днестр лишь по официальной просьбе королевского правительства и по такой же просьбе немедленно вывести их обратно (Титулеску не обманывался относительно поведения СССР в такой ситуации, но желал иметь оправдание перед историей). При этом Литвинов письменно закрепил неприемлемость для СССР тезиса о том, что «вступление в действие каждой из двух стран» должно произойти «только после того, как Франция вступит в действие», без чего Титулеску подписать соглашение не мог.[45]

Таким образом, советская сторона окончательно отказалась принять в отношении Румынии оговорку, на которой годом ранее настаивала сама в переговорах с Чехословакией.[46] Единственное объяснение этой позиции состояло в том, что приоритетное значение для СССР имело не заключение с договора, позволяющего стабилизировать дружественные отношения с Румынией и обеспечить эффективность пактов взаимопомощи с Францией и Чехословакией, а «политический интерес», состоявший «в отделении Румынии от Польши».[47] Этот вывод пришлось сделать уже новому министру иностранных дел Румынии Виктору Антонеску: время, отпущенное Титулеску на достижение прорыва в отношениях с СССР, истекло. Перекос румынской политики в сторону СССР затруднял дипломатическое маневрирование и осложнял положение Румынии. 29 августа Г. Татареску добился от короля реформирования правительства, избавившись таким образом от неспособного выполнить свои обещания Титулеску.[48]

Новое либеральное правительство провозгласило своей задачей сохранение политики Титулеску в отношении СССР, однако ни в полпредстве, ни в НКИД на этот счет не было никаких иллюзий. Отношения Бухареста и Москвы вступали в новую фазу, и Островский испытывал горечь от того, что имевшиеся возможности были советской дипломатией навсегда упущены:

> «<...> Если бы мы закрепили при Титулеску наши отношения, превратили бы “préjuge tres favorable” в какой-нибудь акт, сделали бы что-нибудь существенное — одним словом, оставили бы какой-нибудь политический след, переход Румынии к иной политике <...> был бы значительно затруднен, как он затруднен в Праге и Париже.
>
> Следует ли нам сейчас поэтому считать, что, не сделав в свое время ничего для закрепления наших отношений, что сейчас уже поздно, что все потеряно, и подчинившись неизбежности принять позицию, прямо враждебную Румынии, или остаться в выжидании?
>
> Первую позицию мы отвергли, вторая позиция, если мы будем ее последовательно держаться, фатально выродится в первую <...>. Это скверная политика, это отсутствие политики; политика же mauvaise humeur и раздражительности по отношению к Румынии — еще хуже».[49]

Формулировка Островского («политика дурного настроения и раздражительности») метила в самого Литвинова, о поведении которого летом 1936 г. полпреда несомненно информировал Титулеску.[50] Нарком сдержал обиду, но отвечая Островскому иначе расставил акценты советской политики по отношению к Румынии:

> «Я согласен с Вашими выводами относительно позиции, которую мы должны теперь занимать в отношении Румынии, что мы не должны, конечно, говорить ей, что уже поставили крест на наших отношениях, а должны все усилия употреблять к сохранению, по крайней мере, нынешнего уровня отношений, если нельзя его поднять. Такая наша позиция будет, однако, пассивной в том смысле, что мы не будем пока предлагать Румынии никаких пактов или заключения других политических актов».[51]

В феврале 1937 г., после официального визита в Варшаву, Антонеску публично заявил о том, что Румыния не намерена заключать с СССР договора о взаимной помощи. В беседе с румынским посланником «г-н Литвинов поздравил себя, что оказался ясновидящим в вопросе о договоре взаимопомощи между нами. Подобный договор был бы сегодня основан на песке <...>. Отношения между Советами и Румынией сегодня не могут быть такими в прошлом, поскольку Румыния стала пленницей Польши».[52] Островский не разделял брутального пессимизма Литвинова[53] (как, по всей вероятности, и параноидальной подозрительности в отношении Варшавы и румыно-польских отношений).[54]

Переписка полпреда с НКИД свидетельствует о его растущей неуверенности в приемлемости для Москвы своих оценок политической обстановки и о попытках приспособиться к официальной позиции.[55] Не меньшее раздвоение у Островского должны было вызывать и открывшаяся в августе 1936 г. кампания против «право-троцкистского блока». В конце октября 1936 г. на завтраке у Антонеску полпред говорил, что его беспокоит «разнузданность прессы по отношению к моей стране»,[56] но только ли международный престиж СССР беспокоил его? В первые дни января, давая в письме Литвинову, взволнованную характеристику того, как попустительство Франции в отношении Польши и Югославии фактически склоняет румын к сближению с Германией, Островский восклицал: «Не искушайте малых сих! А Блюм и Дельбос искушают <...>».[57] Только ли французских

руководителей имел в виду Островский, обрушиваясь на близорукий эгоизм великой державы, искушающей провинциальный Бухарест? И только ли о судьбе Румынии или и о своей собственной он думал, говоря о «малых сих»?

В связи с январским процессом (над Сокольниковым, Пятаковым, Радеком и др.) Островский обратился с письмом к наркому, спрашивая, следует ли ему как бывшему «троцкисту» отказаться от заграничной работы. В начале февраля 1937 г. Литвинов, пересылая Сталину письмо полпреда, предложил подтвердить, что руководство страны ему по-прежнему доверяет. «Я не слышал, чтобы имелись малейшие подозрения в отношении него, — писал Литвинов, — и поэтому не вижу смысла в его добровольном отъезде». Несколькими днями позже, узнав от Поскребышева, что решение об отзыве Островского все же принято, нарком вновь обратился к Генеральному секретарю. На этот раз Литвинов, ссылаясь на недостаток кадров и недавний отзыв из Бухареста советника полпредства Комаровского, рекомендовал отложить возвращение Островского до конца 1937 г.[58] Пока же его вызывали «для доклада».[59]

В середине марта 1937 г., получив от премьер-министра Татареску (в присутствии И. Инкульца) заверения о том, что Румыния является союзником СССР и обязательно оформит это положение заключением договора о взаимной помощи, полпред выехал в Москву. 27 марта Островский в сопровождении Литвинова был принят Сталиным, в кабинете которого находились также Молотов, Каганович, Ворошилов и Микоян.[60] Беседа, продолжавшаяся около часа, вселила в Островского новые надежды. Он сообщил своему румынскому коллеге, что остается на своем посту «до реализации некоторых планов».[61] По всей вероятности, в Кремле полпред получил полномочия на заявление, которое он сделал министру иностранных дел месяц спустя: «<...> Если бы румыны предложили нам возобновить переговоры, прерванные уходом Титулеску, или начать заново переговоры согласно заявлению Татареску, мы бы приняли это предложение к добросовестному изучению в духе максимальной благожелательности».[62] Вряд ли в Москве рассматривали этот демарш иначе, нежели тактическую уловку с целью затруднить сближение Румынии с Польшей и Югославией.

Реакция румынской дипломатии была предсказуемой: преодолев интимность времен Титулеску, она в ответ требовала от СССР

признания целостности государства. В. Антонеску заявил, что Румыния желала бы заключить с Советским Союзом «договор о дружбе, наподобие итало-югославского». Такой договор «необходимым образом должен был бы содержать, как основу, признания де-юре присоединения Бессарабии к Румынии».[63] Политбюро без промедления запретило «связывать переговоры о том или ином пакте с вопросом о Бессарабии».[64] Попытка французов убедить Москву в том, что настал момент ухватиться за предложенную Бухарестом румынами «руку дружбы и укрепить связи, соединяющие две страны, укрепляя тем самым гарантии мира», успеха не имела.[65] «Смехотворные предложения Антонеску о легализации захвата Бессарабии» Литвинов расценил как ведущие лишь к расторжению «джентльменского соглашения», в соответствии с которым ни одна из сторон не затрагивает сложившегося положения.[66] К осени 1937 г. с идеей пакта румыно-советской дружбы было покончено. Тем самым во многом был предрешен мюнхенский исход международных кризисов наступающего 1938 г.

Полпреду оставалось бессильно наблюдать за крахом европейского порядка, разрушением конституционного режима в Румынии и нарастающем терроре в собственной стране. Отзыв Островского из Бухареста становился делом ближайшего будущего. В июне 1937 г. были арестованы Крестинский (двумя месяцами ранее снятый с поста первого заместителя наркома) и заведующий 2-м Западным отделом Штерн. Во второй половине 1937 г. были отозваны полпреды в Германии (Юренев), Турции (Карахан), Австрии (Я. Подольский), Испании (Розенберг), Дании (Тихменев), Венгрии (Бекзадян), Латвии (Бродовский), Литвы (Б. Подольский), Греции (Кобецкий), Норвегии (Якубович), Польши (Давтян), Финляндии (Асмус). В хорошо известном Островскому внешнеторговом ведомстве вслед за наркомом Розенгольцем были арестованы почти все его заместители, а большинство торгпредов вызвано в Москву.[67] Осенью 1937 г. Бухарест пришлось покинуть первому секретарю полпредства Белько.

Жизнелюбивый человек и проницательный аналитик, полпред, должно быть, утратил к тому времени особые иллюзии относительно «коллективной безопасности» и эволюции советского строя. В прошлом сторонник Троцкого, проведший полтора десятилетия за границей, на протяжении последних лет тесно общавшийся с «Иваном

Константиновичем» — всесильным шефом румынской полиции Инкулецом, он был идеальным кандидатом на казнь.

Островский попытался спастись. В начале октября 1937 г. он дал знать в Париж своему старому знакомому Мустафе Ибрагимову, что «он тоже хочет остаться за пределами России, если отыщет способ правового обеспечения своего гражданского и материального положения», и просил дать ему совет.[68] Не располагая средствами для поездки в Бухарест, Ибрагимов обратился за помощью к резиденту польской разведывательной сети «Пилигрим», который обещал всяческую помощь, включая предоставление Островскому польского паспорта.[69] По просьбе Ибрагимова, Халил Хотин, лично знавший Островского по прежним временам, приехал из Стамбула в Париж и, получив подробные инструкции, отправился в Бухарест. В середине декабря он несколько раз встречался с Островским, после чего вернулся в Стамбул.

В начале января 1938 г. Хотин получил от Островского новую просьбу о помощи. Полпреда вызывали в Москву. В печати сообщалось, что после образования кабинета профашистской национально-христианской партии присутствие советского посланника не считается полезным.[70] Сведения о контактах Ибрагимова с советским полпредом между тем достигли реферата «Восток» в Варшаве, где решили завербовать Хотина и вступить в прямой контакт с Островским. В дело был вовлечен и посланник Польши в Румынии М. Арцишевский, который пригласил коллегу к себе на завтрак. 19 января у Арцишевского Островского ожидали ротмистр Балиньский и капитан Папроцкий. По их свидетельству:

> «Островский производил впечатление очень нервного и придавленного человека. Его состояние еще больше ухудшилось после сообщения посланника Арцишевского о получении из МИД депеши об отзыве посланника СССР Островского в Москву вследствие якобы имеющихся у него контактов с троцкистской оппозицией.
>
> На завтраке представители Центра не делали Островскому никаких предложений и удовлетворились личным знакомством, что в последующем помогло бы им в беседах на нейтральной почве».

Нетрудно себе представить, сколь унизительным был для Островского завтрак в польской миссии. Попасть в руки иностранной

спецслужбы, по-видимому, совершенно не входило в его намерения. Он не пожелал впредь видеться с завербованным поляками Хотином, поручив своей связной (молодой женщине по фамилии Лутц) передать ему, что «обстановка изменилась» и помощь более не требуется. Поляки терялись в догадках: «Островский либо получил гарантии безопасности (что мало правдоподобно), либо остается на каком-то заграничном посту, либо еще ранее получил убежище в каком-либо государстве. В любом случае, в настоящий момент вести переговоры об убежище он не желает». Позднее Ибрагимов был убежден, что решение Островского объяснялось тем, что он желал иметь дело только с ним. Но в те дни Ибрагимов, введенный в заблуждение польским резидентом в Париже, молчал. «Не имея сведений от меня, мой друг прождал около 15 дней и наконец бросил все и уехал в Москву».[71] Это случилось 4 февраля 1938 г.

Временный поверенный в делах СССР в Румынии — прибывший в Бухарест несколькими неделями ранее советник Ф. Бутенко исчез через два дня после отъезда Островского. Он не стал ни искушать судьбу, ни чураться связей с иностранными разведками и уже через две недели давал в Риме интервью «Giornole d'Italia». Помимо прочего Бутенко рассказал, что 3 февраля из Вены прибыл и занял третий этаж полпредства некий «подозрительный индивидуум», назвавший себя Тарамановым (Тормановым).[72] Это обстоятельство должно было заставить Островского более не откладывать окончательный выбор. На его решение, наверное, повлиял и ложный сигнал о наступлении «оттепели», поданный январским пленумом ЦК ВКП(б).

...По возвращении в Москву Островскому оставалось жить совсем немного. Сведения о его многолетнем пребывании в заключении в Норильске (чуть ли не до 1953 г.), по всей вероятности, неверны. К тому времени, когда ГУГБ МГБ СССР разобралось в трофейных польских документах, М. С. Островского уже не было в живых. После войны его вдову, кажется, оставили в покое.

---

[1] В частности, его имя не упоминается в изданиях «Дипломатического словаря». О вероятной причине умолчания см. в заключительной части статьи. Наиболее полная биографическая справка опубликована А. Колпакиди в книге: А. Бармин. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 501.

[2] По утверждению будущего маршала Ж. де Латтра де Тассиньи, Островский служил в кавалерии, причем являлся «начальником штаба армии Ворошилова»

(Note sur l'évolution possible des relations entre la France et l'URSS, Paris, 25 oct. 1932 // J. de Lattre. Ne pas subir: écrits 1914–1952. Paris, 1984. P. 134). Де Латтр, склонный преувеличивать военный статус Островского, вероятно, таким образом воспринял ссылку на должность комиссара штаба армии или дивизии. В своих заметках де Латтр даже называл Островского «правой рукой Ворошилова». По всей вероятности, у Островского действительно были личные отношения с Ворошиловым (см.: H. Ragsdale.The Butenko Affair: Documents from Soviet-Romanian Relations in the Time of the Purges, Anschluss and Munich // The Slavonic and East European Review. Vol. 79. No. 4 (Oct. 2001). P. 716).

[3] *F. Guelton*. Jean de Lattre de Tassigny et les relations franco-soviétiques au début des années trente // Revue Historique des Armées. 2002. No. 2. P. 3–10. Благодарю преподавателя военной школы Сен-Сир Ф. Дессберга, обратившего мое внимание на эту исключительно ценную работу.

[4] Ibid. P. 7.

[5] Работа Островского в области сбыта нефтепродуктов предполагала частые поездки в Испанию, Бельгию и другие европейские страны. О другом работнике «Нефтесиндиката» (который «керосина сроду не видел, кроме как в лампах»), впоследствии – военном советнике при Гоминдане см.: В. Серж. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. М.; Оренбург, 2001. С. 222.

[6] Ibidem.

[7] M. Palairet to J. Simon, Bucharest, June 21, 1934. — Public Record Office (далее — PRO). FO / 371 / 18328 / N3808. Возможно, Литвинов имел в виду советника берлинского полпредства С. С. Александровского, который в середине 1934 г. был направлен посланником в ЧСР.

[8] Отчет Э. Чиунту Н. Петерску-Комнену, 4. 7. 1938 // Советско-румынские отношения 1917–1941. Документы и материалы (далее — СРО: ДиМ). В 2 т. Т. 2: 1935–1941. М., 2000. С. 200. О «джентльменском соглашении» см.: М.Д. Ерещенко. Румыния между Германией и Советским Союзом: политика без иллюзий // Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. / Отв. ред. В. К. Волков, Л. Я. Гибианский. М., 1999. С. 335.

[9] Письмо Н. Н. Крестинского М. С. Островскому, 26. 12. 1934 // СРО: ДиМ. Т. 1: 1917–1934. М., 2000. С. 430.

[10] По другим данным — в Петербургском психоневрологическом институте.

[11] Письмо М. С. Островского Н. Н. Крестинскому, 29. 10. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С.108.

[12] Письмо Н. Н. Крестинского М. С. Островскому, 21. 2. 1935. — АВП РФ. Ф. 0125. Оп. 17. П. 111. Д. 2. Л. 12.

[13] *Raport J.* Kowalewskiego do Szefu Oddziaiu II Sztabu Giywnego, Bukareszt, 17. 6.1935. — Archiwum Akt Nowych (далее — AAN). Sztab Giywny / 616 / 173 / 535. В 1928–1933 гг. Я. Ковалевский являлся военным атташе Польши в Москве, в 1933–1937 гг. — в Бухаресте. Будучи превосходным разведчиком и дипломатом, он пользовался доверием Пилсудского и уважением в НКИД (см.: *О. Кен.* Москва и пакт ненападения с Польшей (1930–1932). СПб., 2003. С. 115).

[14] К тому же в июне–июле 1935 г. Москва наотрез отказалась от обсуждения с договоров взаимной помощи с Литвой и Латвией.

[15] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 29. 06. 1935 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 21. «Я, признаться, подозревал, что Титулеску рано или поздно заговорит о каком-либо пакте, но его нынешний план превосходит мои опасения» (Там же).

[16] См.: *D. B. Lingu*. Romania and Great Powers, 1933–1940. Durham and L., 1989. P. 60–64.

[17] Письмо М. С. Островского М. М. Литвинову, 19. 11. 1935 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 37–38. По всей вероятности, эта аргументация была представлена Островским и в телеграмме НКИД от 16 ноября, которая известна лишь в извлечениях (ДВП СССР. Т. 18. С. 666).

[18] Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б) и Европа: Решения «особой папки». 1923–1939 / Ред. Г. Адибеков и др. М., 2001. С. 332.

[19] Запись беседы М. С. Островского с Н. Титулеску, 27–28. 11. 1935 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 45.

[20] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 12. 1935 // Там же. С. 51–53. 15 января 1936 г. эта позиция была одобрена Политбюро (Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Европа. С. 334).

[21] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 1. 1935 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 58–59.

[22] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 12. 1935. Там же. С. 51.

[23] *Zpráva J.* Šeby MZV, Bukurešt', 18. 03. 1936 // Èeskoslovenská zahraniènì polityka v roce 1936. Sv. 1 (далее – ÈZP:1936 / 1). Praha, 2003. S. 263. Советская запись этой беседы не обнаружена. В середине марте Островский выехал в Москву. Согласно сообщению чехословацкого посланника в Бухаресте, это произошло по инициативе самого полпреда, согласившегося с просьбой Титулеску; не менее вероятно, что он был вызван для обсуждения ситуации, созданной ратификацией франко-советского договора и одновременным расторжением Германией Локарнских соглашений.

[24] *Raport B.* Kwieciñskiego do Szefu Oddziaùu II Sztabu Gùywnego, Praga, 30. 6. 1935. – AAN. Sztab Gùywny/616/236/428–429; Zpráva J. Šeby MZV, Bukurešt', 20. 3. 1936 // ÈZP: 1936 / 1. S. 271.

[25] Zápis o rozhovorech E. Beneše z princem-regentem Pavlem, králem Carolem II a N. Titulescu, [11. 06. 1936] // Ibid. S. 472.

[26] Телеграмма Н. Титулеску в МИД Румынии, Женева, 30. 6. 1935 («только для Его Величества короля и Председателя Совета министров») // Там же. С. 68–69. Рассказывая чехословацкому министру иностранных дел о беседе с Титулеску, Литвинов дополнил свою аргументацию тезисом о том, что советские претензии на Бессарабию будут полезны как обоснование советского вмешательства в случае немецкого вторжения в Румынию, что можно считать предвосхищением польского сценария сентября 1939 г. (см.: Záznam rozhovoru K. Krofty s M. M. Litvinovem, • eneva, 2. 7. 1936 // ÈZP: 1936 / 1. S. 537).

[27] Письмо Н. Н. Крестинского М. С. Островскому, 13. 7. 1935 // Там же. С. 71.

[28] И без того, при несопоставимости сил двух государств и их непосредственном соседстве, полагал преемник Титулеску, «договор о взаимопомощи означал

бы <...> одностороннюю помощь Румынии со стороны России, то есть русский протекторат» (Запись беседы В. Антонеску с М. М. Литвиновым, Женева, 25. 5. 1937 // Там же. С. 145).

[29] D'Ormesson à Delbos, Bucarest, 15. 6. 1936 // Document diplomatiques français 1932–1939 (далее – DDF). 2e sér. T. II. P. 459.

[30] *List J.* Kowalewskiego do Szefu Oddziaù II Sztabu Gùywnego, Bukareszt, 18. 6. 1935. – AAN. Sztab. Gùywny/616/173/541; List J. Kowalewskiego do Szefu Oddziaù II Sztabu Gùównego, Bukareszt, 26. 7. 1935. – Ibid / 530.

[31] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 1. 6. 1935. – АВП РФ. Ф. 0125. Оп. 17. П. 111. Д. 2. Л. 27. Действительно, в 1935 и 1936 гг. полпредство в Румынии не получало сколько-нибудь значительных «специальных» средств на оплату информаторов и субсидирование прессы (см.: S. Dullin. Des hommes d'influences: Les ambassaduers de Staline en Europe 1930–1939. Paris, 2001. P. 209).

[32] В октябре 1935 г. советские летчики и парашютисты приняли участие в авиационном слете в Бухаресте, проводившемся королевским аэроклубом.

[33] Письмо М. С. Островского М. М. Литвинову, 2. 1. 1936. – АВП РФ. Ф. 0125. Оп. 18. П. 112. Д. 1. Л. 23.

[34] Самсонович пояснил, что Генштаб с апреля 1935 г. ожидал от СССР как «великой державы» проявления инициативы об обмене военными атташе (Запись беседы М. С. Островского с Н. Самсоновичем, 21. 9. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 91)

[35] Письмо Н. Н. Крестинского М. С. Островскому, 13. 10. 1936 (№ 2255). – АВП РФ. Оп. 18. П. 112. Д. 2. Л. 17.

[36] Письмо М. С. Островского Н. Н. Крестинскому, 17. 6. 1936. – Там же. Д. 1. Л. 178–177.

[37] Письмо Б. Д. Виноградова Д. Г. Штерну, 24. 12. 1935. – Там же. Л. 4.

[38] 6. – Там же. Л. 92.

[39] Письмо Б. Д. Виноградова Д. Г. Штерну, 24. 12. 1935. – Там же. Л. 5. Эта жалоба особенно показательна, поскольку с конца 1933 г. ВОКС возглавлял бывший полпред СССР в Чехословакии А. Я. Аросев.

[40] Письмо М. С. Островского Н. Н. Крестинскому, 29. 6. 1936. – Там же. Л. 180.

[41] О сходных призывах полпреда СССР в Чехословакии С. С. Александровского (расширением сотрудничества с ЧСР и Румынией «укреплять хребет чехам») см.: *О. Кен.* Чехословакия в политике Москвы (1932–1936 гг.) // Россия XXI. 1997. № 1–2. О трагической судьбе Александровского см.: *А. Остальский.* Жизнь и смерть дипломата // Вовремя. 1999, 12 апреля.

[42] Письмо М. С. Островского Г. Я. Бежанову, 29. 6. 1936. – АВП РФ. Оп. 18. П. 112. Д. 1. Л. 200.

[43] Коммюнике Совета министров Румынии, 16. 7. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 73.

[44] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 11. 1936 // ДВП СССР. Т. 19. С. 565.

[45] К проекту договора о взаимопомощи между Румынией и СССР, Монтре, 21. 7. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 82–83.

[46] Ранее высказанные на этот счет соображения (*О. Кен.* Указ. соч. // Россия XXI. 1996. № 11–12. С. 104–112) подтверждает недавно опубликованное поста-

новление Политбюро от 4 мая 1935 г. Оно предписывало: «В пакте должно быть ясно сказано, что помощь против нападения на территорию СССР и Чехословакии оказывается лишь в тех случаях, когда на помощь жертве нападения выступает и Франция» (Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Европа: Решения «особой папки». С. 326).

[47] Телеграмма В. Антонеску в МИД Румынии, Женева, 30. 9. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 96.

[48] Закулисная история «реконструкции кабинета» подробно изложена в записке Островского Штерну от 31 августа (АВП РФ. Ф.0125. Оп.18. П. 112. Д.1. Л. 271–272).

[49] Письмо М. С. Островского Н. Н. Крестинскому, 29. 10. 1936 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 108–109.

[50] См.: Запись беседы М.С. Островского с И. Инкулецом, 16. 7. 1936 // Там же. С. 78.

[51] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 11. 1936 // ДВП СССР. Т. 19. С. 566–567.

[52] Телеграмма Э. Чиунту в МИД Румынии, 16. 2. 1937 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 116.

[53] «Титулеску очень зол на Вас за Вашу веру в короля и Татареску», — не преминул сообщить Литвинов Островскому (Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 13. 6. 1937 // Там же. С. 148).

[54] Наряду с некоторыми нюансами в докладах Островского заслуживает внимания следующий эпизод. Встретившись с польским атташе вскоре после смерти Пилсудского, Островский уклонился от обсуждения политической конъюнктуры и вместо этого «начал говорить в самых превосходных степенях о г-не Маршале, сравнивая его с Лениным. Следует признать, что говорил он хорошо и, по моему впечатлению, искренне» (*List J.* Kowalewskiego do Szefu Oddziaiu II Sztabu Gŭwnego, Bukareszt, 18. 6. 1935. – AAN. Sztab Gŭwny/616/173/541).

[55] Ср. почти противоположные оценки румыно-польских отношений в письмах Островского Литвинову 3 и 31 января 1937 г. (АВП РФ. Ф. 0125. Оп. 19. П. 114. Д. 1. Л. 424, 352).

[56] Запись М. С. Островского «Завтрак у Антонеску (МИД)», 25. 10.1936. – Там же. Оп. 18. П. 112. Д. 1. Л. 351.

[57] Письмо М. С. Островского М. М. Литвинову, 3. 1. 1937. – Там же. Оп. 19. П. 114. Д. 1. Л. 428.

[58] *S. Dullin*. Op. cit. P. 242–243.

[59] См.: Запись беседы М. С. Островского с В. Антонеску, 1. 3. 1937. – АВП РФ. Ф. 0125. Оп. 19. П. 114. Д. 1. Л. 314.

[60] Посетители Кремлевского кабинета И. В. Сталина: Журналы (тетради) записи лиц, принятых первым генсеком, 1924–1953 // Исторический архив. 1995. № 4. С. 47.

[61] Телеграмма Э. Чиунту в МИД Румынии, 16. 2. 1937 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 135.

[62] Запись беседы М. С. Островского с В. Антонеску, 28. 4. 1937 // Там же. С. 141.

[63] Телеграмма В. Антонеску в миссию Румынии в СССР, 29. 4. 1937 // Там же. С. 143.

[64] Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б) и Европа. С. 351.

[65] Coulondre à Alphand, Moscou, 4. 05. 1937 // DDF. 2e sér. T. V. P. 669.

[66] Письмо М. М. Литвинова М. С. Островскому, 8. 8. 1937 // СРО: ДиМ. Т. 2. С. 168.

[67] См.: *S. Dullin*. Op. cit. P. 334–338; А. И. Микоян. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999. С. 337.

[68] М. Ибрагимов пользовался влиянием в турецких правительственных кругах, в частности у министра внутренних дел.

[69] Этим резидентом являлся Виктор Васильевич Богомолец (1895 — позднее 1940), уроженец Киева, с 1920 г. сотрудничавший также с Intelligence Service (Предисловие к описи фонда № 221 Центра хранения историко-документальных коллекций (в настоящее время — в составе Российского государственного военного архива) (далее — ЦХИДК / РГВА).

[70] The Times. 1938, 12 January.

[71] [Копии писем и материалов Ибрагимова, Папроцкого и других лиц на польском и французском языках, б/д]. – ЦХИДК / РГВА. Ф. 453. Оп. 1. Д. 1. Л. 8–11, 14–15, 21–23, 32–34. О «деле Островского» впервые упомянуто в книге: *A. Pepiocski*. Wywiad polski na ZSSR 1921–1939. Warszawa, 1996. S. 203–204.

[72] См.: Lord Perth to A. Eden, Rome, Febr. 18, 1938. – PRO. FO / 371 / 22286 / N887. В личном письме министру иностранных дел Румынии, отправленном Бутенко из Рима, Торманов без обиняков именовался «агентом ГПУ» (H. Ragsdale. Op. cit. P. 707).

И. П. Лейберов

Я ЗНАЛ ЕГО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА (ПАМЯТИ Ю. Н. ВОРОНОВА)

Ночью, в понедельник, 11 сентября 1995 г. в мою петербургскую квартиру последовали один за другим два междугородних телефонных звонка. Первый звонок из Москвы: звонили мои старинные друзья — доктор исторических наук Юрий Иванович Кораблев и его супруга Екатерина Моисеевна. Говорила Катя Кораблева глухим и тревожным голосом: «Игорь Павлович, по радио только что передали страшную весть. Сегодня вечером в Сухуми в своей квартире автоматной очередью убит Юра Воронов. Мы потрясены...».

Тогда же раздался второй звонок. Он был из Сухуми. Звонил Иван Чантович Заранзия — председатель коллегии адвокатов Абхазии. Он передал ту же информацию, но с некоторыми подробностями: «Здесь мы считаем, что убийство политическое и заказное. Убийцы схвачены...».

Так трагически погиб мой большой друг, доктор исторических наук, профессор, депутат Верховного Совета Абхазии, вице-премьер правительства Республики Абхазия Юрий Николаевич Воронов. Блестящий, европейски образованный ученый-археолог, полиглот, владевший восемью языками, выпускник восточного факультета Ленинградского университета. Автор более 600 научных монографий, брошюр, популярных и публицистических статей, очерков, рецензий. Сегодня изучать древнюю и средневековую историю Абхазии, Грузии, Северного Кавказа и Южной России без знания трудов Ю. Н. Воронова невозможно.

Потом были похороны Юрия Николаевича в Сухуми. Похоронили его как национального героя Абхазии в центре города. Как Не-

стора Лакоба и Дмитрия Гулия. Но незаживающая рана от этой потери остается в моем сердце.

Я дружил с Юрием Вороновым ровно двадцать пять лет. Познакомились мы в начале 1970 г. Тогда, после защиты докторской диссертации, я с семьей приехал на летний отдых в Сухуми. Очень устал от напряженной работы и предзащитных волнений. Хотелось отоспаться, загорать на пляже, купаться в теплом море. Однако моим планам не суждено было реализоваться.

Будучи человеком любознательным, приезжая в какое-либо новое место, я всегда приобретаю краеведческую литературу по данному региону. На второй день пребывания в Сухуми мне в руки попалась книга абхазского краеведа Вианора Пачулия «По древней, но вечно молодой Абхазии» (Сухуми, 1969 г.). Книга мне понравилась, читал ее с интересом, неожиданно я наткнулся (с. 63–64) на краткую историю села Цебельда и имения «Ясочка», принадлежавшего русским помещикам Николаю Ильичу и его супруге Александре Константиновне Вороновым. Поразило меня сообщение В. Пачулия, о том, что в «Ясочке» потомки Н. И. Воронова до сих пор сохраняют в целости и сохранности уникальные личные вещи писателя и революционера-демократа А. И. Герцена: его трость-шпага и дорожный несессер. Эти вещи были подарены Герценом в мае 1862 г. в Лондоне Н. И. Воронову, который согласился стать разъездным агентом А. И. Герцена для связи Лондонского центра «Земли и воли» с Россией. Николай Ильич и Александра Константиновна Вороновы были прадедом и прабабушкой Юрия Николаевича Воронова.

На другой день, несмотря на протесты семьи, все еще надеявшейся на безмятежную пляжную жизнь, я направился в Сухумский научно-исследовательский институт туризма и экскурсий, где познакомился с его директором В. П. Пачулия. Вианор Панчевич тогда же представил меня старшему научному сотруднику Юрию Воронову. Он сразу произвел на меня сильное впечатление. Высокий, стройный, с густой черной шевелюрой, черной бородой и усами; с умным и внимательным взглядом из-за стекол очков. Мы с ним тогда проговорили часа три без передышки.

Через несколько дней я со своей семьей приехал в Цебельду, в «Ясочку». Здесь нас встретили Юра Воронов с братьями Всеволодом и Виктором. Они достали с чердака огромный старинный сундук, в котором хранился семейный архив, собранный за полтора века. Пять

тысяч писем, записки, дневники, документы, фотографии. Среди бумаг оказалась уникальная коллекция листовок (около 120 экз.) политических партий России: кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, грузинских федералистов, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. Кроме этого здесь находились подшивки революционных газет. Тогда же Юра Воронов показал мне трость-шпагу и дорожный несессер А. И. Герцена. Выяснилось, что в семье хранятся компас М. А. Бакунина и самовар А. С. Пушкина, по семейному преданию, полученный в свое время от П. О. Осиповой-Вульф. Я сразу понял: передо мной уникальный клад духовных ценностей русской дворянской семьи.

Как позднее мне удалось установить, три поколения семьи Вороновых непосредственно были связаны с декабристами, революционерами-демократами, лично были знакомы и сотрудничали с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниным, Н. Г. Чернышевским; с революционерами-марксистами: Г. В. Плехановым, В. И. Лениным, Ю. О. Мартовым, Н. С. Чхеидзе, С. Г. Шаумяном, А. П. Джапаридзе, Н. А. Лакобой, Е. А. Эшбой и др. Об этом на протяжении тридцати двух лет (с 1970 г.) я писал в моих книгах «Цебельдинская находка. Из истории революционных и культурных связей между Петербургом и Кавказом» (М., 1976 г. и 1980 г.), в десятках статей и очерков (См.: И. П. Лейберов «Россия. Кавказ. Абхазия». СПб., 1995 г. Список основных опубликованных работ автора, с. 91–96). В 1991 г. в Сухуми вышел известный сборник «Из архива Вороновых: документы, воспоминания, письма, фотографии» (Сухуми, 1991 г.), в котором я совместно с Ю. Н. Вороновым и С. З. Лакобой выступил в роли редактора и составителя. Хочу заметить, что вместе с Юрием Николаевичем мы много и упорно работали над воспоминаниями его бабушки Людмилы Николаевны Вороновой. Даже с выходом в свет сборника «Из архива Вороновых» их письма, документы и воспоминания были опубликованы далеко не полностью. Однако «Ясочка» дважды подверглась разграблению местными национал-радикалами в июле 1989 г. и в августе 1992 г. Тысячи документов были сожжены и разворованы.

Невольно возникает вопрос: как же удалось Вороновым многие десятилетия, включая Первую мировую и Гражданскую войны, революцию, период сталинских репрессий, Великую Отечественную войну, сохранять свой архив, библиотеку, дом, фамильное имущество?

До революции для официальных властей Николай Ильич и Александра Константиновна Вороновы, их дети являлись дворянами-помещиками, владевшими 463 десятинами земли в Цебельдинском округе. Парадоксальная ситуация: полицейские власти знали, что вороновское имение «Ясочка» поставлено на службу революции. Оно служило «почтовым ящиком» революции: через нее шли транспорты с нелегальной литературой из Петербурга и Москвы на Кавказ и в Закавказье. Также «Ясочка» была подпольным «домом отдыха»: в период 1902–1914 гг. в ней отдыхали, лечились, скрывались и работали не менее 120 революционеров-нелегалов. В «Ясочке» полвека (1880–1930 гг.) просуществовала народная школа для абхазских, грузинских, армянских, русских и др. детей. В ней ряд лет функционировала трудовая коммуна. С 1880 по 1917 гг. в «Ясочке» не было ни единого провала, ни одного обыска или ареста. Секрет неуязвимости Вороновых заключался в дружной поддержке этой семьи местным абхазским и грузинским населением. К тому же родные братья хозяйки «Ясочки» Александры Константиновны Прогульбицкой-Вороновой сделали неплохую карьеру в закавказской жандармерии и полиции. Старший брат – полковник В. К. Прогульбицкий — в 1903–1905 гг. являлся начальником Сухумского военного округа, а летом 1905 г. с повышением был переведен в Тифлис. Младший брат — Н. К. Прогульбицкий — ротмистр жандармерии в 1904–1905 гг., помощник начальника Тифлисского жандармского управления по Елисаветпольской губернии. Либерально настроенные братья Прогульбицкие и прикрывали революционные «грехи» своей любимой сестры А. К. Вороновой и ее четверых детей: Юрия, Ольги, Веры, Людмилы — студентов петербургских вузов.

В советский период «Ясочка» выстояла потому что Людмила Николаевна Воронова — активная участница революционного движения, пользовалась прямой поддержкой тогдашних руководителей Абхазии: Нестора Лакобы и Ефрема Эшбы. В период сталинских чисток 30–40-х гг. Вороновы фактически были забыты и они избежали страшной участи многих близких им людей.

Другой парадокс этой семьи заключался в том, что в хрущевско-брежневское время 50–70-х гг. Н. И. и А. К.Вороновы — русские революционные демократы и просветители были представлены в Абхазии как «русские помещики-эксплуататоры грузинского и абхазского крестьянства». Эта характеристика была представлена как в

экспозиции Сухумского краеведческого музея, так и в научно-популярной литературе. Нам с Юрием Николаевичем потребовалось приложить большие усилия для восстановления исторической справедливости и доброй памяти о его предках. Национальная ограниченность тогдашнего руководства Грузии и Абхазии мешала глубокому научному изучению общественно-политических, культурных и духовных связей между народами Абхазии, Грузии и России.

На изучение и раскрытие этих проблем на примере родословной пяти поколений семейства Вороновых ушло не менее двух десятилетий моей жизни. Одновременно крепла наша с Юрой Вороновым дружба, закалявшаяся в совместном преодолении трудностей. Мною были изучены не только вороновский архив в Цебельде, но и архивные документы в Ленинграде, Москве, Тбилиси, Кутаиси, Ереване, Гори, Сухуми, Симферополе, Севастополе, Евпатории, Одессе, Киеве, Краснодаре, Красноярске и даже Париже.

Вся поисковая и издательская работа велась при непосредственном дружеском участии и помощи Юрия Николаевича. Только одних рукописных выписок из семейного архива Вороновых им было сделано не менее восьмисот страниц. Эта работа велась за счет отдыха и свободного времени. Чаще всего он работал вечерами и по ночам, т. к. днем выполнял свои служебные обязанности. Помощь со стороны Ю. Н. Воронова способствовала успеху моего Цебельдинского поиска.

Для Юрия Николаевича всегда были характерны кристальная честность, принципиальность и мужество, высокая требовательность к себе и окружающим его людям, глубокая любовь к Родине — Абхазии и России.

В студенческие годы он примыкал к движению диссидентов. Тогда высокие чины КГБ решили превратить группу ленинградской студенческой молодежи в коварных террористов, готовивших не более и не менее как «покушение» на Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и председателя президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорного. Это якобы должно было произойти на Марсовом поле в Ленинграде в дни празднования 50-летия Октябрьской революции в ноябре 1967 г. В это время Ю. Н. Воронов окончил университет, вернулся в Абхазию и устраивался на работу. Но верные «стражи системы и правопорядка» из грузино-абхазского КГБ, по приказу из Москвы арестовали Юрия Николаевича, продержали его около

недели в тюрьме, в одной камере с уголовниками. Но ни допросы с пристрастием, ни запугивания не сломали его. Не добившись признательных показаний, власти вынуждены были выпустить Юрия на волю. Так он постигал реалии той «свободы», за которую боролись не жалея себя несколько поколений его предков. Подобные испытания, на которые судьба Юрия Николаевича была на редкость щедра, закаляли его характер, укрепляли силу воли.

Юрий Николаевич — настоящий энтузиаст науки (в лучшем смысле этого слова) и, прежде всего, истории и археологии. Его археологические раскопки от Сочи до Сухуми, от Сухуми до Цебельды и далее вглубь Закавказья — известны в научных кругах всего мира. В феврале 1985 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему: «Восточное Причерноморье в железном веке (Вопросы хронологии и интерпретации памятников VIII века до н. э. — VIII века н. э.)». На подаренном мне автореферате своей диссертации Юрий Николаевич сделал памятную надпись: «Дорогим Игорю Павловичу Лейберову и его добрым родным с наилучшими пожеланиями от уважающего и благодарного автора. Ю. Воронов. 17 января 1985 г.».

Защита проходила в Институте археологии Академии наук СССР в Москве. Конференц-зал был полностью заполнен. Мы с женой специально приехали в Москву, чтобы поддержать друга.

Долгие годы научные результаты раскопок Ю. Н. Воронова на территории Абхазии и Кавказа совершенно не воспринимались частью грузинских археологов, подвергались грубой и необоснованной критике. Эти ученые стремилась представить многие эллинистические и древне абхазские памятники как грузинско-колхидские. Воронов был честен и упорен, твердо стоял на своих выводах и не собирался ни под кого подстраиваться из конъюнктурных соображений. Дело дошло до открытых столкновений, не принятых в академической среде. В Москву на защиту докторской диссертации Юрия Николаевича прибыла из Тбилиси целая команда археологов из центра О. Д. Лордкипанидзе с задачей провалить защиту. Для поддержки Воронова пришла группа абхазцев во главе с известным писателем Фазилем Искандером (Юра и Фазиль дружили). Ситуация обострилась до предела. Защита продолжалась непомерно долго. Невзирая на все нападки грузинских «коллег», Юрий Воронов держался стойко, спокойно, отвечал на вопросы и возражал умно. Еще одну проблему для диссертанта создавали его оппоненты, двое из которых

являлись известными грузинскими археологами, пристрастно к нему настроенными. Председательствовал на Ученом совете директор Института, выдающийся ученый-археолог, академик Б. А. Рыбаков. Он вел заседание тонко и корректно, остужая кипевшие страсти: «А Вы, молодой человек, читали диссертацию Воронова? Ах, нет! Ах, читали только автореферат! Так что же Вы занимаете наше драгоценное время?». Зал находился в напряжении, то взрываясь от возмущения, то аплодируя удачной реплике. Юрий Воронов победил: за его исследование Ученый совет единогласно присудил ему докторскую степень.

Четверть века мы с Юрием Николаевичем дружили семьями. Когда бы я ни приезжал в Сухуми — в командировку, с семьей на отдых, мы всегда останавливались в его доме. С теплым чувством и радостью мы вспоминаем милую супругу Юрия Николаевича — Светлану Владимировну, их детей — Тамару и Нику, маму Юры Светлану Васильевну, его брата Всеволода, маму Светы — добрейшую и хлебосольную Екатерину Яковлевну, отца Светы — Владимира Николаевича Хочолава. Я всегда с удовольствием вспоминаю наши беседы с Юрием Николаевичем, его темпераментную, образную речь, интересные рассказы об истории Абхазии, ее археологических памятниках, наши совместные поездки по этому краю.

Юра Воронов со своей семьей не раз бывал в моем доме. Внимательно следил за моей научной и вузовской работой в Высшей профсоюзной школе культуры — Гуманитарном университете профсоюзов. При его участии нам удалось провести в Ленинграде и Сухуми пять конференций «Цебельдинские чтения». На них выступали известные абхазские ученые З. В. Анчабадзе, О. Х. Бгажба, Г. А. Дзидзария, С. З. Лакоба, В. П. Пачулия; русские ученые П. В. Волобуев (академик РАН), Ю. Н. Воронов, Ю. И. Кораблев, И. П. Лейберов, студенты Высшей профсоюзной школы культуры и Абхазского госуниверситета. На них рассматривались вопросы истории Абхазии и России, российско-абхазские экономические, политические и культурные связи. Центральная советская («Правда», «Советская Россия», «Известия»), ленинградская («Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград») и абхазская пресса («Советская Абхазия», «Апсны», «Дроша») освещали проблемы «Цебельдинского поиска» и «Цебельдинских чтений». Результаты этих исследований стали известны в США, Франции, Германии, Англии, Польше, Турции, Чехии, Австрии и Японии.

С декабря 1993 г. Ю. Н. Воронов стал заместителем председателя Совета министров Абхазии, а в феврале 1995 г. — вице-премьером Кабинета министров Республики Абхазия. Бывая в Петербурге, он всегда находил время навестить мой дом. Юра приезжал один, либо с сотрудниками или друзьями — побеседовать, пообедать, просто отдохнуть. Он никогда не кичился своим высоким государственным постом и очень сожалел, что временно отошел от большой науки. В то же самое время Ю. Н.Воронов успел выпустить в свет ряд книг и брошюр: «Лев Николаевич Соловьев (1894–1972)» (СПб, 1994 г.), «Драма Клухорской (Военно-Сухумской) дороги» (Сухуми, 1994 г.), «Очерки истории Абхазии (до XIX века)» (совместно с Р. К. Кацией; Майкоп, 1995 г.). Последними рукописными строками Ю. Н. Воронова было его предисловие «Об авторе и его трудах» к моей книге «Россия. Кавказ. Абхазия» (СПб., 1995 г.).

Последний раз я видел Юрия Николаевича 29 июня 1995 года в моей квартире. Он навестил меня во время деловой поездки в Петербург. Обедали, пили вино, говорили о научных планах, проблемах Абхазии. Эта встреча произошла ровно за два с половиной месяца до его трагической гибели...

Его светлый образ живет в моем сердце, в моей семье, среди наших друзей. Вечная память этому Большому Человеку, Ученому, Отцу, Мужу и Другу.

Ноябрь 2002 г. С.-Петербург

ИСТОЧНИКИ
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Т. Г. Смирнова

В. Т. ГЕОРГИЕВСКИЙ В БОЛЬШОМ (УСПЕНСКОМ) ТИХВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ В 1918 г.

Публикуемый ниже документ является отчетом В. Т. Георгиевского о командировке в Тихвин в конце 1918 г. с целью принятия превентивных мер в отношении сохранности документов архива Большого Тихвинского монастыря. Этот документ представляет интерес для воссоздания научной биографии В. Т. Георгиевского и является документом эпохи, отражающим сложные постреволюционные реалии, в которых ученым приходилось в буквальном смысле спасать архивные ценности монастырей.

Имя Василия Тимофеевича Георгиевского (1861—1923 гг.) вошло в историю отечественной науки и культуры в начале XX в., когда им были открыты фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.[1] Но только в 90-е гг. появились исследования и публикации, посвященные творческой биографии ученого.[2] В этих работах раскрыта выдающаяся роль В. Т. Георгиевского, которую он сыграл в сохранении, открытии и изучении памятников древней живописи. Значительной вехой научной биографии ученого явилась его деятельность в «Комитете попечительства о русской иконописи». На протяжении почти двадцати предреволюционных лет (1901–1917 гг.) ученый работал в Комитете[3] в тесном сотрудничестве и под руководством Н. П. Кондакова.[4] После революции 1917 г. судьба связала В. Т. Георгиевского с «Комиссией по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи», созданной в июне 1918 г. в Москве И. Э. Грабарем. Летом 1918 г. сотрудники Комиссии предприняли поездки в закрывающиеся монастыри в Кириллове, Ферапонтове, Владимире, Боголюбове, Муроме, Троице-

Сергиеве, где были приняты меры на учет произведения древнерусской и византийской живописи, расчищены от позднейших поновлений иконы и стенописи Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Но в конце сентября В. Т. Георгиевский по семейным обстоятельствам был вынужден оставить работу в Комиссии и вернуться в Петроград. В Петрограде он был принят на службу в Главное Управление Архивным делом (Главархив) и работал в этом учреждении до конца 1919 г. Кандидатуру В. Т. Георгиевского представил на заседании Комитета Главархива 15 августа 1918 г. В. Г. Дружинин,[5] хорошо знавший В. Т. Георгиевского по работе в «Комитете попечительства о русской иконописи». В. Г. Дружинин сообщил об угрожающем положении архивов церковного ведомства, создавшемся в результате проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства», и высказался о необходимости принятия незамедлительных мер с целью их сохранения. К этой работе он и предложил привлечь В. Т. Георгиевского. В. Г. Дружинин отметил научные заслуги В. Т. Георгиевского в области исследования древнерусского искусства, а также большой опыт работы ученого с документами монастырских архивов, его вклад в архивное дело как основателя Владимирской ученой архивной комиссии. Плодотворным в поручаемой работе, считал В. Г. Дружинин, будет использование В. Т. Георгиевским опыта деятельности ученого в Комиссии И. Э. Грабаря. По соображениям В. Г. Дружинина работа В. Т. Георгиевского должна носить разведочный характер — объезд монастырей в провинции с целью выяснения состояния архивных монастырских собраний. После В. Т. Георгиевского, как предполагал В. Г. Дружинин, в монастырские архивы будут командированы историки и архивисты для описания тех архивов, которые окажутся в безопасности, а те монастырские архивы, которым угрожает уничтожение, должны будут вывезены под руководством В. Т. Георгиевского в Петроград, в архив бывшего Синода. Предложение В. Г. Дружинина было принято.[6] Местом службы В. Т. Георгиевского стала инспекция архивов, в сферу деятельности которой входило выявление, учет, охрана и размещение тех архивных фондов, которым грозило уничтожение. В. Т. Георгиевский исполнял обязанности инспектора архивов по духовному ведомству. Возглавлял инспекторский отдел виднейший петербургский историк А. Е. Пресняков. Работа В. Т. Георгиевского протекала также в тесном сотрудничестве с руководителями 2 отделения IV секции (до революции — архив Синода) опытнейшими историками-

архивистами — К. Я. Здравомысловом[7] и Н. В. Туберозовым.[8] В этом отделении, кроме архива Синода, сосредотачивались архивы закрывающихся церквей, монастырей и учебных церковных учреждений. Реализация этой задачи потребовала не только практической работы, но и выработки специальных нормативных документов. Дело в том, что принятый Совнаркомом 20 января (2 февраля) 1918 г. декрет «Об отделении церкви от государства» предусматривал национализацию культовых зданий и всех предметов, связанных с совершением религиозного обряда, но не содержал указаний об архивных ценностях. Не решал их судьбу и декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. Декрет даже не упоминал об архивах монастырей и других учреждений духовного ведомства. В процессе проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства архивы оставались без наблюдения, оказывались в подвалах соборов, разграблялись. Идеологическое обоснование на столь пренебрежительное отношение к архивным ценностям давало фронтальное наступление Советской власти на церковь, сказывался, безусловно, и низкий культурный уровень представителей новой власти, исполнявших декрет.

Примечательно, что инициатива восполнить существенный пробел в законотворчестве Советской власти исходила от В. Т. Георгиевского, который предложил разработать специальную «Инструкцию об охране монастырских и церковных архивов». Вошел ученый и в образованную 5 декабря 1918 г. комиссию, которая составила этот документ.[9] Инструкция устанавливала правила учета и хранения архивных церковных и монастырских собраний при передаче церковного имущества государству. Аналогичную цель преследовала и созданная летом 1919 г. комиссия по консисторским архивам, в работе которой также участвовал В. Т. Георгиевский.[10]

Планомерное обследование монастырских архивов в провинции, предложенное В. Г. Дружининым, оказалось невозможным в условиях гражданской войны, вызвавшей разруху, перебои в работе транспорта. Кроме того, в самой столице было сосредоточено огромное количество архивных ценностей, требующих принятия незамедлительных превентивных мер. Поэтому практическая работа В. Т. Георгиевского протекала преимущественно в Петрограде. В 1918 г. ученый также совершил две поездки в провинцию. Он был командирован в Александро-Свирский монастырь Олонецкой губернии и Большой (Успенский) монастырь в Тихвине. В отчете о команди-

ровке в Александро-Свирский монастырь, состоявшейся 17—23 ноября 1918 г., ученый подчеркивал своевременность своей поездки. «Архив монастыря, — писал он, — подвергался опасности быть выброшенным или уничтоженным во время последних реквизиций монастыря».[11] В. Т. Георгиевский отметил полноту архива монастыря, дал краткое описание рукописей, выделил жалованные грамоты, вкладные, межевые, приходо-расходные книги. Ценность архива, подчеркивал ученый, заключается также и в том, что в архиве сохранились архивы монастырей и пустыней, приписанных к Александро-Свирскому монастырю в результате секуляризации монастырских владений в 1723 г. Даже после беглого обследования архивного собрания монастыря В. Т. Георгиевский пришел к выводу, что архив «<...> представляет большое научное значение, заслуживает внимания и всестороннего изучения».[12] С целью охраны архива ученый выдал Управлению монастыря охранную грамоту от имени Главархива, особо ценные документы В. Т. Георгиевским были опечатаны. Эти меры оказались не только своевременными, но и достаточными, чтобы сохранить архив. В 20-е гг. архив Александро-Свирского монастыря был вывезен Археографической комиссией и сотрудники Комиссии Б. Д. Греков[13] и М. Г. Курдюмов[14] в 1922 г. приступили к разбору и описанию полученной тогда большей части архива (документы до 1764 г.). В 1925 и 1927 гг. Комиссия переместила в свой архив и остальную часть архивного собрания Александро-Свирского монастыря.

Поездка В. Т. Георгиеского в Тихвин, осуществленная 15–19 декабря 1918 г., носила драматический характер. Действия ученого по принятию мер к охране архивного собрания и художественных ценностей Большого Тихвинского монастыря встретили резкое противодействие представителей местной власти. С целью воспрепятствовать мероприятиям В. Т. Георгиевского председатель Чрезвычайного комитета инкриминировал ему антиправительственное выступление, и на этом основании он был арестован и под конвоем отправлен в Петроград.

В отчете В. Т. Георгиевский приводит факты вандализма в отношении архивных ценностей Большого Тихвинского монастыря. Осматривая архив монастыря, ученый обнаружил часть документов, которые были разорваны одним из представителей комиссии местного Исполкома, «<...> большая же часть изорванных документов, — от-

мечал В. Т. Георгиевский, — была выметена как ненужный хлам». Обращает внимание ученый и на совершенно недопустимое отношение местной власти к художественным ценностям монастыря. Намерения местной власти заключались не в передаче монастырских памятников искусства под охрану государства, а «<...> в использовании их для нужд местного исполкома», — подчеркивал ученый. Фактом произвола местной власти явился и арест ученого.

Несмотря на сложную обстановку, в которой оказался ученый в Тихвине, он сумел выдать охранные грамоты от имени Главного управления архивным делом и Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Большому (Успенскому) Тихвинскому, Николо-Беседному и Антониево-Дымскому монастырям.

После поездки В. Т. Георгиевского Петроградское отделение Главархива направляет в Тихвинский исполком отношение, в котором сообщает, что Главархив возлагает обязанности по обследованию и учету всех архивов в Тихвине и Тихвинском уезде на Тихвинское отделение Новгородского общества любителей древности. Были назначены и конкретные исполнители — И. П. Мордвинов[15] и В. И. Равдоникас,[16] которые и осуществили, по существу, подвижнический труд по собиранию архивных и художественных ценностей Тихвинских монастырей. 23 июня 1919 г. состоялось открытие архива-музея в Большом (Успенском) Тихвинском монастыре. В 1925 г., после кончины И. П. Мордвинова, который занимался не только сбором монастырских документов, но и их изучением, документы Большого (Успенского) Тихвинского и Введенского монастырей до 1764 г. были при содействии В. И. Равдоникаса вывезены Археографической комиссией. В 1927 г. Археографическая комиссия добилась получения из Тихвинского музея и остальной части документов этих монастырей (за 2-ю половину XVIII в. и XIX в.). Сотрудники Комиссии сразу приступили к разбору и описанию монастырских документов, введению их в научный оборот. В 1929 г. Б. Д. Греков составил и напечатал (машинопись) описи хозяйственных книг Большого (Успенского) Тихвинского монастыря XVII—XIX вв. (1614—1875 гг.).[17]

Таким образом В. Т. Георгиевский после революции 1917 г. внес большой вклад не только в сохранение памятников древнерусского искусства, но и стоял у истоков той огромной работы, которую выполнили ученые в 20-е гг. по спасению монастырских архивных собраний.

Отчет В. Т. Георгиевского о командировке в Тихвин с целью принятия мер к охране Тихвинских монастырских архивов и ризниц

Поводом явилась телеграмма члена Тихвинского общества Скородумова[18] «принять меры к охране Тихвинских монастырских архивов и ризниц» и одновременно ходатайство членов того же общества Мордвинова и Цывелева[19]. Главное управление спешно командировало меня в Тихвин, поручив мне организовать на месте из лиц местного Культурно-Просветительного общества особую комиссию для сохранения архивов и ризниц, и, в случае надобности, до образования этой комиссии опечатать помещения, занимаемые архивами, выдав на местах особые удостоверения, ибо архивы находятся под охраною Главного Управления Архивным делом и без предварительного сношения с этим учреждением и без его разрешения архивы не могут быть ни реквизированы, ни перенесены в другое место. Об опасности, угрожавшей тихвинским ризницам, я счел своим долгом доложить Управлению по делам музеев и охране памятников искусства и старины в лице правительственного комиссара гражданина Киммеля. Т. Киммель поручил мне также принять меры к охране тихвинских ризниц, как лицу, ранее служившему в Коллегии[20] и компетентному в оценке памятников искусства и старины, выдав мне соответственное удостоверение моих полномочий, с просьбой местному Исполкому оказать мне всемерную поддержку и содействие.

Приехав в г. Тихвин 15 декабря, я остановился по указанию Исполкома в помещении, занятом Комитетом бедноты в Тихвинском монастыре, в бывшем настоятельском корпусе, и предъявил свои бумаги председателю местного Исполкома Соловьеву, осведомив его о цели своего приезда. В монастыре я узнал, что незадолго перед моим приездом здесь была комиссия местного Исполкома, которая организовала здесь особый Комитет бедноты, давши ему полномочия по управлению музеем. Причем при осмотре ризницы и архива один из членов комиссии комиссар Веселов дозволил себе изорвать целый ряд указов и других документов. Я счел своим долгом обратить на это внимание Соловьева, как на акт незаконный, и сообщил ему о важности и необходимости всех бумаг, имеющих историческое и научное значение, для чего и образовано Главное Управление Архивным Делом.

В монастыре я узнал, что комиссия искала в ризнице спрятанное золото и серебро, и, пересматривая здесь художественные и археологические памятники искусства, говорила, что все это они должны взять и употребить по своему усмотрению, согласно декретам. Осматривая архив, я нашел здесь еще остаток изорванных архивных актов и часть их взял с собой, кои при сем прилагаю, большая же часть изорванных актов была выметена как ненужный хлам.

Таким образом, опасения за целость монастырских архивов и ризниц, высказанные в телеграмме, имели полное основание, моя командировка была во время и должна была предотвратить вредные для дела действия местных членов Исполкома, совершенно не понимавших силу декретов Советского правительства об охране архивных фондов и памятников искусства и старины, имеющих историческое и художественное значение.

В виду этой опасности, грозившей монастырским архивам и ризницам, я решил их оградить и в других монастырях, находящихся в Тихвине и его окрестностях: Николо-Беседном и Антониево-Дымском и с этой целью объехал эти монастыри и осмотрел тамошние архивы и ризницы, заявив монахам и Комитетам бедноты, что архивы и ризницы находятся под охраной Главного Управления Архивным Делом и Коллегии по делам охраны памятников искусства и старины и без разрешения этих учреждений не могут быть ни реквизированы, ни перемещены в другое место.

Все эти мои предварительные действия вызвали крайние неудовольствия в членах местного Исполкома, имевших свои планы для использования культурных сокровищ монастырских ризниц для удовлетворения нужд местного Исполкома. И когда я явился утром 18 декабря к председателю Чрезвычайной комиссии Кольцову, желая здесь встретить Попова (член местного просветительного отдела) и других членов, все они выразили мне порицание моему образу действий, находя их «опасными», какими-то «таинственными», уверяя, что монахи после моих посещений могут скрыть свои сокровища, а они, члены Исполкома, приняв участие в моих мероприятиях, и в особенности во временном опечатании архивов и ризниц до образования особой комиссии, явятся ответственными за целость их. Я объяснил всю недостоверность их соображений, что монахи, если бы имели какие-либо неведомые никому сокровища и захотели бы скрыть их, они давно бы это сделали, в особенности после ревизии, произве-

денной местным Исполкомом и организацией везде Комитетов бедноты в монастырях, взявших на себя управление монастырским имуществом. Что же касается ценных культурных памятников искусства и старины, то всему этому в монастырях имеются официальные описи, по которым они и должны быть сданы под охрану местных комиссий в ведение совета Комиссариата по просвещению.

Что же касается до своих мероприятий, то они, по моему мнению, необходимы потому, что они могут предохранить архивные ризницы от захватов разных незаконных налетчиков, которые в последнее время нередко, являясь с подложными документами в монастыри и под видом законных реквизиций, увозили культурные ценности и продавали их скупщикам. Товарищ Просветительного отдела Попов горячо возражал против моих мероприятий, находя, что они свяжут их действия на местах, что власть должна быть на местах, а все эти «главные учреждения» только тормозят их дело и что он лично не согласен приступить к временному опечатанию архивных ризниц. Я возразил, что я уполномочен своим начальством на все эти действия и исполняю лишь точно инструкции Главного Управления Архивным делом. Тогда видя, что я намерен выполнить свои нежелательные для них планы, они прибегли к помощи местного Чрезвычкома и председатель Чрезвычкома Кольцов, желая поддержать своих товарищей и помешать мне в моих служебных действиях, прибегнул к следующему приему. Он вдруг объявил мне, что за мной у него имеется «дело», что на меня у него имеется донос каких-то неизвестных мне личностей, которых он сейчас допросит, и просил меня дать мне ответ на следующие вопросы. Был ли я в их пролетарской столовой 15 декабря и обращался ли к толпе со словами: «Как вас здесь скверно кормят и как вы можете это терпеть», как об этом будто бы донесли два гражданина. Я ответил, что ничего подобного не было, 15 декабря я обедал в столовой, но никакой толпы около столовой не было, ни к кому с такими словами я не обращался. После обеда выходя из столовой, я действительно спросил у какого-то неизвестного мне гражданина, который выходил со мной из столовой одновременно, не знает ли он другой столовой почище, так как эта очень грязная. Он сказал, что есть еще две столовых, но такие же, не лучше. Я заметил, что дают мало и это объясняется продовольственным кризисом, а что грязно — это уже зависит от заведующих столовыми. На этом разговор наш кончился и мы разошлись в разные стороны, при этом никакой толпы около столовой не

было. Кольцов записал это мое объяснение и дал мне для подписи. Прочитав его, я нашел его не точным, дополненным разными подробностями, но считая это «дело» сущим вздором, я подписал бумагу, добавив, что никакой толпы я не видел и что, как советский служащий, конечно, не мог говорить каких-либо слов, порицательных по адресу начальства. После этого я был арестован. Когда я спросил Кольцова, в чем меня обвиняют, Кольцов ответил, что «<...> Ваши поездки в монастыри и вообще Ваше поведение внушило Исполкому недоверие к вашим документам». Я просил дать телеграмму в Петроград о своем задержании, просил пригласить комиссара юстиции разъяснить мне законность моего ареста. Кольцов возвысил голос и закричал на меня: «Что Вы тут рассуждаете <...>. Вас арестовал я, председатель Чрезвычкома, комиссар юстиции мне подчинен и нечего его спрашивать. Благодарите меня, что я арестую Вас домашним арестом». Тогда я попросил отправить меня в Петроград, где надеялся выяснить недоразумение. На другой день, после обыска на квартире, я был препровожден в Петроград под конвоем и помещен в камеру № 95 на Гороховой, 2. Через 3 дня я был переведен в Дом предварительного заключения (Шпалерная, 25), где просидел без всякого допроса до 28 декабря и без всякого допроса был выпущен на свободу.

Так, к сожалению, я не мог выполнить данного мне поручения, успев, однако, выдать монастырям удостоверения, что архивы и ризницы находятся под охраною — первые — Главного Управления архивным делом, а ризницы — Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Необходимо принять следующие меры: занять в Тихвинском монастыре корпус, называемый архиерейским, где и сосредоточить архивы, как находящиеся в самом Тихвинском монастыре, так и архивы Николо-Беседного и Антониево-Дымского и Введенского женского монастырей. Архив Большого Тихвинского монастыря, хотя и содержится в порядке, но помещение, занимаемое им, тесно и сыро, дела заплесневели, многие отсырели настолько, что переплеты отстали от книг, и архивам грозит большая порча. Необходимо также образовать в ближайшее время местную комиссию из лиц, сведущих в архивном деле, коей и поручить дальнейшую охрану архивов и памятников искусства и старины.

РГИА. Ф. 6900. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 15–17.

Текст публикуется с сохранением орфографии и пунктуации автора.

[1] Фрески Дионисия обнаружены В. Т. Георгиевским в 1905 г., а в 1911 г. была опубликована монография «Фрески Ферапонтова монастыря».

[2] *Вздорнов Г. И.* «Быть здесь тяжелый крест...». Из переписки А. И. Анисимова и В. Т. Георгиевского (1918–919) // Памятники отечества. М., 1993. № 3–4. С. 90–95; *Кызласова И. Л.* Н. П. Кондаков и В. Т. Георгиевский. Научное общение и последние письма // Вопросы искусствознания. Вып. X. М., 1997. С. 547–570.

[3] В мае 1917 г. Комитет из церковного ведомства был передан в ведение Министерства Народного просвещения. В 1918 г., после смерти графа С. Д. Шереметева, председателем Комитета стал С. Ф. Платонов. В 1919 г. Комитет был переименован в Комитет изучения древнерусской живописи и вошел в состав Российской Академии истории материальной культуры. В 1921 г. Комитет был расформирован.

[4] Кондаков Никодим Павлович (1854–1925) — византинист, историк средневекового искусства, академик РАН с 1898 г.

[5] Дружинин Василий Григорьевич (1859–1936) — историк, исследователь истории старообрядчества, археограф, коллекционер, член корреспондент РАН с 1920 г., член Археографической комиссии (1896–1929 гг.), член Комитета попечительства о русской иконописи (с 1903 г.), в Петроградском отделении Главархива (1918–1923 гг.) работал в должности зав. 1 отделением II секции (до революции — архив Сената), в 1929 г. был арестован по «Академическому делу», свой срок (по приговору — 5 лет лагерей) отбывал в 1931–1932 гг. в Соловецком концентрационном лагере, в 1933–1935 гг. — в ссылке в Ростове (Ярославской обл.). Из ссылки в Ленинград вернулся летом 1935 г.

[6] РГИА. Ф. 6900. Оп. 3. Д. 36. Л. 1—2.

[7] Здравомыслов Константин Яковлевич (1863–1933 или 1934) окончил Петербургскую духовную академию (1887 г.) и Археологический институт (1891 г.), с 1889 г. работал в библиотеке Синода, с 1903 г. — директор архива библиотеке Синода, в 1918 г. — управляющий 2 отделением IV секции (до революции — архив Синода), в 1929 г. – арестован по «Академическому делу» и выслан.

[8] Туберозов Николай Васильевич (род. в 1872 г.). Окончил Петербургскую духовную академию (1896 г.), Петербургский университет, юридический факультет (1908 г.) и Археологический институт. В архиве Синода работал с 1896 г., в 1918 г. — зав. отделом во 2 отделении IV секции (до революции — архив Синода).

[9] РГИА. Архив архива. Оп. 1. Д. 1. Л. 73–74. Комиссия работала в составе В. Т. Георгиевского, В. Г. Дружинина, К. Я. Здравомыслова, В. Д. Плетнева.

[10] Там же. Д. 277. Л. 48. Комиссия была создана 7 июня 1919 г. в связи с обращением Петроградского Комиссариата Внутренних дел с просьбой об учреждении Комиссии для урегулирования вопроса о хранении метрических книг и дел бывших учреждений духовного ведомства. Комиссия была образована при 2 отделении IV секции в составе К. Я. Здравомыслова, А. А. Бронзова, В. Т. Георгиевского и представителя Комиссариата Внутренних дел.

[11] РГИА. Ф. 6900. Оп. 1. Д. 13. Л. 29.

[12] РГИА. Ф. 6900. Оп. 1. Д. 13. Л. 28 об.

[13] Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) — историк, археограф, академик АН СССР с 1935 г., сотрудник Археографической комиссии (1913 г.), в 1921 г. — избран в члены Комиссии.

[14] Курдюмов Михаил Григорьевич (1869–1924) — историк, археограф, архивист, сотрудник Археографической комиссии (1906 г.), в 1919 г. — избран в члены Комиссии.

[15] Мордвинов Исаакий Петрович (1871–1925). Земский деятель в сфере школьного образования, педагог, историк-краевед, коллекционер, основатель Тихвинского отделения Новгородского общества древностей (1913 г.) и его секретарь. В 1918 г. — председатель Коллегии по охране памятников искусства и старины в Тихвине и Уполномоченный Главного управления Архивным делом по охране архивов в Тихвине и Тихвинском уезде, в 1920 г. — избран сотрудником Археографической комиссии.

[16] Равдоникас Владислав Иосифович (1894–1976) — историк-археолог, член-корреспондент АН СССР с 1946 г., в 1918 г. — член Коллегии по охране памятников искусства и старины в Тихвине и Тихвинском уезде. В 1919–1929 гг. — заведующий краеведческим музеем в Тихвине.

[17] В настоящее время документы архивов Александро-Свирского и тихвинских монастырей хранятся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН.

[18] Скородумов Евгений Васильевич (1826—?). Окончил Петербургскую духовную академию, преподаватель Тихвинского духовного училища. Собиратель древних рукописей. С 1917 г. — член Тихвинского отделения Новгородского общества древностей, с 1925 г. — сотрудник Археографической комиссии АН СССР.

[19] Цывелев Сергей Александрович — учредитель и председатель Тихвинского отделения Новгородского общества древностей. В 1918 г. — Уполномоченный Главного Управления Архивным делом по охране архивов в Тихвине и Тихвинском уезде.

[20] Имеется в виду «Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины», созданная 27 октября (9 ноября) 1918 г. В июне 1918 г. реставрационный отдел Коллегии получил название «Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи», в которой работал летом 1918 г. В. Т. Георгиевский.

С. В. Яров

ПРОТОКОЛЫ РАЙОННЫХ СОБРАНИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ КОЛЛЕКТИВОВ РКП(б) КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАСТРОЕНИЙ РАБОЧИХ ПЕТРОГРАДА В 1921 г.

Протоколы собраний организаторов (секретарей) коллективов (низовых ячеек) РКП(б) — довольно своеобразный источник, особенно интересный для историков массового сознания в своей «сводочной» части. Ему присуще обычное канцелярское оформление: он близок по форме и содержанию к таким видам документов, как протоколы партийных комитетов разных уровней: губернского, городского, районного. Протоколы собраний организаторов, обнаруженные в архивах, относятся уже к 1919 г.; возможно, они составлялись и в 1918 г. Они мало изменились за несколько лет — с 1919 по 1921 гг. Протоколы имеют, прежде всего, одинаковую структуру. Протокольная запись делится обычно на две части: «слушали» и «постановили». Почти обязательной в первой части стала фиксация выступлений по следующему пункту повестки дня: «Доклады с мест». Традиционно именно ему отводилось основное место в протоколе, хотя на самом собрании организаторы решали и другие вопросы. Как правило, предваряло доклады с мест выступление организатора (секретаря) районного комитета партии. Здесь также иногда можно было обнаружить ряд сведений о настроениях рабочих, но в основном они были неконкретны и предельно лаконичны.

Практика докладов с мест существовала уже с 1919 г. В протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Смольнинского района 31 октября 1919 г. можно, например, найти краткие записи выступлений с мест, причем круг сюжетов, интересовавших ораторов,

вычислить нетрудно: говорили о состоянии коллективов РКП(б), и чаще всего — об отношении к ним со стороны рабочих.[1] Это можно заметить и анализируя протоколы собраний организаторов коллективов РКП(б) Петроградского района, состоявшихся спустя несколько месяцев, в феврале-марте 1920 г. — при том различии, что здесь фиксировалось лишь «общее» настроение рабочих, вне связи с их прямыми оценками партии.[2] О последнем, правда, приходится говорить с оговорками. Несомненно, «общее» настроение должно было содержать и «партийный» компонент — это отчетливо видно из других политико-психологических документов, где запись сообщений информаторов не отличалась такой краткостью. Определенные модификации содержания можно выявить и в протоколах собраний организаторов коллективов РКП(б) Василеостровского района. Здесь информаторы не ограничиваются краткой оценкой настроений, но сообщают и другие подробности чрезвычайных событий на предприятиях.[3]

Запись докладов с мест в протоколах 1921 г. (и особенно февраля-марта) более подробна, чем в протоколах предыдущих лет. Они не следуют какому-либо унифицированному вопроснику: ответы организаторов менее однообразны, нередко содержат рядом с важной информацией и незначительные сведения, а характер сообщений определяется спецификой каждого из предприятий. Эти доклады, разумеется, имели общую цель: сообщить о том, что происходит на фабриках и заводах, но каждый из их авторов выполнял свой долг, исходя из собственных представлений о том, что важно и что не важно. Уже протокол экстренного собрания организаторов коллективов РКП(б) Петербургского (Петроградского)[4] района 25 февраля 1921 г. отчетливо обнаруживает ту разноголосицу, которая стала характерной особенностью и других документов такого рода, составленных в условиях социально-политического кризиса 1921 г.: «Трампарк. Было собрание. Есть недовольствие на почве продовольствия. Выступил эсер, требовал устройства общегородского собрания. Последнее собрание прошло спокойно. Возбуждает массу эсер и группа, поддерживающая его. Коллектив [РКП] подтянулся и работу свою усилил <...>. Завод Лангензиппен. Все спокойно. Отражается на массе несвоевременное получение продзнаков. Есть и нежелательный элемент среди красноармейцев <...>. Фабрика “Лебедь”. Настроение спокойное. Листовок нет. Коллектив [РКП] силен».[5]

В целом, однако, можно отчетливо выделить в протоколах собраний организаторов круг сюжетов, которые интересовал информаторов. Фиксировал ли эти сюжеты, убирая «ненужные» из них, стенографист собраний, или это делал еще сам докладчик с мест — сказать трудно. Отмечают прежде всего информаторы то, что было «событийно» — они сообщали о том, есть ли недовольство среди рабочих, действуют ли предприятия, сколько эсеров и меньшевиков там работает, проводятся ли собрания и каков их итог, имеются ли оппозиционные группы, прочны ли позиции коллективов РКП(б) и фабзавкомов и, наконец, о чем-то необычном, например, о получении каких-то писем. Подчеркивалось, как правило, все то, что было за рамками производственной рутины, даже если это какие-нибудь мельчайшие происшествия, не имевшие никакого отношения к политике: «На заводе работают американцы, которым кто-то обещал в союзе увеличить паек».[6] Можно предположить, что докладчиков просто попросили рассказать о ситуации на предприятии, и каждый из них это сделал, исходя из собственных представлений о том, что важно и что не важно. Отсюда и так хорошо заметный сумбур выступлений на собраниях. Но отметим здесь и другое. Столь частые отчеты докладчиков с общими оценками настроений, с обязательными рассказами о состоянии партячеек и охраны на фабриках и заводах — все это свидетельствует о том, что освещение ряда вопросов все же инициировалось районными структурами. Так, в протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Петербургского района 9 марта 1921 г. во многих сообщениях с мест можно обнаружить сведения о доставке на предприятия газет[7] — они отсутствуют и в предыдущих, и в последующих протоколах собраний. Нетрудно предположить, что перед началом заседания присутствовавших обязали высказаться по этому вопросу. Примечательно, что, заканчивая собрание организаторов коллективов РКП(б) Петербургского района 25 февраля 1921 г., председательствующий призывал «обратить серьезное внимание на охрану заводов и фабрик <...> принимать меры к ликвидации ложных слухов <...> всех меньшевиков и эсеров взять на учет и следить за таковыми».[8] И в дальнейшем, на собрании 9 марта 1921 г. докладчики с мест особо подчеркивали состояние охраны, получение рабочими газет и т. п.

Полноту фиксации стенографистом сообщений докладчиков на собраниях организаторов коллективов РКП(б) выявить очень труд-

но. Попробуем сравнить сведения, предоставленные на собрании организаторов коллективов РКП(б) Выборгского района 9 марта 1921 г. и помещенные в сводке штаба внутренней обороны Петрограда 9 марта 1921 г. информацию о заводах «Нобель» и «Парвиайнен». В протоколе собрания читаем: «Зав[од] Парвиайнен: Были собрания, видна связь с “Арсеналом” и “Лесснером”, настроение склонно к волынке <...>. Зав[од] Нобель: Происходили собрания и было настроение не работать, но после доклада тов. Евдокимова постановили приступить к работе».[9] В сводке ШВО о событиях на обоих заводах сказано так: «Завод Нобеля: Собрание постановило большинством двух третей приступить завтра к работе. Завод Парвиайнен: После 2-х час. было собрание по докладу делегации о текущем моменте с призывом поддержки Кронштадта. Собрание раскололось надвое».[10]

Как видим, в сводке штаба внутренней обороны Петрограда 9 марта 1921 г. нетрудно обнаружить такие подробности событий, какие отсутствуют в протоколе собрания организаторов, состоявшемся в этот же день. Можно поэтому предположить, что стенографист не отразил в протоколе все детали речей выступавших. Конечно, составитель сводки штаба внутренней обороны мог пользоваться и данными, полученными от других информаторов, но это маловероятно ввиду следующих обстоятельств. Во-первых, секретарь (организатор) райкома РКП(б), который обычно председательствовал на заседаниях организаторов низовых ячеек, как правило, являлся членом (и очень часто руководителем) районной революционной тройки (ревтройки), откуда и поступали в ШВО сведения о происшествиях в районах. Можно предположить, что стенограмма заседания организаторов и была прототипом той сводки, которая дважды в день направлялась районным руководством в штаб. Иными словами, если ШВО и мог получить какие-либо сведения, то только из рук организатора райкома, а тот, в свою очередь, от докладчиков «с мест». Во-вторых, текст сводки, повествующей о событиях в Выборгском районе, структурно и стилистически близок именно к тексту протокола собрания организаторов района; в нем заметны та же краткость и интерес к одним и тем же сюжетам. В-третьих, обратим внимание на особенности протоколирования речи. Такая краткость, обрубленность фразы едва ли возможна в устной речи; вряд ли в устной речи можно уловить и столь быстрые переходы от одной темы к другой, без каких-либо связующих их оговорок. Можно, поэтому, допустить,

что здесь отсутствует стенографически точная фиксация речи — но необходимо выявить методику передачи и, что особенно трудно, степень сокращения речей, предпринимаемого протоколистом.

Обратим внимание на те случаи, когда протоколист передает фразы выступавших, своей «живописностью» отличающиеся от прочих речей, которые излагаются весьма кратко, стереотипно и с характерными канцелярскими оборотами. «Перевязочная мастерская — целиком интеллигентные барышни, боящиеся заморозить ручки» — читаем мы в протоколе собрания организаторов Петербургского района 25 февраля 1921 г. о положении на заводе военно-врачебных заготовителей.[11] Возможно, это «образный» штамп — с присущим ему почти фамильярным полупрезрением («барышни», «боящиеся заморозить ручки») — свидетельство перевода протоколистом переданной ему информации в общеупотребительный фразеологизм. Другим сообщениям, помещенным в протоколе — отрывистым, кратким, скудным по содержанию — такая «образность» не была свойственна.[12] Подобные фразеологизмы уже не встречаются в протоколе — они применяются только для описания событий на единственном заводе. Привычки излагать доклад фразеологизмами у составителя, как видно, нет. Поэтому увереннее можно предположить, что фраза о «барышнях» не имеет следов существенной редакционной обработки и представляет почти дословный пересказ одного из «докладов с мест» — фразеологизм здесь может оцениваться как реликт прямой речи.

В протоколе обращает на себя внимание и то, что оценка настроения рабочих, хотя и обязательно присутствует в записи «доклада», однако не имеет четко обозначенного места в составе этой записи. Такая оценка может подытоживать описание событий на предприятии или как-то иначе быть связана с ними, но может и предварять описание конкретных деталей происшествий и даже не иметь к ним никакого отношения. В некоторых записях докладов коллективов РКП(б) Петроградского района 25 февраля и 16 марта 1921 г. вообще ничего не говорится о настроениях, а внимание сосредоточено на отдельных сторонах положения на предприятии. Такая разностильность компоновки изложений докладов заставляет предполагать, что приводя данные о настроениях рабочих, протоколист в ряде случаев не сам обобщает доставляемые ему сведения в виде краткой общей оценки, но пользуется оценками и следует канве последовательного рассказа именно докладчика.

Этим, конечно, не преуменьшается значимость работы составителя протокола по унификации излагаемых им докладов – во многих текстах ее следы весьма ощутимы. Обращает на себя внимание последовательность многих «докладов с мест» — сначала приводится краткая оценка настроения, затем — подробности событий на предприятиях. Можно предположить, что такой порядок был определен председательствующим во вступительном слове; но трудно представить, что выступавшие, не сговариваясь, не сбиваясь, только так и не иначе строго следовали жестко намеченной кем-то канве доклада. В протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Выборгского района 9 марта 1921 г. Такая унификация выявляется особенно рельефно — говоря о положении на местах, составитель протокола использует обычно два-три слова, причем часто повторяющиеся: «Металлический завод: работал все время, настроение удовлетворительно <...>. Старый Лесснер: удовлетворительно <...>. Завод Айваз: настроение рабочих удовлетворительное, работал зав[од] все время <...>. Зав[од] Оптический: работает все время, настроение удовлетворительное <...>. Выб[оргская] ниточная: работают все время, удовлетворительно».[13] В протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Петроградского района 9 марта 1921 г. обращает на себя внимание частое использование слов «неважное настроение» и «получаются газеты».[14]

Только с особыми оговорками нужно признать, что эти словесные формулы могли одинаково использоваться различными людьми, присутствовавшими на заседании — если иметь в виду, что столь часто такие формулы встречались именно в этом, а не в других протоколах собраний организаторов ячеек Петроградского района, и таким образом могли принадлежать тому человеку, который редактировал протокол.

Немаловажное значение для определения достоверности передаваемых протоколом сведений имеет и определение степени информированности «докладов с мест». Нередки случаи, когда о каких-либо событиях докладчик говорил весьма неопределенно, а порой и с чужих слов.[15] Как правило, неотчетливо фиксировались действия, имевшие оппозиционную окраску и вообще все то, что рабочие предпочитали маскировать, причем информаторы иногда узнавали о таких действиях лишь спустя несколько дней. В ряде случаев докладчик специально оговаривался, подчеркивая скудость своих сведений:

«какое-то письмо», «кажется, одобрялась»,[16] но обычно он уверенно рассказывал о тех или иных событиях, почти никогда не сообщая, был ли он их очевидцем или узнал о них от других людей. Ответить на последний вопрос, даже проведя детальный анализ текста, очень трудно, в первую очередь ввиду сугубой краткости записей.

В тексте сообщений о положении на местах исследователь без труда может обнаружить ряд противоречий, и это также должно быть учтено при определении достоверности докладов. Так, в сообщении о состоянии дел на Тюлевой фабрике 25 февраля 1921 г. можно обнаружить следующие оценки: «Волнуются из-за несвоевременного получения жалованья. В общем, все спокойно».[17] В докладе о положении на Монетном дворе за этот же день встречаем и такие выводы: «Рабочие недовольны, потому что много спецов. Недовольства нет. Настроение спокойное».[18] Степень противоречивости текстов докладов можно выявить, во-первых, зная практику применения докладчиком оценочных клише, во-вторых — учитывая их контекст. Докладчик (или излагающий его речь протоколист) мог пользоваться одинаковыми клише для обозначения разных оттенков значимости того или иного явления. «Недовольство» — это термин, который мог применяться при оценке и незначительных происшествий, и массовых социальных волнений. Другой термин докладчик обычно не употребляет, но необходимость все же как-то отделить мелочное от важного он понимает — отсюда и повторение термина для утверждения разных оценок. Противоречие здесь имеет формальный характер и может возникать вследствие скудости лексических средств информатора. Протоколист ввиду крайней краткости изложения способен даже утрировать это однообразие лексики — трудно все же представить, что противоречащие друг другу утверждения содержались в соседствующих предложениях.

Наличие противоречий в текстах речи может в какой-то мере реконструировать и технику ее записи. Повторение обобщений в тексте, имеющих то негативную, то позитивную направленность, наводит на мысль о том, что протоколистом осуществлялся не столько синтез всего сказанного докладчиком в одной общей оценке, сколько последовательная запись нескольких общих оценок, возможно, данных и докладчиком, — последовательная именно потому, что оценки логично уточняют друг друга. Это позволяет предположить, что протоколист мог дотошнее, чем обычно, следовать за речью док-

ладчика, а не только суммировать ее выводы. Другой вопрос — насколько была четкой информация докладчиков, ввиду присущей им порой лексической невнятице. Ряд явлений информатор оценивал скороговоркой, и только зная особенности языка официозных интерпретаций той эпохи, можно правильно уловить содержание его вердикта. В протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Петроградского района 9 марта 1921 г., в сообщении о положении на фабрике военного снаряжения мы встречаем фразу: «настроение в связи с происходящими событиями улучшилось»,[19] которую можно трактовать двояко, поскольку это было сказано на следующий день после провала первого наступления на Кронштадт. Но во-первых, отметим, что сведения о том, что происходило в Кронштадте, были весьма скудными и передавались либо в виде неточных слухов, либо в составе сводок, публикуемых в официозных газетах — а в них мы не обнаружим и намека на провал штурма 8 марта. Во-вторых, термин «улучшение настроения» исследователь, знакомый с обычным словоупотреблением составителей сводок тех дней, мог оценить только как свидетельство упрочения просоветских настроений масс. Если бы дело обстояло иначе, информатор мог отметить и «ухудшение настроения» — это был тоже часто используемый термин в сводках. В-третьих, фраза об изменении настроений рабочих в первых числах марта как раз в связи с началом Кронштадтского восстания не была редкой в тогдашних политических сводках — а их, как уже отмечалось, традиционно редактировал и подписывал организатор райкома РКП(б), руководивший и собраниями организаторов местных коллективов РКП(б). В сводках передавались наблюдения информаторов, фиксировавших «отрезвление» бастующих рабочих в связи с сообщениями о том, что восстанием якобы руководят «царские генералы».

Такого же чтения «между строк» требует и изложение в этом протоколе доклада о положении на фабрике «Гот». Не очень ясная оценка: «Ждут конца кронштадтских событий», предваряется и тем самым дешифруется фразой: «Настроение хорошее». С другой стороны, имеет значение и трактовка докладчиком причин неприязни рабочих к мятежным матросам — в том случае, когда четкие и ясные оценки ими мятежа отсутствуют. На фабрике «Светоч», как передавал информатор 9 марта, «о кронштадтских событиях говорят: “носились с клешниками, вот и доносились”».[20] Отчетливо виден, таким образом, негативизм и по отношению к матросам, и по отноше-

нию к тем, кто использовал матросов в «революционных» эксцессах 1918–1920-х гг., превознося их деяния в «агитках». Употребление презрительного прозвища «клешники» отчасти приоткрывает мотивы неприязни к матросам — она, возможно, имела и бытовой характер.

Говоря о четкости и ясности оценок докладчиков, нужно обратить особое внимание на их определения. О том, что считалось «спокойным», «хорошим» и «удовлетворительным» настроением и, главное, отражали ли эти дефиниции оттенки настроений или просто использовались как взаимозаменяющие слова — сказать трудно. С уверенностью можно только предположить, что они означали отсутствие заметной оппозиции на предприятиях и наличие хотя бы внешней лояльности рабочих. Без особых усилий можно выявить и значение фраз «настроение неважное» или «настроение повысилось» — не очень грамотные, они, однако, используют присущие просторечию клише, значение которых мало изменилось и до настоящего времени и которые поэтому могут быть адекватно распознаны. Труднее выявить значение других определений настроений: «среднее» и «пассивное». Можно, конечно, предположить их общую направленность, но в тех случаях, когда они не сопровождаются рассказом о каких-либо подробностях событий, оценка настроений рабочих будет все же весьма приблизительной. Употребляя столь экзотические дефиниции, информатор, конечно, не маскирует здесь бездоказательность своих выводов, но только выражает их присущим ему языком. Изучение его речевой практики и есть та лаборатория, которая позволит исследователю в одном слове разглядеть целый мир ушедшей эпохи.

---

[1] См. обычную запись таких выступлений: «Пробочная фаб[ри]ка. — В коллективе 1 человек. Отношение враждебное. Русско-балт[ийский] моторный зав[од] — отношение сочувственное. Рождественский трампарк — отношение среднее» // Протокол собрания организаторов коллективов РКП(б) Смольнинского района 31 октября 1919 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 5. Л. 16 об.).

[2] См. например, протокол собрания организаторов коллективов РКП(б) Петроградского района 12 февраля 1920 г.: «Электрическая подстанция: служащих всего 300 человек, коммунистов 10 человек, настроение удовлетворительное, отношение к работе сознательное <...>. Завод «Гамаюн» <...>, настроение хорошее <...>. Трамвайный парк <...>, настроение удовлетворительное». (Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1171. Л. 7 об.) и 5 марта 1920 г.: «Фабрика Керстен — настроение рабочих среднее <...>. Артсклад <...>, настроение в среднем» (Там же. Л. 12 об.).

[3] См. протокол собрания организаторов коллективов РКП(б) Василеостровского района 9 июля 1919 г.: «Трубочный завод <...>, по поводу всеобуча некоторое волнение» (Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 284. Л. 58).

[4] В связи с отказом признать переименование Санкт-Петербурга в Петроград вплоть до начала 1920-х гг. партийные организации города и одноименного района назывались «петербургскими».

[5] Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 64. Л. 49–50.

[6] Протокол экстренного собрания организаторов коллективов Петербургского райкома РКП(б) 25 февраля 1921 г. (Там же).

[7] Там же. Л. 53.

[8] Там же. Л. 50.

[9] Там же. Л. 53.

[10] Там же. Ф. 1842. Оп. 1. Д. 113. Л. 152 об.

[11] Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 64. Л. 49–50.

[12] См. запись докладов с мест в этом же протоколе собрания организаторов коллективов РКП(б) Петербургского района 25 февраля 1921 г.: «Завод “Лебедь”. Настроение спокойное. Листовок нет. Коллектив силен»; «Хлебозавод <...>. Завод работает. Все сыты». (Там же).

[13] Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 341. Л. 53.

[14] Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 64. Л. 53.

[15] Там же. Л.49–50.

[16] Там же.

[17] Там же.

[18] Там же.

[19] Там же. Л. 53.

[20] Там же.

В. М. Панеях

ПИСЬМО АКАДЕМИКА Д. С. ЛИХАЧЕВА О РАБОТАХ В. С. БРАЧЕВА

В 1995 г. вышла в свет книга В. С. Брачева о С. Ф. Платонове,[1] в которой автор принял на веру не только то, что показал о себе следователям ОГПУ арестованный в 1930 г. по сфабрикованному политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ «Академическому делу»[2] сам С. Ф. Платонов, но и характеристики, данные ему в показаниях Е. В. Тарле, С. В. Рождественского, В. И. Пичеты и других его коллег. При этом В. С. Брачев ссылается на сфабрикованные ОГПУ показания так, как будто имел дело с письмами, мемуарами или дневниками. Щедро черпая «факты» из такого одиозного источника, как сфабрикованные следственные показания, В. С. Брачев рассматривает их как достоверный источник даже для воссоздания общественно-политических воззрений ученого. Таким образом, автор абстрагировался от специфики сфабрикованного следственного «дела» и не произвел его источниковедческого исследования.

Эта позиция стала одним из объектов критики, которой подвергли книгу В. С. Брачева Н. Н. Покровский и я в рецензиях, опубликованных в журнале «Отечественная история».[3] После этого я не предполагал возвращаться к анализу ни данной книги В. С. Брачева, ни других его работ. Но неожиданно я получил письмо Д. С. Лихачева, датированное 1 ноября 1998 г., в котором он обратил мое внимание на возмутившую его статью В. С. Брачева «Архивно-следственные материалы ОГПУ как исторический источник по истории ленинградской интеллигенции 1920-х годов».[4] Д. С. Лихачев спрашивал, не предполагаю ли я подготовить ответ и разрешил ссылаться на это его письмо.

Я ответил Д. С. Лихачеву письмом и сообщил и о своем резко отрицательном отношении к подобным работам, в которых В. С. Брачев, плывя по проложенному следователями ОГПУ руслу, высказывает убеждение в том, во что не верили они сами: все «дела» возбуждались в связи с действительно существовавшими организациями, которые находились в подполье, соблюдали все необходимые приемы конспирации, чтобы не дать в руки ОГПУ каких-либо «улик». Вместе с тем я написал, что у меня пока нет желания и повода полемизировать с В. С. Брачевым, но если они появится, то я непременно учту мнение Д. С. Лихачева. Случай вскоре представился: В. С. Брачев опубликовал «Возражения критикам»,[5] то есть Н. Н. Покровскому и мне. Впрочем, я и на это не стал бы отвечать, т. к. считал, что вопрос и без того ясен, если бы не письмо Д. С. Лихачева. И я все же решил ответить на «возражения» В. С. Брачева, что и сделал в журнале «Клио»,[6] опираясь отчасти на замечания Д. С. Лихачева, но не ссылаясь на его письмо, т. к. ученый к этому времени скончался. В своей заметке я затронул ту статью, на которую указал мне Д. С. Лихачев, и показал, как автор вслед за следователями ОГПУ повторяет те вздорные обвинения, которые предъявлялись арестованным органами ОГПУ.

Для того, чтобы понять, о чем идет речь в письме Д. С. Лихачева, необходимо остановиться на тех сторонах статьи В. С. Брачева, которые вызвали гневные инвективы Д. С. Лихачева. Прежде всего, автор утверждает, что «использование в трудах историков архивно-следственных материалов <...> вещь довольно обыкновенная», правда, добавляет В. С. Брачев, «не советского, а дореволюционного периода нашей истории», и указывает на специальную литературу на эту тему.[7]

Несколько абзацев посвящает В. С. Брачев Братству Преподобного Серафима Саровского, Космической Академии наук (КАН) и другим кружкам 20-х годов, в которых участвовал Д. С. Лихачев: «“Братство Преподобного Серафима Саровского” (до 1927 г. известно как “Хельфернак”) — руководитель И. М. Андреевский и “Космическая Академия наук” (КАН) — руководитель Э. К. Розенберг отличались последовательно православным направлением (Д. П. 81213. 1928 г., в пяти томах).[8] В первую очередь, это относится к кружку И. М. Андреевского (1922 г.), состоявшему из его учеников по ряду петроградских школ II ступени, где он преподавал русскую литературу. Помимо изучения жизни святых отцов, центральное место в кружке И. М. Андре-

евского отводилось обсуждению вопросов современной церковной жизни. В 1925 г. к нему примыкают: сотрудник Фонетического института И. Е. Аничков, профессор ЛГУ В. Л. Комарович, преподаватель Педагогического института им. А. И. Герцена П. П. Мошков, бывший председатель Всероссийского Союза христианской молодежи А. А. Обновленский. Что касается КАН, то своему возникновению (май 1926 г.) она обязана инициативе трех друзей — Эдуарда Розенберга, Петра Мошкова и Анатолия Тереховко. Из восьми членов Космической Академии (В. Т. Раков, Д. С. Лихачев, П. П. Мошков, Э. К. Розенберг, А. В. Селиванов, В. К. Розенберг, Н. Е. Сперанский, А. С. Тереховко) четверо (Э. К. Розенберг, Д. С. Лихачев, В. Т. Раков, А. В. Селиванов) были учениками И. М. Андреевского».[9]

Нетрудно заметить, что все эти сведения В. С. Брачев извлек из следственных дел, которые велись органами ОГПУ. В. С. Брачев при этом пытается поставить под сомнение сообщаемые в мемуарах Д. С. Лихачева факты, противопоставляя им сфабрикованные ОГПУ показания арестованных участников КАН:

«Д. С. Лихачев всячески подчеркивает невинный характер ее (КАН. — В. П.) деятельности. “Космическая Академия наук,— пишет он, — была своего рода маскарадным действом. Нами был провозглашен принцип “веселой науки” — науки, которая не только ищет истину, но истину радостную и облаченную в веселые формы”».[10] Однако, как показывает обращение к архивно-следственному делу КАН, была в ее деятельности и другая сторона, о которой умалчивает мемуарист: пристальный интерес к современности и “еврейскому засилью” в СССР. Особенно убийственны в этом плане имеющиеся в деле отрывки из дневника кандидата в члены КАН Д. П. Каллистова.[11] В письме в редакцию “Санкт-Петербургской панорамы” Д. С. Лихачев подтвердил факт прочтения Д. П. Каллистовым на одном из заседаний КАН “антисемитского доклада”, подчеркнув в то же время непричастность последнего к кружку, ибо в Академию тот “принят не был” и “собраний не посещал”. Пусть так, но это, как говорится, чисто формальная сторона. Важнее другое — Д. П. Каллистов, и “Воспоминания” Д. С. Лихачева это подтверждают, был другом кружковцев, в том числе и Дмитрия Сергеевича.[12] «Другом его (причем “самым большим и, пожалуй, единственным настоящим другом”) был и руководитель кружка Эдуард (Федор) Карлович Розенберг, от которого, как это видно из

материалов следствия, и исходила инициатива разработки вопроса о “еврейском засилье”. Кстати, следующим докладом на эту же тему должен был стать доклад П. П. Мошкова “Евреи и Россия”, причем помочь ему в подборке литературы (речь идет о книге Х. С. Чемберлена “Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе” (СПб., 1906) вызвался не кто иной, как Д. С. Лихачев».[13]

В свете приведенных цитат из статьи В. С. Брачева, становится понятным, почему Д. С. Лихачев в письме, адресованном мне, выразил возмущение этой статьей. Но и в своих последующих работах В. С. Брачев отстаивает тот «метод» интерпретации сфабрикованных следственных материалов, который и был подвергнут критике в рецензиях Н. Н. Покровского и моей, а также в письме Д. С. Лихачева. Поэтому, как мне представляется, уместно напечатать его здесь полностью (за исключением минимальных купюр, необходимость которых определяется тем, что в письме есть фразы, не относящиеся к его основному содержанию, например, номер телефона).

* * *

Письмо Д. С. Лихачева В. М. Панеяху

1 ноября 1998 г.

Дорогой Виктор Моисеевич!

Меня возмутила статья В. С. Брачева «Архив.-следств. материалы как источник...» в сборнике «Петербург и Россия» (1997), которую я только что прочел. Если Вы будете Брачеву отвечать, то примите во внимание и мои фактические возражения, доказывающие его неправоту. Унижаться и чувствовать себя снова подследственным я не могу. Ссылаться на это мое письмо Вы можете.

1) Стр. 494. Автор считает возможным применять одинаковые мерки достоверности к дореволюционным и советским следственным материалам, не видя разницы.

2) Стр. 496. Э. К. Розенберг не был «руководителем» КАН. Он был маскарадным «хартифилаксом» (хранителем хартий — секретарем) и хозяином большой комнаты, где мы собирались. Слово «руководитель» придумано Строминым (кстати наше «дело» было «учебным» для Стромина), потом он занялся более «серьезным» — академическим.

3) Розенберги (оба), Сперанский, Тереховки (он и сестра его), Мошков, Селиванов не были учениками Андреевского и даже (кро-

ме Селивановского) не знали о его существовании. Андреевский называл всех моложе его самого своими «учениками», а КАН — филиалом «Братства», когда уже находился в Джорданвиле (США), чтобы изобразить из себя главу важной антисоветской организации. До следствия Андреевский даже не знал о существовании КАН (хвастовство — не лучшая черта характера Андреевского).

4) Стр. 496. Изучением жизни «святых отцов церкви» ни в одном из кружков не занимались. Выдумка Андреевского, чтобы подчеркнуть свою ортодоксальность в условиях Джорданвиля.

5) Э. К. Розенберг отнюдь не отличался «последовательно-православным направлением». Первоначально он и его брат по матери — лютеране. Православным он стал после трагической смерти его матери — православной финки. Отец Эдуарда («незаконный») еврей-аптекарь, подчиненный отца Э. К. Розенберга. На своей невесте, посещавшей кружок Андреевского, Софии Марковне Левиной, по своем освобождении Эдуард на ней женился.

6) Комарович — не профессор и даже не кандидат *и не доцент*: его старался не пустить в науку В. Н. Перетц (об этом я писал).

7) Стр. 496. Обновленский не был «председателем Всероссийского Союза христианской молодежи». Это выдумка Стромина.

8) Многие выпускались из-под ареста и даже не арестовывались просто «по знакомству». За Комаровича заступился Марр, и он был отправлен в Нижний на поруки отцу. Андреевскому снизили срок с 10 лет до пяти по ходатайству его знакомых по дореволюционному делу, Смидовича и др. Этого Андреевский стеснялся и всегда утверждал, что ему дали десять лет (а то какой же он «руководитель»!). Таню Крюкову, ездившую в Прагу и «установившую связи» с эмигрантами, даже не арестовывали и не допрашивали, так как у нее были большие связи с революционерами досоветского периода (это еще действовало).

9) Термины «член», «кандидат в члены», «руководитель» — это термины следователя, чтобы придать нашим «журфиксам» организованный характер, подвести под статью «антисоветская организация».

10) «Бумаг» в КАНе было при обыске забрано много не потому, что «руководитель» КАН был «неопытен», а потому что КАН был карнавальной организацией (отсюда гербы, дипломы, календари, карикатуры, тросточки, шарфы и пр., и пр.). А у Андреевского просто «журфиксы» как у многих академиков.

11) Стр. 502. О книге Чемберлена «Евреи» я ничего не знал и до сих пор не знаю! *И чем я мог «помочь» Мошкову, который был на 15–20 лет меня старше. Чепуха какая-то!*

Что за «исследователи» следователи!!! Сам-то Брачев видно следователь? <...> Искренне Ваш Д. Лихачев.

О Каллистове необходимо особое пояснение. Тут не все просто.

1.XI.98

Готов ответить, если что будет неясно!

Машинопись. Рукописные вставки и подпись — автографы (передается курсивом).

* * *

Это письмо Д. С. Лихачева нуждается в некоторых комментариях.

«Хельфернак» — «Художественно-литературная, философская академия» — кружок, собиравшийся в 1921–1925 гг. у школьного преподавателя Д. С. Лихачева — И. М. Андреевского (Андреева). Во второй половине 20-х гг., когда Хельфернак стал приобретать все более религиозный характер, в связи с чем из него ушли многие атеисты, он был переименован в «Братство святого Серафима Саровского».

«Академическое дело» — одно из сфабрикованных следственных дел, относящееся к 1929–1931 гг., по которому получили приговоры «троек» ОГПУ 115 человек, в том числе четыре академика-историка (С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский). Оно велось силами Полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе.

А. Р. Стромин — один из ответственных сотрудников ОГПУ, который вел ряд «дел» в конце 20 — начале 30-х гг., в том числе «дело» КАН и «Академическое дело».

Н. Я. Марр — академик, лингвист, в конце 20 – начале 30-х гг. руководитель ГАИМКа.

В. Н. Перетц — академик, литературовед.

П. Г. Смидович — деятель российского революционного движения. Член ВКП(б). Член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.

Д. П. Каллистов проходил по «делу» КАН, хотя не был принят в его ряды ввиду антисемитского вступительного доклада. Впоследствии доктор исторических наук.

[1] *Брачев В. С.* Русский историк Сергей Федорович Платонов. СПб., 1995.

[2] См. о нем: Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы, сфабрикованные ОГПУ. Вып. 1. Следственное дело академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993; Вып. 2. Следственное дело академика Е. В. Тарле. СПб., 1998.

[3] Отечественная история. 1998. № 3.

[4] Петербург и Россия: Петербургские чтения — 97. СПб., 1997. С. 594–604.

[5] Клио. 1998. № 2(5). С. 347–348.

[6] *Панеях В. М.* О полемической заметке В. С. Брачева «Возражения критикам» // Клио. 1999. № 2 (8).

[7] *Брачев В. С.* Архивно-следственные материалы ОГПУ... С. 494.

[8] Здесь автор указывает номер следственного дела в архиве Управления ФСБ по С.–Петербургу и области.

[9] *Брачев В. С.* Архивно-следственные материалы ОГПУ... С. 496.

[10] *Лихачев Д. С.* Воспоминания. СПб., 1995. С. 137.

[11] Архив УФСБ. Д. 81213. Т. 3. Л. 256–530, 548–551.

[12] Д. С. Лихачев никогда не называл Д. П. Каллистова своим другом — ни на одной из страниц своих «Воспоминаний».

[13] *Брачев В. С.* Архивно-следственные материалы ОГПУ... С. 502–503.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Балашов Евгений Михайлович — доктор исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Ваксер Александр Завелевич — доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Ганелин Рафаил Шоломович — доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Дзенискевич Андрей Ростиславович — доктор исторических наук

Дмитриев Антон Леонидович — кандидат экономических наук, доцент кафедры ценообразования Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

Измозик Владлен Семенович — доктор исторических наук, профессор кафедры философии и истории Северо-Западного государственного заочного технического университета

Илюха Ольга Павловна — кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Кен Олег Николаевич — доктор исторических наук, ученый секретарь Европейскоко университета в Санкт-Петербурге

Ковальчук Валентин Михайлович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Кочетков Игорь Викторович — кандидат исторических наук, докторант Республиканского гуманитарного института при Санкт-Петербургском государственном университете

Купайгородская Анжелина Павловна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Кутузов Владислав Александрович — доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Лебина Наталья Борисовна — доктор исторических наук, профессор кафедры истории Росии и зарубежных стран Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

Лейберов Игорь Павлович — доктор исторических наук, профессор

Мусаев Вадим Ибрагимович — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Панеях Виктор Моисеевич — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Рупасов Александр Иваноаич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Смирнова Татьяна Глебовна — научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Тропов Игорь Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Высшей Административной школы при Администрации Санкт-Петербурга, декан факультета государственной службы

Чистиков Александр Николаевич — кандидат исторических наук, заведующий отделом современной истории Росии Санкт-Петербургского института истории РАН

Юрковский Никита Корнельевич — кандидат исторических наук, доцент

Яров Сергей Викторович — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации
АН СССР — Академия наук СССР
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
в. кн. — великий князь
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
вуз — высшее учебное заведение
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС — Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры
ГАНИРК — Государственный архив новейшей истории Республики Карелия
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГКО — Государственный Комитет Обороны
ГМШ — Главный морской штаб
ГПУ — Государственное политическое управление
ГУГБ МГБ — Главное управление государственной безопасности Министерства государственной безопасности
ГУС — Государственный ученый совет
ДВП СССР — Документы внешней политики СССР
КарНЦ РАН — Карельский научный центр Российской Академии наук
КАССР — Карельская автономная советская социалистическая республика
КГБ — Комитет государственной безопасности
кн. — князь
ЛГК — Ленинградский городской комитет
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛОГАВ — Ленинградский областной государственный архив в г. Выборг
ЛОК — Ленинградский областной комитет

МВД — Министерство внутренних дел
МИД — Министерство иностранных дел
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МТС — машинно-тракторная станция
НАРК —Национальный архив Республики Карелия
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли
НКИД, Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел
НКФ, Наркомфин — Народный комиссариат финансов
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
нэп — новая экономическая политика
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР
ОГСБр — отдельная горно-стрелковая бригада
ОК — областной комитет, окружной комитет
ПВО — противовоздушная оборона
ПК — Петербургский комитет, Петроградский комитет
РГАВМФ — Российский государственный архив военно-морского флота
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА —Российский государственный военный архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РИК — районный исполнительный комитет
РК — районный комитет
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РЛКСМ — Российский ленинский коммунистический союз молодежи
РО — районный отдел
РОНО — районный отдел народного образования
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СЗН — Северо-Западное направление
СНК, Совнарком — Совет Народных Комиссаров
ССП — Союз советских писателей
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СТО — Совет труда и обороны

СУ — Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УР — укрепленный район
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УФСБ — Управление Федеральной службы безопасности
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦГАИПД СПб. — Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга
ЦГАНТД СПб. — Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга
ЦГА СПб. — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ШВО — Штаб внутренней обороны

РОССИЯ В XX ВЕКЕ

**СБОРНИК СТАТЕЙ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, ПРОФЕССОРА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИШКИНА**

Под редакцией В. М. Ковальчука

Выпускающий редактор *П. В. Ильин*
Корректор *С. В. Сафронова*
Оригинал-макет *А. В. Андреев*

Подписано к печати 01.02.2005. Гарнитура Академия.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 25,25. Тираж 1000 экз. Заказ № 86.

Заказы присылать по адресу:
Издательство СПб ИИ РАН «Нестор-История»
197110 СПб., ул. Петрозаводская, д. 7
Тел. (812) 235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru

Отпечатано в типографии СПб ИИ РАН «Нестор-История»
197110, СПб, ул. Петрозаводская, д. 7
Тел. (812) 235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru